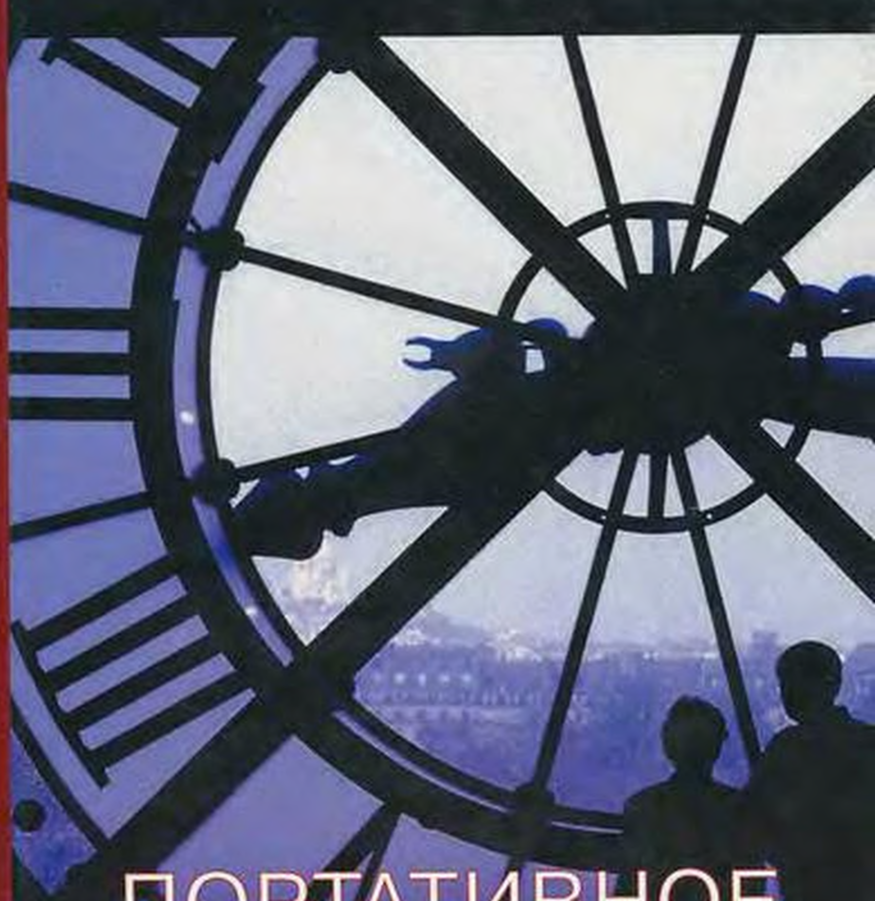
Василий

Яновский



Портативное бессмертие

Василий Яновский

СОЧИНЕНИЯ В 2 ТОМАХ

Том 1

Портативное бессмертие
Челюсть эмигранта

«Гудьял-Пресс»
Москва 2000

УДК 821.161.1-3Яновский
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Я64

Все тексты печатаются с любезного разрешения вдовы писателя Изабеллы Михайловны Яновской.

Тексты произведений, впервые опубликованных в «Новом журнале» («По ту сторону времени», «Болезнь»), печатаются по согласованию с редакцией.

По вопросам приобретения книг издательства «Гудьял-Пресс» обращаться по телефонам:
(095) 306-91-20
(095) 306-91-21
(095) 306-91-20 (факс)

ISBN 5-8026-0085-3 (1т.)
ISBN 5-8026-0086-1

«РУССКИЙ МАЛЬЧИК С СЕДЫМИ ВИСКАМИ»

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВАСИЛИЯ ЯНОВСКОГО

Литература первой волны русской эмиграции ныне по праву считается неотъемлемой частью единой русской литературы XX века. Сравнительно недавно возвращенные на родину, произведения писателей-эмигрантов кардинально изменили казавшуюся незыблемой в советскую эпоху иерархию литературных ценностей и стали издаваться такими тиражами, о которых в эмиграции их авторы не могли даже мечтать. В то же время внимание критиков и литературоведов (я уж не говорю о рядовых читателях) привлечено, прежде всего, к творческому наследию литераторов «первого ряда», большинство из которых добилось известности еще до революции.

Иначе обстоит дело с теми писателями, кто покинул Россию, будучи слишком молодым, чтобы создать себе хоть какое-нибудь литературное имя, кто вынужден был формировать свое творческое «я» в условиях горького эмигрантского существования. За редким исключением (Набоков, Газданов, Поплавский) творчество «младших» эмигрантских писателей остается невостребованным российскими читателями и находится на периферии научных интересов отечественных литературоведов. И если с поэтами в самое последнее время положение существенно улучшилось, и наиболее яркие из них (Борис Божнев, Довид Кнут, Владимир Смоленский, Арсений Несмелов) закрепились в литературном сознании наряду с такими «грандами», как Георгий Иванов и Владислав Ходасевич, то с прозаиками дела обстоят далеко не блестяще: их произведения известны (в лучшем случае) лишь узкому кругу специалистов по литературе русского зарубежья.

Вот уж действительно «незамеченное поколение». Именно так, с легкой руки В. С. Варшавского, принято называть литературную генерацию «эмигрантских сыновей», самой историей обреченных на одиночество и безвестность. Равнодушное непонимание издателей и редакторов «толстых» журналов, вплоть до середины тридцатых годов отдававших предпочтение маститым литераторам «старшего» поколения, отсут-

ствие развитого книжного рынка и своего читателя, наконец, тяжелое материальное положение, а иногда и просто нищета, убивающая саму физическую возможность заниматься литературой, — все это предопределило творческую судьбу большинства молодых писателей «русского рассеянья «Выключенные из цепи поколений, они жили где-то вне истории, сбоку <...>. Непосредственно даны были только одиночество, бездомность, беспочвенность...»[1] По всем статьям это было поколение неудачников. Однако «неудачи» молодых эмигрантских писателей были «бесконечно ближе к абсолютной подлинности искусства» (В. С. Варшавский), чем «успех» многих титулованных советских литераторов, пресловутых «инженеров человеческих душ», очень скоро превратившихся в послушные винтики чудовищной пропагандистской машины. Теперь, когда история русской литературы XX века переоценивается и переписывается заново, все более становится ясно, что этим «литературным неудачникам» принадлежат, быть может, самые искренние, самые волнующие, самые яркие ее страницы.

* * *

Все вышесказанное в полной мере относится и к творчеству Василия Семеновича Яновского (1906—1989), писателя, принадлежавшего, по словам Сергея Довлатова, «к числу самых талантливых, глубоких и уж во всяком случае — наиболее оригинальных прозаиков первой эмигрантской волны». К сожалению, в нашей стране В. С. Яновский известен пока лишь как автор одной-единственной книги: «скандальных» воспоминаний «Поля Елисейские», продолжающих традиции беллетризованных мемуаров Георгия Иванова «Петербургские зимы». Между тем В. С. Яновский является автором более десяти романов, множества рассказов, публицистических статей и эссе.

Покинув Россию четырнадцатилетним подростком, проведя всю свою жизнь на чужбине, перейдя в конце своей писательской карьеры на английский, Василий Яновский вынес из России «ровно столько, чтобы отравить себе безмятежное су-

---

[1] Варшавский В. С. Незамеченное поколение. Нью-Йорк. Издательство имени Чехова, 1956. С.183.

ществование на трезвом Западе» и навсегда остаться глубоко русским человеком, сохранившим верность великой русской культуре и русскому языку, тому «звучному и варварскому, мощному и необъезженному языку», на котором написаны лучшие его произведения.

Первые прозаические опыты Яновского относятся ко времени его пребывания в Варшаве, куда он прибыл в 1922 году, нелегально перейдя вместе с отцом и двумя сестрами советско-польскую границу. В Польше он пишет несколько рассказов (некоторые из них были опубликованы в варшавской газете «За свободу!») и автобиографическую повесть «Колесо» — своеобразный «роман-воспитание», в котором показаны трагические судьбы детей «испепеляющих годов» Гражданской войны и военного коммунизма.

Проведя несколько лет в Польше, в середине двадцатых Василий Яновский переезжает во Францию и поселяется в Париже — городе, которому суждено было сыграть особую роль в его судьбе. Неповторимая атмосфера Парижа двадцатых-тридцатых годов (магический воздух свободы, «чудесным образом преображающий жизнь в целом, будничную и праздничную, личную и общественную, временную и вечную» («Поля Елисейские»), — воздух, о котором в конце жизни писатель вспоминал с щемящим чувством ностальгии), взаимообогащающее общение с собратьями по перу, молодыми русскими литераторами, завсегдатаями монпарнасских кафе, готовыми до утра рассуждать о блаженном Августине, Достоевском, Блоке, о «Закате Европы» Шпенглера, яростно спорить, перескакивая с одной темы на другую, о литературных новинках, свежем «четверговом» выпуске «Последних новостей», о политике, религии, философии, России и пр., и пр.; — открытость, при всей приверженности отечественной культурной традиции, опыту общемировой культуры, новейшим веяниям западного искусства, — все это во многом сформировало эстетическое сознание Василия Яновского и определило своеобразие его творчества.

Вскоре после переезда во Францию Яновский втягивается в бурную жизнь русского литературного Парижа: сближается с поэтами-монпарнасцами Борисом Поплавским, Валерианом Дряхловым, Виктором Мамченко, Павлом Бредом (этот экзотический псевдоним принадлежал весьма эксцентричному поэту-

дилетанту Павлу Горгулову, который прославился не своими стихами — откровенно бездарными, судя по единодушным отзывам современников, — а бессмысленным убийством французского президента Поля Думера); выступает с чтением своих произведений на литературных собраниях «Союза молодых писателей и поэтов» и разного рода художественных вечерах; заводит знакомства среди эмигрантских писателей «старшего» поколения. Особенно значимым для начинающего писателя было знакомство с Георгием Викторовичем Адамовичем, общепризнанным законодателем мод на Монпарнасе, мэтром молодых парижских литераторов, которого, как позже подчеркивал Яновский, «в первую очередь надо благодарить за возникновение и развитие особого климата зарубежной литературы».

Продолжая свои литературные занятия, Яновский поступает на медицинский факультет Сорбонны (в 1937 году он получает степень доктора медицины). До конца жизни прозаик совмещал писательскую деятельность с врачебной практикой. Избранная профессия повлияла на формирование творческого «я» писателя, пожалуй, не в меньшей степени, чем философия высоко почитаемых им Н. Ф. Федорова и А. Бергсона или проза Селина и Кафки. Врачебный опыт наложил глубокий отпечаток на многие произведения Яновского и обусловил характерные особенности его творческой манеры: откровенные, без боязни слов натуралистические описания, пристальное внимание к физиологии человека (то, что в рецензии на одну из книг Яновского Михаил Осоргин назвал «клиническим нецеломудрием»), жесткая правдивость в освещении таких сторон человеческой жизни, как насилие, голод, страх, физические страдания, парализующие духовное «я» человека, и т. п.

Эти черты уже в полной мере проявились в повести «Колесо», одной из главных тем которой стала «спокойная, бесстрастная жестокость мира», безжалостно калечащая людские судьбы. В 1930 году, при содействии М. А. Осоргина, повесть вышла отдельной книгой в издательстве «Новые писатели» и была переведена на французский язык, получив заглавие «Sachka L'Enfant qui a Faim». В центре повествования «Колеса» — судьба рано осиротевшего мальчика Саши, попавшего, как и тысячи его сверстников, под беспощадное колесо революции. Ввергнутый в кровавый хаос Гражданской войны, обреченный, в условиях всеобщего одичания и разгула низмен-

ных страстей, на отчаянную борьбу за существование, он не раз оказывается в критических ситуациях, из которых далеко не всегда выходит без внутренних потерь. Так, например, доведенный до крайней нужды, он связывается с компанией карточных шулеров, а один раз чуть не совершает убийство с целью ограбления. Как отмечал один из рецензентов, «инстинкт звериного самосохранения душит человеческие порывы его мягкой и в известном смысле даже музыкальной души»[1]. Однако, несмотря на все жизненные тяготы и потрясения, несмотря на постоянные столкновения с людской подлостью и жестокостью, мучительно взрослеющий герой «Колеса» преодолевает в себе низменное, животное начало и, наряду с «каким-то смутным стремлением пострадать за правду»[2], сохраняет человечность и веру в добро.

В образе Саши очевидны автобиографические черты, хотя о полном слиянии автора со своим героем говорить не приходится: писатель выдерживал по отношению к нему должную дистанцию и, неосознанно соблюдая бахтинское правило «любящей вненаходимости», сохранял автономность эмоционально-оценочной авторской позиции. Именно это позволило ему добиться в трагической, исповедальной по своему внутреннему напряжению повести художественной убедительности и психологической достоверности, избежав малейшего намека на дешевый мелодраматизм и наивно-прямолинейный авторский субъективизм.

Этого, увы, нельзя сказать о второй книге писателя, романе «Мир» (Берлин, 1931), повествующем о беспросветном существовании опустившихся русских эмигрантов, после разрыва с родиной не сумевших найти себе место в жизни и затерявшихся в «сорных лабиринтах» большого современного города (в обобщенном образе которого едва угадываются приметы Парижа). «Беспорядочность, нищета и физическая грязь этой жизни соответствует беспорядку, нищете, грязи духовной в героях Яновского, — писал в своей рецензии на «Мир» Владислав Ходасевич. — Все они (или почти все) озлоблены, истеричны <...>. Их мелет жернов исторических событий, в кото-

[1] Зайцев К. «Новые писатели» о советских детях // Россия и славянство. 1930. 22 февраля. С. 3.

[2] Там же.

рых повинны все и потому никто не ощущает повинным себя. <...> Их действия так же разрозненны, бессмысленны, беспорядочны, сумбурны, как возбудители этих действий — тела и души. В душах — хаос, смятение, приливы жалости и жестокости, в телах — темная, неотвязная похоть, которая во все вмешивается и все уродует»[1].

Обилие натуралистических описаний (по нынешним меркам, впрочем, вполне невинных), многочисленные психологические неувязки и, главное, постоянные срывы в стиле обусловили появление целого ряда разгромных рецензий. Особой свирепостью отличился Владимир Сирин (Набоков), оставивший от романа Яновского — «скучного, шаблонного, наивного, с парадоксами, звучащими как общие места, с провинциальными погрешностями против русской речи, с надоевшими реминисценциями из Достоевского»[2] — вы сами видите, буквально «рожки да ножки».

В отрицательной оценке этого романа, «сумбурного и недоделанного», по мнению М. А. Осоргина, были единодушны даже такие антиподы, как В. Ходасевич и Г. Адамович. Последний, назвав «Мир» «книгой неискусной, но серьезной», в качестве ее главных недостатков выделил «авторское многословие и пустословие», «склонность к грубым мелодраматическим эффектам и контрастам», «готовность по любому поводу ставить и разрешать мировые загадки»[3].

Ходасевич особенно резко высказался по поводу утомительных религиозно-метафизических споров и откровенно «книжных» философских дискуссий, загромождавших повествование: «Герои Яновского философствуют — и их философствования с первой же до последней минуты поражают своим убожеством»[4]. В то же время он попытался объяснить «архитектурные недостатки» романа — размытость едва намеченной фабулы и относительную автономность различных эпизодов. По мнению критика, все это было согласовано с главной идеей произведения и отчасти даже выражало ее: «Мир» Яновского не представляет собою того замкнутого,

---

[1] Ходасевич В. Рец.: «Мир» // Возрождение. 1932. 28 января. С. 3.

[2] Сирин В. Волк, волк! // Наш век. 1932. 31 января.

[3] Адамович Г. Рец.: «Мир» // Современные записки. 1933. № 52. С. 457.

[4] Ходасевич В. Цит. соч.

целостного мирка, каким обычно является нам литературное произведение. Напротив, по мысли автора, это — как бы случайный кусок того неизмеримо большего, что зовется миром просто, без кавычек, и что простирается бесконечно далеко за пространственные и временные границы романа. <...> В то время как в «нормальном» романе показаны все завязки и все развязки, все причины и следствия, Яновский показывает нам ряд событий, служащих развязками того, что происходило еще до начала романа <...>: узлы, завязанные в романе, оставляет он неразвязанными. <...> Мы видим следствия, не зная причин, и наблюдаем причины, следствия которых так и останутся нам неизвестны. <...> По мысли автора, архитектурные недостатки романа призваны отразить в себе архитектурные недостатки самого мироздания»[1].

Несмотря на резкость критических замечаний, оба рецензента указывали на «несомненную одаренность» (В. Ходасевич) молодого писателя и отметили, что «рядом с бутафорской мудростью есть в его книге и удивительные черты: настоящее знание людей, настоящее, живое чувствование людского страдания» (Г. Адамович).

Теме людского страдания — одиночества, нищеты, нравственной деградации в условиях одуряюще монотонного труда за кусок хлеба — посвящены и многие довоенные рассказы Яновского: «Тринадцатые», Документ», «Рассказ медика», «Розовые дети», «Вольно-американская» и др. «Нарочитость физиологических нагромождений»[2], авторский интерес к «тухлой экзотике» городских трущоб и окраин, к низменному, «подпольному» миру человеческой души, настроения отчаяния и нигилистического отрицания «бессмысленного балагана» жизни, пронизывающие «Мир» и большинство рассказов Яновского, создали ему репутацию последователя Арцыбашева и Леонида Андреева, не способного к глубокому осмыслению и творческому преображению действительности.

Этой нелестной репутацией во многом был обусловлен весьма сдержанный прием следующей книги писателя, повести «Любовь вторая» (Париж, 1935), в которой он попытался преодолеть трагическую безысходность прежних писаний, взяв

[1] Ходасевич В. Цит. соч.

[2] Савельев С. [Шерман С.] // Современные записки. 1936. №62. С. 444.

тему религиозного преображения. По общему приговору критиков (отметивших «напористую талантливость»[1], «внутреннюю серьезность», «сердечную правдивость и глубокую человечность»[2], с которой была написана повесть) с темой этой Яновский не справился, — прежде всего, потому, что духовное просветление главной героини (бедной девушки-эмигрантки, прошедшей суровую жизненную школу одинокого и полунищего существования на чужбине) было изображено психологически неубедительно и оставляло впечатление авторского насилия над материалом: «Религиозный экстаз героини Яновского едва ли обоснован с достаточной художественной убедительностью. Правда, тема религиозного возрождения — чрезвычайно трудная, неудавшаяся даже таким великим мастерам, как Достоевский: выхода нет, но герой берет Евангелие и с ним уходит — за пределы литературы. Неуловимая граница между художественным творчеством и религиозной тенденцией стирается, а между тем именно в умении найти здесь тончайшую меру и должно заключаться искусство»[3].

Несмотря на очевидную авторскую неудачу, «Любовь вторая» ознаменовала перелом в художественном сознании и мировоззрении писателя, отразила его стремление выйти из тупика бесплодного нигилизма, выразила потребность «обрести нечто, не убегающее, не скользящее вместе со всей окружающей мнимой действительностью», «найти спасительный клапан, пусть мнимый, но все же дающий людям возможность существовать».

Подобным «спасительным клапаном» для В. Яновского стала его деятельность в религиозно-философском обществе «Круг», которое было организовано в 1935 году по инициативе И. И. Фондаминского, мечтавшего о возрождении духовного союза русской интеллигенции и основании нечто вроде «ордена воинов-монахов, пламенно верующих в правду христианского учения и готовых на жертву и подвиг для освобождения России»[4].

---

[1] Осоргин М. Рец.: «Любовь вторая» // Последние новости. 1935. 11 июля. С.3.

[2] Ходасевич В. Рец.: «Любовь вторая» // Возрождение. 1935. 22 августа. С. 3.

[3] Волошин Г. Рец.: «Любовь вторая» // Современные записки. 1935. №59. С. 476.

[4] Бунаков И. [Фондаминский И. И.] Пути освобождения // Новый град. 1931. № 1. С. 47.

Как и замышлял Фондаминский, «Круг» стал местом встречи двух эмигрантских поколений и в какой-то степени помог преодолеть отчуждение «эмигрантских сыновей» — литераторов-монпарнасцев, увлеченных учением гностиков и склонных «толковать христианство в духе восточного дуализма, отрицающего мир и историю»[1] — от «отцов», среди которых тон задавали близкие «Новому граду» Г. П. Федотов, К. В. Мочульский, мать Мария, Н. А. Бердяев и другие мыслители, исповедующие идеалы социально-активного, творческого христианства. «В сущности, «Круг» был последней эмигрантской попыткой оправдать вопреки всему русскую культуру, утвердить ее в сознании как европейскую, христианскую, родственную Западу. И на этом поприще одинаково подвизались наши прустианцы и почвенники, евразийцы и неославянофилы» — такую высокую оценку Яновский дал «Кругу» в своих мемуарах «Поля Елисейские», опубликованных почти полвека спустя после образования этого интеллигентского «ордена». Именно здесь, во время взаимообогащающего творческого диалога двух эмигрантских поколений, в атмосфере типично русских споров «до дна» о едва ли не всех «проклятых вопросах человечества», и происходил мучительный процесс духовного и творческого возмужания молодого писателя, очень скоро сумевшего сделать рывок в своем творчестве и, преодолев узкие рамки «арцыбашевского» натурализма, подняться до полноценного художественного осмысления «цветущей сложности» жизни.

Идеологические установки «Круга» и «Нового града», равно как и философские концепции Анри Бергсона и Н. Ф. Федорова (знакомство с работами этих мыслителей оказало огромное влияние на мировоззрение писателя), легли в основу наиболее значительного довоенного произведения Василия Яновского, романа «Портативное бессмертие». Рассказывая о борьбе идеального содружества (полумонашеского ордена Верных) не много не мало — за нравственное возрождение человечества и установление Царства Божия на земле, автор романа затронул важную проблему: о способах достижения этой цели. Один из Верных, «современный Савонарола» Жан Дут, изобретает особые Омега-лучи, лучи любви, при попадании в зону действия которых все живое «подвергается чудесному влия-

[1] Варшавский В. С. Незамеченное поколение... С. 294.

нию, претерпевает райское изменение». Однако у Жана Дута и его единомышленников, считающих, что наука и техника могут и должны способствовать установлению царства божественной гармонии и всеобщего счастья, появляется яростный противник, член того же общества Верных Свифтсон. С точки зрения Свифтсона и немногих его сторонников, для утверждения христианских идеалов нельзя пользоваться никакими другими методами, кроме религиозной проповеди: настоящее духовное преображение человечества возможно лишь с помощью самостоятельной внутренней работы каждого человека. Механическое воздействие на человеческую душу (пусть и осуществляемое с благими намерениями) воспринимается им как насилие, лишающее человека свободной воли. Как проницательно указывал В. С. Варшавский: «Это осуждение опыта Жана Дута равняется, в сущности, осуждению всей демократической и технологической цивилизации, так как несомненно, что под видом чудодейственных лучей в романе аллегорически изображен современный машинизм, способный при соответствующей социально-нравственной реформе привести не к «производству» любви, конечно, а к устранению материальных препятствий, обрекающих людей на подчинение законам звериного существования и мешающих освобождению любви, заложенной в глубине сердца каждого человека»[1].

Говоря о «Портативном бессмертии», стоит заметить, что трогательно-беспомощная утопия о преображении человечества «лучами любви», воскрешающая в памяти ветхозаветные пророчества Исайи о грядущей на нашей многогрешной земле абсолютной гармонии — о волке, мирно лежащем возле ягненка, младенце, беспечно играющем над норой аспида, — захватывает лишь периферию сюжета. В центре авторского внимания — мятущаяся душа неприкаянного русского эмигранта, представителя «святого рыцарства» мечтателей, «шатунов-неудачников, художников», мучительно переживающего ущербность своего одинокого «я», утратившего смысл жизни, покинутого среди враждебно равнодушного мира «других», — человека кризисной предвоенной эпохи, подсознательно ощущающего симптомы близкой катастрофы привычного мироуклада.

[1] Варшавский В. С. Незамеченное поколение... С. 265.

И философская проблематика, и формально-композиционные особенности романа свидетельствуют о возросшем писательском мастерстве Яновского, сумевшего творчески усвоить и переработать разнородные литературные влияния. По мрачному колориту отдельных эпизодов, в которых с беспощадной правдивостью показаны конвульсии большого города (символ бездуховной европейской цивилизации XX века) и призрачная, бессмысленая жизнь его обитателей, задавленных рутиной монотонного труда и убожеством обывательского быта, «Портативное бессмертие» родственно многим выдающимся произведения французской литературы того времени, прежде всего — романам «Путешествие на край ночи» Л.-Ф. Селина и «Тошнота» Ж.-П. Сартра. Из русских произведений, не только созвучных тематике «Портативного бессмертия», но и повлиявших на его генезис, стоит отметить в первую очередь романы Ф. М. Достоевского[1] и скандально прогремевшую в литературном мире русского Парижа «поэму в прозе» Георгия Иванова «Распад атома». С последним произведением роман Яновского роднит мощная лирическая стихия, зачастую размывающая традиционные жанровые рамки, бесфабульное построение, обилие эмоциональных лирических монологов и философских медитаций героя-повествователя, чьи раздумья и воспоминания, сопровождающиеся прихотливыми ассоциативными скачками и временными наплывами, представляют собой как бы мгновенные мысленные срезы мирового бытия и человеческой истории. Растворяя в себе приметы конкретной реальности, они неимоверно расширяют духовные координаты пространства и

[1] О влиянии художественного мира Достоевского на автора «Портативного бессмертия» вполне определенно указывал Г. Адамович, откликнувшийся на нью-йоркское издание романа: «Тень Достоевского витает над этой книгой. Насколько мне помнится, Яновский Достоевского недолюбливает и признать себя его учеником отказался бы. Литературной преемственности и в самом деле нет. Но есть связь эмоциональная, и когда Яновский пишет,например, о двух вертикальных складках над глазами Лоренсы, при виде которых хотелось «неутешно зарыдать и в чем-то покаяться», ряд схожих замечаний Достоевского, со столь же характерным для него страдальческим восприятием физической прелести, проходит в памяти: «узкий мучительный следок» и прочее, в том же роде» (Новое русское слово. 1953. 24 мая. С. 8).

времени, сопрягая в единое целое сиюминутные впечатления и образы далекого прошлого.

Роман «Портативное бессметие» появился в печати перед самой войной и, по сути, остался незамеченным и эмигрантскими читателями, и критиками: «тень Гитлера уже падала за Рейн», «в воздухе пахло кровью», и русскому литературному Парижу, доживавшему свои последние дни, было совсем не до утопий о младенце и аспиде, мирно уживающихся друг с другом. Исключением был отклик Г. Адамовича, присяжного критика газеты «Последние новости», по долгу службы вынужденного знакомиться со всеми новинками эмигрантской литературы. Как всегда, с оговорками признав подлинность и самобытность писательского дарования Яновского («Яновский — писатель подлинный, но писатель коробящий и, к сожалению, иногда гениальничающий. Подлинность, однако, перевешивает...»), Адамович сочувственно отозвался о произведении в целом, забраковав, правда, финал, где, по его мнению, автор «сбивается на довольно-таки легковесную утопию, с чисто внешним одушевлением и бойкой внешней занимательностью»[1].

* * *

Во время Второй мировой войны Василий Яновский навсегда покидает Европу. За день до подхода немцев, двенадцатого июня, писатель уезжает из обреченного Парижа. Преодолев неимоверные трудности, ему удалось перебраться на территорию свободной зоны, в Монпелье, далее — в Касабланку (Марокко), откуда в июне 1942 года на борту португальского парохода он отплывает в США.

Очутившись в Америке, Яновский, как и многие русские эмигранты, приехавшие туда из залитой кровью Европы, был, по его собственным словам, «потрясен» — настолько разительно отличались привычки, психология, образ жизни и культурные традиции американцев от европейских (а тем более — русских!). Ко многому, в том числе и к жесткой духовно-интеллектуальной изоляции, неизбежной после отрыва от прежнего культурного окружения, приходилось мучительно

[1] Адамович Г. Литература в «Русских записках» // Последние новости. 1939. 1 июня. С. 3.

приспосабливаться и привыкать. «В Америке всем нам предстояло выдержать еще раз экзамен, — пишет Яновский в своей «книге памяти» «Поля Елисейские». — Задача заключалась в том, чтобы сохранить личную классификацию при общей ревизии ценностей. И впервые за мною не было ни кружка, ни общества, ни другой объединяющей силы».

Вакуумное состояние интеллектуального одиночества, в котором, подобно многим русским эмигрантам, оказался Яновский, помогла преодолеть работа в экуменическом обществе «Третий час», возглавляемом известным публицистом русского зарубежья Еленой Александровной Извольской. Вместе с Извольской, теософом Ирмой Владимировной де Манциарли, композитором Артуром Лурье и бывшим лидером «младороссов» Александром Львовичем Казем-Беком (после войны уехавшим в СССР и благополучно устроившимся там при московской патриархии) Яновский принял активное участие в организации этого религиозно-философского общества. С 1946 года при «Третьем часе» выходил одноименный журнал, в котором было опубликовано несколько статей Яновского (в журнале также печатались работы Н. Ф. Федорова, Н. А. Бердяева, Пьера Тейяра де Шардена, Жана Маритена и других выдающихся европейских мыслителей).

Активно сотрудничая с «Третьим часом», Яновский пишет свой первый «американский» роман. В нем в притчевой форме осмысляется проблема нравственного конформизма, и с помощью фантастического сюжета и элементов гротеска говорится о пагубности душевного самоуспокоения и духовной энтропии, приводящей человека к забвению своего высшего, «божественного» предназначения, к измене своему подлинному «я».

В сюжетную основу романа-притчи, получившего название «Американский опыт», положено фантастическое происшествие в духе гоголевского «Носа»: главный герой, эмигрант из Европы Боб Кастэр, в одно прекрасное утро обнаруживает, что за ночь он превратился в негра. «Оригинальная катастрофа» в корне меняет жизнь Боба Кастэра, заставляя его по-новому взглянуть на себя и других людей, вынуждая отчаянно бороться за внутреннюю независимость и целостность своей личности: хлопоты из-за изменившейся расы и пошатнувшегося социального статуса постепенно перерастают в борьбу за свое подлинное лицо. Во время этой борьбы герой Яновс-

кого с большим трудом преодолевает соблазн «сладкого компромисса», не позволяет себе покориться судьбе и застыть там, куда поставили его фантастические обстоятельства и условности американского общества (не менее фантастические, с точки зрения европейского интеллектуала), в адрес которого в романе было высказано немало критических замечаний.

«Мы, американцы, не любим искусства, не желаем его, не знаем, как за него приняться. Как воспитанные люди, иногда притворяемся, но неохотно. Вот техника это другое дело. Даже в искусстве: skill, ремесло, мастерство, это мы понимаем и ценим. То, что можно увидеть, ощупать, подсчитать, за это мы платим деньги. Взять рисунок под лупу или микроскоп, увидеть, что там тысячи штрихов: это skill! Отпечаток пальцев преступника, психоанализ, где выслеживают человека по снам, как замечательно: одновременно наука и фокус. Такое мы любим, понимаем. Но поэзия нам чужда и враждебна; чувствуем себя дураками, и самолюбие страдает. Признанных гениев, Пруста, Пикассо, Ван Гога, мы покупаем: так принято, риска никакого. Но современная Америка сама дать жизнь Артюру Рембо или Кафке, то есть тайне вне разума, не в силах и, главное, не желает. Наш основной критерий: успех, и притом немедленный, земной» — так, в припадке пьяного откровения, рассуждает один из героев «Американского опыта», жуликоватый адвокат Прайт, чуть было не упрятавший несчастного Боба Кастэра в лечебницу для умалишенных. Подобных «антиамериканских» пассажей в романе было достаточно много (во всяком случае, достаточно, чтобы напрочь отбить охоту у потенциальных американских издателей и переводчиков).

«Американский опыт» имел трудную издательскую судьбу. Во время печатания в «Новом журнале» он подвергся яростным нападкам многих сотрудников журнала, из-за чего главный редактор, М. Карпович, вынужден был приостановить его публикацию, которая в результате растянулась почти на три года[1]. Отдельной же книгой роман вышел только в 1983 году в нью-йоркском издательстве «Серебряный век».

Не лучшей была участь и других произведений Василия Яновского. «Портативное бессмертие», выпущенное в 1953 году Издательством имени Чехова, вызвало незаслуженно пренебре-

---

[1] См.: Новый журнал. 1946. № 12-14; 1947. № 15; 1948. № 18, 19.

жительные отзывы эмигрантских критиков, один из которых, В. А. Рудинский, назвал роман «претенциозной, пошлой и антихудожественной книжкой» (при этом, разумеется, не утруждая себя хотя бы элементарным анализом, подтверждающим подобную оценку) и высказал мнение, что для издательства и для литературной репутации писателя «было бы лучше, если бы этот опус не появился в свет»[1]. Роман этот так и не нашел своего читателя — тираж его был сожжен.

Не вызвала широкого отклика и повесть «Челюсть эмигранта» — безусловно, одна из лучших вещей писателя, созданных им в Америке. Подобно «Портативному бессмертию», она представляет собой образчик «бурной, размашистой лирической прозы», не скованной сквозной сюжетной интригой. И если в романе фабульные, причинно-следственные элементы, пусть и в предельно размытом виде, все же имели место, то здесь повествование развивается по принципу свободных ассоциативных скачков и ретроспективных временных переходов; внешне хаотичное, оно сохраняет цельность только благодаря эмоционально-психологическому единству авторского сознания, нашедшего воплощение в условной фигуре главного героя. Дистанция между ним и автором минимальна. И дело тут не только в совмещении психологической, пространственно-временной и эмоционально-оценочной точек зрения и в частом совпадении автора и героя как субъекта речи, — сам «тон повествования, запальчиво-страстный, возбужденный, насмешливо-гневный, обмануть не может: так люди говорят только о себе»[2].

Как и предыдущие произведения Яновского, «Челюсть эмигранта» отличается глубиной философской проблематики и напряженностью ярко выраженных миросозерцательных и религиозных устремлений автора, развивающего, под влиянием философских взглядов А. Бергсона о времени, концепцию «линейной» и «вертикальной» памяти. «Линейная память — это то, что связано с ассоциациями непосредственно. Вы видите, например, красный цветок, и вы вспоминаете красное бальное платье, скажем, любимой девушки. Это все линейная память,

[1] В. Р. [Рудинский В. А.] Рец.: «Портативное бессмертие» // Возрождение. 1957. №63. С. 125.

[2] Адамович Г. «Челюсть эмигранта» — повесть В. Яновского // Новое русское слово. 1957. 8 декабря. С. 8.

которая никуда не ведет. В общем, память Пруста, связанная с ассоциациями. <...> Вертикальная память — это тоже память ассоциативная, но ассоциации здесь из какой-то тайной, оккультной жизни, которую душа вела, может быть, до настоящего существования. Мне не хочется входить в вульгарные теософские сферы, и я не об этом говорил и думал, но я считаю, что есть какое-то воспоминание, как бы сказать, начальное воспоминание, то, что я называю Протопамятью. Где-то у меня сказано, что Протобог создал Протомир из Протопамяти. Память — это София, Святая София, Премудрость Божья, в конце концов, связанная с Логосом», — так пояснял Яновский свое понимание «двойной» памяти в интервью журналу «Гнозис»[1].

Концепция «вертикальной памяти», родственная платоновскому учению об анамнезисе, привлекла внимание философа Ф. А. Степуна, откликнувшегося на книжное издание «Челюсти эмигранта». В своей рецензии он попытался раскрыть своеобразие творческой манеры писателя, отпугивавшей иных читателей и критиков: «Одиночество Яновского, которого широкая публика не понимает, а потому и не читает, связано, прежде всего, с тем, что его творчество чуждо основной традиции русской литературы: Толстой, Тургенев, Гончаров, Чехов, Бунин. Романы и повести Яновского не отличаются ни стереоскопической пластичностью описаний внешнего мира, ни углубленным исследованием человеческих душ, он не бытовик и не психолог. По заданиям своим Яновский ближе всего к Достоевскому: как и Достоевского, его интересует не отображение видимого, а постижение невидимого мира. <...>В «Челюсти эмигранта» много скорбных раздумий о мире и жизни, много искренней религиозной взволнованности. <...> Спорить можно о том, почему Яновский сложный мир своих раздумий и скорбей, описанных им образов и рассказанных событий настойчиво связывает с зубоврачебным сюжетом больной эмигрантской челюсти, что придает его повести характер назойливого кошмара»[2].

Как бы там ни было, но в «Челюсти эмигранта» (произведении, где были выработаны композиционные и повествовательные принципы «Полей Елисейских») Яновскому удалось

[1] Антология Гнозиса. В 2 т. СПб., 1994. Т. 1. С. 333.

[2] Новый журнал. 1958. № 54. С. 296.

гармонично соединить образно-символический язык художественной прозы с глубокими мировоззренческими обобщениями и памфлетно-публицистическими отступлениями на животрепещущие социально-политические и нравственно-философские темы.

Подобный синтез не удался писателю в его следующем крупном произведении, романе «Заложник»[1], где философско-этические доктрины писателя и его стремление к концептуальному анализу метафизических проблем бытия вступают в противоречие с установкой на авантюрную занимательность. При наличии концентрической, центростремительной фабулы (члены тайного международного общества «Союз ревнителей» разрабатывают утопический проект нападения на один из северных советских концлагерей с целью освобождения томящихся в нем заключенных, в том числе и бог весть как оказавшегося там Жана Дута) столь излюбленные Яновским лирико-публицистические отступления и исторические экскурсы (об экспедициях Васко да Гамы и «Варфоломея Диаца», Земле Санникова, о полярных одиссеях Амундсена, Нансена и капитана Скотта) выглядят инородными телами, некстати замедляющими развитие действия. В ситуации, когда авторские суждения превалируют над изображением, а идеи перевешивают образную завершенность героев (именно этим грешит «Заложник»), очевидными становятся недостоверность сюжетных мотивировок, психологическая и художественная неубедительность многих эпизодов.

Так, в начале романа положительный (по идее автора) главный герой, выполняя поручение «Союза Ревнителей» (стремящегося «наказать коренным образом военных преступников»), «ликвидирует» малолетнюю дочь Мартина Бормана (в действительности он убивает другую девочку, подставленную хитроумными охранниками партайгеноссе); даже во время убийства (которое как-то плохо увязывается с дальнейшими альтруистическими планами по освобождению узников советских лагерей) сознание протагониста загромождено тяжеловесными «философскими» рассуждениями: «Без усилия упирался в подушку и лениво думал: «Бурый свет; в детстве приходилось то-

[1] Опубликован в сокращении: Новый журнал. 1960. № 60, 61; 1961. № 62, 63.

пить приплод котят или щенков: жалко, а помочь нельзя. Ведь так? Соображать нужно, когда отмеряешь, а потом колебаться зазорно. Вообще, размышлять грех, это сказал Тертуллиан. А у Декарта: когито эрго сум... прошло еще несколько веков, — от ветра полощутся занавески. И теперь кажется: coire — ergo sum», — Адриан улыбнулся своим мыслям». Благодаря подобным сценам роман оставляет привкус художественной фальши.

* * *

После обескураживающей неудачи с «Заложником» (не нашедшего положительного отклика в эмигрантской прессе[1]) связи Яновского с литературным миром русского зарубежья

[1] Если не считать обтекаемую рецензию В. Завалишина, наговорившего Яновскому немало комплиментов («Яновский — писатель с собственным лицом. Художник, которого можно узнать по творческому «почерку», по индивидуальной манере письма»), однако указавшего на серьезные недостатки романа. По мнению критика, роман Яновского «представляет собой крайне необычное соединение социально-политических мотивов с бредовыми ассоциациями или с галлюцинациями героя. <...> Галлюцинации и кошмары показываются автором не приснившимися герою, а случившимися с этим героем наяву. Но в отличие от Гоголя, который заставляет верить в реальность бредового и мистического, Яновский вызывает в читателе известное недоверие, сомнение, скептицизм. <...> Конфликт реальных и сюрреалистических мотивов — отличительная особенность «Заложника». <...> Если в первом плане своего романа Яновский дал романтическую картину эмигрантской жизни, то во втором он пытается определить зависимость эмигрантского бытия от эпохи социальных катастроф и революций. Попытка эта позволяет нам видеть в авторе человека смелой, хоть и мятущейся и не всегда связной мысли. Но в «Заложнике» есть еще и третий план: я бы назвал его не метафизическим, а опасным устремлением в метафизику. Пока что Яновскому не удалось достичь метафизических высот, к которым он стремится. По временам кажется, что Яновскому хочется смести все границы между наукой, верой и искусством, синтезировать их, создать из них нечто единое, целое, неделимое. В «Заложнике» это оказалось ему не под силу» (Завалишин В. Литература и чувство нового // Новое русское слово. 1961. 7 сентября. С. 2).

начинают ослабевать. Убедившись в полном отсутствии «своего» русского читателя, Яновский делает попытку завоевать читателя англоязычного. Следуя примеру Владимира Набокова (к тому времени — прославленного на весь мир автора «Лолиты»), активно издававшего англоязычные версии своих довоенных произведений, Яновский публикует англоязычный перевод романа «По ту сторону времени»[1], ранее отвергнутого главным редактором «Нового журнала» Романом Гулем.

Книга открывалась предисловием доброго знакомого Василия Яновского, англо-американского поэта Уистена Хью Одена[2]: «Роман Яновского движется взад и вперед между «Гиблым местом» какого-то неведомого селения на Севере у границы с Канадой и абсурдным миром, называемым Чикаго или Нью-Йорком. Содержание этого романа типично для «сказочной» темы «героического поиска» и напоминает мне путешествие аргонавтов, поплывших за Золотым Руном. Его Язон — Корней Ямб, судя по рассказу, родился в России и прибыл из Европы в Чикаго, где он подрядился организовать экспедицию, цель которой — разыскать таинственного молодого человека по имени Бруно.<...> Он — наследник огромного состояния. Для хозяев Корнея — это Золотое Руно, существо, которое будет приносить им неизменный доход. Сам Бруно считает себя пророком с новой проповедью для всего человечества, отсюда его готовность оставить селение и ехать с Корнеем в Чикаго. Он помнит, или ему кажется, что он помнит, всю историю Вселенной от сотворения мира до настоящего времени <...>.

В отличие от многих современных книг «серьезного» характера, эта повесть захватывает; читатель постоянно жаждет узнать, что будет дальше! <...> В годы, когда мы все читаем слишком много и слишком быстро, вернейшим доказательством ценности данного романа служит, по-моему, тот факт, что некоторые описанные в нем сцены, после прочтения книги, еще долго живут в памяти. В романе «По ту сторону времени» есть эпизоды <...>, которые я буду помнить всю свою жизнь»[3].

---

[1] No Man's Time. N.Y.: Weibright, 1967; пер. на англ.: И. М. Яновская и Р. Н. Пэррис. На русском роман впервые опубликован в «Новом журнале» (1987. № 166—170).

[2] О своем знакомстве с Оденом Яновский рассказал в эссе «У. Х. Оден» (Звезда. 1993. № 11. С. 145—162).

[3] Новый журнал. 1987. № 166. С. 16—17, 19—20.

В англоязычном литературном мире У. Х. Оден уже тогда, в конце шестидесятых годов, был чрезвычайно авторитетной фигурой — его доброжелательное предисловие могло считаться лучшей рекомендацией для никому не известного в Америке русского автора. В определенном смысле эта рекомендация подействовала. На роман откликнулись литературные обозреватели ведущих американских и английских изданий: «Тайм», «Нью стейтсмен», «Нью-Йорк таймс» — всего около десятка рецензий, что по тогдашним эмигрантским меркам (да и по теперешним российским) могло восприниматься как успех, сенсация. Однако для бездонного книжного рынка США это был сущий пустяк (для сравнения: списки критических отзывов на англоязычные бестселлеры того же Владимира Набокова, «Лолиту» и «Бледный огонь», насчитывают (каждый!) более двухсот наименований). К тому же далеко не все рецензенты разделили энтузиазм У. Х. Одена по поводу романа. И если Анита Лейбовитц расценила «По ту сторону времени» как «наиболее значительную книгу, написанную во второй половине XX столетия»[1], то Сэмюэль Хайнс нашел сюжетное строение романа «неуклюжим и бесформенным, а персонажей — плоскими и неодухотворенными, как игральные карты», с которыми их сравнивает автор в одной из глав[2]. Анонимный рецензент из литературного приложения к лондонской «Таймс», как и Оден, похвалил заключительные главы романа (где дается впечатляющая картина нравственной и духовной деградации главного героя, увязшего в тине повседневной суеты и в погоне за деньгами потерявшего внутреннюю свободу), но в то же время счел, что вся первая часть, содержащая рассказ о приключениях Корнея Ямба в загадочном селении сектантов на канадской границе, «прогибается под тяжестью невразумительных проповедей и утомительных, бессвязных философствований Бруно», что автору «в конечном счете не удается увлечь читателя»[3].

Чуть более благосклонно был принят англоязычной критикой следующий роман Яновского, «Of Light and Sounding Brass»

[1] Books. 1967. September.

[2] Hynes S. Strange Journey // New York Times Book Review. 1967. October 8. P. 60.

[3] Village Voice // Times Literary Supplement. 1967. May 25. P. 471.

(N.Y.: Vanguard, 1972; русская версия — «Ересь нашего времени»[1]), хотя, объективно говоря, эта вещь слабее своего предшественника. Не обладая композиционной слаженностью, сюжетной увлекательностью и драматизмом (сюжетные коллизии возникают и разрешаются здесь поистине с водевильной легкостью), «Ересь нашего времени» во многом является перепевом «Челюсти эмигранта» и «По ту сторону времени»: тот же тип протагониста, те же пространные размышления о природе времени и двух видах человеческой памяти, тот же патриархальный мирок глухого селения (на сей раз затерянного где-то на Балканах), куда прибывает главный герой. По прочтении романа остается впечатление, что собственные суждения о мире автору интереснее самого мира и именно поэтому он с чистой совестью превращает главного героя в свой рупор, прибегая к обкатанным сюжетным схемам и шаблонным персонажным типам.

После «Ереси нашего времени» (вышедшего на английском в авторском переводе) писатель создает несколько произведений на английском языке. Роман «Великое переселение» (The Great Transfer. N.Y.: Harcourt, 1974), документально-публицистические книги «Темные поля Венеры[2]. Из докторского журнала» (The Dark Fields of Venus: From a Doctor's Logbook. N.Y.: Harcourt, 1973) и «Медицина, наука и жизнь» (Medicine, Science and Life. N.Y.: Paulist L Newman, 1978) сенсацией не сделались и имели весьма умеренный успех у американских читателей. Как признался в одном из интервью сам Яновский, его книги были «не в их духе, не в их потоке. Они крутят этот объект или субъект, который я фабрикую, они сомневаются, роман ли это, рассказ ли это, то, что я пишу, что с ним делать, есть ли его, нюхать ли?»[3]. Неудивительно, что еще несколько романов, написанных Яновским по-английски, не нашли своего издателя и остались (видимо, навсегда) в писательском архиве, который хранится в Колумбийском университете.

---

[1] Новый журнал. 1995. № 198/199, 200; 1996. № 201, 202.

[2] Так называется тест на определение сифилиса. Написанная в разгар сексуальной революции, книга посвящалась проблеме венерических заболеваний, весьма актуальной для тогдашней «доСПИДовой» Америки. Об этой проблеме В. Яновский мог судить не понаслышке, поскольку долгое время работал врачом-венерологом в одной из нью-йоркских клиник.

[3] Антология Гнозиса... Т.1. С. 332.

Гораздо больше повезло мемуарной книге В. Яновского, которую он начал писать в начале шестидесятых годов. «Поля Елисейские» были переведены на несколько европейских языков и выдержали два издания на русском: сначала в 1983 году в США (издательство «Серебряный век»), спустя десять лет в России (издательство «Пушкинский дом»). Второе издание сопровождалось, кстати, уважительным предисловием Сергея Довлатова, с которым у писателя были приятельские отношения.

«Поля Елисейские» сделали Василию Яновскому литературное имя: оно стало известно всем, кто хоть сколько-нибудь серьезно интересовался литературой русского зарубежья. Книгу эту, что называется, расхватали по цитатам критики и литературоведы; без ссылок на нее, пожалуй, не обходится ни один автор, пишущий о русском Париже двадцатых-тридцатых годов.

При этом мы должны смириться с очевидным фактом: «мемуары» — понятие, с трудом применимое к «книге памяти» Василия Яновского, которая, помимо своей историко-литературной ценности, представляет интерес прежде всего как образец замечательной, изящно-раскованной русской прозы, не считающейся с традиционными жанровыми канонами и подчиняющей прошлое «законам искаженной (личной) перспективы». В своих «мемуарах» Яновский выступает не столько в роли бесстрастного летописца «необыкновенного десятилетия» литературной и культурной жизни русского Парижа, сколько в качестве темпераментного полемиста и критика, смело уничтожающего устоявшиеся литературные репутации и идеологические догмы, в качестве оригинального мыслителя, для которого образы прошлого зачастую служат лишь отправным пунктом для колкого публицистического выпада или философского размышления о глобальных проблемах человеческого бытия.

Безусловно, далеко не со всеми суждениями В. Яновского мы можем согласиться. Некоторые его критические приговоры могут показаться излишне суровыми, иные характеристики — откровенно тенденциозными. Однако бесспорно одно: «Поля Елисейские» обладают той «особой степенью жизненной заразительности», которая, как считал Павел Муратов, придает мемуарам художественную значимость и делает их интереснее любой развлекательной беллетристики: «Хороший мемуарист непременно должен быть наделен этим повышенным чувством

жизни, которая выражается в его отношении, в подходе к вещам, людям и событиям. Он вовлекает нас кратчайшим путем в опыт иной жизни, который становится как бы нашим собственным опытом. Выбор и ритмика слов уступают здесь место выбору и ритмике запомнившихся, записанных, «восстановленных» моментов из той бесконечности их, из которой состоит всякая человеческая жизнь»[1]. И пусть тот же Муратов признавал, что «мемуары, даже прекраснейшие из них, <...> не принято называть произведениями искусства», мы смело можем отнести «Поля Елисейские» к вершинным достижениям русской прозы второй половины XX века, которая, увы, не так уж часто баловала нас бесспорными шедеврами.

Подобная высокая оценка применима не ко всем произведениям Василия Яновского — художника крайне неровного, чью творческую эволюцию следует представить не благополучной параболой, а хаотично-ломаной линией. Тем не менее лучшие вещи писателя обладают достаточно мощным зарядом творческой энергии, чтобы увлечь, зацепить за живое заинтересованного читателя, заставить его забыть обо всем на свете, пока он не доберется до финальных строк. А это верный залог того, что произведения Яновского найдут сочувственный отклик у российских книгочеев и выдержат испытание временем. Во всяком случае, хочется надеяться на то, что Россия, пусть и с опозданием, откроет для себя еще одного интересного художника — самобытного мыслителя и писателя, принадлежавшего, по его собственным словам, к «русским мальчикам, идеалистической молодежи с седыми висками, которая готова еще бороться и бунтовать и мечтает о каких-то идеальных условиях жизни»[2].

Николай Мельников

---

[1] Муратов П. Искусство прозы // Лепта. № 37. 1997. С. 205.

[2] Антология Гнозиса... Т. 1. С. 333.

Портативное бессмертие

Он имел одно видение.

А. Пушкин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КАПИТАНЫ

Tremble vieille carcasse, mais avance.

Turenne

1

Дневные сны особенные: по тяжести, неудовлетворенности, смертоносности. Словно опьяняющее средство, при помощи которого люди иногда стараются познать грядущее... и хотя часть истины порой открывается таким путем, но она имеет мучительный привкус хрупкости и обреченности. То же с дневным сном. Он покаянно тревожен, погружает в недра сожаления, отчаяния (оттого ли, что не положено спать, вся жизнь наизнанку и ускользает или еще другое?). Мне нравилась всегда эта щедрая печаль, обостренное ощущение медленной, неуклонной утраты, — дневного, предвечернего сна: лежишь на дне глубокой реки и смотришь не мигая чрез ртутные бесплодные воды. Мне снился часто повторяющийся сон: лежу открытый, внутренно беззащитный, а дверь медленно отворяется (или она осталась незахлопнутой), и кто-то стал на пороге, заглядывает, входит. Надо проснуться, надо немедленно проснуться: иначе гибель (откуда эта вера)! Но проснуться циклопически трудно (в сущности: не сплю), нужно воспрянуть, шелохнуться, крикнуть, вернуться к знакомым формам жизни. Ох, как тяжко, — ни шевельнуться, ни замычать, ни взглянуть даже! А опасность столь очевидна: открыт, безгласен в присутствии — врага. Лежишь пластом, живым, но точно в минеральном царстве, все отчаянные, сердце рвущие потуги ни к чему, а ими ведь еще измеряется биологическая мощь. (Когда-нибудь воли очнуться не хватит или не будет уже столь непонятно-безусловным, что сделать это надо, либо опротивеет, наконец, всегдашнее цепкое слепое возвращение: тогда конец, — судя по чувству, — гибель). С некоторого времени я начал бороться, превозмогать неопределенный страх, искать разумное обоснование, — «ну пускай вошел, что же со мною сделают, что будет дальше, побори крабий инстинкт», — и по этому рассудочному, ослабляющему, тормозящему первичную защиту

колебанию я узнаю: часть большого пути уже пройдена... Я делаю усилия, атавистические (в холостую, — как кролик в камере с выкачанным воздухом, что все еще бьет впалыми боками), и в последнюю минуту, уже просыпаясь, вдруг вспыхивает на мгновение какой-то прожектор в мозгу, зажигается, конусом вырывая, освещая, — на деление глубже, дальше. И это состояние по ткани своей и по продолжительности так относится ко сну, который оно завершает, как сон в целом, — ко всей предшествовавшей ему жизни. Но в этот раз, еще прежде чем ужас достиг тех биологических границ, за пределами которых либо возвращение, либо смерть, в мое «спящее» сознание начало вплетаться что-то новое, — звуки, чувства, — беспричинное, со стороны: убаюкивает, сладостно обещает и клянется (изнемогая заранее от невозможности выполнить обещанное), грустное, как смена поколений, примиряющее, как последняя любовь, открывающее темные земные недра и помогающее устоять до конца; нечто пленительно-благородное, смертельно-нежное, мужественное в обреченности своей, тленное, как всё прекрасное, вещающее пусть о коротком, непрочном, но и вечном счастье, — все лилось в мою душу, плавило ее, топило в пламени слез. Умиляясь самому себе, возвышенному состоянию, доступному еще мне и бесплатному развлечению, нежданно предложенному, я лежал некоторое время в сумерках, принюхиваясь, слушая, стараясь словно вклиниться в окружающую среду, пока первое колесико не зацепило второе, то следующее, и вот, через мгновение, все еще один раз чудесно-незаметно осветилось, задвигалось и мне открылась комната, диван, на нем я (вот в таком положении), а там весь мир и смугло-металлический женский родной голос, одиноко, негромко зовущий, поющий за окном. Он был грустен этот голос, но поражал не тем (какая же песня не печалит в сумерки), а очевидной (ушеслышной), какой-то горячей своей экзотичностью. Как диск, что поворачивают во все стороны, — темный, но сразу вспыхнет, засияет, отражая вдруг упавший на него луч, — так и голос: глубокий, девственно-смуглый, хрипловато-цыганский, то погасал, оборачиваясь лицом только своего несомненного умения, школы, культуры, то снова загорался, одной нотой мгновенно высекая искры, отражая — о, какое жгучее солнце и холодеющую синь неведомого неба. Крупицы всего этого, — зной, тени, голуби в облаках, — сеялись голосом, лепились в дождливые парижские сумерки. Она пела на каком-то

романском языке. Время от времени, при подъемах, благодаря умелым фиоритурам это походило на оперу, расхолаживая; но вот в слабости, когда голос затихал, обрывался целомудренно, не мощно и вдруг зазвенит, чуть хрипловато, надтреснуто, как лезвие, что наткнулось на кремень, — и душа ответно замирала, вытягивалась, поднималась на цыпочки. Как сладостно вот так вдруг наткнуться на неожиданное и лежать лениво, купая душу во многих ощущениях; подобно путнику в старину, что греет продрогшие члены у камина, — поворачиваться то одной, то другой стороной. Что соблазнительнее тепла постели в защищенной комнате, когда мирной ночью раздается изуродованный страхом вопль: помогите! Я знал цену этому. И всякий раз, когда душа умиленно топилась в любых сложных впечатлениях, я по новому, выработанному (о, какой судьбой) рефлексу, автоматически, не проверяя, старался освободиться, выпрыгнуть — из древнего плена: однажды (навсегда) решив, — порвать с ним. Я пробрался к окну; за ним — дождь. На дне синеющего тупика — две фигурки: о, какой путь они уже проделали под мелким дождем. Капризное небо ватой обложило крыши, всасывая и заглушая голос напрасно поющей женщины. Трудно было разглядеть, но впечатление такое: мужчина и женщина — хрупкие, тонкие. Они были одеты в темное, длинное, чем-то удивлявшее платье. Мужчина или мальчик стоял нахохлившись, понуро держа в руках объемистый узел; женщина пела неподвижная, — не озираясь, не поднимая лица. Я завернул в бумажку монету и бросил. Внизу не заметили пакета, не услышали шлепка; по всему было видно, до чего они неопытны, неловки в этом ремесле: под дождем, в тупике, куда выходят окна только одного дома, не поднимая головы! Бумажка белела немного поодаль. Самое легкое — швырнуть франк (я это узнал давно). Женщина продолжала петь, а в воздухе росло, накоплялось отчаяние, отвращение, равнодушие. Я сбежал вниз, не по общей лестнице, а через клинику. Двери клиники выходили на улицу; повернув за угол, я очутился в тупике — сзади поющей. Женщина уже кончила и что-то устало говорила спутнику: он первый оглянулся мне навстречу — худенький, вытянувшийся юноша или мальчик с крошечным смугло-бледным личиком. Он с таким выражением посмотрел в мою сторону, что и женщина тотчас же с беспокойством обернулась. Это было как чудо. Что-то бесконечно знакомое, соблазнительное, предвечно-родное, материнское,

2 Зак. 2384

ведомое до последней мелочи и новое во всем; нечто драгоценно-женственное, религиозно-убеждающее, серьезное, как смерть, беспричинное, как детство, нежданно-обещанное — взвилось мне навстречу, окутало, толкнуло, и моя душа вдруг заболталась, точно бусинка, продетая на шнурок. В том молчаливом, уважительном созерцании, в которое я весь погрузился, было для них что-то знакомое, обидное, судя по личику мальчика, не приводившее к добру: он тревожно приблизился к спутнице, потянул ее прочь. Та отобрала у него узел и одним движением, украдкой, подняв вверх голову, медленно повела, провела глазами по молчащим глухим окнам. Я сделал, наконец, нужное усилие, обратился к ней. Она ответила не сразу, по-испански, длинной фразой, которую я не понял, но кивнул головой, догадываясь приблизительно обо всем, что можно сказать при данных обстоятельствах. И вдруг, раньше чем обстоятельно взвесить, сообразить, проверить, — я предложил подняться ко мне: что-то промолвил по-французски, потом указал рукою на дом, затем на себя и на них, снова на дом и повел ладонью, как бы сгребая, подметая тупик в этом направлении. Женщина внимательно смотрела мне в глаза и, как бы продолжая линию (бумерангом) в себя, мысленно что-то раскусывая, перемалывая, должно быть твердое, потому что щеки ее вдруг напряженно дрогнули, а над (и меж) глазами образовались две вертикальные складки, отчего хотелось неутешно зарыдать, поклясться в чем-то и пальцами их разгладить. Я еще с минуту размахивал руками, беспомощно бормоча непонятные им слова и оттого чувствуя себя подобно человеку, бросающему на прилавок фальшивую монету. Я исчерпал, казалось, весь мимический арсенал, уже бестолково озираясь по сторонам, ожидая помощи, как вдруг меня осенило. Выпятив грудь, я застучал ладонями по ней и, самым нелепым, широчайшим, глупейшим образом разодрав рот, оскалил зубы, загоготал. Движение это по замыслу своему должно было показать, что я неплохой, глупый малый, искренний, что намерения мои просты и бесхитростны, как этот добрый, откровенный смех, а доверчиво, некрасиво разинутый рот подчеркивал, что я отнюдь не питаю сексуальных надежд. Там было еще трагическое сознание бессилия слова, — внешности, всего себя, — в самую главную минуту и надежда: все же поймут и простят необходимую ложь; детская вера, что вот можно одним подвернувшимся — из души — движением оп-

рокинуть опыт, изменить значение фактов, разбить количественно устоявшееся прошлое, мгновенно вернуться куда-то, перенестись, утешить до корней. И все это нарочно, вторично подчеркивая, отражая еще раз, выделяя. Я старательно надувал щеки, выкатывал глаза, всячески стремясь придать себе комичный облик, твердо однажды заучив, что только не боясь показаться смешным — не будешь жестоким. Мальчик, пораженный моими гримасами, не зная, как отнестись к ним, — растерянно, вопросительно глядел на женщину. А та вдруг улыбнулась, и этот неожиданный дар улыбки, — радужный переход, — на лице с еще не разглаженной упрямой и горестной складкой был чудеснее всего предыдущего. Она продолжала благодарно смеяться — блеснула змейка зубов, а глаза вдруг брызнули светом, повеселели, смягчились, потеплели; она посмотрела, но уже не с того берега, — а словно тут, рядом, близко; и, сказав что-то громко мальчику, неторопливо приблизилась, последовала за мною, осторожно обходя уже собравшихся двух-трех зевак. Я повел их через клинику, отворяя узкие двери, пропуская вперед, — они послушно, безмолвно взбирались по витой лестнице: только слышно было наше неровное дыхание. А когда, наверху, я впустил их в буржуазную докторскую обывательскую («быть как все; за мои деньги») квартиру со всем плохо пригнанным деспотическим комфортом и женщина, опустив узел, мельком оглянувшись, застыла выжидательно, а мальчик, держась рядом, исподтишка смотрел по сторонам, у меня совсем похолодело в груди, — от радости, гордости и страха. Было такое чувство: прекрасный, ценный, редкий экземпляр (уник) флоры или фауны бросили, загнали сюда, ко мне — какая нелепость. Я размахивал руками, жестикулировал всем телом, зная, что смешон, радуясь этому; то, вдруг поймав ее взгляд, приосанивался, становился сдержанным, как подобает герою; но тотчас же беззаветно бросал это занятие, всячески хлопоча, стараясь в едином, общем движении собрать, завертеть: и этого серьезного, явно чахоточного, отрока, и ее — драгоценный, совсем не на месте, экспонат! — предметы дома, тарелки на кухне, краны, полотенца, инстинктивно почему-то стремясь в общем вихре соединить все это вместе, связать, создать целостный организм. В докторской спальне я раскидал постель (если б жена его видела — они развелись: неудачный брак), энергично содрал простыни, наволоки, отнес к себе в кабинет, потом вернулся, достал из шкафа

белье и положил на кровать. Все это я делал, можно сказать, демонстративно, придавая каждой детали символическое значение, глубокомысленно хмуря брови, восклицая и поясняя; так что в одну какую-то минуту мне, наконец, стало безумно смешно и, отнюдь не сдерживаясь, я тут же разразился оглушительным хохотом, а они в ответ тоже засмеялись. Вообще мне было непостижимо весело, легко, но и страшно как-то; помню, тут же, мельком вспоминая работу, которая меня ждет наутро, ответственные разговоры, встречи, мне все показалось гораздо проще, доступнее — переместилось, — и даже открылись новые возможности, совсем неожиданные пути, которые, однако, я в щедрости своей мгновенно растерял. Опустившись на стул, я радостно смеялся, а мне вторил мальчик самым заразительным образом; она же, матерински глядя на нас обоих (объединяя), улыбалась, светила одними глазами, да так, что сердце рвалось от благодарности и страха. Она сняла пальто, говоря певуче что-то мальчику — очевидно брату, — который в свою очередь начал сдирать промокшую курточку. Я слышал два имени: Педро и Лоренса. «Педро, Педро», — повторял я с интересом. На нее я вообще боялся смотреть, испытывая подлинную сердечную боль и всегдашнее в таких случаях привычное мне чувство раскаяния, упрека: ах, зачем не ограничились одним лицом, к чему еще все остальное, если б только лицо (и руки или крылья)! Я наполнил ванну горячей водой, принес что-то из своего белья и через минуту худенький смуглый и бледный Педро неумело заплескался в ней, очевидно стараясь не шуметь, шепотом о чем-то прося Лоренсу; нашел ключ от их двери, вставил его с внутренней стороны, так что можно было запереться; Лоренса что-то перебирала в своем узелке, явно неуместная в этом доме, и опять сердце сжало тисками: какая вероятность потери! Она с минуту следила за тем, как я подгоняю ключ, потом снова склонилась к узелку, продолжая поиски. Мне стало совестно моего дешевого рыцарства. «Что же делать, что же делать, — оправдывался. — Ведь каково ей»! Меня все мучил взгляд (знакомый), которым меня встретили на улице (когда я сзади подходил). «Что они уже видели, что они видели от людей!» Потом мы ели на кухне. Я уписывал огромные ломти яичницы; вообще я неожиданно оказался внимательным, добрым, хитрым, и, что страннее, исчезло хроническое, подспудное, — ну к чему, а дальше? Все казалось бесспорным, и праздничного желания служить было хоть

отбавляй. Педро ел, подражая мне. Порозовевший, распаренный, он весь раскрылся душою, отдался, и становилось жутко такой его доверчивости — взгляда, обращения, улыбки; он говорил, восторгался, притрагивался вопросительно рукою и, как только находил ответную улыбку, кивок, открытый, дружественный взгляд, — удовлетворялся на минуту, беззаботно щебетал, отдыхал; но его словно толкало непрестанно возобновлять эти знаки любви, благорасположения, получать снова и снова гарантии. А когда, случалось, я пропускал его восторженный взгляд, благодарное прикосновение или, занятый другими мыслями, прикованный Лоренсой, отвечал невпопад, он сразу менялся, линял, увядал; чувствовалось: стоит вот сейчас крикнуть, обругать, ударить и он мгновенно смолкнет, закроется или убежит (однако, отнюдь не удивляясь). И от этой его соблазнительной готовности становилось больно дышать, а память перебирала разное. Лоренса ему не мешала, только время от времени прикасалась, бегло поправляла что-нибудь на нем или в тарелке, отчего он на время успокаивался, выпрямлялся. Она сменила платье и сидела укутанная в длинную шаль (с цветами), без чулок; на ее тонких ногах, под косточками, лежала тень пыли, решетка грязи, и это было почти невыносимо. Она пробовала что-то объяснить из их положения: не то отбились, потеряли своих, не то их обидели, — история, надо полагать, грустная или подлая. А я по-восточному прижимал руки к груди и клялся: все ясно, все хорошо, разговоры лучше отложить на потом, на завтра, а теперь отдохнуть, поспать, ей, ей! «Буенас ночес», — прозвучало ее мужественное и поющее. «Будет она купаться? — занимал меня вопрос; мне доставляла почти физическую боль грязь под ее щиколотками. — Всю ночь не заснет: на чистых простынях (я знаю это состояние). Значит, не доверяет. А дверь не заперла.» «Друг мой, — спросил я грозно в какую-то минуту, обозревая себя. — Друг мой...» — и смолк, временно удовлетворенный, подведя некоторые итоги, заключая перемирие. Постелив наскоро себе на диване, я потушил свет. Мне всегда нравилось спать на новом месте: знакомый, старый хоровод теней, окружающий каждого, отстранен, — свободен человек — и прикасается к другому, новому миру. В темноте, в тишине с закрытыми глазами, — в двойной темноте, тишине, — я покорно дремал, отдаваясь всем скрещивающимся лучам и волнам. Корабли. Горбатые, пузатые, грязные — в маслянистых водах. Союзный офицер купил у ма-

тери девочку. На тачанках еще — пулемет. Шашкой срубили голову, наискосок: череп, одно ухо. В Константинополе купля-продажа (сколько женщин!). И трупы, как они скоро разлагались. Медицинская карьера началась с этого. Моя первая работа: подбирать трупы. У канала лежал один: грузный старец, похожий на Саваофа (а если ткнуть пальцем?). Этакого кощунственного смрада, этакой слизи нельзя вообразить. Со мною работал казак, кубанец: полдня только продержался — даже не явился за деньгами. Я, вероятно, потому и пошел туда, чтобы иметь потом право отказываться от любого труда. Платили много. Отложил девять лир. Плюс браунинг. На это жил скромным рантье с ноября по май. Однако что-то давит на меня. Сердце, сосуды? Вздуваются, рвутся? Нет: оттуда. Вот стенка, она пучится, выпирает, словно каучуковая, колышется. Что-то там налегает, стучит, рвется — льется сюда черной рекой. Малодушный ужас овладевает мною; коченею. Я понял: от них, оттуда, — Лоренса. «Вдруг умрут! — мелькает нелепое. — Одна упущенная секунда. Там сейчас плачут. Они в черном. Все потеряли; знаю. Может, отравятся (медикаменты). Или бросятся из окна, случалось. Постучать? Испугаешь. Еще подумает. Ей бы ноги помыть. О чем она теперь за стенкою? Потом не простишь себе». Я сел, прислушиваясь, в темноте нашаривая одежду. Вдруг, в коридоре, протяжно скрипнула половица и через стекло, поверх моей двери, легла полоска света. Облегченно заметавшись, напялив что-то на себя, я выбежал из комнаты.

В темном коридоре, нерешительно вытянувшись, на цыпочках, стояла Лоренса, шаря у стены, вероятно ища выключатель. Увидав меня, она протянула руку, взволнованно заспешила, часто, поюще повторяя имя Педро. Он лежал на кровати с полусмеженными веками, глазные яблоки ушли под лоб, щеки подергивались быстро-быстро, одна рука и плечо тоже дрожали, корчились. По тому, как вела себя Лоренса, можно было догадаться, что это не первый припадок. Она принесла воду, брызгала, пыталась напоить, беспомощно поднимала его голову и вдруг взглядывала на меня, — покорно, доверчиво, с молитвенной убедительностью (светя; грея чрез слезы), — и хотелось, засучив рукава, тут же отдать свою жизнь. От ампулки понтапона ему стало легче. Улыбнулся благодарно-просяще, ослабевший, и сразу заснул, неслышно дыша, заморыш. «Послушайте, — сказал я. — Ведь вы так не заснете. Помойтесь». Поняла, согласилась, нерешительно повела

головою. Я пустил воду только мне известным способом — так, чтобы не шумело. За окном происходили таинственные перемены: воздух дрожал, холодел, очищался; словно пересилив смерть, все еще раз светлело, преображалось, воскресало. Педро нечетко дышал, маленький на докторской постели: десять лет супруги спали здесь, потом развелись. Машинально я закурил; вдруг громовой треск, раскат, вывел меня из оцепенения: трубы. Сорвался и побежал в ванную. Лоренса резко выдернула пробку, и вода уходила с непозволительным для ночного часа шумом. Было так: она сидела на табурете, вытирая ноги, сосредоточенная, склонившись к полу, волосы рассыпались спереди, спина хордой, нежной дугой напряглась, острый локоть уперся в колено и вся она выражала трогательную, умилительную озабоченность ушедшего в серьезную, трудную работу доверчивого существа — старательно терла под косточками. Нужно — она и делает. За спиною восстание, пожары, смерть, потери, рядом больной братишка, я неизвестный, впереди бог знает что, но вот: нужно осушить ноги... и она тщательно занялась этим, на мгновение выйдя из всего, из себя, из сознания, не размышляя, — трогательная, как котенок на подоконнике, — словно ребенок, что выполняет предписанное, вкладывая во все несоответствующую важность или добросовестность. Только секунда: она всполошилась, я привел в действие мое изобретение и удалился. Всего минута, но память об этом — склоненная, уморительно, детски серьезная и целомудренная — еще долго потом жила во мне и действовала. «Вот, вот, — шептал я, укладываясь снова на диване. — Да, да, наконец. И как все чудесно. И знакомо. Так будет. Лоренса. Да, да. Все равно. Какое счастье. Надо их прежде всего устроить. Сниму комнату. Позову Жана: он говорит на всех языках. Сколько работы на завтра. На сегодня. Не уснешь». Поднялся рано. Сбегал в лавку. Задними улицами, рассовав кульки по карманам, принес снедь. Лоренсу я уже застал на кухне: сидела прибранная, очень нарядная — такое впечатление производили ее ловко стянутые металлические косы. И опять сердце заныло от радости и предчувствия потери. Она внимательно смотрела, как я раскладываю провизию; потом достала из зажатого в руке мешочка что-то, подобное медальону; и, улыбаясь, застенчиво протянула его мне, — а я боялся шевельнуться. То было сердце: очень похоже сделанное, не плоское, как всегда медальоны, а массивное, выпуклое, настоящий мешочек, мускул. Тяжелое, видимо золотое, с цепочкой; два цветных камешка — по

краям; снизу еще одно гнездо — пустое (третьего камня). Я догадался без труда: нужно продать, тогда у них будут хоть какие-нибудь деньги; третий камешек выманили, самый ценный; это все, что осталось. Я кланялся, улыбался, тряс головою, с благоговением пряча это сердце: все ясно, будет сделано. Потом объяснил, что ухожу на работу, — целый день, — вернусь только вечером: никто их не может беспокоить: воскресенье; а вот еда и прочее. Показал на часах предполагаемое время возвращения. Она молча слушала, следила за всеми движениями; и только в конце веско кивнула — в знак того, что поняла. Тогда я начал все сначала, — она, улыбаясь, уже часто, утвердительно кивала головою. А в дверях, провожая меня, она вдруг показала на часы и спросила, запинаясь. Я понял: неужели такое важное дело и раньше вернуться нельзя? Вот это на всю жизнь останется: ласковый, пугливый свет ее глаз (сияние улыбки и слез), благодарность и смущение, слабость, мягкость и женственное, откровенное, близкое, братское, благородное участие. Она стояла в дверях, одной рукою почти касаясь моего плеча, другой поводя, повторяя то движение, какое сделала, когда взглянула на часы, вся подавшись вперед, нерешительная и верная, с торчащими ключицами, но такая сильная, скрытно радостная и непреодолимая, как целая жизнь, зерно ее или ядро.

2

По воскресным дням Жан Дут подвизался на рынке. Так как это было последнее или предпоследнее его выступление перед отъездом в колонии, то я никак не мог пропустить. Автобус меня привозил к самому дому; оттуда, захватив снаряжение — складной столик, высокий табурет, чемодан с брошюрами, диплом, — мы уже вместе отправлялись дальше. Располагались в самом центре рынка Муфтар (против бань). Жан влезал на табурет: «Вы видите, je suis aujourd'hui fou, — и швырял несколько пакетов на землю, в грязь. — Вы видите, я сегодня помешан», — и через минуту на его зычный клич, от которого я весь содрогался, уже сбегалась живописная толпа. «Вы страдаете запорами, экземой, геморроем, язвами на ногах, в желудке и еще кое-где! — громил Жан Дут. — Ваше сердце пульсирует в горле, у вас потеют животы, задыхаетесь, всходя на лестницу, печень вздута, груди обвисли; женщины: то у вас слишком много, то недостаточно... у вас капает; от-

рыгаете, кашляете, плохо спите. Вы жаждете исцеления, но оно почти невозможно. Знайте: такие, как вы, должны гнить и умирать. Можно было бы только удивляться, если бы вы наконец не протянули ноги. Жрите, опивайтесь, работайте из трусости, а потом подыхайте». Разноречивое гоготание базарной толпы отвечало Жану Дуту: мясники, молочницы, зеленщицы, нищие, покупатели, случайные прохожие, шоферы, все это поднималось на цыпочки у касс, выползало на порог лавок, лезло из машин, останавливало свой бег, — огромным станом облегая нас. И только с боков, из рядов, подавались дикие возгласы: О-о-о! А-а-а! У-у-у! И женщина звериною-радостно зазывала: «Mangez ma pomme, ma pomme est belle». А старушка с провалившимся носом, держа в каждой руке по три головки салата, торжественно, публично, покаянно клялась: «Tout ça pour 20 sous». «Ну как вы такие хотите жить? — изумлялся Жан. — Можно только жалеть, почему вас не взрывает мгновенно. Такие должны болеть и умирать. А потом вас сожгут или закопают: купят участок на несколько лет. Редко, редко: на «вечность». Но ваша вечность относительна, справьтесь у осведомленных людей. Ваши дети закажут надпись: «Никогда не забудем». Но это ложь. Память о вас не будет сильнее вашей собственной памяти: скажите, где вы были в прошлом году в этот день, о чем вы думали вчера в это время? Или вообразите себе: умершие лет 15 тому назад вдруг воскресли и потянулись к вам в дом на старые места. Какой ужас! — («Это верно», — раздавался чей-то восхищенный голос; то тут, то там старички озабоченно кашляли, поправляя дрожащей рукою очки; задние — протискивались вперед, сообщали ближним одобрительные сведения, поддерживали нас, осаживали насмешников; другие собирались в отдельные текучие группы, спорили, подавали реплики). — Зачем вы мучаете себя напрасно! — взывал Жан Дут. — Желания ваши добры. Желания всех добры. А живете вы скверно. Доколе вы будете ворочаться в грязи, купаться в ухищрениях, ложью, подвигом и упорством пробивать стенку за стенкой. Что вы можете найти еще? Брали Бастилию, а город полон тюрем. Уничтожили одних тиранов, но посчитайте кругом, их десятки. Угнетателям смерть, но угнетенных от этого не меньше. Дорогой ценой упразднили законы рабства, но рабов стало больше, ровно на столько, на сколько увеличилось племя людей. Вы порождены сладострастием, сеете ненависть и пожнете смерть. Да! — вдохновенно восклицал Жан. В такие минуты он был бесподобен; притаившись вни-

зу, сдерживая дыхание, я стоял ни жив ни мертв, чувствуя, что никогда, никогда я не смогу его заменить. — Вы приходите ко мне за помощью, бесстыдные. Я доктор! — И Жан поднимал высоко над головою золоченую раму с дипломом, иногда слезал, ожесточенно тыкал университетским картоном в первые ряды. — Я знаю секреты. И я говорю: вы должны умереть, вы не можете жить. Не может человек безнаказанно дышать этим воздухом злобы, жадности и похоти, бессмысленно трудиться и нелепо отдыхать. Тело от труда здоровеет, только душа умирает от ненужности его. Болезни свидетельствуют о том, что она есть, что она еще жива, не сдается, ваша душа, борется и увядает. Честь вам и слава за болезни, благословите их; поймите: в них залог вашего возможного спасения. Когда я кончил факультет, — менял Жан тональность своего мягкого, хрипловатого, подкупающего баса, — я был подобен всем. Спросите у Жюльена, здесь за углом, я у него жил студентом, он мне потом вернул деньги сторицей. Но я заболел. Будучи доктором, зная их штуки, я пошел к профессору (я себя спрашиваю всегда: куда идти бедняге профессору?). Меня пользовал симпатичный чудак И. Он решил, что у меня расстроен общий обмен веществ и ложная грудная жаба. Бесполезно вам сообщать все, что он мне предписал, надо было иметь железное здоровье, чтобы это выполнять. Но как у лысого не появится волос от известного по нашим независимым газетам эликсира, так и мое здоровье: не возвращалось. Тогда я задумался. И меня осенило: может ли жить человек, делая бесполезные вещи? Может ли быть довольным, крепким, если в нем жива душа? Ясно: нет. Тогда я сломал свою жизнь, вывернул ее наизнанку: не хочу... остановился, повернул, выскочил из колеи. На гормонах и витаминах я успел заработать немало денег. Я сел на пароход и поплыл: прямо, все прямо. Я много поездил, друзья, и могу сообщить, люди топчутся повсюду одинаково: часть работает, другая торгует и все — похабничают. И только те, что выпрыгнули из своих гнезд, соскочили с рельсов и слоняются без места, оживляют несколько пейзаж. Каждый из таких — это театральная пьеса или фильм, на который вас пригласили, мадемуазель. Пересекая некий меридиан, они видят относительность календаря, переходя границы стран и государств, натыкаясь на ту же глупость, жадность и вражду по обе стороны межи, они начинают постигать, что разделяют людей не разность обычаев, веры и расы, а одинаковая, обезьянья злоба и зависть. Они начинают стараться не походить

больше на этих скаред и трусов. Образуется особый орден, семья бездомников, налегке обходящих мир. Мы не кусаем больше носы друг другу. Только здесь, в тесноте, где всё наперечет, люди грызутся, стремясь занять место соседа, выбить, выжить предшественника. А в дороге нет конкурентов — только спутники. Без помощи: в пустыне погибнешь, брусы не одолеешь, моря не переплывешь. Те, что брызжут желчью, ненавистью, жаждой мести (классовой, личной), должны отправиться побродить. Вы знаете краснорожих мясистых людей с повышенным давлением крови; вот этот, например. Сударь, если вы правый, то мечтаете о гильотине для того, и тех, и еще нескольких; если левый, то вам нужна кровавая баня, бойня, complète, impitoyable. — Жан делал кровожадное лицо, надувался, растопырив руки и пальцы, становясь похожим на толстяка, к которому обращался; кругом раздавался смех, толстяк вытирал платком затылок. — А между тем, если вы отправитесь в путь, ваши инстинкты вдруг изменятся к лучшему, а вместе с ними также ваш аортит, потому что у вас аортит, а эти шутники думают, что он специфического происхождения! — вставлял торжествующе Жан Дут, а толстяк подходил все ближе, наконец замирая, как кролик перед пастью удава. — Вы приезжаете на новый материк, натыкаетесь на разные племена, о существовании которых раньше даже не подозревали, а эти народцы вам доказывают весьма вразумительно, что они-то и есть соль земли. Вы приходите в ужас от их аргументации: так она похожа на вашу собственную. Вы видите глупейшие обычаи, что кладутся очередными мудрецами в основу всего, стараясь с жизнью поступить столь же бесцеремонно, как Прокруст со своими клиентами. Всюду казнят по-своему: в Англии виселица, у нас гильотина, в Германии рубят голову топором, в России стреляют в затылок, в Америке Эдисон из человеколюбия изобрел электрический стул; причем наказывают за разные, часто противоположные поступки, но с одинаковым чувством правоты. Вы смотрите на это — и вдруг завеса спадает с глаз — вам становится легче дышать. Вы говорите: Бог сотворил человека, а он обезьяну, и скоро не будет уж спасенья; но пока живы хоть два человека, не все еще потеряно. А их больше. Вы постоянно встречаете интересных и почтенных людей: процент благородных, оригинальных, мужественных, бескорыстных, талантливых — значительно больше в дороге. Оттого ли, что трусы и гады сидят дома, или, что вернее, оттого, что в большом пути все становятся лучше и моложе. О многих

следовало бы вам рассказать. Японцы, испанцы, англосаксы. По необходимости они объясняются на смеси языков — своеобразное арго. Они могли бы овладеть и латынью, — это все способнейшие и просвещенные люди, — но они не желают мараться: на латыни говорят адвокаты, врачи и попы, чтобы скрыть мерзость своего запустения. Если вы сюда прибавите еще писателей и журналистов, то получится полный набор уголовных профессий. С ними могут конкурировать только проститутки и сутенеры. Впрочем, последние несколько лучше: они хотя бы не претендуют на всеобщее уважение, к тому же их клеймят, шельмуют, контролируют по особым паспортам. Но все они одинаково продаются: частным лицам, мужчинам, читателям, обществам, синдикатам, правительствам, доктринам или классам. Для любой мерзости найдутся свои мудрецы, загонщики и вышибалы! — Так как этот пассаж обыкновенно вызывал гром одобрения, то Жан круто поворачивал: — Я начал понимать. Что-то прояснилось кругом. Но что — не знаю. Порвав с прошлым, я вдруг почувствовал себя здоровым, бодрым, радостным. Почему? Может, оттого, что совесть чиста, кругом хорошие люди, они рады мне помочь, а я их люблю? Тогда я подумал: Господи, вот я, доктор, был болен, а теперь здоров; подавлен, озлоблен, думал о смерти, а теперь пою и собираюсь жить без конца, — вот моя работа. Я помогу другим проделать тот же путь, поддержу, подтолкну. Судьба человека в его руках, граница радости и скорби, жизни и смерти передвигается, она растяжима, как резинка. Вы бы ужасно поразились, если бы узнали, до какой степени это верно. Один ученый положил сердце только что умершего ребенка в физиологический раствор: сердце начало биться и продолжало еще много месяцев спустя. Человечество идет за своими водителями: когда те начинают пятиться или опускаться на четвереньки — все пятятся и опускаются на корточки. Кругом нас западни. Мы, изнемогая, в поте души, добываем хлеб и в то же время безнадежно хиреем, лишенные соответствующей физической деятельности. Так задуман человек, так он сотворен: разнообразные его мышцы должны сокращаться. А между тем все так устроено, что миллионы зрелых, умных людей живут десятилетиями без мускульного труда. Некоторые пытаются заполнить пробел гимнастикой, но это не может их удовлетворить: видя кругом нужду и катастрофы, они бессознательно чувствуют, что все усилия оказались бы уместнее на другом поприще. То же: рабочий современной промыш-

ленности. Изготовляя презервативы или капсюли для снарядов, он не может верить в необходимость и бесспорность своего занятия. А когда эти миллионы, — вы, — наконец взрываются, хронически заболевают, — им прописывают уколы и электризации. Скоро уже догадаются о значении труда и предприимчивые люди сделают из этого доходную статью. Это несет угрозу нового кризиса: усилия. Не хватит для всех в нужном количестве. Богатые будут щедро платить за право покопать землю или выкрасить стену. Прочтите «Тома Сойера», и вы узнаете, что Марк Твен давно предвидел эту возможность. Когда у себя в кабинете я предписываю пациентам труд, они возражают: но, доктор, мы целый день работаем, стучим на машинке так, что потом разогнуться нельзя (или нажимаем педаль — нога вся опухла). Но это уже давно установлено: вы устаете не оттого, что палец, рука или нога движется, а оттого, что все остальное тело должно оставаться в бездействии. Каждый может найти свою дозу физического труда, если ему помочь. Вот дело. Я старался, я видел, я понял, теперь очередь за другими: я научу их. Но как это делать? Писать статьи? Нынче все пишут. Возьмите газету, почитайте о средствах против половой слабости и астмы. Поскольку у нас есть министерство народного здравия, такая предупредительность должна бы караться. Впрочем, это не очень опасно: все знают цену печатной строки и больше не верят. Как же вы мне поверили бы? Нет, живого человека! — сказал я. — Из уст в уста, из глаз в глаза. Пойду на узловые станции метро, на площади и рынки. Там мое место. Пусть посмотрят, послушают, тогда решат. Колбасники и стервы, усталые и уроды, лабазники и покупатели, придите ко мне! Экзема и диабет, грудная жаба, искривленные матки, горбатые души, вывихнутые сердца, сифилис мозга, — я дам вам облегчение. Чтобы изменить судьбу надо только изменить свой характер. Я научу вас; дам творческий труд. Я продренирую совесть, и тогда страх вас оставит; докажу: то, что вы когда-то безнадежно упустили, еще можно наверстать, — тогда пройдут спазмы. О, вы ненавидите друг друга, постоянно жаждете убийства и прелюбодеяния; вы мысленно уничтожаете всех встречных: толкаетесь на улице, спихиваете старших на службе, в автобусе — еще пассажир не сошел, а вы уже видите его место свободным. Вы устраняете всех мужчин и совокупляетесь в душе с каждой женщиной: две стороны той же гири, привязанной к вашей вые. О, как дышать этим воздухом! Не коховские палочки, не стафилококки, открытые Пасте-

ром, а бесчисленные тельца похоти и жестокости бомбардируют вас. Посмотрите на эти цветы: они вянут, не распустившись. Поглядите на ваших зверей: щенки скучают, рыбки дохнут, скворцы не поют. А вы хотите продолжать жить в этом уничтожающем море ненависти. Безумные, слепые, я вижу огонь, сходящий на ваши головы, а вы суеверно боитесь сквозняка! Сударыня, у вас, наверное, бели — ежедневные промывания, — но почему вы думаете, что исключительно это место достойно дезинфекции? А у вас сердце того! — к одутловато-синему, пятидесятилетнему, бритому. — Уже принимали и то, и другое, и третье? — тот обрадованно кивает головою. — А о чем вы думаете, вот так, когда лежите на спине? Этакие девочки, девочки несовершеннолетние, а? — (хлопки, хохот, крики). — Знаете ли вы, как много могут сделать ваши мысли, чувства, — напортить в жизни или исправить! Вам сейчас дадут адрес клиники, где я принимаю. Мы не требуем определенной платы, предоставляя каждому вознаграждать нас по своему усмотрению. Мне говорили: фантазия, вы даже не соберете необходимой суммы для следующего взноса за квартиру. А теперь я не знаю, куда девать эти деньги, зарабатывая в три раза больше, чем нужно (мой совет: если хотите разбогатеть — будьте бессребрениками). Мы нашли многочисленных преданных делу друзей. Два года тому назад в этой мясной еще сидел Маллэ. Многие из вас должны его помнить: Люсьен Маллэ? Ну ладно. Однажды он приходит ко мне и сообщает: «Мне 40 лет, в поясе я достигаю двух метров, не могу повернуть голову, задыхаюсь, когда всхожу на лестницу, плохо вижу и слышу, нельзя ли мне помочь?» Хорошо, я сказал, отец Маллэ, я давно слежу с любопытством за твоим чревом; знаешь ли ты, что придется оставить бифштексы. «Как, — ответил он, — ужасно это даже слышать, когда я день не ем, кажется мне: вот сейчас упаду... как это можно без мяса человеку?» Видел ли ты когда-нибудь львов? Ну вот. А видел ли ты уже львов вегетарьянцев? Когда я плыл из Японии в Америку, к нам на пароход погрузили зверинец; я часто приходил любоваться его великолепными львами. Таких красивых, крупных, царственных экземпляров с пышнейшими гривами мне еще не приходилось встречать. Я познакомился с хозяином-японцем и выразил ему свое удивление. Он мне рассказал правду, потому что в дороге люди быстро сходятся и проникаются взаимной симпатией. «Вы видите пред собою, — поклялся он, — хищников, которые никогда не пробовали мяса; я их кормлю рисом, яблоками

и молоком». — В этом месте обычно поднимался такой радостный, довольный гомон и плеск, что и Жан Дут не выдерживал, тоже начинал гоготать: подкупающе, хитро и устало. Смеялись торговцы, улыбались носильщики, шамкали старушки с черными мешками для провизии (попав на базар до или после церкви), и серебристо заливались мальчики, сбежав из дому, отставшие, отбившиеся, они пробирались, просеивались в первые ряды, все время держа в руке зажатую монету, сразу откликаясь, веря, лучшие слушатели, благословление толпы (худшими, растерянными, близоруко-непоколебимыми были женщины среднего и выше возраста, олицетворяя земную инерцию, непроницаемость массы). — Услышав это, Маллэ, — продолжал Жан, — остолбенел. Наконец, возразил: «Я мясник, как я могу не есть мяса?» А вот доктор, ответил я, который не принимает медикаментов. Он ушел, а в следующий раз явился вечером, взволнованный, и попросил объяснить: в какой момент проглоченная им ветчина превращается в его, человечье тело? Коротко говоря, он проявил даже чрезмерный интерес к этому вопросу: но для Маллэ он был первостепенной важности. Тогда заволновались его коллеги. А заодно и содержатели ближайших кабаков. Как видите, мы имеем против себя не только министров и профессоров. Кончилось тем, что он продал лавку. Сейчас Маллэ член президиума «друзей» нашего общества и сам иногда выступает». — Так или почти так, варьируя основную тему, искусно вклеивая, группируя картины улицы, нравов, убедительные до самоочевидности, Жан Дут неутомимо и упрямо вбивал свои гвозди. Ругая шофера, слишком громко протрубившего, заговаривая с негром на гарлемском жаргоне, призывая в свидетели апостолов, сыпя пословицами, сравнениями, остротами, цитируя правительственные декларации и газетные рекламы, пророчествуя, споря, шельмуя и зовя, он был внушителен: один против всех, мечась и тараня. Я сидел, притаившись внизу, болея душою от полной своей бесполезности, страстно желая победы. Толпа, вначале аморфная, эгоистически озабоченно-равнодушная, все же обладала какими-то несомненными качествами: подвижная, искренняя, она охотно шла навстречу в самом главном, верно ориентируясь, скоро теряя насмешливость, враждебность и от этого словно линяя. Нас поддерживали возгласами, замечаниями, трогательными улыбками; иногда задавали вопросы, начинали спор (теософы, марксисты, сектанты). Господа, с кавалерской ленточкой в петлице, приближались к столу,

морщась, долго разглядывали диплом Жана и, неодобрительно покачав головою, сконфуженно проталкивались назад, скрывались в пестрой толпе. На базаре против госпиталя Saint Louis Жан немилосердно высмеивал медиков (так, однажды, увидав знаменитого Г. среди толпы, он спросил, какую мазь следует рекомендовать прачке с экземою рук). Он распознавал врача по наружности, двумя-тремя точными вопросами заставляя его проговориться о тайнах ремесла (или, как Жан называл, о тайнах бифштекса). Он был груб, откровенен, проницателен и живописен, — хрипловато пророча и сокрушая, — со вздутыми венами на шее от последнего усилия, характерного для конца (финиш на ристалище), когда бросают на весы уже всего себя, вызывая страх, боль, сочувствие у зрителя, в эти решительные минуты бесполезно напрягающего и свою мускулатуру. Без пиджака, в тельнике, обветренный, могучий, Жан метался по эстраде, усовещал, клялся, грозил, то и дело прерывая речь, чтобы продемонстрировать физическое упражнение, приводящее в игру данную группу мускулов или нервных центров. Насурмленным женщинам с торчащими сосками он предупредительно разъяснял, как трудно проституткам в Париже с ними конкурировать. Рабочим, затевавшим принципиальный спор, он отвечал: «Не верьте людям, которые становятся между вами и истиною, будь они с флагами или с крестами. Что может сделать для вас человек? Даже если он имеет добрые намерения и желает вашей пользы, он все-таки даст вам только свою волю, свои мысли, а что вам в них. Не стоит разрушать, чтобы заменить одно насилие другим. До сих пор разрушители тюрем сами становились тюремщиками. Один гад сменяет другого, гады попеременно жрут и изрыгают друг друга. Свобода состоит не в том, чтобы властвовал не тот, а этот человек. Верьте в Бога и в себя верьте. Если вам говорят: до нас никто не знал, что такое правда, пустите нас, и мы ее утвердим на земле... то эти люди обманывают вас или, что еще хуже, заблуждаются сами. Признавайте их своими учителями, но тогда ваша свобода будет заключаться в новом послушании». Толпа, волнуясь, перемещаясь, зорко, сочувственно следила за разными фазами этой эпической борьбы: одного против всех, человека — с чудовищной махиной, с целой системой машин. Но время брало свое: часть, не дослушав, отходила; другие, возвращаясь, присоединялись снова, на минутку; все это непрестанно подогревалось и остывало, мешалось, тасовалось, задние просеивались вперед, передние отступали, пропада-

ли, как дрожжи, в тесте снующего, гомонящего люда. Потом мы приступали к раздаче брошюры с рисунками, диаграммами и описанием клиники. Минут семь многоголовая гидра, спрут, змий протягивал к нам свои лапы, клешни, присасывался банками, требуя еще, давая деньги, принимая сдачу: 2, 5 и 10 франков, — буквально сыпались дождем; усталые люди, отходя к текущим делам, добросовестно старались хоть таким образом: не то нас отблагодарить, не то самим в каком-то смысле застраховаться. А на исходе 13-го часа рынок вдруг, словно хамелеон, менялся, терял окраску, сокращался, опадал, пустел. Только редкие неудачники пробегали еще, наспех собирая обед: интеллигент совал кульки с яйцами и фруктами в портфель, дама, достойная, по ее мнению, лучшей участи, принимала сдачу не считая. Молочницы, мясники, рыбные торговки шумно, облегченно прятали свой товар: переплетались нагие руки, шеи, плечи, челюсти, сыры, жабры, копыта, уши, зевы ртов, кишок, кирпичные рожи, мяса и потроха. Некто в окровавленном фартуке держал на руках часть быка, — казалось, он несет перед собою зеркало. Колбасницы, фруктовщицы, зеленщицы, простоволосые, потные, передвигали, поднимали, закрывали лотки. Мальчишки, подростки весело, как убирают леса, когда построено здание, передвигали козлы, лили воду, скребли тротуар. Звенело соленое словцо, перекликались, шлепали по мягким частям; взвизгивали исцарапанные девчонки; женщины позрелее уверенно, лукаво отругивались, отбрыкивались, считая эту игру несвоевременной. Приближался священный час горячих, дымящихся блюд, там за стойкою, в полутьме магазина, за перегородкой склада, в ресторане на углу. Мы тоже собирались, уносимые обратной, высасывающей силою потока, — с чувством немного как на пожаре, когда все ринулись в одну сторону, а двери тут (с противоположной), но бесполезно кричать, не услышат, затопчут первого, кто повернет. Мы шли завтракать: у площади Монж, против лунной Лютеции. Ели двух родов салат, овощные и фруктовые блюда, запивая кисленьким винцом. Как полагается на людях, мы не говорили о своих делах (важных и безотлагательных), а по установленному Жаном правилу внимательно прислушивались, озирались по сторонам, заглядывая во все доступные нам углы, решив вторгаться при любом удобном случае в жизнь — править ее. Потом мы выходили; Жан курил трубку. Напротив — арена Лютеции (памятник галло-римской эпохи); там мы распологались, посреди лунно-каменного пейза-

жа. «Ну что? — спрашивал Жан, и не дожидаясь: — Паскудно, пресно, к черту всё». — «Жан, — говорил я. — Жан, я никогда не смогу тебя заменить. Не уезжай, все дело твое развалится». «Надо!» — отвешивал Жан Дут. Он смотрел на меня с минуту: уже чужой, далекий, жестокий. «Жан, — шептал я униженно, про себя, весь трепеща, — Жан». — «Веришь ли ты мне?» «Да, да, да», — трижды клялся я жаждуще, готовый к немедленной жертве. «Тогда все хорошо. Помни, Авраам потому обрел обетованную землю, что поверил в нее, не зная, а не наоборот. Что-нибудь такое может случиться с нами». «Да, да, да,» — клялся я и ликовал в то же время, потому что это были и мои мысли. «Тогда, не случись Ною построить ковчега, может, не было бы потопа?» — Лицо Жана преображается улыбкою, он светлеет и приближается: такой прощающий и твердый, верный и прямой. «Ну вот, ну так, ну вот», — улыбается он и, как бы подчеркивая несоответствие слов, протягивает мне руку. «Жан! — кричу я в упоении; он сдерживает меня. — Ах, зачем тебе понадобился Индокитай!» — через силу и сразу жалею: взгляд его меняется, каменеет. «Я буду работать, — четко, уже с того берега, поясняет Жан. — Большую, настоящую работу. И молчать. Это очень хорошо — работать и молчать. А потом вернусь. Ты веришь, значит, так и будет. Для развлечения я выдрессирую в брусе орангутанга: научу его лакать вино и не соглашаться! — И, улыбнувшись, тихо продолжал: — Высоко на горе, в гроте, на корточках, мы с ним будем прислушиваться к шуму времени. Оттуда, снизу, ветер заносит плач юных и смех седых. Наше молчание безгранично, но вдруг Бам-Бук (это его имя) произнесет глубокомысленно: «Ты проиграл, слышишь! Ты проиграл!»... (Он очень любознателен и не расстается с книгами.) «Бам-Бук, — отвечу я, — ты забыл, что, где двое или трое, там и Он, разве в этом нет какой-то победы: быть может, Он и с нами, в гроте, сейчас». — «Ты проиграл! — повторит Бам-Бук, (как все убежденные существа, он с трудом воспринимает чужие мысли), а — затем всполошится: — Я не хочу! — крикнет. — Слышишь, уходи. Я не хочу этой предательской петли на шее!» А я с улыбкой слушаю эту знакомую гневную речь. Снова тишина. Только хворостинка осторожно хрустнет под чьей-то мягкой лапою, а тени леса всё уплотняются. «Бам-Бук, — скажу я наконец, — а ведь Он обещал всякому, кто постучится, отворить дверь». — «В конце концов, ты здесь хозяин, — решит, насупившись, Бам-Бук. — Делай как знаешь...» Тогда я наполняю стаканы вином, преломляю

хлеб; мы чокаемся и отпиваем. «Бам-Бук, — говорю я снова, — Бам-Бук, смотри, кто-то отпил из третьего стакана». Бам-Бук охнет, весь затрясется, и горячие тяжелые слезы брызнут из-под его красных век мне на руку. Он долго будет райски всхлипывать, неумело сморкаясь в цветной платок, потом (мысли с трудом формируются под его лобной костью) недовольно огрызнется: «Смеешься, пьяный обманщик, ты сам отпил из стакана»... «Бам-Бук, — рассвирепею я, — как ты смеешь, паршивый черт! Вот мы сидим близко, почти касаемся друг друга, а расстояние между нами едва измеряют световыми годами; ты видишь, червячок ползет у тебя на груди, осязаешь ли ты чудесную вечность?» В ответ Бам-Бук только презрительно шевельнет обрубком хвоста: он сам просил его укоротить, потребовав, однако, чтобы ему оставили хоть с полвершка — таков обычай. Он щеголь, носит белый пикейный жилет и собирается жениться, потому что нехорошо, когда в доме нет женщины. Вдруг наше внимание привлечет гул мотора над заливом: то в ночь и в океан уходит неведомая душа. Задрав головы, мы долго смотрим вслед, — пока одинокая птица не растает в багряном киселе заката над стеною вод. «Он не долетит, — заметит наконец Бам-Бук, лесным, древним взглядом читая в неведомом. — Он не вернется»... Я встаю и отвешиваю ему звонкую оплеуху. Он бьет меня кулаком в челюсть, как я его научил, но благодаря сидячему положению удар выходит смазанный. Мы берем друг друга в тиски и падаем на тропическую почву в сладостном оргазме убийства. Мне удается его схватить за воротник пикейного жилета, как, помнишь, на джиу-джитсу: руки накрест. Ужасная шея с минуту пучится, силится противоустоять, но, сдавленная рычагом, щипцами локтей, она вынуждена сдаться, — испускает хрип, замирает. «Душа моя, Бам-Бук, Бам-Бук, — шепчу я, заливаясь слезами, — образумься, мне надо тебя любить, чтобы существовать, хочешь, я полижу твой хвостик». «А, гадина, бабник, я тебя когда-нибудь задушу собственными руками...» — «Жан, — кричу я. — Не души его, не надо! Таких обезьян не бывает». — «Ты думаешь? — наивно, с простоватой детскою надеждой осведомляется Жан и смолкает. А через некоторое время уже другим голосом: — У нас еще сегодня собрание. Пора, пора», — (что звучало как: туру, туру) и мы отправляемся. Мы ехали до Poissonière, там сворачивали на rue Chabrol и проходили, нагруженные чемоданами, вдоль одетых толстой броней непроницаемых стен, консьержкиной ложи. Консьержка нас презирала, люто

ненавидела, считала нищими, вредными злоумышленниками; вражда ее была глубокая, допотопная: почти случайным отражением являлись денежные разногласия. В виде чаевых мы давали общепринятую сумму; она же претендовала на большее, утверждая, что у нас коммерческое предприятие; а Жан отказывал, не дорожа родственными отношениями, основанными на подкупе. Когда муж ушел в отставку (из полиции: с пенсией), — нам сообщили, что он лишился службы. Это им дало возможность с удвоенным рвением возобновить поход: муж, располагая теперь досугом, поднимался к нам, пользуясь любым предлогом. Малого роста, тяжелый, свинцовый, с водянистыми щеками, а на них редкая серебряная щетинка. От повышенного давления крови у него образовалась особого рода проекция: ему чудилось, что легко можно разорвать на части все окружающее. Но, полагая, что дело женское — открытый лобовой удар, а мужское — маневр, он неизменно, с разными приправами, сообщал нам о кровных связях с полицией и даже с гильотиной. «Друг мой, — предупредил его однажды Жан, не выдержав. — Образумьтесь. Перед смертью вам станет очень худо. Кровавая пена закапает с губ. Позовут меня. И вам станет лучше». Раз в неделю они колдовали — с тряпкой и щеткою; муж копался у крана в углу мощенного торцами дворика. Если случалось нам тогда проходить, консьержка уязвленно жаловалась: «Oh, vous ne respectez pas mon sexe, о, вы не щадите моего пола»... — и так как в это время она возилась, дебелая, с полом, то получалась странная игра слов. Следовало либо уступить, либо пожаловаться хозяину, присовокупив описание неопрятной лестницы. «Нет, — говорил Жан, — нет! — характерно поводя упрямым лбом. — Нельзя сдаваться. Я их возьму! Они нас полюбят!» — И судорожно щелкал пальцами над землею, как делают, когда манят собак, заставляя их подпрыгивать (вдруг поднимают руку выше, отчего пес, уже достигнув положенного ему предела, еще раз, через силу, ножницами, плавающе перебирает лапами и взвивается на лишнее, чудесное, дарованное деление). Обычно супружеская пара сидела у своих тусклых окон (она — в коридор; он — во двор). И стоило любому некрепко стоящему на земле: музыканту, нищему, разносчику, коммисионеру... переступить через порог, как его брали корчи под перекрестным огнем их глаз. Мы медленно прошли мимо ложи, пересекли «лучистый» дворик и молча уже поднимались наверх, когда Жана вдруг всего передернуло: «Нет, — простонал он, — не могу больше. Видит

Бог, бесполезно!» — И я испугался его крика, сердце застыло, похолодело, предчувствуя грядущие отплытия, ветры, кораблекрушения и одиночество (а так легко было, пока на капитанском мостике Жан Дут). «Жан, Жан!» — начал я умоляюще. «Будет лучше! — прервал Жан. — Год, два. Бог мне поможет! — Он остановился, ища адекватных слов, светящийся и неумолимый. — Я вернусь!» — закончил он улыбаясь, и сердце отошло, как всегда поверило ему, угомонилось. «Жан, — позвал я благодарно. — Прошу тебя, ты владеешь испанским языком: я приютил беглецов, надо объясниться». «Испанцы? У Бира в клинике?» — переспросил он, почему-то очень внимательно меня рассматривая. — Разумеется. Если хочешь. Превосходно. А теперь: туру, туру!» (снова рывком). В приемной его ждали пациенты. Студент-медик Дингваль, мулат с Ямайки, чемпион «кат-ча», сверкающий, в белом, с белой кроткой улыбкою, изнеможенно записывал, распределял пришельцев: к Жану направлялись не только с язвою желудка или невралгией, а по самым разнообразным душевным, путаным и семейным делам, видя в нем старшего, учителя, друга. Дингвалю, вероятно, легче было положить на лопатки 80-килограммового атлета, чем упорядочить, утрясти весь этот людской матерьял. Медицина Жана Дута — это сплав всех ее партий: левых и правых, революционных и консервативных, гипермодернистических и античных, брутальных и умеренных, европейских и азиатских; разные школы: французская, немецкая, американская, русская (оккультные и эзотерические), противоречиво соединялись в одно дышащее целое благодаря его личному дарованию. Он исходил из концепции, что болезнь есть отдушина, клапан организма, его биологический, единственный, лучший выход из создавшегося положения: спасительная катастрофа. Он часто повторял: «Если б вы не захворали, вы бы умерли»; а умирающим: «Смерть вас избавляет, вероятно, от чего-то совсем неописуемого, страшного». Мы учились по-новому расставлять вещи, часто внешне переворачивая их вверх ногами, меняя знаки на обратные (как в алгебраической фразе, где скобки). «У вас замедленный обмен веществ, трудно двигаться, говорить, от получасовой шахматной партии сердцебиение, мигрень, понос. Значит, только отказавшись от этого, ваш организм, в настоящем положении, может еще свести концы с концами: забегите вперед, опередите боль, слабость (спасительную узду, тормоз) и тогда обойдется без них. Пока не осознаете глубокого смысла вашей болезни, — ис-

целения не будет!» Жан придавал огромное значение молчанию, прописывая целому ряду индивидуумов — трехмесячную ванну молчания, ежедневный душ тишины. Недостаточно смолкнуть: вокруг чего будут вертеться мысли? Надо указать, подробно перечислить эмоции, которые разъедают ткань жизни подобно кислотам: а в них плавает, захлебывается человек десятилетиями. Но избавиться от этого совсем нелегко: тут пригодится нескольконедельный, почти беспрерывный сон. Мы искали подходящий физический труд — каждому по склонностям и симпатиям. Велосипед, речной спорт, мяч давали отличные результаты. Мы имели собственный бассейн для плавания и матрац для джиуджитсу, где подвизался наш друг-японец, профессор со сложным именем, похожим на Чай. Прыжки в воду (головою вниз) стали могучим средством в новой душевной терапии. Чем меньше субъект был приспособлен к стильному полету вверх тормашками — дрожа и щелкая зубами, — тем сильнее притягивался, уходил в это занятие, внутренно посвящая все помыслы и досуг, цепко, инстинктивно, упрямо выравнивая согнутую (или атрофированную) черту характера: по мере того как это удавалось, он креп, мужал, становился уверенно-спокойным, вежливо-уступчивым и независимым при любых обстоятельствах. В связи с этим Жаном была создана теория так называемого зеркального образа. По смыслу его построения выходило, что призвание человека не есть то дело, к которому он больше всего способен, а наоборот (так в зеркале правая рука становится левой), его тянет туда, где он меньше уверен в себе, уделяя последнему — из чувства самосохранения — свои помыслы и время. Например: некий юрист годами изучает законы, иногда помечтает о вечернем бридже и никогда — о лжи или мелком жульничестве (которое он проведет на ходу, вдохновенно). Отсюда следствие: мало способен к наукам, несколько больше к бриджу, а гениален в мошенничестве, хотя и высмеивает, даже презирает эти подвиги. Тем и характерен гений, что, бессознательно ощущая свою мощь, он постепенно становится равнодушным к ее судьбе, часто сам ведет подкоп под себя, и, наконец, — отвернется к другому (зеркальному образу), откажется (как большие писатели от своих книг, когда плотва трясется еще над любым собственным плеском). Парашютисты-любители не бросались бы так остервенело с аэропланов, если бы знали (до последней уверенности), что выдержат и на сей раз: не отступятся, осилят; сча-

стье не изменит (распахнется вовремя крыло). Скульптор лепит фигуру потому, что не видит ее еще — совсем как надо, как хочешь! Иначе он бы ее не начинал (а жаль!). Только из сопротивления матерьяла, неуверенности, отчаяния и сомнения рождается мир. Призвание, — беспокойная неуверенность человека в себе именно на данном поприще, — признание в слабости. «Разве случайно в России, империи Достоевского, нашлось так много личностей, все не ручающихся за себя (до предельного мига), желающих проверить еще раз, попробовать — броситься с парашютом вниз головою. Таким путем истребится достоевщина!» — учил Жан Дут. В основе хронических заболеваний лежит неудовлетворенность человека, недовольство прошлым, настоящим, чувство, что он создан для иного. Вот почему Жан считал необходимым условием удачной деятельности целостное религиозно-нравственное мироощущение. Поскольку интеллект выражает себя — излучает — буквально во всем (не только «стиль — это человек», какой вздор), то нам легко было найти множество способов воздействия, дополняя атрофированные статьи характера одних лиц гипертрофией других. Так родилось чистописание: мы заставляли копировать (вначале по кальке) письмо; постепенно человек, выводящий буквы второго, начинал приобретать душевные свойства наших эталонов, психических илотов, гармонических доноров. Мы учили одних жевать подобно другим (если графически представить следы укусов разных челюстей, то они будут так же различны, как и почерки); чихать, смеяться (фонетически и мимически), курить, жестикулировать, ласкать, произносить, дышать: взращивая таким путем, пересаживая нужные нам особенности в аппаратуру больного, вытесняя его изуродованные, неполноценные, дегенеративные функции. Сексуальный пласт мы вслед за Фрейдом считали необходимым дренировать, приближаясь, однако, — благодаря религиозному началу, — скорее к христианской беседе. Мы старались отколоть, разъединить сексуальные центры: сознательно-памятно-воображаемо-интеллектуальный от спинно-мозгового, вегетативного... усыпить первый, затормозить. Влияние первого центра — жадного, ненасытного — нам казалось причиною многих заболеваний: действуя через солнечное сплетение, он дает начало целому ряду кишечно-сердечных недугов. Мы стремились любыми средствами поставить барьер воображению и рвали таким образом могучую порочную дугу рефлекса. Некоторые результаты удавалось

достигнуть только потому, что большинство взрослых, страдающих, сразу, до конца понимали нас (словно зная, чувствуя это же самое — давно). Одним из лучших прозрений Жана надо считать его обувь. В безденежные студенческие годы он однажды приобрел на Marché aux Puces подержанные башмаки: солидная, видимо английская, тяжелая пара туфель (новой цена несколько сотен) — крепкой дорогой кожи, с толстыми подошвами. Целые, только стерты подошвы, каблуки, у носков — два-три бугорка от пальцев. Жан ими очень гордился: чудно, и сносу не будет. Но постепенно он начал испытывать недомогание: что-то ему все недостает — забыл или потерял. Какая-то метаморфоза с ним медленно произошла: перемещение центра тяжести, сдвиг. Словно бесформенные массы колебались, переливались в нем, как в трюме плохо груженного корабля. Тьма заливала его душу, и в этой черни появлялись и пропадали тусклые силуэты, как в аквариуме: мелькнет рыбий хвост, плавник и снова исчезнет. Странные чувства им овладели: ненависть — особенно к молодым, хорошо сложенным мужчинам; злобная паучья похоть — к мясистым толстозадым женщинам (что противоречило его обычному вкусу). Он чувствовал себя больным, инвалидом, хотя жаловаться на что-нибудь определенное не мог. Изменилась походка: уменьшился ростом, сутулился, одна рука свисала ниже другой, даже лицо обострилось, стало асимметричным. Наконец, Жан испугался, предчувствие неминуемой, грозной, близкой опасности овладело им: словно навеки лишившись одиночества, интимности, обменяв что-то, растратив, — постоянно на людях, с врагами (впустив соглядатая к себе, в себя). Тогда осенило: башмаки, от них! И связались концы с концами: он вспомнил, заметил наконец (а раньше не помнил или упускал из виду): это началось с обуви, ослабевало, когда ее временно сбрасывал, усиливалось к вечеру. «Я могу вылепить этого проклятого горбуна! — уверял Жан. — Я его видел воочию. Да что, я сам в него превратился. Его нужно найти, у, мерзкая скотина». Отсюда уже сама собою напрашивалась мысль: попытаться тщательно подобранным платьем воздействовать, толкать несчастных в нужном, счастливом, противоположном направлении. Вообще, приходилось постоянно изобретать новое, пробовать, менять, отсеивать, на ходу подгоняя, сравнивая и улучшая: мы были одни в неисследованных тропиках и только подозревали, что где-то близко продираются, изнемогают нам подобные. К Жану обращались по самым разнообразным поводам. Так,

он однажды блестяще развел супружескую пару: жизнь их превратилась в ад, но разойтись не хватало сил — не могли себе даже представить. Жан попросил обручальное кольцо, продел через него вдвое сложенную бечевку и сделал петлю; двойной конец шнурка он вручил одному из супругов и, показав петлю, спросил: «Как вы думаете, можно освободить кольцо, не разрезав шнурок или не выдернув его конца из ваших рук?» Женщина ответила: «Невозможно!» Мужчина посмотрел, прикинул мысленно и сообщил: «Невозможно!» «Не так ли, это очевидно?» — настаивал Жан. «Очевидно, конечно!» — согласились те. «Ну так вот!» — легко поманипулировав веревкою, он через мгновение, совершенно непостижимым образом, извлек кольцо из петли; несколько раз это проделал. Муж продолжал еще после нас посещать. Он рассказывал, что это опровержение реальности, — демонстрация лжи так называемой очевидности, — произвело на него благостное впечатление, повлияло на все мировосприятие, изменило характер. Такого рода методы, естественно восстанавливали против нас академический двор: одни это считали жульничеством, другие младенчеством. Высмеивали книгу, собранную Жаном, героических стихов, повышающих давление крови (их действие: вне всякого сомнения, но только не стойкое). Много хлопот нам доставила так называемая «жвачка». Нервным больным (базедовым) мы рекомендовали пребывать в непосредственной близости к рогатому скоту. Вид благодушно, флегматично пережевывающей дойной коровы, — повернет мирную голову, звякнет колокольцем, шевельнет плетью хвоста и опять, испустив сокрушенный парной вздох, примется за жвачку, — действовал таинственным образом. У больных пульс со 110 падал до 90, они обретали чувство покоя, мира, уверенности, некоторые сами начинали жевать; для этой цели мы приготовляли специальную резину. Вот в связи с последней терапией и было затеяно формальное судебное расследование; академики нас не могли жаловать, а профессионалы щелкали волчьей пастью. Больные же стекались со всех сторон. К несчастью, они сюда попадали уже из вторых, третьих рук, в запущенном, отчаянном состоянии. «Если вы обезьяна, то вряд ли, если угодник, то вероятно, если ангел, то наверное: поправитесь! — говорил Жан Дут. — Чем дальше вы пройдете по этому пути, тем ваши шансы крепче!» Поскольку исцеление зависело от уровня внутренней культуры пациента, от его личной биографии, оно не могло быть массовым, (поражать

цифрами); после краткого медового месяца чернь отпадала, оставались одиночки, энтузиасты, либо совсем безнадежные, умирающие. Воскресный прием кончался лишь вечером. На этот раз пришло 14 новых больных.

3

Собрание было назначено в восемь с половиной. Не успел Дингваль — качающийся от непривычного напряжения гигант — сбросить айсберг своего халата (я еще умывался), как позвонили: Свифтсон и Спиноза; а за ними, очевидно встретившись у ворот, — профессор Чай и Савич. Дингваль подал свой знаменитый салат из 42 корешков, плодов и овощей, — эликсир добродетели, как его прозвали, — и мы все, за исключением профессора Чая (которого я еще никогда не видел за едой), молча начали уплетать, цедя из пузатых стаканчиков розовое винцо. Пригубил даже профессор Чай, как делал всегда в обществе Савича (последний страдал русским дореволюционным пороком, причем от двух глотков хмелел, тогда как мы легко могли бы выпить по литру и были к вину равнодушны, — этим еще раз подтверждая «зеркальную» теорию Жана. Вот почему при Савиче профессор Чай, из своеобразного такта, всегда опорожнял стакан-другой). Савич же, в случаях, подобных настоящему, когда полагалось владеть всеми своими способностями, к рюмке не прикасался, уверяя, что легко совсем не пить, трудно только — не продолжать. Мы боролись в одиночестве, каждый по-своему, каждый за себя, не доделывая, не подбирая всего, роняя поднятое. Пока однажды — сразу у многих — не родилась мысль: сочетать наши усилия, упорядочить, может, организовать общество. Разговоры велись, периодически то стихая, то снова оживляясь, неясные, противоречивые. Наконец, Свифтсон решил, что следует собраться, попробовать набросать схему, первый план нашего предполагаемого братства, и взял на себя этот труд. «Липен наверное придет», — сообщил Свифтсон, принимая вторую порцию салата. Свифтсон, огромный, бычьей силы, рыжий 40-летний холостяк. За ним сложное прошлое: прадед, в героическом веке, разошелся с законом, эмигрировал в Америку; отец вел дела с Россией, куда и переселился; Свифтсон-юноша проделал весь русский путь (от Вологды до Владивостока). Среди своих предков он насчитывал несколько флибустьеров, дровосеков и пионеров, а по материн-

ской линии одного святого — ирландской церкви. Все собравшиеся здесь — Дингваль, студент, мулат с Ямайки, чемпион «ка-ча», подвизавшийся на аренах столичных цирков, в Польше принявший еврейство, через хасидов пришедший к христианству; Михаил Спиноза из Галиции, чья оливковая кожа подвергалась действию синайских реактивов, только недавно снявший рясу римско-католического священника; профессор Чай, подкидыш, найденный у ворот храма Шинто в Корее, бывший инструктор американской полиции, учитель жизни и джиу-джитсу, — носил пояс 9-го ранга, — он учил: перед борьбою опускаться на корточки, становиться на четвереньки, бить челом перед своим высоким противником, застыть в медлительном, харакирически-христианском, смиренном мужественном поклоне, — признание собственного несовершенства, просьба о прощении, — а потом встать к борьбе беспощадной и быть уже неуязвимым; баварец Липен с длинными светлыми кудрями, тонким лицом и глазами девятнадцатого века, он играл на скрипке, молчал, и с первого взгляда все знали: вот великий музыкант, поэт или в этом роде; он напоминал тех юношей, которые выходили из родительского дома с дорожным мешком за спиною, имея только смену белья, доброе имя и материнское благословление, а в ушах привычно поют органы, философские системы незримо воздвигаются в корчмах, поэмы и хоралы зреют у прибрежного камыша... — все, что здесь собрались, были офицерами, где-то командовали отдельными армиями или судами, уже выиграли хоть однажды решительную жизненную баталию. Двое бесспорно главенствовали: Жан и Свифтсон. Остальные временно подходили ближе то к одному, то к другому, в зависимости от рода занятий (Свифтсон — инженер), от языковой группы и от разных сложных, невесомых атомных притяжений и отталкиваний. Несмотря на общность интересов и планов, трудно даже вообразить большее противопоставление, чем оба они: Жан Дут приковывал к себе внимание в любой толпе, сразу выдвигался, отделялся, занимал атаманское, ведущее место, его слушались (но боялись или не доверяли). Свифтсон выглядел серым, будничным, пресным, напоминая немного протестантского пастора; требовалось много времени и деловой близости, чтобы его заметить, признать (но тогда — непоколебимо). Мы еще ели десерт: фрукты, йогурт, когда вошел Липен. Уже обедал. Скромно уселся в сторонке (всегда на отлете, молчаливый, внимательный, стройный, похожий на средневекого рыцаря,

мечтающего о постриге, на монаха Возрождения, отвернувшегося от Церкви). Его фигура, лицо (тонкое, бледное, мужественное), светлый зверино-серьезный взгляд и волосы, льняные, длинные, излучали, испускали короткую бесхитростную мелодию: незримая флейта до смешного, до слез явственно звучала из его угла. Жан открыл собрание. Свифтсон бережно разложил перед собою на краешке стола блокноты, листки, тетради; то читая по рукописи и тогда медленно перебирая страницы, распределяя, откладывая, то (постепенно все чаще) надолго отрываясь от бумаг и запросто беседуя, радостно, веско заглядывая каждому в глаза, — он выговаривал слова не торопясь, четко, хладнокровно (точно давно пережитое), но иногда вдруг смущенно смолкал или начинал спешить, снова утыкаясь в тетради.

1. Мы должны быть святы, — так начал Свифтсон. — Для того чтобы влиять на других, по моему последнему, внутреннему убеждению, остался еще только один аргумент: личная жизнь. Мы должны быть святы. Не потому, если угодно, что мы естественно тяготеем к ней, что о ней свидетельствует наш духовный опыт или что она предписана свыше, — все спорно. Бесспорно следующее: только святость может еще оказать стойкое влияние на человека, очистить воздух, которым он дышит.

2. Мы соберемся в Новый Монастырь. Этот монастырь я мыслю посреди площади. Между улицей и нами нет ограды, нет дверей. Конвульсия города, клокотание крови, испарения страстей пронизывают нас непрестанно. Мы должны поглощать эти ядовитые газы как некий универсальный химический раствор, нейтрализовать и упорно посылать в обратном направлении уже другие сигналы и лучи (на полсветовой волны позже — интерференция). Парами, с утра до рассвета, издалека узнаваемые, идем по улицам и бульварам, по площадям и рынкам, спускаясь в подземелья, поднимаясь на восьмые этажи, неустанно вплетаясь в косную материю жизни, переходя от дела к делу. Мы молчальники. Наша проповедь — милосердие: немедленное, бесплановое, насущное, мудрое вмешательство.

3. Мы оказываем помощь встречным не потому, что считаем страдания бессмысленными и, разумеется, мы их всех — последствия — не сможем устранить. Мы становимся рядом со страдающим, протягиваем ему наше сердце, дабы он не чувствовал себя больше сиротою (de profundis clamavi): тогда его душа благостно согревается, а вместе с этим меняется структура мира.

Давая нищему медяк, все знают: явная помощь равна грошу. Но те что видят: вот вы неожиданно стали среди общего озабоченного бега, порылись в кошельке, вернулись вспять на несколько шагов и, стесняясь, вручили... те вдруг слышат тихий благовест; они обоняют запах возможного эдема, умиленные, что-то в них расцветает. «Нет, — прорывается, — не одинок человек в этом мире, пусть мерзость, жадность, преступления, сладострастие, поножовщина, пусть, пусть все, но тем чудеснее эта распустившаяся на асфальте роза милосердия, что-то есть еще, еще есть неописанное под этим небом, за нашим окном, частоколом, порогом, благословен Бог и помнящие родство». Вот что произошло во вселенной после грошика, и, хотя все тотчас же разбежались, через минуту море сомкнулось, но разные нити уже переплелись, связались, и многие круги пошли во все стороны, значение которых для нас — безусловно. Мы творим конкретное, чтобы — рикошетом — показать на мгновение третьим, свидетелям, контуры скрытого неба, донести к ним голоса. И они благословят бытие, умилятся помнящим единство, почувствуют освежающий запах добра, вкус любви — вовлекутся, наконец, сами. Таким образом, наша задача не исчерпывается простым оказанием помощи: мы должны стараться создавать такие положения, где бы один встречный мог радостно услужить другому — приобщиться. Беспрерывным потоком заботливости, дождем нежности мы станем поливать площади и рынки, улицы и скверы, купая, согревая замерзшие сердца. О, они только и мечтают, они жаждут оттаять: страшно, скучно, убийственно жить без этого счастья, — вы знаете по себе. Бессознательно все только ждут попутного ветра, точки приложения, места за рычагом. Создавайте этот ветер.

4. Мы кочуем из квартала в квартал, постепенно в каждом участке образуя что-то вроде центра, штаба с растворенными настежь окнами и дверями. Избегайте рекламы, отвлеченных споров и помощи через третьи руки: только видевшие вас непосредственно на работе видели, узнали вас — и запомнят. Поэтому: мы всё умеем делать. Двадцатый век еще не знал такого скопления разносторонних специальностей под одною кровлей. Непрестанно трудясь, мы можем овладеть всей современной культурой и техникой. Исправить заглохший мотор, погрузить тяжесть, принять ребенка у внезапно рожающей, крестить умирающего младенца, проплыть 1000 метров на спине, защи-

тить подсудимого, пропеть арию из Фауста на перекрестке, сыграть Реквием в публичном доме — вот гамма!

5. Великое зло — от денег. В этом мы францисканцы. У нас не будет денег. Попавшие в руки утром суммы следует израсходовать до вечерней звезды. На этот счет не должно оставаться никаких сомнений: ни денег, ни имущества, ни имени (в тех случаях, когда пришлось бы выступить на собрании или в печати).

6. Мы носим одежду, которая издалека бросается в глаза каждому. Я полагаю: наши лица должны быть закрыты, что облегчит на первых порах работу среди незнакомой, может, враждебной, толпы. Я пришел к убеждению, что главная причина грубости людей таится в страхе показаться смешным. Условному эстетизму или самолюбию приносится в жертву все остальное. Человек предпочитает поступить жестоко, но только не выглядеть глупо. От воображаемой комичности спасаются резкостью. Вот почему я хочу закрыть наши лица — светлой тканью или газом. Кто сочтет себя уже вне этой опасности — снимет забрало (для каждого этапа свои наставления).

7. Люди больше всего страдают душевно от измены, кровоточат, леденеют от предательства, с детских лет ищут, жаждут верности в отношениях. Вот почему мы должны быть: верными. Всегда, каждому, на любом месте: долгу, правде, себе, закону, Господу, прохожему, — постоянно. Верность — первая наша черта. Вот почему я предлагаю звать нас: Верными.

8. Я сказал уже: мы молчальники. Проповедь — наша личная жизнь и плоды. Но есть люди, чья радость в слове. Им надо позволить умеренно говорить. У нас будут разные группы, или Круги, с преобладанием тех или иных особенностей; они функционируют как один организм; в каждом от 8 до 12 человек (так что два Круга по 12, выделяя каждый по четверке, дают начало новому, третьему). Круги эти проходят под различными знаками («специальности»): есть говоруны, молчальники, социального опыта, религиозного. То же насчет целомудрия: я, как и многие, не вижу иного пути. Но всякий человек имеет свою биографию, свою судьбу, а мы создаем братство личностей, чей духовный опыт находится в разных фазах, — они могут и хотят идти вместе. Итак: будут Круги и — «не вместивших до конца». Но как в Круге имеется инженер, врач, артист, атлет, так же обязателен — молчальник и целомудренник (хотя бы по тяготению). Молчальнику трудно пребывать рядом с пропагандистами (и наоборот). Их

отряжают только на время в Круги с чуждыми преобладаниями, чтобы незаметно влиять друг на друга, срастаться.

9. Вновь поступившие и старые братья пользуются теми же правами. Вопрос о иерархии ставится так: чем меньше у Верного опыт, тем большими привилегиями он может пользоваться. Старшиною Круга избирается худший из членов его. Чтобы править, надо обладать некоторыми дурными чертами: быть суровым, порою распоряжаться людьми, как предметами. Старшину так и зовут: Худший. Можно себе представить следующее положение: избираемый в продолжение ряда лет Худший наконец забаллотирован. Обливаясь радостными слезами, он кланяется братьям, молит вновь избранного простить его, и все возносят хвалу Господу.

10. Я сказал хвалу Творцу, потому что не мыслю нас безбожниками. Но мы должны строить так, что когда придет человек и заявит: я не верю в Бога, но ваше дело мне нравится, с моего сердца сползают ледники, вот я перед вами и желаю — как вы... то и для него (а таких много) найдется у нас место, Круг. К этим мы будем относиться с двойною нежностью и благоговением. Мы, знающие Христа, пришли, — что же тут удивительного? Нам трудно, а ведь помощь есть! Но им-то — каково: словно грузчики, взвалившие непомерную ношу. В нашей иерархии таким по праву принадлежит высшее место.

11. Придет некто и скажет: «Я тянусь к вам давно, сердце мне говорит — ваш; но еще не совсем, не решился, занят работою, личной жизнью, не могу еще пока целиком, дайте мне возможность в этом положении что-нибудь делать». Для них нужно приготовить место у рычага. С радостью и полною ответственностью, ибо влияние этих идущих навстречу огромно: не порывая с бытом, с инерцией жизни, с ее аппаратурою, врастая в нее, — в канцелярии, в лавке, на заводе, у станка, — плотно прилегая ко всем частям общества, они будут постоянно разносить, давать, бросать наши бесконечно малые витамины в самые недосягаемые подполья. Их не надо снимать с мест. Наоборот, должно занимать освободившиеся гнезда, постепенно разливаясь, вытесняя «мертвых», захватывая мелкие, унтер-офицерские посты (министры и генералы в меньшей степени держат в плену жизнь). Есть особые, «горестные» места, где человек чувствует свое сугубое одиночество: в канцеляриях, в больнице, на кладбище. Представьте себе: полицейский участок, где вас вдруг встречают, как стар-

шего брата; верят на слово — в пять минут уладили дело! — разве не близко уже Царство Божие? Или вот консьержка: улыбнулась бескорыстно, поклонилась, объяснила, сама показала — Страшный суд уже за плечами! А в больнице или в бюро похоронных процессий: утешили, пропустили не в урочный час, пожали руку, отказались от вознаграждения — воскресение из мертвых не за горами. Консьержки, могильщики, санитары — это всё орудия с огромным радиусом действия. Вот почему мы с предельною серьезностью должны подойти к этому вопросу, помогая каждому из вышеупомянутых выполнить свою исключительную миссию. У нас будут Круги летучие, текучие: действующие только в определенные часы, после работы, во время week-end'ов, по праздничным дням. В каникулярные месяцы наши двойки: медик и техник (артист и спортсмен)... на велосипедах будут колесить по большим и малым дорогам, творя милосердие, рождая всюду нежность и преображающее мир угасающее чувство родства.

12. Новые Верные принимаются легко, без каких бы то ни было испытаний: они включаются в Круг, где преобладают старые братья. Их выделение в самостоятельный Круг происходит не сразу. Вопрос о сестрах ставится так: есть Круги братьев и сестер. Те же, что чувствуют себя в силах, идут в смешанные Круги. Последние могут проявить особую, неожиданную, героическую деятельность. Не совсем кстати я здесь скажу о проститутках. Великая радость для Верных иметь среди своих — вышедшую оттуда. У нас будут Круги, действующие преимущественно в этом направлении: не социально, не организованно, а живым духом и общением. Вы слышали о Виталии-монахе. Он поселился стариком в Александрии; днем работал в порту, а ночи проводил в домах терпимости. Даже портовые грузчики, что прославились своим похабством, жаловались на этого старца, находя его поведение предосудительным. И только когда Виталий-монах умер и несчастные, больше не связанные словом, открыто пошли за его гробом, плача и каясь, вся правда предстала древней Александрии. Мы будем чтить святого Виталия, равно как и Франциска Ассизского.

13. Как разные клетки и органы тела регулируются одной жидкостью, их питающей (кровью, секрецией), так все отдельные Круги управляются единым духом, их омывающим. И только. Для обсуждения частного вопроса иногда созывается собор Худших. Если должно кончиться голосованием, то принимается

мнение оставшихся в меньшинстве: «Именно потому, что вы не правы, что вы в одиночестве и слабости, мы с легким сердцем отрекаемся от нашего множества и силы и в утешение вам, претерпевшим уже одно поражение, братски подчинимся вашей воле, дабы вы — не возроптали и не ожесточились, а, наоборот, видя смирение наше и радость жертвы, раскаялись бы и вернулись к целому». Это не будет иметь губительных последствий, хотя бы потому, что у нас нет принципиальных вопросов. Это не может тормозить нашего движения вперед, потому что у нас нет конечной цели.

14. Мы не ставим себе определенной цели вовне. Цель заставляет жертвовать путем: превращая его в пытку. Чем бесспорнее цель, тем все к более энергичным средствам можно прибегать, чтобы ее скорее достигнуть. Только во имя возвышенной цели можно обоснованно пользоваться дурными средствами. А поскольку идеал недосягаем, то остаются только эти реально действующие средства. Вот почему мы не имеем конечной цели. Позволительно сказать: наша цель — в средствах, или: наши средства оправдывают любую цель... но это похоже на игру слов. Все наши средства сами по себе могли бы являться целью (независимо от того, следует ли за ними еще что-то или нет). О каждом нашем действии должно сказать: вот это и есть цель. Таким образом, всякий шаг Верного есть шаг у цели — целью. Нет больше потерянного времени, минут, которые возместятся только, быть может, в реализованном раю. Всякий миг для нас так насыщен содержанием, дает столько радости, что уже не нуждается в продолжении. Мы можем сказать, что живем только настоящим, из каждого часа выжимаем все, так что приди за ним сразу тьма — и то нестрашно. Некий гурман (вы его знаете), когда его хватил первый паралич, сообщил друзьям: «Но зато все, что могло быть поедено, — было в свое время поедено; попито — было попито; погулено — было погулено!» Так и мы в своем роде должны суметь сказать.

15. Каждый из нас иногда думает: «Этот почти свой» или: «Вон тот будет нашим — завтра, через год». А скольких мы пропускали, не замечали, тут же, рядом, не догадываясь друг о друге. Как дадут о себе знать? Разве одиночке легко самостоятельно открыть кампанию против целой системы? Они вянут и гибнут (кто возместит миру эти потери). Даже если они еще не совсем дошли, укажите им бесспорное дело и они на нем окрепнут, созреют. Ищите

Верных повсюду: невзирая на место, возраст или положение. Юноша жаждет подвига, заслуженной вечной любви: он ваш. Посмотрите, советские летчики составили правила: 1) человек, удовлетворенный собою — погибший, 2) надо совершенствоваться непрестанно... узнаете своих? Американский «король» повторяет: лучше опять стремиться вперед, чем успокоиться на достигнутом... он ваш. В зрелом возрасте каждый вдруг начинает слышать идущие ему навстречу голоса; он просыпается ночью в гостинице и видит ужас: «красный, черный, квадратный». Узнаете? Воспитав, взрастив детей, человек вдруг остается снова один: ваш. Не отгоняйте врагов, не приклеивайте ярлыки, не приковывайте никого к прошлому, не предопределяйте его будущего. Язычник и христианин, иезуит и масон, марксист и романтик могут быть Верными в Круге.

16. Пролетариат борется за 8-часовой день, за 5-дневную неделю. Нужно ли еще повторять: какое это благо! Множить отвратительные, бесполезные или вредные (лишь бы рентабельные) предметы — пятью, наконец, десятью часами меньше. Мы сочувствуем этой борьбе. Но мы хотели бы еще каждому доставить радость участия в иной, творческой работе, наполнить смыслом его досуг. Один из здесь присутствующих когда-то мыл окна витрин на больших бульварах. Высоко на узенькой лестнице, задрав голову и руки, мылить стекло, — а за ним: прозрачные чулки, манекены, галстуки, парики. Если можно на час в день меньше этим заниматься — благо. Но представьте себе: нас позвали вымыть окна у заключенных (в тюрьмах, в камерах). С какой любовью и тщательностью мы бы протирали, очищали сантиметр за сантиметром доступного им неба. И кто бы тогда подумал о 8-часовом и прочее дне.

17. В отношении социальном мы за полное снабжение нуждающихся всем необходимым (и даже предметами роскоши, пока ими пользуются другие). Мы только не занимаемся планированием, не вытравляем организованно, последовательно все беды, хотя бы потому, что и без нас многие этим занимаются. Искоренение горя вообще есть уже такая цель, ради которой можно рискнуть средствами. Наш путь иной. Каждого встречного голодного вы не оставите, пока не накормите, напоите, утешите. Может, у вас нету денег (о, счастье!), тогда пойдите к торгующему и, если надо, продавшись в рабство, получите хлеб для голодного. Благо вам. Потому что для изменения структуры души и мира важно не

только накормить, — но как вы это сделали. Так что акт подачи хлеба может вырасти чудесно в мистерию. Многие из вас, братья, имея 10 франков, подавали 2, 3 и 5; но кто, имея 10, отдавал 11? Я вам говорю: только вручая 11 при десяти, вы что-то дали и радость будет в мире. Нет дела без жертвы, а то, что: «по мере средств», «посильно», — грех, ханжество и печаль. Наше же служение лишь тогда начинается, когда силы, казалось, кончились (так рекордсмен побеждает только на крайних сантиметрах-секундах). Только за этой чертою начинается чудо, тайна, Троица (Я. Ты. Третий). Нынче все ратуют за хлеб для голодного, мы же раздаем страдающим — сердце.

18. Не разрушайте больше ничего. Даже тюрьмы. Всегда найдутся тяготеющие к этой форме героизма. На вашу долю выпало счастье войти в мир после цикла взрывов и сноса. Подумайте, вам больше нечего ломать. Все поколеблено: государство, общество, религия. Из трех исторических церквей две разбиты; и если вы недовольны уцелевшей (католическою), — не беспокойтесь, разрушителей много. Все пожирают друг друга, даже самые понятия (тезисы, антитезисы) грызутся между собою. Науки, теории, физика, экономика — в прахе. Чего вы ждете еще? Стройте. Стройте рьяно и истово, чтобы спасти души тех, кто сжигал, чьим двумысленным опытом вы богаты, — их гребнем вы взнесены, сквозным ветром повиты. Если вам кажется: вот это еще нужно убрать... не заботьтесь — всегда найдутся охотники топтать и корчевать. Это форма героизма примитивна (архаична), юношам присуще тяготение к средствам, дающим немедленный результат. Желающих созидать меньше. Последнее серее, сложнее, неблагодарнее. Верные пусть строят: занимайте неэффектные, трудные места плотников. Не ищите очевидных результатов и паче всего бойтесь немедленной справедливости (знаете ли вы что-нибудь несправедливее исторической справедливости?). Мы устанавливаем пока только основные положения. Ничего мертвого, незыблемого, маниакального. Что дальше — увидим. Новый опыт выдвинет новые требования.

19. Нас питает мысль о Единой церкви. Верные, ведь вы Церковь! Придя из разных культов и юрисдикций, мы фактически, на деле соединим, переплетем их, скрепим цементом наших тел. Созидайте Церковь (не новую и не старую, а Единую), больше уже ничего не сметая. Евреи и магометане исповедуют Отца, индусы Святого Духа, а мы Отца и Сына и Святого Духа. Неужели вы

думаете, что люди грызутся из-за принципов? Идеалы всех: левых, правых, атеистов и верующих, более или менее возвышенны. Вражда Римско-католической и Православной церквей началась не от различия догматов, а от убийственного сходства в средствах борьбы, допущенной главами обеих сторон. Поскольку нам суждено собирать Церковь, должно заняться вопросом о таинствах и обрядах. Вы не богословы, но не смущайтесь. Вселенский бич — это профессионалы. Вспомните, как с Буонапарте воевал специалист, генерал Пфуль. Такой же генерал встретил химика Пастера, переплетчика Фарадея, физика Гертца. Тупицы Пфули преобладают. Бессмысленно их устранять: среди устраняющих большинство тоже Пфули. В экономике они приводят к финансовым крахам, не в силах вовремя отказаться от условностей и предрассудков. В литературе они имеют свою теорию романа и эту мерку упорно (Пфули очень упрямы: им кто-то объяснил, что гений — это упрямство) прикладывают до чьей-нибудь новой победы. Тогда последующие Пфули перекидываются на сторону победителя, отливают новый эталон и, возродившись, продолжают свое исконное занятие. Но ужаснее еще Пфули в религии. Поэтому радуйтесь, что вы не специалисты-теологи. Верующие чувствуют свое право заняться делом их жизни и смерти.

20. Мы будем иметь общие таинства. В обрядах, вероятно, первые годы должны одновременно принимать участие священники разных толков. Наши службы, гимны и молитвы могут быть совокупностью служб, гимнов и молитв всех Церквей в сослужении их пастырей. И медитация индуса должна найти свое место. Если мы захотим избрать один язык для общей молитвы, или гимн, или обряд, то это будет не язык славного народа и не обрядность великой церкви, а, наоборот, — скромного племени и малой церкви. Потому что сильные, будучи сильными, могут легко уступать первое место слабым, и не будет соблазна, а радость.

21. Мы услышим обычное: «Наивно, легкомысленная утопия, вы ничего не достигнете». Можно возразить: «Вы-то большего достигли?» А там, где достигли, быть может, и мы (или нам подобные) сыграли какую-то роль! Спорить бесполезно. Мы не стремимся к конечной цели, и радуемся только каждой минуте, проведенной в милосердии любви. Я ограничусь этим. Если в моих словах вы подчас узнавали свои мысли, то и другие — на улице — услышат в нашем голосе себя. Удел многих колебаться и ждать

случайного, попутного ветра; на нас же падает тяжесть — создавать этот ветер. Вот, — закончил вопросительно Свифтсон. Японец и Спиноза сидели неподвижно, как бонзы (они, вероятно, слушали не впервые); Липен тоже молчал, но по-иному. Савич и Дингваль все время — каждый по-разному — выражали свои схожие чувства: ерзали, смеялись, всхлипывали, морщились. Я лично не мог уследить за всеми философско-психологическими тонкостями: работа этого воскресного дня, шум в голове, рынок, больные, конвульсии Педро, дожидающаяся Лоренса («раньше вернуться нельзя?»), величие моих друзей, сознание собственной второстепенности и снова Лоренса, бессонная ночь, толпа и мясные, — все это оглушало, притупляло внимание, рассеивало. И только в отдельных таинственных местах (как, например, голосование—меньшинство... или двойное чудо 10-11 франков) комната вдруг начинала плыть и я пугался: вот сейчас упаду (или взорвусь). «Угодно кому-нибудь?» — между тем тихо спросил Жан Дут и повернулся всем корпусом, сердечно потянулся в сторону Свифтсона тем особым характерным покаянным движением, свойственным ему в тех случаях, когда он чувствовал себя почему-либо виноватым. «Я готов, я хоть сейчас!» — раздался невыразительный голос Савича. Обращаясь к профессору Чаю, он захотел пояснить. («Понял, понял», — умоляюще помахал тот рукою. Каждый из нас владел хотя бы двумя или тремя европейскими языками; только один бедняга Чай был почти совершенно невразумителен: в его устах английские фразы звучали так, что превращались в шарады; французские и подавно. Савич, наиболее податливый, в присутствии профессора сам начинал безжалостно коверкать, исходя из ложного, обычного чувства: чем сильнее исказить слово одного языка — или громче крикнуть, — тем ближе оно станет к другому — чужому). «Я хоть сейчас! — продолжал Савич. — Или: именно сейчас. После не знаю...» — И, точно желая наглядно представить, какая опасность ему угрожает, он рванул на себе ворот рубахи. «Так, так, — повторял Свифтсон. — Понимаю. Вы можете что-нибудь добавить?» Савич не любил, не умел, связно говорить. Он горестно поморщился; ему почудилось: не доверяют. Ответил, по обыкновению, грубо, косноязычно: «Может, все лишнее; не в этом суть; главное во второстепенном; о проститутках я всегда так думал; вот все вместе сейчас пойдемте...» — «Как вы себе это представляете?» — «Выйдем, повернем за угол. Там Poissonière». — «А дальше?» — нежно (что могло свидетель-

ствовать о гневе) спросил Жан Дут, и глаза его, озорные и печальные, остановились на заикающемся Савиче. «Мы снимем комнату, гараж или барак, — ответил Свифтсон и задумался, потом с расширенною грудью: — Растворим окна и двери, опустим забрала и выйдем на улицу. Сегодня же ночью. А там Спаситель нам в помочь». — «А если Он не захочет помочь. Если это ваше дело совсем не входит в его планы». — «Почему я должен такое предположить?» — радостно улыбнулся Свифтсон. «А вы были уже на пресловутой улице?» — «Ну», — подтолкнул Свифтсон. «Мы вот бывали, — кивнул Жан. — Каждое воскресение пробовали: и площади и базары. Эту практику начали до того, как вы нашли ей разумное теоретическое обоснование». — «Я должен был указать, — прервал Свифтсон. — Что именно вы, ваш опыт, ваши идеи...» — «Простите меня, простите, Бога ради!» — вскричал Жан, вдруг покраснев, и рванулся к Свифтсону. Тот поднялся навстречу. Они оба одновременно низко кланяются друг другу, и лица их каждого по-своему единственные. А мы сидим кругом: японец и Спиноза точно бонзы, Дингваль ерзая, Савич сопя, а я боюсь захлебнуться. Они улыбаются, замирают в крепком рукопожатии — соединенные, обмениваясь волнами, соками. Неожиданно Жан говорит: «Теперь позвольте мне уйти». Проходит минута. Наконец Свифтсон: «Да, пожалуйста...» — «До свидания!» — кричит Жан и выбегает. «Постой, постой! — спешу я за ним на лестницу. — Не уходи так. Свифтсон давно готовился к сегодняшнему дню...» — «Я не хочу больше этой гомеопатии! — рассеянно объяснил Жан. — Какая ужасная судьба: мне всегда преподносят собственные же мысли. Этого достаточно, чтобы излечиться. Точно застаешь любовницу с чужим». — «Не уходи, — упрямо бубнил я. — Ведь у меня дело, я говорил тебе, просьба». — «Хорошо, хорошо, — соглашался Жан. — Я помню. Ты им что-нибудь скажешь?» — «У меня сестра и брат, они поют под окном, ты знаешь испанский!» — спешил я скачками. «Хорошо, хорошо, я знаю, — шептал он, очевидно не совсем понимая, внезапно осунувшись, померкнув. — Я еду к тебе, постарайся скорее развязаться».

А в кабинете уже кипело. Подхлестнутое Жаном все вспыхнуло, сдвинулось, заголосило. Упреки, стенания, мольбы, заклятия падали с разных сторон. «Почему так безвкусно добро? — жаловался Дингваль, верный фельдшер. — Почему мы так беззащитны, пресны, серы? Неужели таков удел добра? Ведь столько времени боремся и нечего вспомнить. Источники иссякли. Впрочем, есть

кое-что, но как мало, как незаметно. Когда я был жуликом, была острота, и размах, и вихрь. Честные мысли и дела, словно каракатицы. Почему? Зачем они так неубедительны и неэстетичны?» — «А вы уверены, что в основе вашей деятельности не лежит...» — вставил кто-то. Но Дингваль не слушал: — Почему грех и преступление красивы, трагичны, притягательны? Зачем?» Савич и профессор Чай наперебой объясняли что-то друг другу, перемещались по комнате, жестикулировали, и это было похоже на японскую борьбу. Даже Липен взбунтовался, проклиная искусство, доказывая, что оно прекрасно, поскольку трагично, что оно зародилось после грехопадения и отец его — дьявол. Спиноза требовал решительных мер против страдания и казней. Только Свифтсон, на отлете, в капитанском одиночестве (когда волны заливают борта и шлюпки уже спущены), молчал, неподвижный и суровый, рождая своею оставленностью бесконечную жалость и любовь. «А вы?» — спросил он вдруг. «А, а, а, — замычал я, не в силах преодолеть себя. — Что я думаю! А! — И понесся, помчался, словно с горы; все испуганно, отчужденно затихли. — Ступайте, ступайте сюда!» — поманил я в заключение всех к окну.

Свифтсон послушно приблизился, за ним остальные. «Вы видите его. Там внизу. Взгляните: амбразура, грузная тень. Узнаете. Это консьерж. Вы его знаете хорошо. Два года Жан старается, пробует разные средства. А он все тут и такой же. Это враг, а сколько их, полудрузей, павианов. Он нас всех переживет у этого окошка. Когда же я увижу, наконец, его умиленным, протягивающим душу мне, второму, соседу, благословляющим прохожих. Он мешает, все портит, загрязняет источник. Достаточно только взглянуть, чтобы отравиться. Он улыбается женским ногам и мужским кошелькам. Где он, обещанный мне, равный богам, брат мой в вечности? Доколе ждать? Его преобразить? Я вижу огонь, сходящий с небес, скорее, скорее уж! — вспомнил я часто повторяемые Жаном слова. — Нет, Жан прав, уезжает, и пусть! Изменить, наконец, жизнь. Больших толчков, радикальных доз или к черту! В нашем деле милосердия я бы хотел средств такой же убедительности, как пулемет». — «А кого по сей день убедил пулемет? — тихо спросил Свифтсон; потом добавил из воспитательных соображений: — Образумьтесь». — «Ах, я не знаю, я ничего не знаю», — метнулся я, закружил, ломая руки, как всегда после длинного, страстного монолога, испытывая раскаяние, злобу и печаль. По обыкновению, мои аргументы произвели на слушате-

лей отталкивающее впечатление и, шарахнувшись, дрогнув, все снова отпрянули к Свифтсону, — как бы внутренно еще раз его обретя. Я же был ввергнут в грусть и уединенность; в этом состоянии казалось нестерпимым внимать, соображать еще. Поклонившись, я вышел. Меня догнал профессор Чай: решили устроить сводное собрание — из разных «светских», непосвященных людей (посмотреть, как обыватели реагируют на эти мысли); Свифтсон меня просит тоже явиться. Я обещал. Вдруг сообразил: профессор Чай торговал когда-то украшениями, безделушками — он оценит. Вынул медальон Лоренсы — сердце — и показал. Мы прошли в комнату Дингваля, японец достал лупу и, тщательно исследовав предмет, назвал две цифры: 1500 и 600. Я понял: первая цена — идеальная (будущая или прошлая), установленная мастером при сотворении, а вторая — земная, реальная, так сказать после грехопадения.

«А больше 600 франков нельзя будет выручить?» — осведомился я на всякий случай. «Можно, — улыбнулся Чай. — Можно и много. Только это уже неинтересно торговцу». Я сбежал вниз. Город, как море, — а оно до колена. Электрический поезд останавливался слишком часто. «Никогда не доеду»! — отчаивался; то вдруг исполинская волна радости окатывала меня: хотелось кинуться на шею каждой женщине и благодарно, ее лобызая, сообщить, что Лоренса семижды семь раз таинственнее, ближе и лучше. Пересадка на République (курс на Lilas), дурно пахнущий люд; сажусь в вагон 1-го класса: тут район моего летнего действия; необходимо поддерживать престиж. Бесконечный путь в гору. Наконец, клиника; узенькая витая лестница; в сердце стук; поднимаюсь, униженный и гордый. По освещенному коридору: Жан Дут (в пальто и картузе) одиноко расхаживает. А дальше — темно. «Тю-тю твои птенцы, — сообщает он, продолжая: по диагонали. — Не устерег». Лоренса! Ноги подкашиваются. Зажигаю повсюду свет: кухня, ванная, спальня, кабинет. Теплота, шумы, воздух: я их еще осязаю — тут, рядом, близко. Лоренса. Комнаты носят следы поспешного бегства (било сердце), кровать смята, еда на двух блюдцах, мылины у крана, какие-то обрывки на полу: подбираю зеленую ленту или оборку. «Что, а, как?» — пытаюсь что-то спросить. «Не пропало ли что-нибудь из вещей», — говорит Жан. И я самым нелепым образом начинаю рыскать по углам, заглядывать в шкафы, ящики. «Тут на диване подушка лежала?» — вспоминает Жан. «Да, да, да, вышитая, — твержу я и вдруг: — Проклятие, про-

клятие!» — воплю громовым голосом и бросаюсь на стены, мебель, самый воздух комнаты, сокрушая, разрывая, опрокидывая все кругом. Тяжелая рука Жана падает на меня; хватает за горло, закрывает рот. «Ах, так, так, так, — шепчет он в ярости. — Так ты так, так ты так с друзьями». — «Проклятье», — повторяю с разбега. «Образумься, несчастный! — трясет меня Жан. — Очевидность еще не истина, вспомни, вспомни!» — «Ох, трудно», — шепчу я и заливаюсь слезами. «Все стоящее трудно, только трудное стояще, гад, гадина! — извергает Жан. — Так ты так! — и уже спокойно: — Несчастный, где ей тебя полюбить». Постояв еще с минуту надо мною, о чем-то глубоко задумавшись, он вдруг шумно, парно, как лошадь, вздохнул и отстранился. «Ну хватит, я думаю. Прощай», — бросил рассеянно и, не оборачиваясь, вышел. И тут словно обухом меня стукнуло: сердце, 1500—600, Лоренса. «Жан, Жан!» — исступленно закричал я, ища по карманам медальон. «Чего еще?» — отозвался он у самой двери. Внезапно снизу, со стороны, что-то дернулось во мне, щелкнуло, озарило молнией, зигзагом: мгновение — затем погасло (но оставило след). Удивленно поднялся ему навстречу. «Ничего не понимаю», — сказал я. Прошелся несколько раз по комнате, затем приблизился к Жану, к моему брату, учителю, врагу. Мы долго смотрели друг на друга в упор. Очевидно, он остался мною доволен: глаза его, мужественные и печальные, начали улыбаться и стали совсем детскими. «Как мне уснуть?» — спросил я строго. Подумав, Жан ответил: «Затылок под кран, — шесть минут; пол-аспирина». И я остался один в постылом, чужом, пустующем доме. Больной доктор Бир, брошенный женою, проводил лето на водах. В качестве заместителя я временно ютился в его квартире. Обычно я жил за городом (снимал комнату в 15 минутах от Орлеанских ворот).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

RUE DE L'AVENIR

Alas! poor Yorick.
Shakespeare

1

Я жил на улице Будущего: нелепая, кривая, в гору, — после второго загиба она упиралась в полотно железной дороги (параллельно которой тянулась вначале); и шлагбаум, поднимаясь, опускаясь, как перст, неутомимо покачивался, кладя предел всем ее поползновениям. От полотна улочку отделял ряд игрушечных, двухэтажных домишек мелких собственников, ремесленников, лавочников, прорвавшихся в рантье; она еще не была застроена целиком, местами зияли, обозначенные пунктиром, миниатюрные квадратные пустыри, издали напоминающие могилки, грустно-нежно поджидавшие своих грядущих хозяев, пока еще не собравших нужной суммы. Там где-то, в городе, шла их слепая борьба, потели кулаки, топырились локти, крошились сдавленные прессом страсти, лопались души, на весы бросались 40-50 лет жизни: вот дрогнет чаша, нехотя качнется... едет первый фургон с кирпичом, камнем и подержанными балками. Кругом, на изгородях, на колышках, висели дощечки, где — новым Канихферштаном — повторялось на все лады: à vendre, à vendre. Строились, главным образом, не с прилегающей к железной дороге стороны (четной), а с противоположной; эти несколько метров (ширина улицы) выгадываемого комфорта оказались столь соблазнительными, что нечетная сторона уже вся была застроена (и кое-где нуждалась в ремонте), когда почти половина четной еще пустовала: так рахитичный подросток соединяет в себе черты юности и смерти. На пустыре, против моего окна, росла вишня и паслась коза: они вдвоем — деревцо и животное — были, в сущности, здесь последними еще живыми созданиями. В квадратном просвете беззаботно маневрировал паровоз, медленно просачивались бесконечные товарные составы (я раз насчитал 80 теплушек); ночью, яростно лязгая, налетал курьерский и по внутренней стене комнаты — где кровать — проносилась его взбесившаяся тень: в

содрогании и вое металла он пробегал, его отражение низвергалось на меня, сонного, урча, рвало, топтало. Дома на улице Будущего строились без петушков и узоров, палисадников, газонов, клумб. Правда, во двориках оставлялись какие-то подозрительные площадки; чувствовалось: что-то радужное, хотя и неопределенное еще мерещится владельцам (когда-нибудь потом, сначала долги). Один развел цветничок и огород, но бедняга еще не имел дома: деревянная сторожка дымила по воскресеньям, он и жена приезжали, целый день что-то поливали, вдохновенно стригли, копали, засучив рукава, в длинных передниках; красили решетку: необыкновенно пышную, высокую, прочную, на каменном фундаменте, с широкими, всегда запертыми воротами (сама чета проскальзывала через заднюю калитку). Они чистили тряпкою каждый прут, всякую завитушку, переругиваясь, терли, скребли, торжественно клали грунт: слой, два и третий... потом красили в темно-синий цвет. Если бы хоть половину той нежности и заботливости, что выпадала на долю железа, они уделяли друг другу, то сохранили бы, наверное, еще свою молодость и любовь. Изгороди на улице Будущего распределялись так: снаружи и сзади простые, дешевые, а сбоку все выводили обязательную непроницаемо-бетонную стену вышиною с дом, — отгораживаясь от соседа. Была у нас также усадьба с гаражом, цементно-гладким, с подземным въездом и цветником на крыше, откуда сползал плющ; но эти обитатели, очевидно, случайно забрались сюда, да и по топографии местности они только наполовину примыкали к нам: как раз на стыке, где уже соседняя улица с другою биографией и наследственностью. Здесь Бюта, предприимчивый хозяин, ставил свои новые дома с игрушечными квартирами: комната, кухня, сидячая ванна... сдавая их разным неудачникам. Горячий, мясисто-смуглый корсиканец, Бюта, возвел уже два дома и сам помогал рабочим строить третий (на другой улице). Он жил то здесь, то там, кочуя по незанятым квартирам, и только когда его жена родила (став похожей на крестьянскую коровку), он занял определенную жилплощадь. Бюта служил матросом и посетил Севастополь, видел наш флот, цыганским табором уходивший на слом, и когда я, при первом осмотре помещения, пожаловался на недочеты (главного не приметив), он меня успокоительно заверил: «Вам здесь будет хорошо...» Свои дома он выкраивал из подержанного матерьяла; вместе с балками завез каких-то редких жучков, нынче уже вымерших на воле; комнаты экономные, переборки то-

ненькие, все в обрез (гвоздям велся поштучный счет); в бурю или под рев ночного экспресса нам чудилось: дрогнули половицы, мы снимаемся с якоря, летим всем ковчегом в невозвратное. Часто ветер действительно уносил черепицы, кирпичи, скат крыши. Там летом нестерпимо жарко, зимою холодно, днем темно, ночью жалит свет железнодорожных фонарей, вода замерзает в трубах, с центрального отопления капает, по утрам, когда растапливают котел, поднимается такой стрекот — экономного сердца, — что становится жаль и страшно: вот-вот разорвется. Вообще, если задачей строителя было дать нам удобное, чистое жилище, то надо сказать, что он ее не выполнил. Капает с потолка, не течет из крана... являлся Бюта (в странные часы: завтрака, обеда) с ящиком инструментов, сопровождаемый женою, нагруженной до отказа. Неповоротливая коротконожка с грудью, как вымя, она топталась вокруг него, подавала, неохотно исполняла поручения, молясь на каждый гвоздь, трусливо и хитро вздыхая. Он брал ее с собою не для помощи (где ей!), а очевидно, подобно всем артистам, нуждаясь в одобрении, признании — в публике.

«Вот отдадим этот дом мосье, если ты жалуешься, — говорил он, ухарски подмигивая. — Избавимся от него, если невыгодно». Она сразу обмирала, виновато улыбаясь, хныкала, напуганная кощунственным предложением; но через миг инстинктом крестьянки выравнивалась, снова начиная жаловаться, прибедняться. А Бюта, насвистывая, шибко все постукивал да помахивал, талантливый, сильный, полнокровный завоеватель. Он бы сам хотел строить, — как надо! Увы, рентабельность! Черным драконом реяла она и поедала его внутренности. Рентабельность (немедленная). По контракту значительная сумма (10 %) полагалась — консьержке. Сухая, статная, 80 лет, с орлиным носом и старинным кружевом морщин. Вначале жильцы безропотно выполняли это условие, пока не дознавались: она мать Бюта. Возмутительно: 10% ему же идут, разве она консьержка, неизвестно где ютится, не убирает, как он ее, бедняжку, кормит, а ведь, шутка сказать, мать! И по обыкновению, морально-религиозные соображения, переплетаясь с денежными, окончательно все путали и отравляли. Но Бюта умел мягко стелить: достаточно пятиминутного жизнерадостного воркования, чтобы всех опять утихомирить и даже ободрить. Моя дверь в самом конце коридора (запирая его). Рядом соседи. Справа живет чета с ребенком. Он (перекошенная морда) работает где-то на бойне; она тяжелая (мясом) самка лет 35: пос-

ледние годы чего-то. Ждала только знака, чтобы повиснуть на шее. Когда я сходил в общую уборную, она часто сбегала следом, мочилась, шумела, смеясь, приглашая и меня этому посмеяться. Ее девочка долгие месяцы болела коклюшем; было мучительно слушать постоянно эти спазматические петушиные «кэнты» за перегородкою; взаперти, в тесном детском одиночестве, она часто начинала хныкать. «Tu t'arrêtes, veux-tu t'arrêter...» — яростно пресекала мать попытку в самом зародыше. Даже когда дочь падала, ударялась, ей запрещали плакать. Иногда, возвращаясь, я заставал ее у окна. Обмотанная, укутанная, щурилась на свет и тихо-тихо напевала: бим, бам, бом... Изредка к ним приходил гость: часу в 11-м дня. Вряд ли в нем было что-нибудь сексуально-притягательное, но так велика жажда, необходимость наконец согрешить! Дверь в коридор отворяли и соседка «слева» под разными предлогами старалась выманить к себе ребенка. Им предстояло заняться какими-то своими делами — при распахнутых дверях («алиби»). По многим причинам это казалось трудным. К тому же девочка росла необыкновенно догадливою и упорно защищала интересы отца: старалась прорваться назад в комнату (хотя в другие часы просилась к соседке), покрикивала из коридора на мать, нервничала и возбужденно смеялась. А к вечеру приходил муж: тяжелый, похотливый, грубый. Девочка юлила вокруг отца, мать собирала обед: звякали вилки, стаканы. Они ели, пили, беседовали. Иногда вспыхивала ссора, он что-то ломал, бил жену, а та, сильная, хищная, защищалась: передвигалась по комнате все время говоря — много и скоро, — убежденно опровергая. И голос ее звучал так, что одинаково располагал к зачатию и к убийству. Оба хитрые, злые, норовящие как можно больше взять, поменьше давая (а брали они черепки!). Вторая соседка («левая»), скромненькая, смирная, простоватая блондинка, доброжелательная и тихая. Вдруг, под влиянием ли «той» или самостоятельно (в одиночестве, дожидаясь мужа с работы), она неожиданно свершила свой цикл: раздалась, отяжелела, как самка, что готова рожать, начала кидать по сторонам бесстыжие взгляды (вряд ли понимая их значение). От нечего делать целыми днями завивалась. Они открыли парикмахера, который брал поштучно (за каждый локон отдельно); сделав у него два-три крупных, центральных, она остальные закручивала при помощи бесчисленных папильоток, отчего вскоре совершенно уподобилась болонке. Ежеминутно совала голову наружу, выглядывала (в коридор, в окно), часто

(в отсутствие мужа) лезла ко мне за спичками. В противоположном конце, у лестницы (она здесь открытая, со двора), жила чета Руссо — наша аристократия: квартира из двух комнат. На дверях — огромная медная дощечка, предмет гордости. Молодая Руссо проводила целые часы у этого четырехугольника — терла, не жалея сил, доводя его до бессмысленного блеска. Ее расставленные голые ноги нерожавшей пружинили, легко неся безупречное тело и казались райскою приманкою для жившего внизу кондуктора, сексуального маньяка: он мог простоять целую вечность, задрав вверх свое рыхлое ртутное лицо. Она производила впечатление королевски-надменной, гордой благодаря своей классической красоте и чрезвычайной глупости. 5-10 лет пройдет, ее постигнет обычная участь, но пока, на улице, она неизменно вызывала страдальческие вздохи у стариков, сеяла поллюционные видения среди мальчиков. Муж ее бледный, узкогрудый, чахлый. Ближе к нам, сюда, комната бабки Руссо. 70-летняя, с длинными седыми кудрями; белое лицо и яркие синие глаза. Бабка с внуками — в ссоре. Предполагалось, что у нее деньги. По этой ли причине, по другой ли внуки ее ублажали всячески. Старуха же считала их корыстолюбивыми лицемерами, недвусмысленно попрекала, а в конце перестала даже отвечать на поклоны. Чета кротко переносила ее немилость и капризы (даже умножила знаки почтения), что еще больше гневило старую. Умная, живучая, она все продолжала работать: десятилетиями (сверх полувека) в ее комнате неуклонно стучала машина. Она строчила какие-то ремешки, части дамских сумочек и туфель — все для того же заказчика. Благодаря внукам переехала сюда с насиженного места. Напрасно. Раньше жила в старом доме возле работодателя. Детки уговорили: будем рядом (ведь возраст преклонный), и атмосфера, зелень. А там по довоенному контракту платила гроши; что в этом электричестве, только глаза линяют, да и шпионов не имела за спиною. У машины, возле ног, на полу, — ведро с несколькими бутылками (летом плавают куски льда). Лимонад, виши, но главным образом вино: легче работать. Она шила даже по воскресным дням (все утро). Над попами смеялась. Утверждали, что она умеет предсказывать будущее, редко кого удостаивая этой чести (только мне соглашалась погадать, предчувствуя, вероятно, что когда-нибудь понадобятся и мои услуги). По понедельникам она шла в синематограф: всегда тот же, независимо от картины, на то же кресло. Так повелось. В праздник дороже и людей много. Что бы ни случилось,

раз в неделю, в понедельник, она в «своем» театре, на привычном месте — не чаще и не реже. Только месяца за три до своей смерти она вдруг начала путать дни и театры, обходя подряд все ближайшие, словно бессознательно стремясь насытиться вдоволь, забежать вперед времени, оторвать кусок, уж не ей предназначенный. И в этом чудилась великая слепая тайна неиссякающей жизни. Так крысы мечутся по палубе исполинского парохода, так Содом предается плясу и разгулу, — потому что обречен. Снизу, под моей комнатой, расположилась мадемуазель Марго. Лет 40, огромная в груди, постоянно кашляющая. Ее надлежало считать девицею. По субботам у двери (в отсутствие хозяйки) оставляли ящик с белым вином, в этом заключалась ее самобытность: большинство у нас пили красное (только летом, в катастрофическую жару, менялись привычки, исчезала обусловленность и, точно выброшенные из цепи, все наново обретали свободу). Коридоры узенькие — огородить и сдать внаем! — а у каждого порога ящик с литровыми бутылками. Вечером лампочка «минутная», Бюта не всегда действует: приходится скакать меж литровыми горлышками. Марго служила, очевидно, на почте: ее знакомые — почтальоны. Один наведывался регулярно: высокий, смуглый, с горбатым носом, лукавый неседеющий циник. Праздники они проводили вместе — семьей. С утра ходили из бистро в бистро. Обедали долго, мирно, и голоса их поднимались через дымоход — гулко, загробно (у нас были камины: Бюта не сразу вывел дом с центральным отоплением). Ночью Марго кашляла: зимою, в холодных стенах, это звучало словно из подземелья. Ко мне она относилась двойственно, разумом уважала, а сердцем невзлюбила, подозревая в тайном злорадстве или в оскорбительном сочувствии — чужого, врага. Кроме того, своим опытным женским инстинктом она, должно быть, меня презирала. Началось едва ли не с первого обращения: я назвал ее мадам. И эта учтивость, которая вообще могла только польстить, ее почему-то обидела. Я стал говорить: мадемуазель... но, смущаясь, путал, (мне-то в камин все слышно), и это «мадам-мадемуазель», перемежаясь, окончательно все портило. Против Марго, — симметрично, под соседкою с кудряшками, — обретался одно время сам Бюта, а затем поселился кондуктор, сексуальный маньяк. Загадочный, пухлый, медлительный, он целыми часами простаивал на лестнице с домашней работою (полдня чистил китель, стряхивал пылинки; на его окне висели розовые, девичьи, занавески),

следя за нашими дамами: они шмыгали мимо него в узком проходе, что доставляло ему изрядное удовольствие. У нас в доме все постоянно меняли квартиры, страдая какой-то криминальною жаждою перебраться в соседнюю. Каждый покой имел перед другим бесспорные, хотя и оккультные (подобно витаминам), преимущества: шкаф в стене, полка, навес, срезанный угол... чем умело пользовался Бюта. В отсутствие законного жильца он впускал свою очередную жертву и с таинственным видом показывал этот злополучный козырь. Только мгновение: сейчас же выводил, оставляя в сердце узкий след чего-то неисследованного и желанного. Второй дом Бюта лучше, серьезнее (наш — первый в его карьере); третий же (дальний), говорят, совсем приличный; так что жильцы беспрерывно бурлили и перемещались подобно жидкости с разными уровнями — из сосуда в сосуд. А ртутно-пухлый хозяйственный кондуктор неизменно торчал на пути с иглою или щеткою в руке. По субботам он не выпускал из виду молодую Руссо и ее ноги: для этого нужно было стоять задрав голову, пока та растирала всем тугим телом медь кнопки, дощечки и ручек дверей. «О таких пишут в газетах, вы увидите!» — оживленно клялась «правая» соседка (с девочкой), послеживая с веселым ужасом за кондуктором. Под бабкою Руссо поселился старый холостяк с пушистыми усами: они, вероятно, отнимали у него весь досуг; его окно опоясывали клетки с канарейками, за которыми он ожесточенно-нежно ухаживал. Однажды в том окне появилась пухлая добрая женщина, этакая жизнерадостная тетка, поблекшая, но, очевидно, мастерица печь и готовить. Спустя немного времени их обвенчали в нашей мэрии. В честь этого нижний этаж объединился на одно воскресенье (Марго, почтальон) и речисто, сметливо уничтожал необычайные яства молодой. Она же завела к птичкам кота: единственный, что уцелел у нас, принялся (у остальных коты не держались, как, впрочем, и птицы и рыбки). Квартира под четою Руссо не имела определенного назначения: окна упирались в самую уборную, отчего народ там постоянно и быстро менялся. Тут одно время ютилась вдова с мальчиком. Мать — длинная (крохотная головка на худой шее с кадыком), сынишка — чахлый, горбится под тяжестью незримых нош. К ним ходил в гости молчаливый, грустный человек: поправлял электричество, чинил звонок, вообще заменял мужчину. Иногда днем там притворяли ставень и зажигали свет. По праздникам сынишка чистил башмаки и выставлял их на подоконник: среди

прочих и уродливые мужские. Шли гулять, и было мучительно видеть, как мальчик, в черном, угрюмый, чего-то нестерпимо стыдящийся, сутулясь, следует за этим специалистом по звонкам и кнопкам. Дальше начиналась неисследованная земля, чужой материк, другая координатная система с новыми осями: уборная, краны, площадки и прочее. Свисали откуда-то простоволосые головы, трепались мокрые чулки, мелькали цветные халаты, растерзанные бюсты, голые ноги, корзинки с зеленью и овощами, раздавались кхэ-кхэ и хны-хны детей, озабоченных проблемою «пипи» и «кака». К вечеру являлись мужья, усталые воины, грубые и неудовлетворенные. Частные виллы на улице Будущего окрещивались собственными именами: Иветт, Мари-Луиз, Пьер-Жан... редко: Ла корбей или Le Nid. Только одну звали несколько осмысленнее: «c'est assez» (достаточно ли уже денег собрано? Или: баста, хватит с меня этой каторги, хочу иной жизни?) В гостиных, разумеется, гремела электрическая музыка. Вблизи — несколько аппаратов; но сильнее всех разил слух громкоговоритель виллы «Мюгэ». Там трубили целый день, в любую погоду, до позднего вечера. У окна неподвижно торчал грузный, тучный бритый старик с бледно-синим лицом и рыхлой шеей, свисающей подобно грыже. Он сидел и сосредоточенно ругался. Боком, так что обращаясь наполовину к улице и прохожим, делая зачаточные движения головою, вправо, влево, пробуя ее повернуть, извергал непрерывный поток обличений и проклятий; явственно выделялось: салоп, сальтэ. За его спиною, на заднем плане, виднелись: смущенная маленькая юркая жена, сын, взволнованный, с кающимся лицом, дочь, норовящая скрыться (отец ее удерживал). Время от времени они пытались ему объяснить, доказать, внушить, что нет особых причин беспокоиться, оправдаться, наконец. Но старик производил впечатление больного: словно вся кожа, оболочки мозга — чешутся; и этот зуд он пробовал успокоить фантастическою руганью. Последнюю-то домашние и старались покрыть сплошным громом своего радиоаппарата. Однако его чесоточное салоп, сальтэ (вовсе не громкое, а пробивающееся благодаря особой убедительности своего раздражения), легко заглушало всю Среднюю Европу, перекатывало через Альпы и Пиренеи, подступало к Мадриду и Варшаве, душило Вагнера и Оффенбаха. Дальше за ними, в смежных виллах, жили две старушки. Ранним утром (когда случалось пробегать — в госпиталь, на экзамен) я их уже заставал на посту: сокровенно беседовали. Так как в свое время

они предусмотрительно отгородились высокой каменной стеною, то это занятие требовало особой сноровки. Одна взбиралась на стул у себя на крылечке, другая, с противоположной стороны, упиралась всем телом в перила, ставя ногу на железную тумбу (украшение): только так они могли видеть лбы друг друга. Было нечто тихо-безумное, припадочное в этих двух востроносых старушках с глазами птиц (может, благодаря летательным позам), на рассвете сокровенно обменивающихся первыми впечатлениями. Иногда мне грезилось: во тьме подползаю, выпиливаю беззвучно камни — вот просвет... утром они выходят и (какое счастье!) видят себя рядом. Но я догадывался уже, что именно эта препона залог их дружбы (пропорционально) и с уничтожением стены шепот обернется площадной (в квадрате) руганью. Ближе, сюда, двухэтажный дом с крыльцом на улицу. Хозяин молодой еще; но красный, потный, пульсирующий всем горячим бесформенным телом; чудилось: ткнуть его пальцем, потечет сукровица и вино. Он ежевечерне выходил на порог, в одной и той же позе, раз навсегда избранной, застывал, подпирая притолоку, часами не моргая глазами, казалось, не думая. Но все же некоторые впечатления, должно быть, проникали в его коробку. Так однажды он улыбнулся, и это походило на чудо. Рябой воробьенок, гурман, решил полакомиться конским пометом (в департаменте Сены редкость). Соседскому коту, в общем лишенному охотничьих повадок, кастрированному, послышались вдруг древние зовы: грациозно притаившись, подкравшись, он тяжко прыгнул и смял воробья. Вот когда на крылечке ухмыльнулся красноспермарожий (доказав свою проницаемость). Его 13-летняя дочь за один сезон толчком развернулась, расцвела, сформировав очаровательный таз и веско обозначив нежную грудь. Бедняжку стесняло это внезапно свалившееся богатство: стыдилась, смутно догадывалась, не знала доподлинно, что с нею происходит, алея до ожогов под изменившимися взглядами окружающих. Против их дома (рядом с нашим) в мансарде жил мальчик; подросток, каждое утро уносился на велосипеде (работал в городе). Вот к его окну бедняжку неизменно тянуло, так беспомощно-таинственно, что становилось трудно дышать. Они и раньше беседовали, шутили, перекликались, но теперь иное — что-то переместилось. Мучительно было смотреть на нее, глупую (по чьей вине?), непонятливую и все же настойчивую, как стрела, бесцеремонно пущенная властною десницей. Перед моим окном квадрат пустыря, просвет, где плыли

товарные и пассажирские вагоны; у близкого вокзала невидимо маневрировали локомотивы: их свистки, преследуя меня с детства, опять и опять прободали сердце. Налево, огроженный проволокой и кустами ежевики участок, где стояло сбитое из ящиков строение; в дождливые ночи его нищие (но равняющиеся к остальным) обитатели кляли Творца и гремели кровельным железом. Там жили две четы: такие — по облику — слоняются вдоль Сены, неся в мешке весь скарб, а в руке початую (прямо из горлышка) бутылку красного. Настоящего дома не вывели: пока хватило только на землю. Благодаря какому стечению обстоятельств... «Бродяги, отрепье», — кидали шепотом, оглядываясь, старожилы, ибо мастерской, утонченной ругани «нищих» боялись, как пожара. Характеры распределялись так: Хромой грозен своим языком — жены его не слыхать; и ассиметрично: второй, Лысый, бородатый, добрый и тишайший, а жена его («Такие не венчаются», — говорили наши дамы) опасна и любит драться. Тучная, синяя (и оттого неистовая), у нее опухоль в груди, мешающая циркуляции венозной крови; мы познакомились у сорного ящика, где она рылась, отбирая листья, кочаны капусты, салата, ботвы. Смерив меня взглядом и найдя достойным того, объяснила: «У нас кролики». Муж ее, Лысый, при мне только однажды произнес несколько слов. Хозяин лавочки докладывал присутствующим — и мне, случайно завернувшему, — почему у него вино стоит дороже на два су. Он его берет у крупных виноделов и хотя платит больше, но зато на весь год обеспечен одним и тем же качеством (тогда как у мелких поставщиков сорта меняются). «Разве хорошо, если клиент пьет каждый день другое вино? Вы что предпочитаете?» — обратился он наугад к Лысому. И тот, осчастливленный сознанием, что его мнение тоже представляет какую-то ценность, смущенный неожиданно открывшейся возможностью предпочитать одно другому, наконец, гордый своим участием в отвлеченной, интеллектуальной беседе, — Лысый, вдруг обрел дар речи: «А, это! О, вы можете быть уверены! А, я думаю! Ха-ха!» И долго еще восторженно, чистосердечно крякал и хлюпал носом; а выйдя оттуда сообщил: «У него башка на плечах у этого, а-а!» — радостно и в то же время озадаченно поводя смешным бородатым козлиным лицом. Главой общежития считался Хромой (не он ли, угодив под автомобиль, раздобыл деньги?), — чувствовавший себя природным землевладельцем. Обходил с ножницами кусты; водил козочку из угла в угол, привязывал

(к вишне на чужом пустыре), отвязывал, гнал. Основной его заботой являлись псы. Он завел нескольких (вероятно, дареные: старые, облезлые); одних, неизвестно чем руководствуясь, посадил на цепь, других муштровал так. Особенно шумела молодая, светлая, скачущая зайцем дворняга: Кики. Целый день она заливалась суетливо-радостно-благословляющим вселенную лаем. Ликующе и благодарно: что родилась, что молода, что светит солнце и сам хозяин, — подчеркнуто грубо, как всегда простые люди, обращаясь к животным, детям, женщинам (еще: цветы и фрукты), — с нею играет, ласково-матерно ругаясь, ищет блох. «Кики, Кики!» — вопил он усовещающе, а та прыгала мячиком вокруг, лукаво лая: весь мир казался ей отчим домом. Хромой нюхал табак; чихал, вначале аккуратно, с промежутками, убедительно, затем паузы сокращались, ускорялся темп — глубже, изнурительнее, — и вот уже все подобно припадку: сумасшедшая пляска, корчи падучей с одурелым всхлипом, взвизгом, ревом. Я раз насчитал 60 глубоких вздохов и заткнул уши, чувствуя раздражающий зуд в собственном нутре. Справа пела Средняя Европа, ее горло душили ядовитые тиски «чесоточного»: салоп, сальтэ... тянулись бесконечные пегие товарные составы (на теплушках играли тени придорожных лип), надрывалась Кики, чувствуя себя еще центром космоса. «Кики, Кики»! — нестерпимо-фальшиво, степенно (помещик, патриарх) звал Хромой, перемогая табачные судороги и колена; иногда за стеною еще заводили патефон с неизменною чудовищной пластинкой: чей-то отвратительный брюшной, уродливый смех-хохот повторялся одинаково, бездушный во всех разрезах.

Жизнь чахла, она изнемогала, отступала, ежилась, теснимая, заглушаемая и все же прекрасная (может, вдвойне) протягивала тончайшие, как у лозы, ростки, пробиралась меж камнями, цепляясь за железные прутья, нежно обвивала коряги и пни, прилипала, мудрая и поруганная; как зимою спят, защищаясь от смерти, твари, сосут лапу, упрямо дожидаясь воскресения, так люди притаились, веря в грядущее праведное лето, тягались, боролись, слепо передавали семя детям, которые, в свою очередь, тупо катили его дальше — подобно кому снега, — храня в неразвернутой форме все чудесные возможности и силы для настоящего, последнего, неизреченного дела. В полдень Хромой возвращался из лавки со свертком и бутылкою; кричал со двора жене скромно и важно: «Ты уже приготовила мой бифштекс?» — как и подобает солидно-

му, обеспеченному. В сумерки он подолгу стоял у окна Марго, степенно беседуя, (может быть, в тяжелой грязной молодости Хромой себе однажды представил вот такой вечер как награду за все и сейчас играл сочиненную им роль — реализовывал мечту). Он чувствовал себя на месте в любой отрасли знания; особенно тяготел к философии и медицине. На почве последней они и сблизились. Марго поверяла ему тайны своих бесконечных плевритов и ангин; Хромой же, так сказать задним числом, их исцелял. Давал бесплатные лечебные советы. Когда Марго обожгла в темноте руку, он приказал посыпать язву йодоформом; (однако ее друг, почтальон, решительно воспротивился, объяснив, что с этим запахом не пустят на службу). Жене Лысого Хромой прописал сантонин, считая это лучшим средством против белей. «Кики, Кики! — то и дело надрывался Хромой. — Ах чтоб тебя! нельзя минуту постоять спокойно!» А Кики играл с привязанною знакомой с детства козою: пугал ее, изводил. Та, молодая, глупая, совершенно безнадежно путалась в своей веревке. «Вот я тебе, дрянь, покажу, Кики! Сейчас, сейчас, постой, глупая!» — распутывал Хромой петлю. Беленькая (что-то, напоминающее прекрасное) коза, несмотря на свой целомудренный и кроткий вид, служила поводом бесконечных раздоров между Хромым и его соседкой, почтенной дамой, вдовой: двухэтажный дом, куст сирени. Уже давно обосновалась здесь. Если бы она знала, какая сволочь — стыдно вымолвить — купит участок рядом, если бы только ведала! Все предвидели: двойной фундамент, громоотвод, а этого предусмотреть не могли. Хоть бросай все и убирайся. Как обидно. Выбирали, планировали — еще с мужем. Каждая мелочь подогнана. И вот — отравлено, испорчено. Не видели бы глаза. Всю жизнь убегала от таких особ — и вот они: напротив. Цыгане! А характер у этой дамы властный: кипит, бурлит, лицо в пятнах. Когда грузовик с песком или другим материалом проезжал близко у обочины тротуара, она порывисто распахивала окно, свешивалась до пояса и кричала шоферу, делая соответствующие знаки, чтобы взял немного подальше, легче, (уже помяли раз тротуар, а чинить приходиться ей); потом молниеносно захлопывала окно, дергала портьеру, исчезая, словно фантом. Коза, объедавшая будто бы стебли, злаки, сирень ее сада, стала центром, куда потянулись все рычаги злобы и гнева. А внешность ее — беленькая, простодушная, доверчивая — только подхлестывала раздражение вдовы (она могла бы любить это создание). По законам джентльменской

игры Хромому надлежало воздвигнуть боковую стену и таким образом, отгородившись, скрыть «стыд от глаз» посторонних. Он и обещал это сделать. Но сперва дом. К слову сказать, ему нечего прятать, как иным, с виду почтенным, дамам: ничего предосудительного не творит. А коза, — неправда, пусть лопнет утверждающий противное! — она ест свое, она привязана! Да где эти злаки? Сирень? Станет коза глодать сирень! Только люди уплетают всякую дрянь, а у иных, с виду почтенных, дам, красный нос эфироманок, и они давно уже развлекаются руками. Следующая сцена могла почитаться классической: Хромой, без пиджака, в каскетке (протертые, лоснятся брюки), грозно вопиет, то воздевая узловатые руки с болтающимися засученными манжетами к небу, то указуя перстом на страдальчески, терпеливо его слушающую козу, то кидаясь в сторону случайных свидетелей, привлекая их внимание; соседки нет, только чудится — за ставнями, за портьерами что-то змеиное корчится, шипит, мечет огненные взгляды; оглушительно вдруг растворяется окно, она высовывается, изливает, не переводя дыхания, свои доводы и клятвы (смолу на осаждающих), опять треск окна — исчезла, подобно привидению, и только безликая штора волнуется за стеклом. Коза, смущенная и подавленная — не ей ли придется расплачиваться! — хочет убраться, спрятаться, но Хромой ее тащит, толкает вперед, под самую изгородь: пасись, дрянь, имеешь право. Надо полагать, вдова обратилась в мэрию с жалобою: пришел чиновник, мерил, изучал границы, планы и злополучную козу; ради гостя очередной концерт протекал необычайно торжественно: Хромой отвлеченно доказывал преимущество сора и дерьма перед некоторыми гражданами, затравленный призрак чудесным образом появлялся в окне, пускал ядовитые пары и снова пропадал. Хромому сделали какое-то внушение; они собрали военный совет: пришла «мамаша» — женщина, давшая им козочку (она торговала сыром), — со всем выводком своих животных. Старые бурые козы, мудрые, достойно шагали меж верными псами, так охраняют гарем евнухи; самец — лоснящийся, смуглый, мускулистый, бородатый красавец (бравый вахмистр с серьгою в ухе). Собаки чесались, визжали, щелкали челюстями, звенели ошейники и колокольцы. «Мамаша», неопределенного возраста, с поджарым юношеским задом и стройными мальчишескими ножками: чулки закляксаны, простоволоса (редкие жирные пряди грязного цвета), кожа рук, лица потрескалась, огрубела (характерно для лю-

дей, спящих не раздеваясь на ветру), землисто-темная, жуткая и своенравная. Такую я однажды видел в госпитале: ее привезли с фонарями в подглазницах, без памяти, с проломленным черепом. Она лежала раскрытая, горячая, сухощаво-смуглая, обветренная, в нестерпимой сорочке, старая, но с крепким, по-особому сбитым тельцем, (такая Елизавета Смердящая).

После этого семейного совета козу больше не привязывали к изгороди нервной вдовы, ее начали пускать на площадку, что против моего окна, очевидно, испросив согласие у новых господ (ибо к тому времени пустырь уже оказался проданным и владетельное имя Канихферштана давно исчезло). Летом раза два наведывались старик с двумя мужиками — сняли вишни с единственного деревца на этой улице. Заблудшая, сплюнутая у дороги косточка. Они взгромоздились на табурет Хромого (двое) и безжалостно обломали верхушку: все равно обречено. Потом ели вишни прямо из картуза, с лицами пьяных женихов (словно ничего подобного за всю жизнь не вкушали). «Купили», — сообразили мы. Хромой благодушествовал, шутил, рачительно делился опытом: он сам через все прошел. И только старик, бритый, с морщинистым кирпичным узорным затылком и выпирающим скелетом плеч, хребта (мерка для гроба), снисходительно улыбался и молчал. Они скрылись надолго. Упустили строительный сезон: денег не хватало или, вернее, работали для других... К Рождеству начали подвозить материал: подержанные сваи, бревна, полые кирпичи, мешки с известью, бочки с цементом: маленькими дозами, на ручной тележке и всё в неурочные часы (обед, вечер, праздники). К середине января, однако, собралась уже порядочная куча всевозможного товара. «Это они готовятся к весне», — думал я. Но вот 1 февраля, в самый нестерпимый здесь, единственно зимний месяц (вода замерзала, трубы Бюта полопались), внезапно, ранним утром, послышались незнакомые, гулкие удары кирки: то начал орудовать старик. Целый лютый скорбный день взрывал он окоченевшую почву, одинокий, в кладбищенском, могильном пейзаже. В полдень его проведали «мужики» (сыновья или зятья), очевидно работавшие на другом месте. И снова, ком за комом, он младенчески-настойчиво скреб землю, до самых сумерек, пятнистых, февральских; седой, ловкий и цепкий в некоторых определенных позициях, беспомощный в остальных (так, он не мог выпрямиться или разогнуть колени). Явился назавтра и послезавтра. Сгорбленный, в фуфайке, с окаменевшим лицом, он

упрямо обходил судьбу. (К тому времени бабка Руссо уже зачастила по нескольку раз подряд в синематограф). По праздникам работала вся тройка. Яму уже расковыряли, виднелись полоски следующих пластов. Мужики под студеным ветром рубили ломами, отец по пояс в земле подавал вверх лопатою мерзлые комья, руками выбрасывал твердые породы: раз-раз, раз-раз... вспухал и осыпался могильный ров. Тук-тук, ах-ах... библейски трудились люди в зимние сумерки. Это Клондайк, суровая обетованная земля, куда пробрались отважные мужи (о, сколько их осталось за перевалом) и вот таранят горный кряж, ищут золотоносную жилу или строят город, новый Ерусалим. Я тогда начал готовить свою диссертацию. По поводу всякой мысли надо было справиться у сотни старцев или покойников; приходилось одолевать десятки фолиантов (казалось, столь нужных до, и совершенно излишних по). Годами, день за днем, в пополуденных сумерках я томился, захлебываясь, нырял в пучине книгохранилищ, тщетно добираясь к берегу. Каждое произведение удовлетворяло именно тем, что било мимо цели. Медленно зрели контуры плана. Казалось, все готово, но не мог (боялся) начать. Наконец решился. Я работал по утрам. За четыре часа исписывал четыре листика бумаги, назавтра их прочитывал — и вычеркивал три. Лучше всего я себя чувствовал, когда уничтожал все: тогда совершенная свобода опять возвращалась. Но эту свободу сердце не могло долго сносить: самой опасной тяжестью являлась для него именно доступная легкость, нескрепленность всего. Оно стремилось избавиться от адской темницы неограниченной воли, поскорее связать себя по рукам и ногам хотя бы в черновике. И я вдруг начинал спешить (вали кулем, посля разберем). Но заночевавшие по соседству идеи и образы нежданно пускали собственные корни, срастались, оживали: уродливые существа с копытами на спине, телята о двух головах. А отделить их, рассечь становилось божественно трудно: уже дышат, капает кровь. Страница черновика связывала, пригвождала (Прометей дал себя сковать); по мере того как множились и крепли строки, я терял свою первоначальную независимость, власть. Целое обгладывало части, части восставали на целое; и всё вместе пожирало мой замысел. Вызванное к жизни существо проявляло собственные желания: кричало, цеплялось сморщенными кулачками — дай, дай! — просилось на горшок. Две фразы «естественно» подготовляли третью, навязывали ее, компрометируя чудо «из ничего». Дальнейшее продвижение

уже не было моим свободным райским актом. Необъяснимо одолевая препятствия, казалось, я зубами вырываю из хаоса новую душу, а она, — амеба, эмбрион, плод, младенец, — постепенно обрастает личной физиологией, гравитацией: тянет в порочную сторону, мешает отцу, путаясь под ногами, точно колодка бегущего арестанта. Либо сбрось, уничтожь, убей, либо пойди на уступки («постольку-поскольку»). Отчаявшись, скрежеща душевными зубами, я подбегал к окну. Там в мороз и капель, в обед, сумерки, праздник, пост — трудился старик (все чаще поддерживаемый молодежью). Стучал, бил, сверлил, мазал. Скоро вся яма обозначилась: углубить и подравнять. Очевидно, погреб: обложили камнями, залили цементом. Подняли устои, стропила, скрепы и другие части, неизвестные мне по наименованию, но в разумности которых нельзя усумниться. «Бог мой! — стенал я. — Мы одинаково роем носом, взрываем, тараним слои, удаляем щебень и шлак, расчищаем место, кладем основание. Но вот у него готов фундамент, высятся стены, кирпичики тонкими рядами заполняют просвет, облегая квадраты окон, их скрепляет клейкая масса, там, где кирпич еще отсутствует, — он будет: вот место для него. Как споро, как весело работает. А у меня ничего не готово, все смешалось, бревна не прилегают, грустное, развороченное домовище (а еще позорнее места, четко обозначенные или — о беда! — законченные: сплошное поражение). Седой отдыха не знает под февральским ветром, а посвежел, окреп. Я же постоянно без дела, раздражен, норовлю сбежать, рад обеду, сну, библиотеке, счастлив отлучиться (в госпиталь, клинику, на рынок или собрание). Я завидую старику и его труду, столь нужному, явно продвигающемуся вперед, с определенной задачей и границей. У меня все расплывчато, жестоко и двойственно. Ничего не знаю. Достаточно иметь хоть каплю душевного благородства, уважать себя, свои идеи, чтобы немедленно забросить все к чертовой матери. Исписав 10 листков, я вдруг оказываюсь дальше от цели, чем раньше; а иногда, почти ничего не сделав ощутимого, подхожу к самой мете. Как просто и согласованно у того, как беспокойно, сомнительно у меня. Возводит стены: защита от ветра и посторонних. Кладет печную трубу — греть, варить. Черепицы? Крыша. Он строит дом, это видно, и назначение последнего понятно: будут отдыхать люди, есть, спать, любить (иногда вспомнят предка, что в зимнюю стужу вышел с киркою и лопатой, благословят его тень). О, если бы я знал столь же определенно, в чем мой труд,

кому нужен, полезен, доступен. Я писал работу о ядах. О роли яда в нашей жизни. Основная мысль казалось ветхозаветно-убедительной: биология начинается с яда, организовалась благодаря ему. На камень капнул яд — и родилась клетка. Давно еще (на первых курсах) меня поразило: человек дышит, пока в его крови имеется CO_2, только углекислый газ побуждает его к этому (иначе он бы погрузился в кислородный рай — apnée). А гормоны... Что такое адреналин, тироксин и прочее... Без отравления жизнь немыслима (как часы без завода); нейтрализируя отраву, медицина борется не только с дряхлостью и смертью, но и с началами бытия. «Ай да святоша, — сказал Жан Дут, узнав о теме. — Обоготворение зла». Смущенный, я отнекивался: «Нисколько, нисколько». Порою мне казалось: такая постановка вопроса чрезвычайно своевременна. Вклиниваясь с противоположной стороны в тесто бытия, я приближаю сроки. В эти минуты легко осмеять старика с его гвоздями, цементом, потомством и всем окружением. Но чаще слабость и уныние господствовали в моем сердце; я сомневался: не только в нужности этой работы (или в пропорциональности результата затраченным усилиям), а в самой безвредности ее. Больше всего меня пугал образ возможной победы с неминуемым стадом скороходов-последователей. Иногда за рукописью я себе представлял лицо того или другого ученого, мелькала ослиная голова академика, и все становилось противно (неизвестно — зачем!). «Я занят, ужасно занят!» — объявлял я приятелям, скрываясь от них и ровно ничего не делая (пренебрегая госпиталем, клиникою, людьми). Иногда мною овладевал особый стих соревнования, спортивного азарта гонки: я вступал в единоборство с плотниками. Трудился не озираясь, не покладая рук, без внутреннего, ослабляющего бойца, но закаляющего плод рикошетного анализа. Тогда за несколько дней я обогащался десятком мелко исписанных, грубо требующих признания страниц: уроды, сиамские близнецы, телята с рыбьими хвостами... а отделить, пересадить, рассечь — страшно, ибо эти чудовища обладали уже подобием души. К тому времени старику помогали уже систематически, и постройка двигалась заметно вперед. Освободились ли «сыновья» от других обязательств или, что правдоподобнее, узрев контуры дома в этом неуклонном, медленном росте, оценив решающую роль воли, усилия и почуяв близость победы (ну разве можно было надеяться в то мерзлое утро, когда старик вышел против многих стихий), — они поверили наконец и стали в ряды:

смущенные, красные, грубо-тупые. (Велик приток волонтеров в разгаре удачной кампании.) Они работали мясом, мускулами, без чуда, храня священные табу часов аперитива, завтрака, отдыха. Со стариком же случилось обратное. Как только первый, каторжный этап был преодолен (потеплело, замаячили углы, нашлись помощники) и стало ясно: партия выиграна, — вопрос времени, арифметика... он заскучал. Отпал грозный стимул: непомерность, героизм, очарование риска, борьбы с неведомым результатом. Старик вдруг отступил на задний план, выполнял второстепенные поручения — часто вообще бросал работу, — больше не руководил: смотрел, словно посторонний. Только иногда его кровь не выдерживала эгоизма, трусости, лени; характерных — ему казалось — для нового поколения: он начинал спорить, раздраженно сплевывал, усовещал... но, чувствуя враждебное, насмешливое равнодушие, махнув рукою, смолкал. Так, раз следовало вернуть одолженную бочку: железную, внушительную. Судя по жестам, старик находил, что ее можно понести, «сыновья» же говорили: без тележки не обойтись! «Не нужно, зачем откладывать, ничего тяжелого нет, лентяи, дармоеды, недалеко ведь!» — утверждал, надо полагать, старик. «Попробуй, вот попробуй, неси!» — возражали те. Отец грозно всех оглядел, приблизился к бочке, поднял, подал себе на плечи и, сразу осев, покачиваясь, немощно и упрямо понес ее. «Сыновья» молча и выжидательно смотрели ему вслед. Он не преодолел и 20 метров, как остановился в нерешительности, в раздумье и вдруг, отскочив, пустил бочку наземь. Вернулся, взял шарф, пиджак и поплелся прочь, ступая, согнутыми в коленях ногами врозь. «Сыновья» дружно отвернулись и, улыбаясь, начали суетливо хватать кирпичи. Вскоре освободилась комната бабки Руссо и я перебрался туда, в другое крыло дома. Отношения бабки с четою Руссо перед концом совсем испортились. Причины споров бывали разные, но подоплека — одна. Сын старухи — дядя молодых — некогда женился на девице-матери; умер бездетным, но сохранился «тот» мальчик (теперь 50 лет), которого он в свое время усыновил. Старуха его считала за подлинного внука; чете же Руссо такое мнение казалось вздорным, и они старались всячески ее образумить, благодаря чему привили ей двойную любовь к этому человеку, которого она лет 20 не видала: на нем собралась, осела лучшая нежность и память о прошлом. В ответ — догадалась упрямица! — чета взяла да родила беби. Этот последний аргумент просто разъярил старуху (вопре-

ки ожиданиям). Чтобы не слишком раздражать ее постоянным надзором, чета переехала во второй дом Бюта. Тогда же, кстати, начались ее странные неурочные посещения синематографа. Раза два, при встречах, она мне жаловалась на разные неопределенные симптомы. Древняя старица, негибко-подвижная, с большими синими глазами (при серебристых волосах); целый день работает (часто освежаясь вином), одинаково презирает: попов, врачей, патриотов, коммунаров (помнит их); вечером развлекается полицейскими романами; никогда не отворяет окна, уставленного горшочками, карликовыми растениями, завешенного тяжелой пыльной оплешивевшей бархатной портьерой; (комната полна мебели: когда-то жила в двух комнатах — муж, детки... все это прочное, лучше нынешнего, кровати без малого 100 лет — не выбрасывать же?). Вековое платье, косынка, хрупкие ножки, шажки на лестнице: ребенка или крупного насекомого (птицы с людской стопой). Исследовать такие мощи у меня не было охоты, да и боязно, как разбирать средневековые часы. Доскрипывай тихонько. Но она слегла — «простудилась», — и пришлось. Неожиданно обнаружил опухоль в районе восходящей порции толстой кишки и общее несомненное отравление. «Может стать злокачественной», — объяснил я (именно о раке она постоянно заговаривала со мною на лестнице). Она думала всю ночь, наутро (о, как уже сдала) сообщила: хочет в госпиталь, операцию. Если я ей помогу, — не забудет этого. «Все равно, — призналась. — В мои годы не любят человека только потому, что он по паспорту внук или кум. Я еще владею кое-чем и могу отблагодарить достойных». Но обстоятельства сложились по-иному (к лучшему). Я ее видел еще раз. В тот день странно протопали за дверью. «Чьи шаги?» — удивился я и выглянул (соседние двери тоже приотворились). То старуха Руссо, боком, — топ, топ, — пронеслась по лестнице к уборной (раньше туда не ходила: по утрам выносила горшочек, бормоча и звякая ключами). Она промчалась, будто спасаясь от погони, растерянная (кто, откуда?), пробуя бежать, не зная, к чему это поведет и где именно враг. Что-то бесконечно потерянное, доверчивое и загадочное было в ее взгляде, в этом движении, с каким она, заколебавшись, стала, чего-то ожидая, и вдруг снова шарахнулась. Изнеможенно торопилась немедленно что-то предпринять, изменить и сразу обрывала, оставляя недоделанным, (тотчас же стрельнула назад из уборной, невнятно-громко-отрывисто отвечая на вопросы); проницательно и в то же время тупо-

безнадежно озиралась, как смертельно ушибленный, подбитый зверь, щелкая зубами (от холода и страха); близкая, еще рядом, но уже недосягаемая, — как замок с поднятыми мостами, как шахтеры, заживо погребенные (чьи крики слышны на поверхности), как студенты в первое мгновение после провала на экзамене, — отгороженная страшным двойным пологом, отшвырнутая: зная все, ужасаясь и не понимая хорошо того, что она постигает. В ту ночь ее разбил паралич. Я раз-два наведался к ней, однажды посидел ночью (тогда же сообразил: комната больше — сколько мебели), отворив окно. Она превратилась в малютку: словно давешний визит ее в коридор и сугубое беспокойство были последними мудрыми актами зрелого сознания. Кротко умоляла все сходить к внукам и отобрать ключи; но видеть их не желала: волновалась от одного присутствия их за стеною. «Вы говорили с Альбертом? — спрашивала по-детски доверчиво и в то же время подозрительно. — Что вы ему сказали? Que je voudrais bien avoir mes clefs», — повторяла и, укоризненно вздохнув, смежала веки. Под вечер, в мое отсутствие, она, как говорится, преставилась, за всю растянутую жизнь серьезно прохворав только неделю. Сразу в покой ворвались внуки; заперев дверь, включив сильную ранее припасенную лампу, они до зари копались, перерыли ее жилище, спеша найти все, что спрятано, до приезда «того» (ему отправили телеграмму). В матраце обнаружили всего 6000 (а рассчитывали на 100). Среди ночи испортилось электричество — зажгли свечи; в колеблющейся мгле за портьерой ходили две тени: выстукивали стены, разбивали мебель, отдирали половицы (Бюта позволил). Соседи выглядывали, шепотом обменивались догадками у своих порогов. Изредка Руссо выходили в коридор: освежиться... выпивали по стакану чего-то и, отдышавшись, возвращались к работе. Именно в одну из таких пауз я заметил перемену, происшедшую с мадам: появилось новое выражение (тень, складка) на этом чувственном смуглом лице с глубокими темными очами, — я бы сказал сияние гордости, приятия своей ответственной человеческой доли. Она стояла в шали, брошенной на плечи, обнаженные руки, крепкие, молодые, женственно и покорно свисали; увидав меня, она дрогнула, привычно, едва заметно, повела головою, словно подставляя, открывая губы, щеки чужому взгляду, и вдруг необыкновенно серьезно, мужественно-печально и торжествующе-зрело посмотрела на меня, точно говоря: да, вот она жила, трудилась, рожала, теперь мой черед, должна трудить-

ся и любить, а когда умру, то оставлю порожденных мною, не пальцем деланные, они тоже будут расти, любить и умирать. Гордость страдания, общения озаряла ее и радостное, двусмысленное сознание своей полноценной земной судьбы; она выросла и даже минутно поумнела. Денег больше не оказалось (впрочем, если и нашли, то в их интересах было умолчать). Стук, мародерский шепот смолкли лишь под утро. Тень экспресса с бешенством мчалась по мне, клокоча и давясь. Она умерла в четверг, а хоронили — во вторник. Чета, обшарив все углы, рыскала теперь по городу, проверяя старые следы у нотариусов; предполагалось, что ночь они проводят с покойницей: но дверь была заперта — я пробовал, — и ничего подвижного за нею не чудилось. Внук же, «тот», не приехал, (говорили, что адрес на телеграмме перепутали). А старушка между тем запахла. Соседи нашего этажа, бледные, подавленные, стадно разбежались — кто куда. Являлись днем, крадучись, за какою-либо принадлежностью кухни или гардероба, объясняя свое исчезновение случайными — у каждого особенные — частными причинами. Рядом остался только я один, тщетно пытаясь сохранить внутреннее равновесие, захваченный, вовлеченный, брошенный на край этой всасывающей, пустой, безвоздушной (межзвездной) ямы, образующейся вокруг смерти; смаковал ее последний выход, загнанный блеск глаз: надежда, растерянность, страх... (слышала голоса за спиною, боялась оглянуться, побежала, зная, — не удастся, ноги подкашиваются). По запаху я незаметно пробирался назад, восстанавливая в памяти все трупы, павшие на мою долю: госпиталь, морг, анатомический театр, Константинополь, утыкаясь в последний (первый), — мать. Она лежала в мертвецкой губернской земской больницы. Я вошел, несколько отстав на лестнице, домашние расступились, серьезно глядя на меня, чего-то ожидая (подталкивая); склонился, поцеловал этот высокий, ледяной, нежных линий лоб (который не мог принадлежать матери), словно увидав его впервые, (как и все лицо: сверху вниз). Полуфальшиво улыбаясь, прослезился, чувствуя себя актером в главной роли и следя за своими движениями, горделиво поддаваясь чарам героического полупреступного одиночества (как потом часто в жизни). Бабку Руссо хоронили во вторник. Соседи подписались на венок, столь же обязательный на улице Будущего, как боковые высокие ограды. Под влиянием Жана Дута я тогда считал разумным бороться с лицемерием быта (в этом месте ломать дугу косности, инерции) и отказался сделать

взнос, что больно уязвило всех, потому что, зная о моей с бабкой относительной дружбе, ждали соответствующей суммы. «Даже одного франка вы не можете дать?» — испуганно спросила «правая» соседка, ведавшая подписным листом, и вдруг благодарно расцвела. Нежно простившись, она выпорхнула. К вечеру меня посетил Бюта; повозившись у крана, он смущенно осведомился: «Правда ли?..» Еще человек пять меня допрашивали. Марго говорила снизу (сокрушенно): «Какое разочарование для порядочных людей». Только господа Руссо не участвовали в склоке. Ко вторнику все приняли вполне достойный вид: полный траур, креп. Похороны были стереотипно-торжественные. Нам всем прислали извещения о дне и часе выноса тела (а потом благодарили, даже отсутствовавших). Автомобили, цветы, люди в казенных ливреях подействовали ободряюще на жильцов. «Нет, человек не падаль!» — решили все, начиная успокаиваться, приходить в себя. Потому что в те дни, когда старуха praванивала взаперти, их сознание стало давать опасные трещины, все побежали с насиженных мест, кроткие и растерянные. Кортеж получился отличный: дамы из двух домов Бюта. У окон застыли обитатели нашей улицы; высовывались по пояс, безобразно торчали их головы: из каждой щели по одной (или симметрично — две, три). Отверстия малые, а особи крупные, неподходящие (как в тире — если попасть — мгновенно меняется освещение, распахиваются ворота, бьет набат, мчатся пожарные, а на веранду высыпает толпа с несоответствующими случаю лицами). Все изуродованы трудом, старостью, сладострастием, обжорством, неудовлетворенными фантазиями, вином; одни возбужденные, другие сонные, известково-бледные, клопино-красные, похожие и неповторимые. Здесь окон не отворяют (простуда); штор не поднимают (выцветут обои); в гостиной прыгают, как по кочкам, с подстеленной газеты на дощечку и снова на газету (для сохранения ковра, линолеума, паркета); мягкую мебель пеленают в чехлы (моль); лечат секретные боли таинственными средствами. Вселенная полна злыми посягателями, как отстоять человеку здоровье, имущество... («Это уродство, закон равновесия, — учил Жан Дут. — Их пустили на кривую плоскость или вывихнули бедро; стремясь компенсировать наклон, все подались в противоположную сторону, соответствующе изогнули хребет: так не упадешь»). И все же они как-то жили, отгороженные тюремной решеткою, цеплялись, пробовали, надеялись, пускали слепые, чахлые ростки, сдавались

беременея, завещая семени выполнить миссию, найти разгадку, катясь к неведомой, внятной цели подобно снежному кому. Иногда я различал ветхие черты родины. Так, старик, рывший яму, выпрямился на миг и мучительно вытирал пот со лба (мне почудилось: Россия); в праздник пьяные каменщики затеяли драку: один, убегая от ножа, хотел спрятаться в соседнем подъезде: невидимая (знакомая) рука захлопнула дверь перед носом жертвы. Еще один раз обитатели нашей улицы выстроились у своих окон и порогов, когда мадам Бюта после родов возвращалась домой. Она шла в нелепом розовом платье, с огромной шляпою (мы ее никогда не видали в шляпе), куцая — свисали груди, — бледная, отекшая, изнеможенно-счастливая. Рядом свекровь («консьержка»), сухая, древняя: орлиный нос, кружево морщин, беззубо-серьезная улыбка рока... несла младенца; спереди сам Бюта в праздничной одежде, непривычно-бездеятельный, сконфуженный и сдерживающий накипающее раздражение. Они быстро просеменили по середине мостовой в какой-то вдруг образовавшейся предательской пустоте, (эскорт, караул со знакомыми чинами; но кому придет в голову поклониться?). Прошествовали (он спереди, все ускоряя), скрылись за коленом улицы у шлагбаума. Комнату бабки Руссо, где я поселился, отремонтировали, заново оклеили; на место ее кровати поставили мою: я лежал и смотрел на те же срезы карнизов, рамы окна, край неба с трубою. Тут годы маялся человек и вдруг — нет, пусто. Не то что переехал, перешел, переселился, юркнул, — а вообще уголовная тайна. Девочка «правой» соседки упорно расспрашивала, что стало с бабкой Руссо, отвергая все компромиссы: была хозяйка, деспот, имела привычки, симпатии, и вот сорвали с петель, выкорчевали — пуф! — как объяснить. Первое время еще тянутся разные нити подобно струнам (куда девалась скрипка?). А у Бюта родился беби. Было их двое в комнате, как ни прикидывай, двоим — оставаясь теми же — трудно выкроить равного им третьего. Откуда он чудесно вынесен, пущен. Допустить один прыжок, а там уже все логично и закономерно: середина жизни растолкована. Мне приснилась старуха Руссо в серой сурового полотна длинной рубахе. Протягивая голую черную ручку в сторону камина: «Там, там, — шептала лукаво, — там». Я понял: деньги в камине. Рука поднялась выше: в трубе. Я очнулся гордый, благодарный. Камин во время ремонта замазали — надо пробивать дыру, — решил пока не спешить: мне деньги к чему... ценна связь, благосклонность. После завтрака я

ездил в город, к Биру (за исключением летних месяцев, когда я у него совсем поселялся). До Орлеанских ворот — трамваем, а там метро (с пересадкою). Итого (туда и назад) шесть раз менять вагон. Нудное ожидание. Пощечина князя мира сего: ведь те же поезда (только в противоположном направлении) сразу вот бегут, а «твоего» — всегда дожидайся! Случайность... Пристрастие... Верный объективному методу, я в студенческие годы целых два месяца записывал (тут же на перроне, у полустанка) в особую книжечку результаты наблюдения: ежедневно шесть отметок на 51 (девять воскресений), всего — 306. Почтенная цифра, известны исторические открытия, сделанные на основании более куцей статистики. Моей задачей было выяснить соотношение благоприятного факта к общему числу фактов. Так, если за время ожидания вагона в сторону АВ я успевал пропустить два поезда в обратном направлении, то писал пропорцию —1:3 (т. е., на три явления только одно за меня). Предложил друзьям проверить опыт. Жан Дут установил для себя — 2:3; Спиноза 1:5; остальные получили мое соотношение (1:3), очевидно самое распространенное. Тогда я формулировал общий закон: каждый человек имеет свой коэффициент попутности или *удачи* (его легко найти и вписать в паспорт как характерную черту); мой коэфициент, самый банальный, равен 1:3; коэффициент удачи иногда колеблется, меняясь в разные периоды жизни; кроме того, в главном своем ответственном деле человек может иметь особый (второй) коэффициент, сильнее (или слабее) общего, будничного; среднюю же (этих двух) неразумно искать. Из всех царствующих ныне обманов величайший — теория вероятности (поскольку она связывается с определенным существом). Мотыльку, чья жизнь одна ночь, плевать на среднюю бесконечности; осмысленно ли искать, как его личный опыт растворяется в цифрах предполагаемой вечности, собственный хвостик приставлять к туше безграничности, по одному коготку или зубу учено восстанавливать образ ледникового великана. Не закономерность и общие шансы важны для того, кто попал в котел с расплавленным чугуном и выскочил оттуда цел, или, поскользнувшись на апельсиновой корке, сломал позвонок. Замечательно, какое гипнотическое влияние имеет теория вероятности на людей, в остальном математику не жалующих. Как всякая иная доктрина, она похожа на вдохновенного выскочку, конокрада, карьериста, которому рвачество до поры до времени удается; постепенно наглея, теряя чув-

ство меры, он пытается уже овладеть решительно всем, распорядиться по-своему; а когда, наконец, разоблаченного хама схватила великолепная чернь и повела линчевать, он, окровавленный, гадкий, в исподнем белье (выволокли из кровати), ослепленный, вопит на все четыре стороны, кается: «Разве я что, разве я не понимаю! Всем надо жить! В сущности, я мечтал только о маленькой ферме для себя!» — вызывая жалость у неосведомленных встречных. Открытие коэффициента удачи, связанный с этим анализ пояснили мне тему докторской работы. Самое банальное, большинством довлеющее соотношение это один к трем. Как же, однако, жизнь «выжила», выгребла, зародилась и сохранилась, имея из трех явлений только одно — благоприятное, попутное. (К низшим животным — есть все основания предположить — коэффициент еще враждебнее.) Как она осилила, не пресеклась, да как ей в голову могло прийти с такими шансами отважиться пуститься в дорогу... И меня осенило: жизнь продолжается именно благодаря тому, что трудно ей продолжаться (только-поскольку невозможно ей было зародиться, она зародилась). Один к трем это нормально-благоприятная пропорция, — только в ней ткань продолжает (из упрямства) свое пожирание препятствий. Спортсмен не станет прыгать без приблизительно такого соотношения (скульптор ваять, композитор творить). На камень капнул яд, он захотел освободиться (трудно) и дохнул кислород, шевельнулся — родилась клетка. Из разных вариантов самым трудным было подняться на ноги, полететь, избавиться от хвоста: разумеется, мы поднялись, взлетели, избавились. Легче остаться в воде, дышать жабрами: естественно — авангард выполз на сушу (какая мука), дохнул трахеей. Борьба за существование Дарвина; принцип удовольствия Фрейда; мое: ядовитая, спортивная страсть — *преодоление препятствий.* Мир цепляется за жизнь, потому что совершенно не приспособлен к ней; смерть опасна, поскольку соблазнительно тяжела, поскольку переход к ней тоже связан с преодолением препятствий (зеркальный образ). Благодаря обилию чисел, молний, линий (векторов), движения, — с пересадками из «бензина» в «электричество» и обратно, — я в пути забавлялся тем, что строил множество разных физико-математических систем. Так я придумал, что человек не весь живет в тех же измерениях: пятка, подошва — нога — в двух (она тянется, возносится в третье); верх, голова уже в трех (и предчувствует четвертое). Категорию времени мы привыкли рассматривать как одно измерение (четвертое), на самом деле оно

сложнее, быть может, двухмерно (или даже трехмерно: куб времени). И как мыслимы уроды, существующие только в одном (идеальная линия) или двух плоскостных измерениях, — так, вероятно, и мы исковерканы, недоделаны, проникая только в одно временное. Если по биологическим соображениям устойчивости на живую особь отпускается всего четыре измерения, то почему мы не избрали одно пространственное и три временных (идеальная линия в веках)... Я любил почтительной сыновней любовью всевозможные любознательные вылазки и наблюдения, — так сказать бесполезные, никого не спасающие, ни к чему определенному не относящиеся. Люди, встречая на своем пути (в коридоре метро, на улице) лестницу, — взбегают, ускоряют шаги вместо логичного замедления. Тут в реторте действует сложная смесь упрямства, расчетливости, карьеризма и трусости: видя перед собою новый, непредполагаемый барьер, стремятся ценою поспешного усилия сразу отделаться от него, — проглотить, стереть, вернуться к статус-кво... и время, затраченное на подъем по неожиданной гипотенузе, совпадает в точности с временем, что пришлось бы затратить на преодоление катета (основания). На механической лестнице, — если не стоять, а всходить, — люди, даже больные, шагают бодро, легко, потому что относят усилие к результату, а здесь на привычную затрату энергии такой завидный успех. Мочась, человек сплевывает. Все эти наблюдения мне доставляли безотчетную радость; тем большую, чем дальше они были от пользы. Стоило им войти в соприкосновение с утилитарностью — в любой форме, — как пропадало очарование. Я с радостью помог бы всякому (поднять мешок, вправить плечо, осмыслить горе), но одна мысль о пациентах, ждущих в приемной Бира, паразитически требующих от меня спасения, настраивала уже враждебно. Я выходил из метро на маленькую — полулунье — площадь и поднимался в гору по улице, мощенной булыжником, загроможденной лотками, навесами, торговцами, лавками, грузовиками, автоматами, грязью, воплями и угаром. Эта улица похожа на толстую кишку. Вверх, смрадная, набитая, нашпигованная до отказа, до спазмы кашей человеческих тел, свернутых в один клубок — возков, покупателей, продавцов, снеди, туш, голов, потрохов, вывесок, витрин, циферблатов, корсетов, аптек с мучительно испражняющимися страдальцами (рекламы эликсиров). Кое-где намечалась трещина, свободный канал, туннель, где грустно ползли нагруженные индивидуумы, похожие на затерянных,

унесенных ветром муравьев. Лица сливались, планомерно чередуясь, повторяясь. Выделялось нечто уже совсем чудовищное (морда, как грыжа, как самовар, как прорубь) или недостоверно прелестное потустороннее личико, нежно большими глазами (из-под озорной челки) сверкнувшее, — как драгоценный аметист в желудке акулы. За школьные годы я научился безошибочно, по одной внешности студента, определять его учебное заведение: юрист, медик, «артист», политехник. Так теперь, по многим невесомым признакам я мгновенно узнавал род торговли, занятия: быстро начинаешь походить на товар, которым орудуешь, точно волоча постоянно за собою вывеску (даже в праздник). Я распознавал marchands de couleurs по жирной, точно обмазанной керосином, коже; у них особый, «изоляционный», взгляд и голос; они злые; ходят в церковь. Торгующий грибами — маленький, нос пуговкой на умном серо-буром лице. Женщина в круглой шляпе с цветком, пышногрудая, продает фрукты, сама подобная сочной дыне или груше дюшес. Возле церкви озабоченно сновали старушки, похожие на жучков. Они в курсе многих дел нашего околотка: родов, панихид, браков, крестин (знают наизусть месячные сроки и могут сообщить, кто запоздал). Огромные, волосатые попы сигали, точно летучие мыши, по скверу, пропадая в боковых дверях храма. Тут, где-то сзади, мы пользовали беременную. Не могла родить: пришлось по частям вынимать, распиливать плод. Но предварительно позвали кюре и он, капнув на чрево матери водою, окрестил плод, — распахнув таким образом перед ним узкие евангельские врата. По дороге я приобретал фрукты, сыр, бисквиты, хлеб, яйца (в зависимости от сезона и моего положения: квартировал ли я у Бира или только являлся на часы); рассовав пачки по карманам и в портфель, выпятив грудь, приняв по возможности солидную осанку, я сворачивал в боковую улочку — мелочных лавочек, цирюльников, молочных и аптечных складов (где приютилась клиника). Бодро ступал под испытующими взглядами торговцев разных мастей. Они подозревали, что я закупаю провизию и сверлили глазками мои оттопыренные — инструментами? — карманы. Я не мог покупать у них: «Пожалуйста, четвертушку масла» — какой ты после этого доктор!» — учил Бир. В праздник или ночью, опившись, обожравшись (или так, беспричинно: «Только что легли, я говорю мужу: ты не чувствуешь ничего странного?»), — ударом кулака низвергнется вдруг боль. И бегут в клинику. Это меня подняли с постели, когда мадемуазель Ролан не могла от-

дать мочу. А на Троицу чем свет позвали к Рею — ломит суставы (подлец скрывал некоторые эпизоды из своего прошлого). У порога москательной лавки стоит хозяин. Жене этого я однажды сделал toucher vaginal; с тех пор, при встрече, она, бедняжка, мучительно конфузится, зная, веря, однако, что все правильно, так и нужно; муж, однако, — судя по мрачному, задумчивому взгляду, которым он меня провожал, — начинал сомневаться. Напротив магазин «Tout un peu»; здесь я лечил мальчишку, зеленого, тщедушного, от глистов. Мальчик неожиданно превратился в кавалера, носился на щегольском велосипеде, слонялся в обнимку с барышнями, а я все помню зелень, чахлую грудь, глисты (и тот не забыл: ежится, избегает меня); а мать его скоропостижно скончалась, к вящей моей славе: лечилась у другого. Я пробегал, суровый, знающий секреты (чем-то напоминая попов, что сигали там, у церкви), окунаясь во все эти пересекающие улицу холодные и теплые течения, лавируя, — и кто бы мог подумать, что я внутренне содрогаюсь, ерзаю, воплю. Но чем виновнее и мельче я себя чувствовал (казалось, хозяин москательной непременно меня изувечит), тем почтеннее, внушительнее становился я с виду, — без всякого усилия, даже против воли, терзаясь этим; так шулера, иногда дипломаты автоматически приобретают подчеркнуто благородную осанку. Улица — в 30 номеров — вся занята лавками и складами, будто арсенал, питающий целый рабочий округ. Сначала казалось: хаос, бессмыслица, почему пять бакалейных, а всего два винных дела. Но потом я узнал: строгий порядок царит в этом распределении, законы механики регулируют его. Так, один (лишний) магазин то закрывался, то, перекрасившись, снова отворял двери. Несчастные предприниматели все перепробовали: галантерея, колбаса, T. S. F., бистро, очередное разорение. Нельзя вклиниться: поделено. Могли еще победить — творческая идея или большие деньги. Клиника расположена в конце, на перекрестке трех улочек и тупика (где в дождливые сумерки запела однажды Лоренса). Хозяин, доктор Бир, начал блестяще карьеру добытчика. Но прошло лет 15 — и надломился: кишка тонка. Все производило впечатление крепко построенного, а рассыпалось непостижимо легко. Жена ушла к другому, на этот раз «по любви» (женился Бир по расчету), дочь в пансионе, сам он заболел уремией. Приелось ли ему или зашевелилось другое, серьезное, только он вдруг перестал жадничать, забросил работу, лениво искал компаньона, покупателя: хотел уступить (раньше дорожился, те-

перь рад бы подешевле). Квартиру над клиникой собирали с нежностью, с расчетом на вечность, а теперь, запущенная, она пахнет старостью, неудачей. Я, проводя там иногда целые месяцы, жил, как на маневрах, на бивуаке, надеясь в любую минуту (вернется Бир, появится новый хозяин) убраться восвояси, на rue de l'Avenir.

2

В летнее время (без Бира) я начинал прием рано. Часто, еще до кофе, являлась женщина, ютившаяся при клинике, с телефонными звонками и записями; (целыми полосами, однако, это место «заведующей» оставалось вакантным). «Никто не поверит, до чего трудно, несмотря на кризис, найти приличного человека», — жаловался доктор Бир. Секрет заключался в том, что вознаграждение он предлагал самое мизерное (комнатка с газовой машинкою и проблематические 100 франков: он физиологически не умел давать деньги); при первом лучшем предложении — а любое: лучше! — телефонисты сбегали; или же попадались такие субъекты (с поножовщиною и разгулом), что Бир должен был отказать. После утреннего кофе я спускался в то, что пышно именовалось клиникою: раньше здесь было herboristerie, а до того винная торговля. Бир мечтал еще нанять соседнюю лавку: для рентгеновского аппарата... но кризис, личный и социальный, помешал (он только успел поставить в чулане ультрафиолетовую лампу и несколько устарелых, вышедших из употребления электрических машин); кабинет зубного врача давно уже пустовал. В приемной меня обычно ждет несколько больных, преимущественно старых знакомых; консьержка дома под видом деловых переговоров (не взяться ли ей убирать клинику?) все норовит исцелиться, помолодеть: зудящие язвы на ногах. По ее требованию я избрал самый сложный, отнимающий у меня много времени способ лечения: autohemotherapie. Наш сеанс полон сравнений с прошлыми уколами в Saint-Louis. Я ей запретил мочить руки и поэтому перед работою она аккуратненько напяливает пару продранных каучуковых перчаток. Оттого что я ее пользую безвозмездно (Бир строго запретил разводить здесь бесплатную клиентуру), она меня несколько презирает и боится: «Бог его ведает, на что способен еще». Спокойная, рассудительная эта женщина одержима двумя страстями: национальная лотерея и автомобильные столкновения. Картина крушения доходила ко мне в кабинет

следующими этапами: визг заносимых колес, скрежет терзаемых тормозов, удар, треск (посыпалось дерево, стекло), потом более или менее значительная (в зависимости от характера катастрофы) пауза, тишина... и вдруг беспокойное движение воздуха, волна беды, непоправимого, топот, жалкие вскрики (recule, а-а-а!), все растущий говор сбегающихся. Из окна я вижу (часть, дорисовывая остальное) опрокинутую камионетку, вывернутый газовый столб, корзины, ящики, доски, несколько человек склонились над чем-то, пустое пространство и опять полулунье толпы; на порогах лавок и кабаков неузнаваемые лица; но вот я замечаю: консьержка бежит своей матерою приседающей иноходью, больная с изумительною скоростью, ловко кружа, огибая, опережая (так старая волчица в минуту опасности ведет молодых), а лицо ее, просветленное, в эти минуты детски взволновано и серьезно. Обычно все кончалось пустяками: ушиб, страх. Только однажды по-настоящему: в газете напечатали подробный отчет с фотографией перекрестка и двух жертв. Первой очутилась там консьержка: «Подняла девушку, а кровь хлещет! (количество крови и золота обыватель всегда преувеличивает). Кричу: «На помощь, скорее»... никто! На моих руках раненый, а все притаились, отступают, прячутся!» — рассказывала она задумчиво, почти страдальчески-мудро. («Вот, вот, — узнал я. — Ты на верном пути»). Что-то в ней заиграло в ту минуту, освещенное одиночеством, сиротством, всеобщей глупостью — саднящая обида, возмущение, жажда рая. Иногда, не в базарные дни, консьержка затевала религиозный спор: «Я допускаю, — заявляла она. — Вот почему, оглядываясь по сторонам, я говорю: должен быть Некто, управляющий всем этим (неопределенный жест). — Но вы, вы, мосье (фамилию она произносила сдваивая и смягчая каждую букву). — Неужели вы можете верить?» Получив ответ, смущенно отводила хитрые, уже старчески уплотнившиеся зрачки: чему тут удивляться, ведь я однажды привел к себе в два часа ночи гостей и угощал их чаем. Я у нее взял кровь и вспрыснул в очередную ягодицу. Сегодня она расстроена, нашла нужным сообщить, что в Сен-Луи: не то лучше, не то иначе! «Сколько этому лет, сударыня». — «Этому, этому лет...» Уже три года, как я слышу эту двукратную цифру. «Тогда, сударыня, и вы были другою: вены, руки, ягодицы... хотя последние не лишены и теперь известного шарма». «Ха-ха-ха, вы шутите, а между тем в свое время, — мгновенно оживлялась она. — Впрочем, вы можете судить по одному из моих образчиков» (она имела в виду

дочь, изредко навещавшую ее). Нет, вчера она не слышала, когда я вернулся. Сходил ли кто-нибудь? Женщина с мальчиком? Нет, каждое воскресенье она принимает свой тизан и почти сразу должна лечь спать. У нее десятая билета национальной лотереи, она убеждена, что скоро выиграет — и тогда отблагодарит меня. Вторым ждал тунисец, чье имя я затруднялся произнести. Его пользовали от гонореи в соседнем конкурирующем заведении: пять месяцев, а конца не видно. Затем пришел Рей, accident de travail: поцарапал напильником руку (две недели отдыха). За него мне платило страховое общество, которому я указал, что он посещает клинику ежедневно, и Рей пользовался любым предлогом, чтобы зайти побеседовать: он изнывал от скуки, играл с ребятишками в карты. Под конец этих двух недель Рей отощал и начал задумываться. Решил вытравить себе узлы вен на ногах. Лечебница могла существовать только благодаря современным, радикальным методам терапии. «Я тоже рассуждал, как вы, — уверял доктор Бир (обычный аргумент, почему-то успокаивающий пошляков). — И даже лучше. Но податной инспектор другого мнения. Конкуренты тоже. А это основное правило джентльменской игры». Я не хотел продолжать такую работу, но мне советовали: окунись, окунись, получи прививку, всюду то же самое. «Я пять лет барахтался в омуте, — сознался Жан Дут. — И за многое благодарен». Я рассчитывал ввести частичное смягчение режима, но это оказалось не по силам: с одной стороны, сами пациенты подбивали на жульничества и вымогательства, требуя модных сывороток и гормонов, а с другой стороны — хозяин Бир. «Мы не можем держаться, если видим больного раз в месяц. Посчитайте: налог, второй, третий налог, квартира, электричество, телефон, амортизация, страховка, жить, наконец, тоже надо! — не хватало пальцев, он завершал: — Что же, закрываться? А между тем в этом кабинете еще не занимаются уголовщиною: поживете с мое — узнаете». Чтобы пациент приходил не раз в месяц, а два раза в неделю, существуют гормоны, вакцины, электрические контакты, бесчисленные препараты и растворы в ампулках. Стареющей прачке (ей кровь бросалась в лицо) я вспрыскивал внутреннюю секрецию кроличьих; пьянице — вытяжку из печени. Общий обмен веществ это некий Клондайк; то же сифилис, туберкулез, кожные поражения. Первому, кто открывал инъекции, было трудно с людскою косностью и слепотою; от нас же требовалось другое мужество — отказа; но Бир только в детстве мечтал о героиз-

ме. Визиты на дом я начинал после завтрака. Важно прошествовав мимо лавочников, подставляя только неуязвимые места спины под их взгляды, я вырывался на свободу чужих перекрестков; то не были особенно дурные люди, наоборот, если покопаться, можно найти — всюду — трогательные и даже величественные черты по отношению к семье, родине, классу, но мне давно уже казалось: этого мало (пеленки). Если навстречу попадался кто-либо из старых пациентов, мы обменивались притворною улыбкой. Особенно я стыдился одного безработного (такой благородный нищий, отец семейства). Хозяин дома как-то стукнул его коленом в зад. Он хотел подать в суд и пришел ко мне за свидетельством. Обнажил тощий, впалый, унылый смешной зад (похожий на его изможденное лицо). Мы делаем вид, что не узнаем друг друга. Сверяя по бумажке, останавливаюсь у искомого номера. Провинциальный двор с низкими домами; там царит муравьиное восточное оживление. При моем появлении все разбегаются: визгливые старушки, ковыляя боком, женщины в растерзанных халатах, мужчины в парусиновых брюках или в кальсонах. С края, у овальной площадки, где полвека тому назад предполагалась клумба, лежит нечто странное для данного места. Подхожу ближе: перина, постель, на земле, а на ней женщина в позе роженицы. Вопросительно оглядываюсь. Подкатывается румяная, добрая и резво-глупая старушка, предупредительно объясняет: там душно, больная попросилась на воздух. «Вы из России, из Польши?» — я сразу окунулся в атмосферу погрома, несчастий, прыжков выше пупка, неудач и страха. По моему требованию ее водворили в комнату; (постель почти мгновенно растаскали, больная вдруг провалилась, растаяла, подростки вихрем носились с подушками, обросший мужчина пихал сверток перины в окно — точно на железнодорожном полустанке). Во дворе больная лежала раздетая (рубашка, простыня), но когда я ее коснулся, она — 40-летняя — мучительно заалелась, точно девственница. Слабый пульс, давление упало (9-5); в Париже летом, в квартире, где порхают волокна тканей, пылинки кож, пахнет клейстером, ребятами — и жы-жы машин (дом полон мастерских), — это естественно. Решил впрыснуть кофеин. А румяная старушка, трогательно-торжественно мне прислуживая, — как всегда простые люди: полотенце, мыло, одеколон, — норовила выведать, к чему этот укол. Вообще она, очевидно, была делегирована от соседей в качестве наиболее светской и способной отстоять жизненные интересы подзащит-

ной. По углам торчали растрепанные девчонки с лукавыми и грустными лицами; распоясанные люди слонялись по коридору, вздыхая, заглядывали в двери; тут же над головою висели темными рядами казненных осенние пальто с высоко поднятыми (еще модно) плечами: было много художественной правды в том, что эти нелепо нарядные выпуклые «груди» изготовлялись сутулыми, мрачными, поглощенными заботою о долгах и болезнях неудачниками. Хозяин, со свисающим из кармана углом носового платка, нервно разгуливал в своих подозрительных панталонах, поминутно отупело-страдальчески оглядываясь на жену, похоронным шепотом давая объяснения лохматым, низкорослым, похожим на жуков подмастерьям. За окном вопила детвора, солнце струилось в завешенное простыней окно, — все было до смешного нестерпимо и неумело налажено. Я посидел лишнее, следя за пульсом; создавалось впечатление: крепнет... но больная упорно отрицала всякое улучшение (в госпиталях не любят таких). Старушка осведомилась: сколько?.. Я предложил им завтра рассчитаться (все равно придется заглянуть). Но хозяин к старушке, та ко мне: они должны знать сколько, чтобы не вышло путаницы. Хозяин грустно-знающе мотал головою (богатый неожиданностями опыт). Под конец вспомнили, что одна из девочек последние дни «скучает». «Она всегда такая бронзовая» — желтуха. Пока я говорил, писал, объяснял, все они предупредительно соглашались, мудро уступали мне (как пьяному или безумному). Я знал это: они решили не выполнять предписанного. «Как же ребенка с почти нормальною температурой держать в кровати?» — проговорилась светская старушка, обладавшая, разумеется, недюжинными фельдшерскими познаниями. Следующий визит был к властной патриархальной даме. Ее холостые сын и дочь, старые, совсем по-библейски, любовно и почтительно, служили матери, — не рассуждая. Страдала фистулою; и самоучкою, крепкою, здравою смекалкой догадалась отвергнуть, вопреки угрозам пользовавших ее врачей, операцию. Я прописал ежедневные ванны, и собственноручно накладывал перевязку. «Подумайте, мосье, какой стороною я должна показываться вам». Я шутливо: «Мадам, это какая-то золотоносная жила. Ежедневно 30 франков. Вы бы чудесно могли обойтись без меня». Она ужасалась: «Дочери в таком виде»... А дочь, краснеющая, будто подросток, уродливая (а глаза сияют) с аскетически-четким католическим профилем, страдальчески морщилась и глядела на мать преданными собачь-

ими материнскими глазами, безответная, как глухонемая. Третий визит к Тер-Аколу: бесплатный, он звонил еще вчера (воскресенье). Нечто среднее: язва желудка или камни в печени (вернее — то и другое). Меховщик-ремесленик: собственная мастерская. Он чувствует себя отлично, пока работает. Но летом — штиль: политические конфликты, страх за будущее, нужда в куске хлеба, злоба, зависть, сомнения. Начинал грызть ногти до крови (во время «сезона» отрастали), ссориться с женою, воспитывать сынишку и вообще — наверстывать. Он легко оступался в гнев и, раз вспылив, — по сути своей добрый, сентиментальный, отходчивый, — делался жесток, отвратителен, опасен, (о таких говорят: но сердце у него золотое). Язво-каменные припадки были откликом его спазматически исступленной натуры. Ночью с драматическою помпой — начиналось. Как всегда в таких случаях, мнилось: сейчас, немедленно, безоговорочно — смерть. Тиран превращался в ягненка. Робким стоном будил жену, которую сладостная покорность и мудрый детский страдальческий вид устрашали больше любого буйства и хвастливой беспечности. Против ожидания Тер-Акола я нашел не в постели. Просто одетый, с оттопыренным воротником и повязанным жгутом галстуком, в плохо подогнанных — будто после длительного «дачного» перерыва — частях костюма он бегал по квартире, увязывал разные вещи, изредка бросая неистовые, полные обиды и претензии возгласы в сторону флегматично, упорно молчащей супруги. «Что здоровье, не до того!» — горько ответил он. Мишель (сынишка) серьезно провинился. Отец решил основательно — проучить. Неловко вступилась мать... «Значит, мне даже ребенка нельзя высечь? Значит, я уже здесь — ничто? Хорошо, живи с ним одна в этом проклятом доме. А для меня всюду найдется кусок хлеба, без такого труда, поверь!» — и завертелся по комнатам... скорее (пока не остыл) осуществлять свой давно пригрезившийся мстительный план. Жена смирно сидела, внешне похожая на большое жвачное животное, нутром плача: то и дело поднося руку к щекам, проводя по ним ладонью, хотя слез не было. Я видел на столике в спальне ее фотографию, невестою. Смуглое (верное) личико, длинные косы, нежный таз. Что сделали 15 лет жизни, нужды, забот (излишков, лени)! Они тоже когда-то целовались у порога и было такое чувство, как на Пасху, в церкви, — обновления, религиозного восторга. При виде зрелой супружеской пары часто недоумеваешь: «Ну зачем они соединились, что они думали, ну как мож-

но такую целовать, с таким лечь, зачем?..» Продолжают ли они чудесно осязать — сквозь жир, мясо и морщины — то, что узрели некогда, или, уже не видя, все же, однако, верно ему служат... (Если ему показать на воскресном гулянии «ту», «прошлую», — так ли уже решительно он бросится ее догонять?) Человек живет только урывками, время от времени; словно подземная река в пустыне, райски пробивается на поверхность его подлинный («прошлый») образ: расцветает, воскресает у себя дома, среди близких, в улыбке буден и забот, непостижимый для равнодушных... и только эту реальность видит, учитывает, прыгая, как в заливном лугу, с кочки на кочку, отрицая все остальное, количественно подавляющее, лишенное значения, топкое, «пустое» место. «Ничего, он может идти, я уже была счастлива!» — заметила, ни к кому не обращаясь, жена. Основной недостаток Мишеля заключался в чрезмерной (вероятно, наследственной) восторженно-детской болтливости. «Tu es docteur? — сказал он при первой встрече. — Je devine tout, mais je s n'aime pas parler» — острая, хитрая, изнуренная мордочка. Там создалось двусмысленное положение. Тер-Акол, приняв французское гражданство, воспылал сугубым патриотизмом и, чувствуя шаткость своей позиции, записался в ультраправую политическую организацию. У него хватало такта в разговоре с аборигенами доверчиво поносить грязных иностранцев. «Faites attention», — нежно, воркующе предостерегала его соседка, один голос которой создавал впечатление близости кобры. — On vous tire au dos!» Вот она-то и донесла родителям, что Мишель во дворе при всем честном народе заявил: «Papa créve de faim». Не отрицая самого факта, papa решил, однако, разделаться с блудным болтуном. Тот же научился в таких случаях вопить необыкновенно жалостно, скользя гибкою ящерицей по закоулкам, где висели звериные теплые хищные шкурки: сразу начинало казаться, что его давно уже зоологически истязают. Мать заперлась на кухне; судя по возне, она решила: довольно... вошла и заступилась, — смертельно оскорбив воспитателя. Стукнул отшвырнутый пустой чемодан, покатился башмак, донеслось проклятие, и Тер-Акол, совсем готовый, заглянул в столовую. Одетый не по сезону (в дороге его могло и дождем помочить, и морозцем хватить), с узелком, перехваченным толстой бечевкою, под мышкою, в темном котелке. «Adieu», — сказал он, протягивая мне руку. А я гадал: должно мне вмешаться или нет (сколько раз я потом жалел, — насильно удержав)... И все-таки не выдержал: полушутя

ввернул какое-то слово. Они начали объясняться, обращаясь со мною, как с мостиком: перебегут, бросят сор и — назад. Договорились. Выяснили, что он имел право наказать сына, не калеча; калечить он и не желал: нарочно делал всякие приготовления, чтобы влиять, скорее, на психику — пугнуть. Обманутый мирными интонациями (или задумав пожертвовать собою), откуда-то (может, из щели в половицах) выполз Мишель и тут же, в каком-то общем согласии, был торопливо, неаккуратно высечен: завопил только под конец... жена сорвалась, ушла на кухню, потирая ладонью сухие щеки. А за окном змеино шипела соседка; у нее прелестная девочка — дочь: такими пишут итальянских цветочниц. Как от кобры могло родиться такое... Потом Тер-Акол ощутил упадок жизненных сил. Его разоблачили, сняли воротник, рубаху с разными (наспех собранными) запонками. Предсмертно тоскуя, щелкая зубами, он улегся с грелкою на печени. Лекаря хотели обязательно напоить чаем, и, вероятно, потому, что от одной этой мысли у меня делалась гусиная кожа, я согласился. «Странное дело, — любознательно спросил Тер-Акол. — Пока я сержусь, мне будто легче! Верно это или только внушение?» Комната увешана хвостатыми мягкими дикими шкурками зверей: крыс, кротов, кроликов, хорьков, две-три серебристые (взятые напрокат) лисицы. Тоже когда-то жили, бегали, грызлись, геройствовали, размножались. «Не нужно ли вам? Для дамы?»—предложила госпожа Тер-Акол уже буднично, без торжественной поволоки беды, первая придя в себя, консервативно успокоившись. «Мы доктору можем очень дешево посчитать лисицу, а другие шкурки просто подарить, чтобы не уморил», — расслабленно, проникновенно заверил больной. Вполне искренно: впечатлительный, он относился к чужим, незнакомым, лучше, чем к близким, домашним. Однако, кстати и некстати, начинал превозносить ценность денег, материи, чем еще больше подчеркивал свой уродливый идеализм и непрактичность: люди, по настоящему влюбленные, скрывают имя своей дамы. Так, он раз высказал уверенность (категория предположений у таких отсутствует), что и в рай можно будет пробраться, дав взятку стражу. «Зажгите ваш фонарик!» — попросил бедняга Мишель, привыкший к частым переходам от слез к шалостям. Развращенный предыдущей сценою воспитания, я присовокупил и свою долю насилия: «Говори по-русски, невежа!» Мальчик подумал немного и вдруг, смущаясь, девственно покраснев, звонко гаркнул: «Сделайте его погореть».

Пообедав в ресторане на площади Гамбетты, я прошел вверх по авеню к последнему больному, умирающему (сердце). Старик, выходец из Италии, не в пример остальным моим пациентам, богатый, знатный: 14 июля меня пригласили (семейный врач гулял), я, верно, угодил: продолжали звать. По призванию то был коллекционер-библиофил, специализировавшийся на «великих путешественниках». У одра стоял шкаф красного дерева с лучшими из лучших (как избранные одалиски), под ключом, в древних переплетах, — оригинальные, первые издания: Васко да Гама, письма Колумба, Америго Веспуччи и всей плеяды: Магеллан, Кук, Беринг, Марко Поло. «Какая у вас благородная страсть», — одобрил я. «Надо думать», — кивнул он небрежно и ухмыльнулся какому-то воспоминанию; но, видя искреннее благоговение, с каким я старался хоть погладить корешки, осененные крестами, шпагами и золотом, он ободряюще и покровительственно мне улыбнулся (как щенку или котенку, проявившему неожиданную понятливость). Раздражала его привычка то и дело чмокать языком, обсасывая его, словно пробуя вкус (кисловат?). Не рак ли желудка? Но пока не стоило углубляться в этот вопрос: надлежало раньше вывести из полной сердечной асистолии. Дочь, пышная южная красавица (сдержанно-страстная неаполитанка), упорно уставившись в мою переносицу, доложила: мочи немного больше, но самочувствие отвратительное, дышит с трудом, уже сделали три укола кофеина, а ночь вся впереди. Я щупал его, изучал, жевал глазами, пробуя и моля Бога открыть «узкое место», ахиллесову пяту недуга, найти свободный край рычага, чтобы уцепиться, взобраться, перетянуть никнущую чашу весов. Он внутренне коченел: даже книги перестали действовать (безразлично слушал про новые советские арктические экспедиции, весь отдавшись трудному подвигу дыхания и кровообращения). Вдруг по наитию я склонился к его уху и вдохновенно начал шептать. Он осовело вытаращил глаза, однако постепенно пленка мути стала рассеиваться и — засквозило: осмысленное удивление, испуг, на дне которого уже брезжил огонек озорства и предприимчивости. Я поведал все эротические истории, какие знал, принялся за Казанову, смачно расписывая первые его похождения. Чувствую: пульс крепнет, крепнет! Бесовское ликование, гордость творца мгновенно обуревают меня. Она пучится — артерия, — наполняется, разбухает, вздрагивает, напряженно опадает, пропуская волну крови. В тени комнаты незримо бдит его державная дочь. Время

от времени я подбрасываю сухую охапку на тлеющую головню. Наконец мой арсенал исчерпан, оглядываюсь, ища помощи. Дочь исчезает, через минуту бесшумно входит, неся груду «in folio»; испытующе глядя мне в переносицу, доверчиво протягивает книги: итальянцы, Овидий, «Декамерон», французские «contes galantes» — роскошные издания. Показываю старику пышные многокрасочные иллюстрации, по картинкам восстанавливаю текст; иногда дочь шепотом переводит для меня, подсказывает удачный образ или забавное положение. Два хирурга в стерилизованных халатах, двое рабочих ассенизационного обоза, мы стоически манипулируем заразным матерьялом, обретая новую крепкую чистоту, проникаясь благодарностью и уважением. Ритм дыхания выравнивается, округляется; в какую-то минуту старик облегченно зевает несколько раз подряд: он чувствует потребность вздремнуть. Дочь склоняется, оправляет подушку, из ее корсажа выпадает строгий маленький на длинной цепочке католический крест, раскачиваясь маятником, тепло поблескивает в дурманной тиши; а рядом конквистадоры, флибустьеры, корсары, завоеватели новых рынков и земель дружным хором поют о великолепии смерти: в неравном бою, в гневном море, за Полярным кругом... когда последние консервы уничтожены, собаки пристрелены, бензин вышел, а голос разума и немногих уцелевших спутников велит ударить отбой (мне всегда казалось, что я бы не повернул назад).

3

Десятый час. Покидаю больного. Улица; пары, группы, одиночки. Отвратительные женщины зазывают у подъездов, нищие требовательно протягивают руки, пьяные просят на ночлег, армейцы спасения кратко комментируют Евангелие, шоферы ругают незадачливых пешеходов. Уроды, бородачи, гномы, карлы, сатиры с бородавками, прыщами, пятнами, провалившимися носами; размалеванные мальчики, крашеные старухи в брюках. Что-то такое делают кругом, снуют, теребят, жалуются. Я знаю их подноготную. Это все пациенты, бррр! Не хочется есть, пить, спать, видеть друзей. По старой привычке еду на Одеон. Пью кофе у стойки. Пристает русский: безработный, «офицер» и пр. (кислая отрыжка). «Вот дал бы, только не денег», — неожиданно вырывается у меня и, странное дело, чувствую облегчение, удовлетворение: впервые за целый день полезной деятельности. Ничего не понимаю. Опу-

стошенно бреду. Что сейчас предпринять... Хочется курить. Достаю папиросу; спичек нет; прикурить у незнакомого... Неловко (Европа). А «tabac» далеко. Оглядываю прохожих, колеблюсь, гадаю; выбираю попроще: солдат с цигаркою. Прошу огня, — хочет достать из кармана; «не надо, я от вашей», — проникновенно, братски заглядываю ему в глаза. Мы улыбаемся, как извечно знакомые, связанные уже навсегда. Кланяюсь, благоговейно козыряю; через минуту пропадаем во многих тенях. А на сердце — слышней и слышней — льется музыка. Бесплодно только давать, труднее учиться брать: просил ли ты уже милостыню... Вот так обратиться, получить ответ и доверчиво разойтись: уже породненные. Это счастье. Жадно раскуриваю папиросу, все острее и глубже проникаясь интимной близостью нашей встречи. «Хорошо, — думаю. — Неожиданно проще простого. Именно что не спичка или холодная зажигалка, а огонь от огонька: лично, непосредственно. Так в России прикуривали, да и по сей день: в селах. Сколько христианской правды в такой бережливости». Вдоль решетки вечернего Люксембургского сада, затем «Четырех времен года» выхожу на бульвар Монпарнас. Впереди, на тротуаре, слоняется, шатается (по диагоналям) пьяная, растрепанная, оборванная и в то же время сохранившая еще некоторую женственность нищенка (подобная «матери» козы, Елизавете Смердящей). Пьяный мужчина сохраняет еще некие потуги к добродетели, из сексуальных, хулиганских обручей он вырывается, неожиданно пропев гимн справедливости, братству, клянясь, что не преминет умереть за родину, за интернационал или за собутыльника. Хмельная женщина кощунственно трезва. Нищенка продвигалась зигзагами, то ускоряя, то совсем останавливаясь, споря с невидимым врагом, проклиная, шельмуя его, угрожая кулаками, часто указуя на свой поджарый зад: остервенело хватала его руками, выворачивала, вихляла, тыча им во все стороны, грязно чертыхаясь. Этот зад, видимо, играл в ее жизни крупную роль, лежал в самом центре навязанного мира, доставил много хлопот, целиком сгноил душу, и даже радости, выпавшие на долю, — тоже через него. То был основной аргумент в ее споре с Великим Судьей; потому что тяжбу она вела с Последним, совала испод, сучила им явно ввысь, к небу. Иногда, задрав голову, начинала кружить на одном месте, грозя кулачками окнам верхних этажей, освещенным большими люстрами, где по цветам добротных обоев скользили тени счастливых матерей и жен. Я знал это чувство: прокля-

тие, проклятие вам окна с белыми занавесами, сколько раз я... (впрочем, не надо). Итак, бездомная останавливалась, грозила, терзала свой круп, выливала невразумительно-грязный, торжествующе-хриплый поток проклятий и доводов вроде: «Вы хотели, так вот вам, а теперь, гады, не нравится». Из бокового переулка несвоевременно показались две хорошо одетые дамы. Нищенка ринулась к ним со вздетыми локтями, обсыпая такой возмущенной, смрадной руганью (касательно разных женских тайн), что дамы, шарахнувшись к стене, сразу замерли, перепуганные. Кстати я подвернулся: предложил услуги. Взяв одну под руку быстро повел. Нищенка обрушилась удвоенным роем претензий (о, о, о!), где обида переходила уже в наслаждение («Моего ты не хочешь? А, гадина?»). Но так как мы шли по прямой линии, то она скоро отстала: перебежала на другую сторону бульвара, сердито шаркая несуразной обувью. Там у стоянки машин она застряла, отважно споря с обидными тенями: доносились отрывки ее затравленной речи под гогот скучающих таксистов. На уровне Bd Raspail я счел должным (поскольку надобность миновала) откланяться, даже не успев толком их разглядеть. Лишь когда они прошли вперед, я обратил внимание на очень притягательный силуэт той, что помоложе, — и пожалел чего-то, заволновался. Купил спички в «Доме», раза два смерил шагами оба тротуара, потолкался у террас, проверил мускулатуру на спортивных автоматах и, почувствовав усталость, вошел в кафе (против вокзала). Еще в другом зале я ощутил на себе отраженный зеркалами дружелюбный (женский) взгляд — потянуло туда. Только в непосредственной близости, по голосам, по сокровенно-вкрадчивому движению ресниц более молодой я узнал «тех» и обрадовался. Лукаво, заговорщически поглядывая, они склонились к сидевшему рядом мужчине, быстро-быстро нашептывая; тот обернулся: речь шла обо мне. Принесли кофе и журналы. За столиками пары, группы. Безотчетно фиксирую: вот этому (пожар лица) нужен режим; женщина со знакомою злой, раздраженной бледностью сухих щек — метрит, сальпенжит. Слежу за «своими» дамами; молодая, судя по неуловимым мелочам, свободна (кавалер относится ко второй). Волнующе-грубо-чувственная, еще в расцвете, тугое, хорошо развернутое тело, и только очи: сухой, яркий блеск, угрюмо-аскетические и в чем-то блудливые (как у соблазненной монахини). Изредка она бросала какой-то растерянный — вниз и вбок, — словно пробуждающийся, недоуменный взгляд. «Больная, — мелькнуло в связи с

этим несоответствием. — Я где-то встретил такое!» — силясь вспомнить, по данному впечатлению воспроизвести угасший образ. Наши глаза скрещивались лучами. С минуту мы жестоко, убийственно приникали друг к другу, внедрялись. Я первый уступал, брался за кофе, пробовал читать иллюстрированные издания, объявления сексуальной индустрии: снадобья, пояса, книжки, альбомы, наконец, спрос-предложения. Молодой человек с автомобилем, располагающий по субботам досугом, ищет компаньонку, по возможности блондинку, высокого роста, не старше 26. Блондинка (натуральная), элегантная, с твердой грудью (poitrine ferme) ищет серьезное знакомство на время каникул. Сержант колониальных войск проводит отпуск в столице, жаждет веселого, невзыскательного друга. Пробегая эти знакомые строки, я всем существом, однако, следил за своим vis-à-vis, постепенно проникаясь определенным сознанием: какая прелесть, до чего хорошо! Как это происходит: только что вел ее за руку, а был непроницаем, ослепленно-равнодушен, потом вдруг — ничего же не случилось! — человек изменился, совсем иное (негодуй, сожалей об упущенном). В ней что-то от реклам для дамских поясов, ну да. Как она смотрит (где я видел: вниз, вбок — пробуждающийся). Ее знакомые сделали какое-то шутливое замечание, она громко рассмеялась, отвернулась, возражая, защищаясь, но через минуту: снова припали, уже сближенные, связанные этим вмешательством. Вдруг их кавалер, здоровый, перекормленный вивёр, поднялся и бережно, подобно всем крупным тварям, передвигаясь, направился ко мне. Готовясь к неприятному объяснению, разгоряченный, пристыженный, я, однако, выпрямился (как шулер благородную внешность, так я, инстинктом, стараясь сразу подчеркнуть свой объем и вес). Тяжело улыбнувшись дородными мясистыми щеками, он сказал: «Я должен вас поблагодарить. Мои дамы восторгаются вашей любезностью, особенно одна. Если вы ничего не имеете против, мы могли бы выпить чего-нибудь вместе». Меня усаживают рядом с молодой, заметно оробевшей и потупившейся. Вивёр заказывает по кругу, еще и еще. Мы чокаемся церемонно, и Николь — так ее звали — ожидающе взглядывает, отпивая маленькими хищными глотками густой сладкий ликер, мелькает скользко-подвижный острый алый язык, от одного влажного поблескивания которого покрываешься испариною. Вивёр пробует шуметь; рассказывает эпизоды из последней войны: когда пришло подкрепление, саперы откопали их в

траншее... но все еще отстреливались и, если б надо было, держались бы вплоть до страшного суда. Он предлагает тост за Марианну, за ее белый хлеб, красное вино и хорошо сделанных женщин. Ничего не получается: мы молча пьем, одурманенные, тяжело переводя дыхание, словно раздавленные многотонным грузом похоти, выступившей из недр, полонившей нас и все окружение. Внезапно вивёр решительно стучит кулаком по столу (огромный перстень на мизинце): «Господа, а что, если по домам»... «Да, да, — соглашается его дама. — Это неплохо!» — и смеется. Николь оборачивается ко мне: откровенно-вопросительно и в то же время смущенно-торжествующе. Лепечу: «Если позволите, я вас провожу...» «Надо полагать, что этот вопрос улажен!» — смеется вторая. Вивёр изрыгает обрубки хохота и капли коньяка, попавшие ему в трахею. Николь, не отвечая, как-то сразу побледнев и осунувшись, оцепенело надевает перед зеркалом — шапочку, жакет, мех. У карусели дверей вивёр невзначай осведомляется: «Que'est ce que vous faites dans la vie? — получив ответ, тискает мой локоть и восторженно шепчет: C'est une honnête fille! Oh, quelle bonheur!» Мы поворачиваем на рю Вожирар (в сторону Falguière). В липком чаду я держу, несу ее руку; с преступным и почти религиозным трепетом перемогаюсь, глотаю слюну. Они о чем-то договариваются, уславливаются; я понимаю, что: 1) Николь и вторая живут вместе, но последняя ночует сегодня у вивёра... и 2) завтра никак нельзя упустить что-то, проспать. На незнакомом перекрестке мы прощаемся. Вторая, сердечно улыбаясь мне, покровительственно жмет руку. «Детки, я бы многое дал, чтобы на вас поглядеть, — вопит вивёр, — хоть в замочную скважину». Уходят обнявшись, захваченные гребнем обрушившейся на нас волны. Мы одни: грузные, неповоротливые, точно в насыщенном горячем сиропе. Длинная темная улица (за «Пастером»). Я касался ее ноги бедра: рядом... воспринимая эту плоть как нечто страшное и священное. У очень приличного («старого») подъезда: «Здесь», — вымолвила. «Вы позволите мне зайти?» — произнес я глухо (прокашляться бы) и обнял, осторожно погладил всю. «О, что вы подумаете обо мне», — умоляюще — и надолго припала влажным ртом, подрагивающим богато одаренным телом. Заговорщики, мы позвонили. «Нужно помолчать!» — Не зажигая света, за руку, она осторожно провела к лифту. Лифт медленно поднимается, а у меня чувство: стремительно сверзаюсь. Бесконечная знакомая пленительная грусть окатывает меня (так за картами,

когда проигрываешь чужие деньги и азартно просишь беспощадно резонных партнеров поиграть — еще — в долг). Снова указывает дорогу в темноте: под ногами «липкая» дорожка линолеума. Дважды щелкает ключ; в передней вспыхивает свет. Комната, обитаемая женщинами: зеркально и бархатисто светлая, большая и тесная. «Сейчас, милый», — выдыхает она горячий воздух, изнеможенно улыбаясь, отталкивает меня и легко скрывается за матовою стеклянной дверью. Слышен характерный (два па) стук сброшенных туфель, вихревая пауза — и вода мощною струей полилась из кранов. Озираюсь, — безделушки, тафта, — осторожно сажусь на край постели, глотая воздух вперемежку со слюною, рассчитывая на близкое безудержное ликование. Мелькают нелепые (вызывающие представление о собственном ничтожестве) мысли: стать на руки, заблеять; обязательно помыть ноги, и вдруг одна: бежать, уйти. Улыбаюсь чудовищной шутке. А между тем игрой противоставления, таинственной и хрупкою, эта мысль прорывается, начинает сгущаться, оседать. «Ты с ума сошел, безумец», — растерянно, испуганно защищается взятое в тиски естество, зная, что я могу выкинуть нечто подобное и принимая свои меры. За стенкою передвигают табурет, звякают чем-то. Как она целует! Бедра, да, да! Но чудом сопротивления, непокорности, детского упрямства я всё еще не сдаюсь. Как всегда: уже изнемогая, в самом конце, у порога, у межи, — ожила новая и первичная жажда (тягаться)! «Ты не сделаешь этого, ребенок!» — шепчет другой со взглядом харкающего кровью; (стук босых пяток по полу). «Господи, Господи, я ведь раз живу на Твоей земле, научи!» И вот странное чувство покоя и решимости начинает заполнять душу; знакомое, дальнее: когда профессор Чай указал позицию для прыжка (шесть метров) и я щелкая зубами, в атавистическом бреде, полетел головою вперед с трамплина в воду... выплыл, о, счастье, какая определенность, уверенность и благодатная твердость в груди, уважение к себе и к достойным того! Эта старая — оттуда — «осведомленность», вежливая решимость устранить все мешающее (по совести), вдруг сложными зигзагами, зеркальными рикошетами, отражениями, оказалась воскрешенной, пробила дорогу, догнала меня сейчас по заросшей, некогда проторенной колее. Словно зачарованный, дивясь и ужасаясь, встаю. Губы что-то шепчут: я кланяюсь собственному образу в трюмо. Отворяю дверь и со всех ног (как пьяный, которого хранит Бог, как лунатик на карнизе), не боясь свернуть шею, кружу в темноте по лестнице,

скольжу на поворотах, тычусь в плюшевые скамьи на площадках, висну на поручнях — мокрый, с лицом одержимого, — скатываюсь вниз. Где-то хлопает дверь, зажигается свет, я дико вслушиваюсь, чувствуя ответное напряжение — оттуда; не выдержав: «Cordon S. V. P.»... таким голосом, что замок сразу щелкнул и пахнуло полуночным ветерком (шевельнул непокорными волосами на моей голове — как на мертвом в поле). И тотчас же: «Господи, что я наделал, что я наделал, безумный!» — завертелся волчком, вдруг окунутый в самое лютое земное смятение (сожаление об упущенной возможности). «Вот здесь, только что, гладил (губы, всё), какое блаженство. Она уже готова: появляется! Какой ужас! Что я натворил! Если б на 20-летнюю страшную каторгу за это счастье... Принимаю с радостью, уже согласен, готов назад!» — клялся я (споря, защищаясь). «Но что же это такое, что мучительнее 20 лет каторги? — изумился я наконец, — Да ты рехнулся, миленький. Во имя чего напутал, нахамил. Душа... Неужели верно? Брось, откуда. Доколе мне будут мешать жить. Господи, что же это такое?!» — без ответа, изуродованно кружил я, словно овца, которую хватил солнечный удар. Но вот продолжение: движется аморфная масса, отрывается со дна, нехотя всплывает, безликая. Останавливаюсь. Газовый фонарь; припадаю головой к железу, кутаюсь, прячу сознание, решительно смежаю веки: лучше увидеть, распознать, на лету пронзить! Стою так — человек под ночным небом, — уткнувшись в пятиминутную вечность. Трепыхается газ, гудит металлический брус. Выпрямляюсь, неожиданно для себя облегченно смеюсь; ничего не увидел, не различил, а на душе уверенность и мир, праздник и серьезность; чем-то новый, пережив еще одно воплощение (рубец воина, тавро освобожденного раба, следующее кольцо на рогах буйвола или в стволе дерева). «Понял, — шепчу блаженно, — понял». Но что я постиг, ей-богу, не ведаю, и очередная попытка расшифровать вызывала только бесплодное раздражение. А между тем реальность: душа вернулась успокоенная, повзрослев, возмужав. Длинная, таинственно-пустынная улица, мощенная булыжником; иду целиною, что-то припоминаю. От подворотни отделяется тень, приближается. «Огонек есть?» — хриплый, недобрый голос. Достаю спички, протягиваю. Он зажимает в кулаке своем коробок вместе с рукою, ногою наступает мне на ногу. «Шляпа, — мелькает обидное. — Как влип, шляпа». Потянул меня слегка вперед и вывернул руку в локте, так что я мгновенно очутился в положении парализованного.

Подступает совсем близко. Потеряв счет времени, мы жадно смотрим в кромешную тьму предполагаемых глаз. Брат мой. Что-то дрогнуло в стальной тени зрачков. «Боишься?» — спрашивает. «Нет», — отвечаю, подумав. И опять проваливаемся в потемки друг друга. «Tu es un homme!» — заявляет он наконец театрально и выпускает руку. Уверенно чиркает моей спичкою (в кисточке рыжего пламени — острый профиль, небритый картофельного цвета подбородок, злые, тонкие, грязные, запекшиеся губы); возвращает коробок. «Хочешь чего-нибудь выпить?..» Локоть к локтю мы медленно поворачиваем на авеню ди Мэн, заходим в освещенное, как пекло, неоновою рамой кафе. Подают на цинк вино; чокаемся, отпиваем улыбаясь, будто два соратника, нечаянно встретившиеся на чужом материке. Несколько проституток, жужжа (точно мухи, разбуженные лампою), обступают нас. Меня знакомят: честно жму эти руки, за день трогавшие разное. Хочу угостить дам, с профессиональною добросовестностью они отказываются. Покупаю фисташки: чопорно берут холеными белыми пальцами, крошат орешки. Одна заказывает: «Молоко с «Виши». Надо щадить здоровье: не вино же, о, о! Она даже не красится: все натурально, — только губы чуть-чуть. Старается отдыхать: сейчас оперлась задом о спинку кресла — полдня и всю ночь петлить на каблучках. Мы дружески беседуем в пустом кафе. Подбегает освободившаяся только что женщина, деловито шепчется с моим спутником. «Шикарна, что? — одобряет он. — Только порченая: татуировка на ляжках». Я понятливо мотаю головою: очевидно, это мешает карьере. Стараюсь вспомнить имя сверстника, который специализировался на вытравливании клейм: отлично работает. Ей подают кирпично-красный ликер; ему наливают зеленовато-молочное перно. «Коктейль «Кин-би», — говорю я указывая на красное. — А это коктейль «Новар». Все смеются названиям: по цвету подходит. «Я предпочитаю их в таком виде! — сознается мужчина; татуированная грозит мне пальцем. — Я куплю гараж в провинции, — продолжает он. — Женюсь как следует. Она, — в сторону татуированной, — первое время еще будет работать. А потом и ее пристрою: на старости будет обеспечена». Она бегло улыбается, одобряя этот план: относительно ей повезло. Что сказать, сделать? Как взяться? «Готовы, жнеца же нет». Молиться? Звать ко Христу? Но это известно. C'est une vieille histoire. Прикуриваю новую папиросу — от собственного окурка. «Был такой старец, — обращаюсь к той, что пила молоко (но так, что все

могли слышать). — В Александрии, это в Египте. Он днем грузил торговые суда, а ночи проводил в публичных домах, оставляя там весь заработок»... — Quel imbécile! — вскричала татуированная. «Постепенно он стал другом-утешителем для многих несчастных женщин этого города. Ему они поверяли свои тайны, жаловались, докучали. Больных старик выкупал на время, ревностно служил им, исцелял; в отдельных кабинетах (за стеною орали пьяные и звенели бубны) читали Евангелие, слушали поучения отцов церкви, каялись в дурной жизни, искали выхода из нее, подкреплялись новым хлебом; а девки, что высмеивали монаха и обижали, никогда не слышали от него ругани или упреков. Жители города, видя старца с почтенной бородою, ежевечерне отправляющегося в дома разврата, наконец ужаснулись такому соблазну и потребовали у правителя не медленной высылки. Его начали преследовать, отказали в работе; товарищи в порту его били, находя предосудительным такое поведение. И только когда он умер от лишений, истина предстала миру. Весь город стенал и ликовал попеременно, дивясь собствен ной слепоте, восторгаясь силе Божией. Некоторые из тех девок, что раньше глумились над ним, уверовали: ушли в святые обители, пустыни, монастыри, искупая не только свои грехи, но и многих сестер». От меня ждали какого-то продолжения (быть может, чуда), а я молчал. Женщины скривили рабочие рты, неудовлетворенные историей. Сутенер, боясь за мою репутацию, прикрывая, защищая, потребовал пива. «Нет, — возмутилась, простонала душа. — Надо обмануть. Вот как некоторые революционеры поднимали народ подложным царским манифестом. Надо рассказать о близком, известном, осязаемом в современном окружении. О святом, что вот тут, рядом — Жан Дут или Свифтсон: метро Poissonnière — творит чудеса: спас мою жену, а ты его завтра можешь найти. Он строит иной дом, небесную церковь; вот так, вот так, прильнув к нему, обретешь бессмертную веру, претворишься. Или полюбить одну: посвятить ей всю жизнь, о, о, о, о!» Входит измазанный подвыпивший горбун с детской скрипкою; его дружелюбно обступают, приветствуют, ласкают как маскоту; он вызывает сочувствие, особенно когда гарсон начинает гнать музыканта: дирекция строго запретила. Восклицания, междометия сожаления, гнева, презрения; кое-кто дает монету, ободряюще воркуя. Добрые чувства, вообще говоря, легко питать к тем, кто бесталаннее нас; все более счастливые (даже мнящие себя таковыми) вызывают равнодушие или злобу.

Потому стоящие на самом низу и вынуждены часто проклинать весь мир. Только с буржуа произошел скверный анекдот: они жалят находящихся ниже, а перед высшими пресмыкаются, играя в общественном плане ту роль, которая в водяной среде могла бы принадлежать льду, если б он не всплывал, а падал на дно. Я раскланиваюсь, обещаю наведаться, выхожу. Меня догоняет одна — жгучая, полная, идеал положительной проститутки, — делает мне предложение и привычно-сокровенно заглядывает в зрачки. «Нет», — лгу степенно, и как часто, пока я сановито удаляюсь, душа моя отделяется, поворачивает и топает к ней на сретение, а я дивлюсь: почему та не вцепится в меня (уже мнимо исчезающего), шельмуя, требуя двойного гонорара. Проститутка снова, но уже другим голосом бросает убежденно: «А все-таки ты свинья». Словно обнаженный сердцем, я замираю, не зная, что делать, готовый заплакать, а та вихляет уже назад — полным, слегка перезрелым торсом. Сворачиваю. За углом, напуганная проголодавшаяся уродливая девочка-старуха приближается. «Tu m'aménes?» — и чмокает языком... без всякой надежды меня прельстить. Простоволосая (со следами давней завивки), она повязана платком; в то кафе, где элита околотка, ей, очевидно, доступа нет (здесь строги законы иерархии). Дряблое раскрашенное узкое (средиземноморское) лицо, темные страдальческие глаза кашляющей лошади, да игриво-подлая, до смешного нелепая, кривая (подплывшая) маска улыбки. Подъезжает порожний таксист, с минуту прислушивается к ее странной речи, вдруг извергает блевотину оголтелой, условно-замысловатой ругани: без особой ярости, походя, преследуя чужую здесь, безжалостно и скучно уничтожая. А она, соображая только, что ей грозит опасность, начала трусливо-псино картавить, заигрывать и с ним, привычно-неуверенно лебезить, хихикать, забыв там, где лицо, жалкую, ложно-пленительную маску набекрень. Толстый, багровый, жирный хам улицы — я видел его освежеванную тушу сегодня в мясной, — он мог бы взять эту за медяк или даром, пугнув, но не хочет. У него другие планы. «Господи, — говорю, поникнув, судорожно, отчаянно взывая. — Вот на тротуаре наша мать или дочь. Выгребная яма там, где сыны твои. Господь, хвала Тебе, аллилуйя, осанна. Чую в себе силу Твою и мудрость, помоги же, научи!» Минута упоенной борьбы (свет, будто отраженный с черного экрана — антрацита, описывает в душе круг, подобно фарам маяка). И опять косная перспектива неподвижных стен и сеть столбов. Накрапывает (все озор-

нее) дождь. Плетусь, понурившись; поднят воротник. Есть что-то богоборческое в тяжбе человека с дождем. Вначале разумно пробуешь переждать. Постоишь безрезультатно (кажется, стихает). Решаешь добежать (держась навесов, тентов, веранд), но и он мгновенно удесетеряет — итог один. «Черт с тобою! — скрежещешь. — Лей! Врешь. Не позволю издеваться. Теперь все равно: свое делаю, не уступлю. Пожалуйста, даже усиливай, обязательно усиливай, ненасытная утроба!» И в конце, мокрый, паршивый, безразлично шагаешь развинченной походкой, не разбирая пути (все равно уж!), угрюмо смакуя обиду: ближе кров — и ливень заметно стихает... А когда дойдешь — известно! — прекратится совсем.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

АНАЛИЗ

Et ce fut tout.

Flaubert

1

Улицы тянулись — многие — однообразно. Кафе, синема, сквер, церковь, магазины, полицейский на перекрестке. И снова: кафе-табак, сквер, синема, аптека, полицейский. Только на кое-где висевших часах заметна была перемена: передвигались стрелки. И оттого мнилось, что я шагаю ногами по времени. Перла толпа: несколько серий женщин с прическами и раскраскою знаменитых актрис, мужчины, напоминающие полузабытых знакомых или зверей. Спешили, торговали, рвали из рук, сплевывали, на ходу читали газеты. Те же две или три газеты поглощались миллионами; там, более или менее одинаково недобросовестно, подавались новости, комментарии, инсинуации и сплетни; полицейский роман обрывался неистовым метранпажем на том же слове в миллионах экземпляров. Ежедневно люди повторяли то же самое: миллионы, как один! Имелось несколько (две, три) серий таких миллионов, которые своим различием в мелочах (не английский переводный роман, а немецкий; не тот виновен во всем — его следует уничтожить! — а этот), только подчеркивали свою однокачественность. По радио передавались те же (или подобные) диски; всюду аппараты маниакально повторяли, в ведро и ненастье, те же мотивы (по странной случайности, не поддерживая друг друга, а, наоборот, враждуя, заглушая). В кинематографах давали фильмы — один, два, три для целого квартала (тот же в десятках мест); так что зрители в разных театрах, даже в разное время, воспринимали убийственно похоже препарированные вещи. Они слышали тот же отраженный голос, ловили плоские фигуры; они смотрели вперед, на экран, в то время как пленка действительности находилась позади; они следили за движением губ в центре, а голос вырывался из трубы сбоку. Им подавали все одно и то же— как на фабриках-кухнях! — раз, раз, следующий! Среди мыслей и чувств, им преподносимых, могли затесаться

даже нужные, творчески желанные, но пропущенные чрез систему винтов, приборов и стекол, они, подобно продуктам питания, подвергшимся действию времени и огня, неминуемо теряли основные, живительные свойства, вызывая (постепенно) убийственные аномалии в развитии, обмене и росте. В течение десятилетий, тщательно подобранной пищей, при помощи оскопляющих вибраций и разрядов, производилась эта страшная метаморфоза. Перерождались, оглушались, одурманивались — сложнее машина, проще человек, — превращались в стада, управляемые двумя-тремя свистками. Выполняли, сериями, ненужные обязанности; в полдень ели, пили, курили; но, как ядро, если его долго толкать, а потом отпустить на мгновение, будет продолжать все катиться, так они: даже в часы досуга продолжали оставаться во власти параллелограмма одноименных сил. Под вечер выбегали из ворот магазинов, фабрик, лабазов, контор, будто спасаясь от пожара или землетрясения. Стремясь наверстать, возбужденные хвостиком замаячившей несколькочасовой свободы, опьяненные близостью чудесных задушевных возможностей: обед в кругу семьи, беседа с изуродованною женой, ласка ребенка с китайскими башмачками на душе, сексуальная встреча. Конвульсивно проделывали путь назад с тою же плененной обусловленностью (так на экране, — если смотреть фильм во второй, третий раз, — снова драматически вскрикнет дива, произнесет выспренние слова и, наконец, в том же мистически-механическом сочетании упадет замертво). До ближайшего «Пассаж клутэ», метро, автобус. Контролер с четырехзначным номером на околыше продырявит шестизначную цифру билета. Люди, набитые в вагоны, как гурты, автоматически начинали жевать жвачку (вот-вот замычат!), животно оглядываясь на подобные себе — при всем различии — носы и томительно ждущие тела. Стиснутые, сдавленные: перед к заду, бок в бок, вдыхали запахи пота, тела и дамской косметики. Вагоны мотает; переваливаются теплые инертные туши (такое — свесить и продать на килограмм живого мяса). Пересаживались, лезли вон из шкуры на узловых станциях, а навстречу спешили — отражения — подобные же табуны; единое рассыпалось на части, части пачками соединялись, образуя новое целое (то же рядом: там, тут, сверху), уподобляясь саламандре, гигантской амебе с меняющимися, текучими контурами, или еще лучше: симбиоз нескольких примитивных чудовищ с общим туловищем и торчащими врозь, личными, собственными конечностями — лапы, когти,

хвосты и челюсти. Существа штамповались издавна, незаметно подвергались ритму тех же воздействий; тяжелые прессы равным образом давили, сплющивали, производя — слой за слоем — знакомые опустошения и вывихи. В какой-то срок более сознательные попадали в тенета двух-трех плоских идеек — разменная монета для купли и продажи (на все случаи жизни), медяки со стертыми орлами. (Что общего между пятаком и тем силуэтом, который старый мастер-гравер из глуби своего опыта рождал, — чертил, лепил, строгал и наконец предложил судьям). Две, три основные, облегченные, мыслишки циркулировали; но питались они только одним чувством. Чувство это было: виноват вон тот (или этот), его нужно поскорее убрать. Враг, — класс, народ, церковь, раса, — превращался в священное животное, тотем, табу, фетиш, гипнотизируя, сковывая. Уничтожать желали все (на этом бы могли объединиться), но расходились — в объекте. Ибо тот, кого хотели испепелить, имел свои газеты, церкви, мощи, хоругви и призывал к сокрушению первых (или третьих), столь же убедительно это обосновывая. Между самками и самцами шла своя исконная распря; преследования, ложь, капканы, истязания, самопожирание; тянулись, охочие, подобные в своем противопоставлении, рвались, топтали, терлись, норовя дорваться до чужих богатств (чем спорнее были права, тем это больше прельщало). Пассажиры 1-го класса подвергались приблизительно тому же (относя только свои ощущения к другой шкале: так, впечатления утки, живущей 80 лет, и мотылька-однодневки, должно быть, равны). Богатые, после угарного, вдвойне потерянного дня, садились в собственные машины (или в такси) попадая, соответственно, в другие, столь же отвратительные (для них) колонны, подчиняясь законам, обязательным для особей данного вида. Возмущаясь, проклиная, хулиганя, застревали в длинной веренице экипажей, а небо лютой ярости покрывало всех. Любители-шоферы враждовали с профессионалами; шоферы частных лиц с таксистами; шоферы автобусов считали себя избранным племенем (им покровительствовали псы-полицейские); между велосипедистами, мотоциклистами и четырехколесными существовал извечный конфликт; и, наконец, всем мешали пешеходы (с другой планеты), — содрогаясь, покрытые испариною, яростно прыгали меж колесами, лелея мечту о дне мести. И все вместе, похотливо оборачиваясь, высовываясь, наклоняясь, скользя и проваливаясь, среди гула и смрада, в перекошенных масках, — изрыгали хулу. Мерд,

ваш, имбесиль, ном-де-шиен и та гель торчали в уплотненном, зачумленном городе. Воздух кругом густел, становился жидким от многих слоев ненависти и вожделения; разнокалиберные волны страстей отнюдь не заглушали друг друга, а, наоборот, взаимно заряжались энергией. И только сыновья архимиллионеров, безумные и пяток диких героев пробовали выскочить из этих законов инертной материи. Но тяжелый, ловко прилаженный топор норовил сразу отсечь все, что выпирало хоть на один сантиметр. Вокруг же городов окопались мужики; о последних ничего нельзя было сказать определенного, как о глубинных недрах земли: золото ли они хранят, уран или только всесжигающую лаву... Чувствовался где-то близко чужой, холодный и жестокий судья, враг, ждущий, подобно ледникам, тайного знака для очередного стихийного нашествия. С полудня субботы на воскресение — игра. Сразу берутся за карты, вооружаются киями, лакают свои два-три излюбленных напитка — в том же размноженном кафе: так и не осуществив мечту о пятой масти. Вечером звонят в кинематографах, и обыватели степенно бегут туда с детьми и любовницами, словно к мессе. За карточным ковриком сидят трое: ждут четвертого как утешителя (но пятый уже лишний). На тротуарах мужчины охотятся за счастьем; в условленном месте — у театра, сада, дансинга — встречаются, целую неделю протомившиеся влюбленные. В ночь на воскресенье город совокупляется. Захваченные круговыми волнами похоти, очумелые, полуслепые старцы вдруг просыпаются и трупно припадают к своим женам. Проститутка, что на неделе стоит 5 и 10 франков, в этот вечер требует 25 и 50; отельные комнаты — дороже; аптеки и связанные с любовной чехардою магазины (цветов, духов, сластей, камней) открыты ночью. Праздничным полднем все — спринцуются. В будни жизнь нелепа. Но как поведать о скользкой пустоте воскресного дня... С вымершими кварталами, закрытыми наглухо мастерскими, банками и почтамтами, задраенными витринами магазинов и грустно расхаживающим — стайками — людом: монтеры, конторщики, булочники, коммерсанты, чиновники и бог знает еще кто... носят свое лучшее платье, как архиерей облачение, напомаженные и сбитые с толку жертвы. Эти жены, худые или жирные, о чем они грезят еще... Детвора. В колясках карапузы (просятся на руки); мальчишки норовят сделать «пипи» под автобус, девочки жадно глядят на сласти (а чуть постарше, бесстыжие, уже лукавят). Муж делает свирепое лицо, куражится — труслив и слаб:

форма защиты от посягателей на его очаг, на честь жены, дочки, свояченицы, сестры-вдовы (или старой девы). О, как унизителен этот безликий день, с родней, потомством трущихся, глазеющих, деловито решивших отдохнуть сирот. Уже поедено, выпито, поспано, были гости, — посидели в кафе, снова выпили. Уже день клонится к земле, как тяжелый зрелый подсолнух — его ждали всю неделю: издалека он помогал осмыслить эти рассветы, тряску, неурядицу, смягчая противоречия, суля награду. И вот он, пустоцвет, прошел полый, еще больше подчеркнув неудачу, оставив новую ссадину в сердце. Привыкли бежать, спешить, стучать — по часам, поштучно. День в русле гудков, циферблата; неделя определяется отдыхом, праздником, как судно, по звездам; оживляется им. И вот наконец! А такое чувство, точно у альпиниста, с огромным трудом карабкающегося в гору и вдруг узнающего: пресловутая вершина, ничем не замечательная, осталась уже позади. Самое трудное это примириться с бессмысленностью своего досуга: свобода бесцельна — все надежды рушатся. О, печаль воскресенья, ненужно потоптанное, ушедшее меж пальцев, обесцененное, оно еще здесь (нечего утешать себя грядущим праздником) — в кругу обездоленной семьи, детей, тещ, холостяков, фланирующих по бульварам, нищих, голодных и торговцев сластями, сандвичами, лимонадом, кормящихся гулянием, как продавцы венков (у кладбищенских ворот) — похоронами.

2

Собрание Свифтсона — контрольное, с «непосвященными» — было назначено на это воскресенье. Пересаживаясь в метро, я встретился с одною из приглашенных (женщина-дантист). Она недавно приняла французское гражданство, получила все права и переживала медовый месяц патриотизма. Непрестанно в благодарном порыве, вполне искренно (что смешило) твердила: «Мы должны любить великую культурную нацию, приютившую нас». Пересыпала свою речь галлицизмами, часто по-суворовски лаконично повторяя: «J'aime la France»... Оттого мы ее прозвали Мадам Жэм-Лафранс. Она одевалась в перья, меха, кружева — неестественно перетянутая, оголенная, накрашенная. Нечто пестро-телесно-пышноволосое, птичье-звериное, пушисто-рыбье (одновременно флора и фауна, натюрморт и ню). Характерные черты

данного народа (главным образом, отрицательные) ярче всего выражают пришельцы. Русские женщины с виртуозною легкостью восприняли свойства, приписываемые (часто облыжно) француженкам; денационализированные чиновники и мальчики отлично прониклись сознанием (типичных для Парижа) полустудентов, полувышибал, полухолуев. (В России наиболее страстными ценителями, полными выразителями достоевщины бывали инородцы; да и в самом Достоевском бродило много неславянского.) Так в колониях вновь прибывшие сразу, бурно и остро заболевают малярией, тогда как туземцы, получив уже прививку, закалены и если хворают, то несмертельно. В эмиграции поют про ямщиков (непрофессионально) только евреи. Куда девалось хваленое московское гостеприимство... Ищи его у армян или караимов. Достаточно было мне стать рядом с Жэм-Лафранс, чтобы мгновенно оказаться втянутым в порочную цепь, превратиться из философа-наблюдателя в холопа, цербера: я должен прикрывать мою даму, защищать от разных поползновений, отвечать за нее. Я принимаю грозные позы, так что всякому легко смекнуть: в случае нужды могу и ударить, укусить, залаять. Кругом кобели, они отворачиваются, зевают, хмурятся и вдруг срываются, притрагиваются взглядом, млея, внутренне облизываясь, примериваясь; все шито-крыто, но первобытная борьба идет между нами, глухая, упорная и братоубийственная. Мадам Жэм-Лафранс, ее ноги, грудь, губы, — вот поле этой драки (стог сена, который я почему-то вынужден охранять, делая зачаточные движения челюстью, кулаками, бицепсами). В четырехугольной дергаемой коробке, где мы заперты, липкий воздух скоро сгущается. Жажда уничтожения и зачатия обжигает легкие. Как медленно уносит вагон. Куда спрятать глаза, себя (совестно). Все раздражены, пристыжены, угнетены. Прочь, скорее. Я не привык участвовать в такой жизни. Я не хочу кормить семью, вырывая хлеб у других, предохранять жену от дел, на которые раньше сам подстрекал, объяснять: дочери — откуда берутся дети, куда увозят бабку; сыну — братья ли все люди, где Бог и что предпринять, когда чешется... Как это люди, большинство осиливают: титаны (или бревна). Внезапно предлагаю Жэм-Лафранс сойти. Немного раньше: пройдемся, душно, — умоляюще улыбаюсь. Мадам соглашается: она любит поговорить, а тут, ссылаясь на грохот, я отказывался слушать. Вышли. Улицы кишат нарядными толпами. Праздник, пополудни, солнце еще не село. В саду играл оркестр,

били фонтаны. Мы глазели, пробирались меж гуляющими стайками; нас, в свою очередь, тормошили, оглядывали замедленные волны встречных: изучали сидящие на скамьях и стульях, с подлым, радостным вниманием расстреливали всех прохожих — улыбками, замечаниями, догадками. Юноши на бульваре нетерпимо передергивали плечами, когда проносился велосипедист, ревниво стараясь найти изъян в его экипировке, — успокоить себя, его уязвить (они гуляли по трое, четверо, с одною девчонкою: такой период). Кавалеры грубо пронзали соперников, ревизовали костюм, повадку, прическу, искали слабые, «узкие» места (отсутствие помады на волосах) и если находили, то отворачивались почти доброжелательно; присасывались накрест к дамам: трусливо или откровенно (в зависимости от разных обстоятельств). Вот показалась молодая пара, повернула на усыпанную гравием дорожку, нет, она не ушла: спутник подхвачен, отстранен, уничтожен, дама тут же растерзана на части. Еще отвратительнее были дамы постарше. Сплетницы, они фыркали в самое лицо, высмеивали шляпки, лица, грим: на скамьях обменивались ядовитыми шутками, раствор коих вызвал бы судороги у молодого кролика; чтобы жить и уважать себя, требовалось — унизить, стереть, превзойти ближнего. Только при виде безусловно понятной красавицы или непостижимо дорогого туалета они сразу, целиком сдавались и — сволочь — молча, побитыми собачонками, нюхали след. «Какое горе, зачем мы встретились! — ломал я мысленно руки, теряя внутреннее равновесие, отчаявшись уже выбраться когда-нибудь — спрятаться — из этого моря вражды. — Боже, я не хочу участвовать по-ихнему в жизни. Я разучился быть злым. Не могу, лучше гибель»! А мадам Жэм-Лафранс отлично ныряла в этой стихии гнева и вожделения, бойко скалила зубы и глаза, не давая спуску наглым дамам, упорно утверждавшим, что она «сделана» не по возрасту. «На голову не всегда капает дождь. Рабочие становятся с каждым днем все сознательнее. «A la guerre, comme à la guerre!» — не знаю, по какому поводу она сообщала. — «Вы читали статью»... Мне почудилось: со мною Лоренса в этой пучине. Мы рядом — рука об руку — бредем. Плечи беспомощно опустились. «Да, это верно. Бесполезно! — сжалось сердце. — Брось, — пробовал. — Жизнь проще. Утряслось бы. Страшен сон, да милостив... Господи, Господи», — взмолился я беспомощно и чуть не заплакал от жалости к самому себе. (Так, однажды отец провожавший дочь в большой город, где ему мнились соблазны

и опасности, неожиданно, может, впервые за долгие годы, вымолвил: «Да хранит тебя Бог»... — и я был раздавлен всей силою одиночества и беззащитности, о которой свидетельствовала эта молитва). Мы продолжали шагать. Я — напряженный, с лицом достаточно свирепым, чтобы избежать неприятностей, легко пряча кляксу на штанине «гольфов» от подростков, могуче выпятив грудь навстречу ядовитым испарениям.

3

Собрание было назначено в доме одного старого адвоката — рю де ла Сантэ, — про которого полушутя говорили, что он занимается юридическими абортами; сам же он рекомендовался: «M-r Solar, qui arrange toutes les affaires perdues». Но личные дела ему не удавалось, по-видимому, устроить; часто жаловался: дороговизна, налоги! «Встану утром, — любил он повествовать. — Еще глаза не продрал, а у меня уже 100 франков расходу». Свою великовозрастную дочь (седеющие усики) он еще надеялся выдать замуж (они рассматривали всякого рода интеллектуальные собеседования именно с этой точки зрения). Их облику, атмосфере всего дома придавала особую серьезную убедительность близость тюрьмы Сантэ: в окна маячили ноздреватые стены. К нашему приходу большинство уже собралось. Там был один русский барон, специалист по талмуду, один грузинский дипломат, несколько, вероятно небогатых, голландцев, солидно объяснявшихся поанглийски; два французских писателя (похуже), дамы (докторши — без прав), инженер-изобретатель, ищущий капиталиста, кинематографический режиссер (гордо утверждал: «Я граблю, но не ворую»), журналист Глеборис, румынский подданный, сотрудник американских газет, еврейский поэт Латис, специалист по литургии; критик Панис, из тех ограниченных знаменитостей, что необыкновенно почитают Искусство, — консервативный в своем обязательном модернизме (однажды в каком-то салоне он завел речь о живописи Пикассо и возмущенно встал из-за стола, не в силах больше вынести ересей своего невежественного соседа. «Помилуйте, с каким олухом вы меня усадили?» — пожаловался он хозяйке. «Но ведь это Пикассо!» — изумилась та). Явился также издатель бульварных романов. Человек, прошедший сквозь огонь и воду, войны и бунты, подобный пробке: как бы ни завертело — все-таки всплывет. Он много раз взлетал (ворочал милли-

5 Зак. 2384

онами) и столь же часто падал; судя по интересу к данному собранию, можно было догадаться: сейчас в надире. Закаленный в бурях, маринованный в бедах, пухлый, круглый, почему-то в цилиндре, с удивленным взглядом дитяти, сделавшего пакость. Утверждали: если раздеть его догола и бросить в Сену, Тибр или Неву, то через полчаса он позвонит у ваших дверей — в цилиндре, фраке, белом жилете. Ему принадлежал отвратительный афоризм: брать деньги на проценты — это как держать на своих руках младенца, когда тот мочится: сначала становится тепло, а потом холодно. Пришла старая накрашенная теософка, достойная лучшей участи: она занималась собачьим туалетом. Мыла, стригла. (Злые говорили: «Делает пуделям маникюр»). Было еще двое чинных французов-инвалидов с розетками в петлицах, да столько же безработных русских, все чаще и чаще поминавших московские блюда (когда они жевали, — если глядеть в профиль, становилось страшно). Вся эта компания, за немногими исключениями, встречалась впервые. А те, что уже были знакомы, отнюдь не питали друг к другу симпатий. Барон имел какие-то основания не выносить общества дипломата и специалиста по литургии; бесправные докторши ненавидели Жэм-Лафранс; еврей-француз не любил еврея-румына, считая его варваром, (последний же предательски норовил подчеркнуть равенство, казня его такими выражениями, как: «Мы, евреи... нас, евреев»). Дама, постоянно живущая в Лондоне, оглядев Жэм-Лафранс, сообщила, что Англия — единственная страна, где еще можно чувствовать себя в Европе: вечером мужчины в смокингах, драгоценности довоенные, а если на даме мех, то это мех, а не кошка. Теософы шпыняли баптистов, баптисты православных и католиков, социалисты мистиков — и курили. Воздух так наполнялся дымом, что даже некурящие, желая иммунизировать легкие — задохнуться! — должны были взять папиросу. Курили беспрерывно для того, вероятно, чтобы создать какую-то видимость занятия, дела: немыслимо взрослым сидеть неподвижно часами и трепать языком. Вот и доставали ежеминутно портсигары, мяли в пальцах, чиркали спичкою (следя за пламенем), забрасывали голову и пускали, развлекаясь, дым вверх, в сторону, кольцами (беседа могла продолжаться потому, что курили, курили потому, что беседовали). Бесправная врачиха, естественно, расходилась в оценке политического момента с «правною»; она неизменно заканчивала свои доводы следующей фразою: «Во всяком случае, тут еще будет весело». И только двое

безработных, да инвалиды-французы, не стесняясь своих откровенно помятых костюмов, доброжелательно озирались, хихикали, предупредительно вставали, искренно радуясь культурному шуму, нарядным дамам и чаю, — не ища уже никаких личных выгод, образуя последний островок бескорыстия и отзывчивости. Наконец, появился Свифтсон, — один (к моему удивлению, больше никого из друзей не было). Отказался от чая, не глядя по сторонам — знал уже слушателей, — после краткого вступления («Чрезвычайно интересуюсь вашим мнением деловых людей и прошу, не стесняясь, высказаться»), приступил к чтению. Посредине доклада проскользнул Вторык (не то поляк, не то малоросс, он себя упорно выдавал за русского дворянина): присел у двери с напряженно-участливою физиономией. С минуту внимательно слушал, стремясь приблизительно нащупать тему (посетив на своем веку тысячи лекций, он в этом отношении был мастак); ухватив суть, он начал оглядывать присутствующих, сосредоточенно целясь, в первую очередь отмечая, кто из окружающих влиятелен, может пригодиться, чтобы во время перерыва успеть поговорить, поздороваться; с любопытством задерживаясь на незнакомых, но, встречая их ответный внимательный взгляд, озабоченно отворачивался (уж не жид ли?); потом он перешел к женщинам, отметил всех еще могущих нравиться, подолгу останавливаясь, возвращаясь к наиболее желанным, но, встретив ответный настойчивый взгляд, трусливо жмурился (уж не шлюха ли?); третьим его безотчетным поползновением было выяснить процентное отношение евреев; потом задремал на стуле с томно опущенными веками, в привычной жульнической позе интеллектуального послушания, дожидаясь конца. Почти все мужчины носили очки и по свету в стеклах делились на две неравные половины: первая, меньшая, — молодые, преимущественно близорукие, с вогнутыми чечевицами; вторая — старики, дальнозоркие, с выпуклыми — по-разному отражавшими лучи. Если смотреть сверху (например, стоя), то поражало чрезвычайно комичное выражение множества лысин: несмотря на обилие, каждая имела свой собственный лик, эмоциональный тон, идею. Были жирные, властные, большие, лоснящиеся, были мелкие, желтые, сморщенные, были совсем жалкие, дряблые, неприкаянные, на костлявых, лопоухих черепах. Они шевелились, склонялись, точно какие-то постыдные злаки, в разные стороны, никли долу, слабые, беспомощные. Один старичок доверчиво пристроил свою паршивень-

кую, похожую на зад рахитичного младенца, к косяку, у самой дверной щели — вот-вот щелкнет орешек! — и ангельски не то заснул, не то умер. В общем доклад Свифтсона понравился по своему духу, однако все требовали слова, желая немедленно указать на коренные его ошибки, улучшить, изменить, дополнить. Журналист Глеборис считал это предприятие даже социально вредным, распыляющим силы сознательных бойцов в нашу грозную историческую эпоху. «Революция началась когда-то в Англии! — заявил он. — Перебросилась во Францию, 300 лет спустя пришла в Россию. В Англии революцию делали аристократы, во Франции буржуа, в России рабочие (классы, которые приняли на себя тяжесть переворота, таинственным образом зафиксировали себя в тех странах, сохранились, быть может, навеки). Мы видим, что революция идет с запада на восток и сверху вниз. Таким образом можно предсказать, что следующим этапом революции будет Китай (либо Индия), а сделают ее — крестьяне. Вот куда надо обратить все внимание, ибо это последний акт данной пьесы. Последний, самый многочисленный класс, — резервы, недра земли, — выйдет на арену, начнет себя реализовать. Дальше — неизвестное, ничто или переселение на Марс. А что, если резервы окажутся тупыми, жадными муравьями, пресными, экономными, беспощадными пчелками? Я зову направить туда вашу волю, и они будут тем, чем мы захотим. Долой мармелад!» Хозяин дома (юридические аборты) торжественно попросил Свифтсона дать ему пожать руку. «В наше время нужен миф, — заявил он. — Надо быть максималистом, чтобы кое-как существовать». Панис рассказывал, почему-то возмущенно, о средневековых каменщиках. «А ла гер, ком а ля гер!» — спохватилась лиловая Жэм-Лафранс. «Конформизм, плюрализм, персонализм», — били картечью друг в друга отдельные группы. Всё перемешалось, вспыхнул перекрестный спор, где доводы, словно мячики, попадали в первую подвернувшуюся голову, отпрыгивали, опять кого-то задевали и возвращались к бросившему их (он в это время едва успевал отражать другие мячи). Противники уже не успевали развивать свои соображения, делая только заявки, выкрикивая отдельные имена, заглавия, символы: Бергсон, Фрейд, Толстой, экзистенциальная философия... План Мана, американский опыт, пятилетка, демократия, возрождение... Над Панисом порхало: Пруст, Джойс, Кафка. Безработные объединились с инвалидами-старичками на гастрономических темах, умудряясь только называть соусы и ко-

ньяки, парируя мысль собеседника в самом зародыше: Робер, Перигё, мадера, пикант, итальян, мартель, хенесси, бисквит... Фашистский блок, Китай, Абиссиния, Майорка, полюс, Ани Безант, христианство, карма, чехи. «Во всяком случае, тут еще будет весело»! — прорывалось беспрерывно. И время от времени, всех покрывая, мадам Жэм-Лафранс, повергнутая в прах, истерзанная, затоптанная, подавала пар откуда-то снизу: облизывая зияющий рот вампира, испускала неистовый клич: «A la guerre, comme à la guerre!» В эту минуту я, верный, очутился рядом со Свифтсоном. Кивнув мне, он поднялся и очень тихо сказал: «Господа! (был сразу услышан). — Так нельзя спо-рить. Вы сами знаете: к чему это... Я старался всегда мыслить конкретно, хотя вы меня и обвиняете в утопичности. Все присутствующие здесь, оказывается, желают земле блага. Одинаково ли мы понимаем доброе и злое, желанное и вредное?.. Давайте выясним это. Тогда все сразу станет по местам. Я предлагаю следующее: пусть каждый сообщит нам поступок, лучший в его жизни, самый ценный, достойный сохранения, благодарности. Таким образом расчищается кругозор, рушатся призрачные стены, устанавливается необходимая благодатная погода». Эта мысль неожиданно понравилась: согласились, наперебой, однако, выговаривая себе право ничего не говорить, ссылаясь на особые обстоятельства (и во всяком случае, не желая начинать). Но постепенно раскачались, втянулись, и некоторых приходилось даже сдерживать: они вспоминали по две и три героические выходки. (Один журналист, Глеборис, отказался под тем предлогом, что это — опий для народа). Обнаружилось вдруг, что все добрые, чуткие и, главное, — отлично разбираются в самом существенном. Хозяин (юридические аборты) вспомнил, как он спас от высылки (а может, от смерти) семью польского рабочего. Мадам Жэм-Лафранс извлекла «со дна» почти ребенка — устроила ее швеей. Кто-то дал деньги, большую сумму, незнакомому, на улице, в беде, поверил и не ошибся: вернул с трогательным письмом. Панис отправил на свои скудные средства талантливого художника в санаторию. Барон даже прыгнул в речку и вытащил тонувшего школьника. Дама, постоянно живущая в Англии, помогла бедной девушке прилично выйти замуж. Наконец, Вторык, водивший в свое время знакомство с декадентами, выспренно признался, что ему, как православному, конечно, случалось откликаться на голос совести, но гордится он следующим поступком: на даче, еще в России, он раз, уже в постели, читал

любимые стихи о Прекрасной Даме; вдруг влетела гостья, бабочка, которой жить-то всего несколько часов; радостно, будто освобожденная душа, она устремилась к свече, — начала кружить; он попробовал ее отогнать, но не смог: боялся смять крылья; тогда он потушил огонь. Я снова приблизился к Свифтсону, бессознательно желая ему передать мое отвращение, предостеречь, внушить. Он меня встретил уверенной — отдаляющей — улыбкою; потом сурово спросил: «Вы что-нибудь скажете?..» — «Ничего нет, — ответил я угрюмо. — За 30 лет ничего не могу найти бесспорно достойного внимания». Жэм-Лафранс поспешила ввернуть: «А еще доктор». Я чуть было не брякнул: «A la guerre, comme à la guerre!..» — но вовремя сдержался (что-то окаменело под скулами Свифтсона); пристыженно осведомился: «Удивительно, что больше никого из друзей нет...» Свифтсон как-то странно всполошился: «Ведь сегодня Жан Дут уезжает. Не знаете? Вы? Все его провожают». — «Ах вот оно что!» — «Это на Лионском? Да, да, как же»! — и, не слушая, бросился, разгребая локтями кресла и тела, вон из комнаты. Долго не мог сыскать такси. Настиг, уговорил (до вокзала рукою подать). И вот уже мы приближаемся к некоему центру: свет, шум, трепетание, воздух — поглощающий, всасывающий (как вокруг исполинской махины). Эта особая будоражащая атмосфера — в чем-то сходная — штабов, бирж, телеграфа, госпиталя и вокзала. Увлеченный, я беспомощно шнырял меж звякающими тележками, властными служителями, двугорбыми носильщиками, помолодевшими, стянутыми, обновленными путешественниками (похожими на королей в свите провожающих); судорожно пялил глаза на циферблаты, стрелки, дощечки, литеры, числа. Этот запах сухопутного порта, материковый злой ветер в лицо, рокот континентального прибоя, царственные окрики, свистки и фонари: разноликое, разноцветное небо одиноко бдящих, мигающих в ночи сигнальных огней. И голос рока, зовущий через трубу: «Пассажиры на Лион, Марсель, Тулон... пассажиры на Лион, Марсель, Тулон, Ницца...» — стегает уже душу. (О, голос рока, вокзальный голос невозвратимого, ущерба и разлуки). Мечусь — мышонок — по бесконечному ангару со стеклянною крышей: справляюсь, ищу нужный путь, билетик. От волнения, захваченный водоворотом, слепну, теряю голову, время, пячусь (окурки, скорлупа, сквозные ветры; дремлют, почесываясь, нищие); осведомляюсь, молю, — готовый упасть, зарыдать, умереть от непомерной грусти. Я всегда презирал обывателей, трепещу-

щих у ворот лазарета, млеющих при виде нарыва или слыша стон; а между тем во мне стынет кровь от одного взгляда на вокзальные (грязные) часы: я когда-нибудь свалюсь у этих афиш, у толстых книг с расписанием. Вырываюсь на путь. Подано два состава (с несколькоминутною разницей); первый стоит уже, подобранный, строгий, готовый к борьбе; хлопают последние двери, — забраны сходни, отрезана пуповина. Поезд еще здесь зрительно: великая ложь — его сердце уже отсутствует; в окнах скворцовые группы избранников, но провожающие ничего больше не могут сказать этим теням, чьи души в пути. Унизительно лавирую: не смотрю, а ощупываю, нюхаю пространство, вперед, по обе стороны. Вот-вот провороню и все-таки знаю: нет, увижу (еще раз)... и страшусь (вероятно — в последний). Спущенное окно 2-го класса, и через узкий коридорчик на светлом чехле дивана — голова, синеющие, стянутые, слегка изогнутые овально пряди. — «Лоренса!» — хочу крикнуть, но она еще до того поднимает глаза, настороженно смотрит, мимо, к чему-то прислушиваясь (или — вспоминая). «Лоренса! — вырывается наконец. — Вот медальон. Я принес его»! — издалека протягиваю руку, а колеса мигнули, и окна закупоривают, все заслоняя, тяжелые квадратные плечи: то Жан Дут сверяет часы. Проталкиваюсь, спешу, а поезд набирает уже скорость и все, что мне видно от Лоренсы, это — прозрачная могильная нежность и усталость: в груди. Вот осиротевшие люди повернулись спиною, бредут назад, вздыхая, беседуя, сморкаясь облегченно, — как с похорон; а я упрямо (так борются с дождем) несусь вперед, дальше, на самый край, где кончается стеклянный, дьявольский навес: там черная ночь, пожравшая не один эшелон, переполненный воскресающими иногда Лазарями. Энигматически вперив глаза, я жду: вот, скользя, он обернулся ко мне своими дорожными малиновыми огнями, стегнул по глазам и плавно растаял. Эти задние махровые фонари прободили мне сердце еще в детстве: курьерский промчался, не замедляя, а кругом таинственная ночь (тогда вселенная подступала к воротам, матовые стекла неведомой, как мир, парикмахерской прятали нелюдские тени); мать держала меня позабытою рукой — чужая, — о чем-то думала, вытянувшись, как стрела, смотрела вслед. Тогда я узнал главное. И если вихревой смерч озаренных окон, музыка пожираемых земель упоительно славили грядущую борьбу и возможные встречи, то в мигании задних кротко-мудрых одиноких малиновых свеч таились уже все мыслимые

разлуки (далекая — с Лоренсою; близкая — смерть матери). Она умерла русскою зимою, ушла в снег и звезды. Я кощунственно рыдал, когда ее увозили на операцию, — за что был наказан. Через пять дней скончалась. Я не мог уже плакать: загодя похоронил, сгорел... и слонялся посторонним свидетелем, 11-летним актером, исполняющим обязанность. Утром в мертвецкой меня пропустили вперед. Я запечатлел предательский, чинный, ложно-сыновний поцелуй на ледяном разглаженном лбу (его нельзя счесть за материнский). Она была недопустимо равнодушна и загадочно чужда в своем последнем 30-летнем покое (как — поиному — перед выездом, в темном платье, оголенная, для других надушенная: я всегда бессознательно, веще, норовил запачкать, разодрать, захворать, разрыдаться, чтобы разоблачилась, вернулась, осталась со мною навеки). Склоняясь к незнакомому лбу, я покосился в сторону — на домашних, — проверяя впечатление: единственный сын, я сейчас некий центр, творю «историю», биографию, участвую в сцене, которая должна остаться памятною для присутствующих, и стараясь хорошо исполнить порученную мне роль. Удалось: все стихли, потом взвинченно заголосили, осмысливая мое предполагаемое горе. А, странно, забавно: мог бы выкинуть любой фортель (вот бы переполошились!)... и оттого еще трогательнее кладя сыновние поклоны, лицемеря (я ли тебя не любил!), упиваясь едкою, трудною прелестью зла, впервые ощутив его острый, сложный смак и гордое величие падшего ангела. Январские похороны. Снег и комья земли (такие взрыхлял старик на улице Будущего) — всем ведомо. Когда уже хотели засыпать, отец (тоже одинокий) вдруг шагнул вперед, неуверенно взобрался на осыпающийся, глинисто-гороховый вал, осторожно выпростовывая блестящие калоши, подался (к моему удивлению) на самый край — и глянул вниз. Потом, пятясь, вернулся; и послышалось: туры-туры-туры-туры. (Десяток рук на таком морозе не без радости взялись за лопаты.) Много лет спустя, в Парижском кафе, за «цинком», беседуя со случайным знакомым, со дна души внезапно поднялась, всплыла запечатанная бутылка с недостающей грамотою. Отец тогда подумал, открылось мне: «Сейчас все будет кончено, безвозвратно»... и, стремясь выщипать у вечности еще одно перо, склонился (лишний раз) к могиле. О, как я теперь постигал эту ребячливую титаническую попытку — бежал назад по стихийно выступившим проводам и кочкам, сам склонился через его плечо. Вернулись под вечер, в неурочный час

подали самовар. Я пил сладкий чай, за много дней впервые (не смерть делает пищу отвратною, а, главным образом, мертвое тело), смакуя его божественный аромат, теплоту и свежий нарядный крендель (припасенный сердобольною дальновидною соседкою — для сирот); зная, что все это дурно теперь, полагается страдать, всхлипывать, испытывая оттого двойную сладость, благодаря открывающейся мне прелести лжи. А отец, напряженно-хмурый (тоже лицемерно, — несмотря на всю скорбь), последний придвинул стакан и, соболезнующе (удивляясь собственной гадости) мотая головою, промолвил: «Все по-старому! проклятое тело требует своего!» — и осклабился неприятно. А мы все, отраженно, подталкивая, ликующе заулыбались, радуясь его словно заискивающей усмешке и тому, что проклятое тело требует своего (как хитро устроено), и подлому сходству наших чувств, понемногу исцеляясь душою: благодаря крову, уюту, дремотному отдохновению после продолжительных слез на морозе, среди чужих свидетелей и религиозных, беспомощно трогательных попыток воскресения. В нашей передней с незапамятных времен висела репродукция картины забытого художника, изобразившего кудрявого ребенка среди хищных зверей: иллюстрация к пророчеству Исайи. Ее прибили посередине стены на уровне глаз — лучший способ сделать вещь незаметною. Память об этой группе и о вечере похорон неисповедимым образом сплелась у меня. Оказалось, что я промочил ноги: порвалась калоша. Настроенный предыдущим безликим шепотом, — «теперь все изменилось, по-другому, сироты», — я пробрался в переднюю, изучил подошву и решил: надо экономить, сам ее починю. (К моему разочарованию и возмущению, не позволили: все та же сердобольная соседка). Вот тогда, орудуя усеянною шипами пахучей резиною «Треугольника», мне вдруг предстало это видение, и я долго изумленно слушал, нюхал, пил открывшееся мне впервые (и все-таки искони знакомое). От беспомощности ли (собственной и взрослых-сильных), горьких слез или от ярко расцветшего сознания безусловной личной порочности, лживости (родившего жажду очиститься) мне начало казаться: я, этот мальчик, кудрявый, светлый, с круглым нежным лицом, молчаливо-внимательный, бесчувственно-райский, — был им, могу снова стать. Пройду в это тихое поле (стукнуться лбом об стекло, надеть белый хитон, взять знакомую оливковую ветвь, положить руку на могучую, кроткую голову льва), а кругом терпеливое собралось стадо (как на школьных

фотографиях: воспитатель, директор и тут же сторож Афанасий): в профиль рога, волк, слегка скучный, рядом с непонимающим даже происходящего евангельским барашком (так придурковато-ангельски глядела козочка на улице Будущего). Тогда я узнал: это повторится. Но с тех пор, всякий раз, когда я мысленно приближался к своему райскому видению, обязательно всплывал кладбищенский вечер (одиночество, разлука, порочность). Там где-то, во время бега, мелькнули, кажется, лица Дингваля и Чая. Я задержался, чтобы не встретиться со всеми ими. «У нее такие же волосы», — догадался я наконец, сравнивая Лоренсу и мать. (Многое вдруг осветилось: преданность, вера, знание до мелочей, извечная нежность и родное искони очертание губ). Будто нож гильотины, дернулась большая стрелка часов. Вокзал беспрерывно менялся: в его сложной космической ткани ощутимо пульсировали, перерождались клетки. Подали новые составы — другие планеты с неизученною орбитою кружения. Исчезли одни таблицы, цифры, знаки, появились новые. Прошествовали марсиане или луниане, сопровождаемые Хароном-носильщиком; иные сироты махали платками, сморкались, леденели от дыхания рока; бесплотно и горько мигали, пересыпаясь (ползли, как раки, из мешка), насыщенные красно-желто-зеленосигнальные геометрические огоньки — плыли в ночном море; вой, шипение, торопливый бег к неминуемому: по сору, бумажкам, окуркам. Те, что встретили, спешат, радостные, очумелые, — как из родильного дома Бюта с женою. Не дождалась, — высокая, худая, в трауре, идет объясняться с дежурным: что он может!.. Старик понуро расхаживает, медлит еще, сверяет часы, изучает расписание: поезд уже прибыл. Он стар, в тягость многим, ждет сына, внука... Я тушил нежность к ним. Довольно: сам несчастен, больше не могу! Обречен! «Но когда же это началось?» — тщился я уразуметь, ибо понимал: хотя странное бегство Жана, потеря Лоренсы чреваты многими последствиями, но и до того жизни не было. Назад, глубже в прошлое, все так же изуродованно, неудачно. А вместе с тем я знал когда-то радость. Я ее находил в другом конце: детство. Да, там все другое, но как же произошел этот разрыв, почему образовалась трещина, нельзя ли исправить... Постепенно ли расходились эти две неравные части, медленно отравлялись, претворялись... Или сразу, как отрывается льдина, как графическое представление многих функций, где кривая, только что обретавшаяся в первом участке — с положительными знаками — вдруг проваливает-

ся и выскакивает в третьем: с отрицательными. Не ведаю. Только память: голенький, с ловко намотанной рубашкой-чалмой на голове, я беззаботно прыгал солнечным полднем по берегу каменистой речки, не смущаясь своим открытым миру стыдом: что-то райское в этом утре, в моем состоянии — счастье, которое не может умалиться. Да, там была вся полнота. Тогда же она кончилась, как река, затерянная в песчаных степях, — ушла под землю, провалилась. Вот приблизительное место катастрофы. В этом моем раннем ликовании уже гнило зерно сомнения: прыгая по лугу, я встретил группу чиновников, поглядевших на мой неприкрытый срам хмуро, порицающе. Часто потом я спрашивал себя: как можно, без стыда, столь непринужденно, о, святой день! Но все же если я ничего действительно не *знал*, то как я понял их удивление... Тогда это уже начиналось (и быстро завершилось), корни уводили туда; что именно — трудно сказать: но рая не стало. Гимназическая фуражка, первая папироса и прочее, усики. Нам в спину бил арктический ветер, навстречу нам шел 19-й годок. В рваной шинели, с цигаркою в зубах, он бежал перелеском, гогоча (взрыв его смеха оборачивался пулеметным рокотом, оскал хищных зубов — зарницами пожарищ). На юге все, что было лучшего, все, что было худшего в империи, медленно отступало к морю; в черной адмиральской шинели, дважды преданный и дважды казненный, Колчак шагал из-за Урала к подворотне иркутской тюрьмы. Мы уходили за Каспий. Там бои идут вокруг колодцев. Кто владеет источником, тот господствует над пространством в несколько сот квадратных верст. Под тропическим небом мы брали приступом срубы. «Вода отравлена!» (Враг успевал побросать туда трупы.) Караваны чумных верблюдов, с мертвыми на спине как фантомы проносились мимо: глухо, колокольно звенела человечья берцовая кость. Ночью светила жестокая луна и по ее воле желтая дама протягивала к нам потное жало. «Хина! Хина»! — раскрывал я влюбленно объятия. Помню: верблюд упал и забился в агонии. Я спрыгнул и от живого еще, трепыхающегося предусмотрительно отрезал кус мяса. 40-градусная малярия ежедневно трясла мой остов: меня привязывали к седлу. Долгие ночи; погребально звякали колокольцы. «Хина, Хина!» — молил я нагую желтую даму, протягивая свои потные уста. Крадучись, брел встречный караван с призраками. «Чума, чума!» — вопили наши туркмены, прикладываясь к ружьям: в серебристом, адском свете падал верблюд, судорожно перебирал ногами, укоризненно

вздыхая, стихал. Там, далеко, за горизонтом, — матери вскрикивали спросонок. Но это все уже — мимо.

4

Снова улица: вокзал и его ореол — позади. Кругом снуют — повисли в воздухе — рожи, носы, брюха: растерянные, отравленные. Они приходят к врачу недовольные собою и жалуются. Им хочется бессмертия. Требуют пилюль и капель: против отрыжки, изжоги, запора. Вытяжек, вакцин и свечек. Раздеваются ловко, подставляя ягодицы. Бегут дальше. С кульками, свертками, портфелями, зонтиками, мешками — спешат к себе. В нору. Кормить того ребенка, а не этого, своего мужа, а не чужого. Чета бредет рядом («с своей волчихою голодной выходит на дорогу волк»), где-то ждет детеныш. Это его жена: только он может ее трогать. Супружеская пара: странное двухполое существо, симбиоз двух организмов. Скучают, равнодушны, неинтересны друг другу, — биологически-социальный контракт (акула и рыба-лоцман). Спешат: что-то в прошлом упустили. Торопятся, даже отдыхая: съесть, развлечься, исчерпать, наполнить. Был такой час вечера, когда некий маятник уже откачнулся, чаша весов ощутимо поднялась: кто решил в театр — давно в театре; на свиданье — уже встретились; лечь спать — дома укладывается. И только отсталые, неудачники — редкие пары, одиночки, — (что-то случилось, расстроилось) не успев приткнуться ни к одной из основных, нормальных колонн, слонялись раздраженные, отчаявшись в жизни, в дружбе, в любви, нерешительно озирались, спрашивали себя, небо, прошлое: как же убить этот вечер... тупо останавливались у витрин синематографов, где звонили, словно к второму Евангелию, к второму фильму, с отвращением входили. Страдающие, ждущие нежности, чуда — достойные его, — обо всем смутно догадывающиеся — трусы, глупцы, упрямцы. Вот Бог создал сынов и дочерей, они купили галстухи и подштанники, манишки и лифчики, побежали в разные стороны по частным делам — гнев охватывает меня (благодаря памяти о другой участи, возможной, уготованной). Тогда я меняю вариант: вот барахтается «ни рыба, ни птица», выползает на берег, семенит на четвереньках обезьяна, влезает на дерево, вот поднимается на задние лапы, берет кирку, циркуль и лопату — созидает, мучительно храня равновесие, преодолевая хвост. Я чувствую радостные слезы: хочется пожимать косматые

лапы, восторгаться случайным фокусом, помогать, планировать подземные уборные, чтобы по крайней мере туда шли гадить, если иначе нельзя, — прощать, снисходить. «Я мог бы хорошо относиться к своим клиентам, если б отказался от их божественного начала. Но это ложь, и я не хочу!» — решает нутро. Сажусь в поезд. В этот час трудно определить характер случайных пассажиров (за исключением продажных тварей обоего пола), гуляк, держащих курс на Монпарнас или Монмартр. Спереди — мужчина: смотрит через мое плечо в конец вагона. По его взгляду догадываюсь: там женщина. Оборачиваюсь: отлично сделанная, серийно желанная — все, что требуется для любви в местном значении этого слова (индивидуальные особенности порождают душевные отношения, ослабляющие физиологию). Долго гляжу на нее, впиваясь естеством, тупея, и эта струя вожделения, по таинственной индукции, вдруг вызывает ответную: удвоенно острую нежность потери (детство, Лоренса) и верную грусть: они точно питают друг друга (тление — цветение). Щупаю рукой золотое сердце — словно крест, — глажу его и, предельно истощенный, умирая душою, прося снисхождения, снова обращаюсь, припадаю к этому чувственному, манящему, доступному мясу или хлебу пола. Эта женщина, по-видимому, щеголяла чулками и обувью. Ее ноги, схваченные легкими туфельками, в дорогих паутиновых чулках, эти ноги, как легендарные рычаги (нашедшие точку опоры), сдвигали вселенную, переворачивали души; за право ими обладать яростно боролся мир самцов, за право их обуть сражались фабриканты; войны, революции вызывали эти требующие шелков конечности, и смерть венчала исходящую от них похоть. «Господи, что же мне делать! Помоги, раз ты меня искалечил!» — наступает тишина (как при сабельной рубке); вот я начинаю улыбаться: «Нет, я не кролик!» — шепчу и смеюсь. Уверенно откидываю двери, схожу: горд, благодарен, минуту совершенно покоен. Гуляю по бульвару, покупаю табак; у Gare Montparnasse направляюсь в знакомое (смутно) кафе. Играет дамский оркестр (по воскресеньям и четвергам), полупустой зал вдвойне пуст благодаря зеркалам. «Пиво, журналы!» — оглядываюсь по сторонам и цепенею: сбоку (там же, где в первый раз), за угловым столиком вся тройка — Николь, вивёр, и «вторая». Николь — спиною ко мне; «вторая», склонившись, что-то взволнованно шепчет вивёру на ухо, а тот мечет кругом такие взгляды, что мне становится нехорошо. Приносят пиво, расплачиваюсь, одним махом выцежи-

ваю три четверти кружки. Трусливо отвожу глаза, произвожу какие-то зачаточные движения атлета (ненавижу себя); усталость и печаль: все равно не поймут (как, впрочем, и я)... «Сейчас он меня ударит, — почти с радостью думаю. — Сильный остолоп, он прав»! — весь подбираюсь, куда-то перемещаю центр тяжести: защитная работа мышц и витальных центров. Вивёр переливает содержимое рюмки себе в рот, похожий на рану, — и решительно вскакивает. «Robert, Robert!» — раздраженно взвизгивает «вторая» и начинает запахивать жакет. Николь сидит спиною к залу, опустив голову. Вивёр приближается: разъяренный, кровавый, тяжелый. «Я вас ищу, — говорю неожиданно с любезною улыбкой. — Может быть, вы присядете!» — ласково указываю место на скамье; и он, не успев изменить братоубийственного выражения лица (прибавив только смешную черточку удивления) шлепается рядом. «Позвольте мне быть совершенно откровенным, но это, конечно, между нами»! — таинственно шепчу. «Parfaitement, parfaitement!» — озабоченно выдыхает он. Дамы с горестным любопытством следят за нашими движениями. «Я болен и не хотел рисковать будущим такого очаровательного существа». Для вящей убедительности прибавляю ряд подробностей. «Но вы лечитесь?» — не сдается тот. «Лечусь давно, но всё позитивен». Он соглашается. «Это бывает. Я был позитивен в 1918, тотчас после войны. Нет, — прерывает себя. — Право, вы чудесный парень. Ей-богу, это отлично. Я сразу сказал: надо выслушать другую сторону. Не безумец же он (хотя эти иностранцы...). Вы понимаете — конфиденциально, — Николь очень обижена. Она не привыкла. О, нет. Еще бы. Вообще, знаете, я представитель по продаже автомобильных частей и поэтому всегда защищаю наш цех: в какой бы переплет représentant ни попал, я на его стороне. Так и здесь: прежде всего я поддерживаю интересы мужчин. Будь она мне сестрою или даже женой. О матери я не говорю: мать святыня. Нужно развивать солидарность. Раз братства нет, то должна быть хотя бы солидарность. Я всегда повторяю: без солидарности Франция погибнет. Почему мы держались во время войны? Неужели только немцы могут нас объединить? О бошах я ничего не говорю, но, заметьте, неужели без них нам предстояло бы вечное разделение? Ну да, но в данном случае я был потрясен, обратите внимание, ведь это я вас свел. А? Такая женщина, и вы убегаете, довольно странно. Моя — целый день плакала со злости, перерыла комоды: уверяет, что вы унесли кружевную накидку. Я ей сказал:

оставь этот вздор, кому нужен твой чехол, он найдется, но если я встречу этого субъекта, то мы серьезно объяснимся. Между прочим, я не считаю ваше дело проигранным, — закончил он нежданно. — Конечно, вы поступили даже благородно, но раз вы лечитесь, то она не имела бы претензии. Любовь!» Я горячо запротестовал: «Нет, нет, Николь достойна лучшей судьбы! Какая прелесть! Расскажите ей всё не таясь: я вдвойне заслужил это наказание». Мы выпили по рюмке коньяку и подчеркнуто дружески попрощались. («Вторая» гневно передергивала плечами). Я дал крюк, чтобы не проходить мимо их столика; возле оркестра (семь девиц в шароварах) задержался, лавируя меж множества стульев, падких до случайного зрелища клиентов. У карусели дверей — Николь. «Вы здесь», — спрашивает и переводит дыхание. Беру ее руку, треплю, глажу. Догадываюсь: она только что прыгнула головою вперед с трамплина... и так хочется ее похвалить, наградить (а в душе голос, неслышные скребки: тревога, тревога). Мы поворачиваем в сторону Люксембургского сада, лениво, молча бредем (так, очнувшись, раненые, прихрамывая, а где ползком, выбираются ночью с поля сражения). «Вы русский», — спрашивает она. Мы спускаемся к Сен-Мишелю, пьем кофе у площади, пересекаем Сену. И вот справа от нас качнулись, встали корпуса Hôtel-Dieu. «Здесь я когда-то принял ребенка, — говорю. — Его нарекли Морисом. А фамилию не помню». Она долго, веще смотрит на внушительные ночью госпитальные стены, редкие освещенные окна коридоров, фиолетовые ночники — дежурных и бдящих в палатах. «Как это ужасно, — ее всю передергивает. — Лежать вон там, умирать, а за спиною город». Мы углубляемся в сеть мелких улиц — на восток и север. Случайные прохожие; возвращаются с дремлющими детьми на руках, усталые жертвы воскресенья. «Иногда между вами и встречным: фонарь, дерево, столб... хочешь разглядеть лицо, но оба передвигаются, так что экран все время в центре и заслоняет». Ей это знакомо. У почтового ящика — араб в ярких желтых башмаках; нерешительно протягивает письмо, опускает; хочет шагнуть назад, но вдруг, усомнившись, беспокойно нагибается, читает объявление, снова касается ящика и, неудовлетворенно, недоверчиво озираясь, отходит. Характерное чувство потерянности. Он долго собирался, писал, лизал языком, заклеивал конверт, приобретал марку, — все это одна цепь, причинно-следственная; когда служащий извлечет пакет, отвезет на почту (стукнут штемпелем, доставят адресату), —

будет вторая. А между ними разрыв, неуверенность, прорва, тьма, черный ящик, чудо, случайность, переход с одних осей на другие. «Чем отправлять письма, я предпочитаю получать! — прерывает Николь. — Я всегда волнуюсь в таких случаях, пока не прочитаю. А распечатанное письмо мне неинтересно читать: должна заставить себя. Если важные сведения, радуешься или горюешь, но это уже другое». Я это понимаю. «Это будто ребенок, — подсказываю. — Он еще может быть и Шекспиром, и Пастером, полководцем и боксером, тогда как взрослый (распечатанный) уже только одно (чаще всего бухгалтер)». Николь осведомляется: «Вы любите детей?» На avenue de la République синематограф-актюалите до поздней ночи повторяет свою короткую программу. Несмотря на весь этот изнурительный день, не имея определенных видов, не зная, что с нею делать, куда идти дальше, я как-то подло суетился, взвинченный двусмысленностью, неустойчивостью положения. «Хотите, зайдем, если вы любите документальные фильмы!» — предложил я. «Только я за себя плачу», — настояла она. В зале сидело несколько десятков уже последних неудачников. Мы смотрели, рядом, локоть к локтю, хронику и репортаж в красках: путешествие на остров Бали. И так же неопределенно, рассеянно побрели вверх: avenue Gambetta. «Как тут хорошо, — восторгалась Николь. (Неузнаваемые ночью отвратительные места.) — Я этой части города совсем не знаю». Она говорила мало, но все в форме вопросов; было в ней что-то детское, рассудительное и уютно-семейное. Здесь нет возрастов в обычном понимании — вспомнилось мне. Девочка 11 лет мыслит почти как ее мать и так же считает. Они развиваются душою, опытом, сексуально до 14, а потом застывают, фиксируются алкоголем жизни на этой ступени. Помнишь, в госпитале, 70-летние старцы: мы их лечили от свежих стигматов любви. Приезжают из провинции гулять с гитанами, как один выразился. Он заставил ее раздеться целиком; во время сна его ограбили. Что общего между таким и азиатским дедом: беззубые мощи, хлеб и вода: сидит на завалинке в полдень и кланяется миру. «У нас нет больше возрастов. Есть только особи разного веса и объема, одинаково жаждущие!» — учил Жан Дут. А локомотив сейчас, заревев, выбегает на прогалину. В детстве все казалось просто и велико. Его следовало реализовать: любое детство — это и есть бессмертие. Какую жизнь я знал впереди? Уже ясно: не удалось. Но где, где же... Пожалуй: всем не удалось. Мы огибали госпиталь Тенон. Николь

снова остановилась как зачарованная: особый град, решетки, казармы, темные полыньи окон и губительно-редкие огоньки коридоров, дежурных. «Все же как это должно быть ужасно», — сказала она опять, бросая в сторону взгляд, — растерянно-пробуждающийся (что-то мне важное напомнивший еще тогда, в кафе). Вдруг произошло соединение, вспыхнула, метнулась искра, растворы смешались, реакция удалась. Я узнал, наконец (по обыкновению, слегка разочарованный, таким будничным казалось то, что мучило, тут, на пороге сознания: обязательно хочется выудить, а не дается). Так однажды посмотрела моя больная, просыпаясь после операции: очнулась и кинула блуждающий жалобный, надломленный взгляд (души) — вбок и вниз, полукругом. «Скажите, вам никогда не давали наркоз, не оперировали»? — почему-то очень волнуясь, спросил я и обнял, склонился к самому лицу. «Нет, — серьезно ответила, подумав. — Нет. Почему? Брррр! — зябко передернула плечами и неожиданно решила: — Пока время, надо брать от жизни все». (Интересно: одинаковые исходные точки приводили нас к противоположным заключениям). «Вот здесь моя квартира, — показал я. Она мельком взглянула. — Может, мы поднимемся наверх, посидим, отдохнем?» — сорвалось ненароком, и сердце, сладостно подхлестнутое, взыграло (а где-то глубоко тоненьким ключом забило докучливое: «Господи, Господи, где же Ты?»)... «Нет, сударь, уж лучше не надо», — посмеиваясь, отклонила Николь. Вслед за мигом облегчения позорно-глупая настойчивость: «Нет, отчего, пожалуйста, я вам буду очень благодарен», — убого соблазнял я. О, если б она согласилась, я в последнюю минуту мог бы еще разминуться с роком! Но по тому же свирепому закону упрямства (иногда спасительного) меня здесь влекло к воронке. Обезоруженный, униженный, я стоял без шляпы, раздраженно глядя вслед отъезжающему красному «ситроену». А через день она пришла одна. В этот час консьержка разносит почту: я растворил дверь с выражением лица — соответствующим. Николь — у порога, обновленная, с цветком в волосах, без шапочки, похудевшая, изнуренная жарою. «Можно? Я только хотела спросить...» Игра началась, обжигающая, убийственная, — уже в других условиях: я оказался в роли загонщика; она— робеющий подросток. Мгновение острого отупения, райского блаженства, плавления, пересмотра всего естества: агония любви. Не Николь, а все, что есть в мире женственного, было со мною, и я харакирически растворялся в нем. А потом

вязкость тысячелетий. «Вот за это ты умрешь, — донесся знакомый тихий голос свидетеля. — Вот за это тебе умирать». Откуда такая вера?.. Потому ли, что блаженство, столь неоспоримое, уравновешивает уже самую смерть, расписывается под нею: узаконивает... Я всегда интуитивно сторонился, не желал иметь в своей жизни ничего равноценного, возмещающего хоть приблизительно, покрывающего смерть! Это чувство раскаяния в зачаточном состоянии я испытывал уже, если в жаркий день глотал мороженое; нажравшись соленого, цедил пиво или, голодный, покупал еду, острую, вкусную. И не только плотские наслаждения, но и душевные — увлекательные книги, историческое заседание — порождали то же ощущение соблазна, зла, предательства. Помню, первокурсником (без денег, без сапог), отправляясь в лабораторию на практические занятия, я раз в трамвае был ошеломлен: из недр — такое торжество, предчувствие творческой радости, что завопил: «Я счастлив, счастлив»... но тут же, словно в ответ, ужалили душу: печаль, страх, сожаление, опасность! Ибо все эти переживания, минуты удовлетворения, должно быть, нормировали смерть, делали ее приемлемою, рентабельной. А хотелось бы в последние секунды иметь право заявить протест, представить неоплаченный счет. (Только некоторые прогулки духовного порядка, особые мысли и молитвы, стояли в другом ряду). А может быть, то прорывался иной голос: биологических глубин — слепо знающий, — оттуда, где корни переплетаются и вяжутся узлы... «Вот здесь смерть», — кротко, убежденно заключала душа, и я застывал, полумертвый от грусти: братски приобщаясь в ней со всем животным миром. Эту предмогильную печаль испытывают и звери. Когда-то, вслед (или во время), — мы все умирали. Есть твари, и ныне кончающиеся сразу за совокуплением (некоторые виды мотыльков, пауков, крабов). Какая удача: для них уже нет сомнения, — в чем гибель. Я перегнал их, растянул немного резинку. Но чувство не обманывает, оно то же. Краб, я умру, как краб. Лежу недвижным пластом (почти минерал), и только в памяти медленно скользят (без последствий) по привычным гнездам старые образы-стенограммы, темные испарения кутают меня с головою, душа исходит, оплакивая самое себя. Мысли знакомые, «исхоженные» вдоль и поперек, условные нерасцвеченные контуры. (О бабочке-acentropus, чья самка живет в воде — поднимается на поверхность только для оплодотворения, — часто увлекает своего крылатого мужа в пучину. О дереве алоэ — огромные ага-

вы, — что цветет раз в 100 лет. Но и живет оно немногим больше: только для одного этого цветения. О, если бы оно не расцветало... или — по-иному! Отдавать себя, чтобы плодить новых, так же слепо отдающих себя. Пока Один не поймет чего-то — но что? — отвернется, перешагнет через проведенную мелом куриную линию и будет жить вечно... О круглом черве diplogaster tridentatus — что имеет слишком узкий проход, и созревшие личинки, не пролезая, вынуждены поедать внутренности матери, — прогрызая себе дорогу наружу: символ всякого материнства.) Темная моя истома достигала тем вящей силы, чем острее было предыдущее насыщение, растворение, чем искреннее все клетки тела принимали в нем участие. Клетки же самозабвенно и единодушно вовлекались в игру только в том случае, если встречали полную противоположностей ткань: словно два предмета, искривленные в разные стороны, теряя равновесие, ищут свой центр тяжести в безликой серединке. Я превращался в свидетеля-жертву этого огромного поля борьбы, где десятки миллионов клеток иррадиировали, сотрясались, сжимались, тяготели: слепые полчища пробегали по мне, топча лапками, отравляя ядовитыми газами. И когда: вот, уже агония... некто во мне, жестокий, умелый и древний, намеренно выключал главный центр, отделялся («сдерживал дыхание»), этим ломая действо на две части, растягивая, механически, сметливо, почти вхолостую продолжая его: подтверждая таким образом превосходство и власть (в чем ответно ему радостно и догадливо помогали). А потом короткая, беспредельная вспышка, саморастворение в пучине, харакири. Вы делаете так. Вы делаете так, и так, и этак. Вы опять пробуете сначала. И скоро вам уже ничего не придумать. А ночь еще впереди. Вся ночь агонизирующего. Она бредет за стеною: тук-тук. Она идет, как парусная баржа при резком боковом ветре, как самоубийца, чей револьвер дал осечку, как жандармы в день праздника труда, как ты, смерть моя, за плечом. (Господи, долго ли еще?) Спит, открыты глаза, что видит... Рядом голова, душа, изолированная кожей и косточкою. Чужая. А где-то переплелись: грызи в веках — не порвешь. «Кто эта женщина? Зачем молчит она, зачем лежит со мною рядом», — перевираю прелестные стихи неведомого автора (должно быть, из тех, что оказываются слишком умными для поэзии). За окном шум каблуков: спешат... домой... Мне становится жаль Николь. Двойная нежность бередит сердце: равнодушие (ложь) и чувство общности судьбы — тавра гибели. «Ей тоже нелегко, — пробую. —

Что же, матушка, не плакать же вместе». Притрагиваюсь к ней, пестую. Неподвижная до сих пор, Николь сразу прижимается ко мне, спокойная, польщенная, готовая исполнять свою роль до конца. «О чем ты думала только что», — допытываюсь и тотчас же краснею: стыжусь. «Я? Не знаю. Ни о чем. Да, я подумала; как слоны творят любовь? А, вот, должно быть, зрелище!» — и она по-детски восхищенно ерзает. «Погоди, не шевелись», — приказываю, и благодаря властному окрику она мгновенно меняется, настороженно, выжидательно подчиняясь. Я снова возвращаюсь рукою к тому месту на груди, убежденный, повергнутый, словно заранее безотчетно предугадывая разумность близкой беды (так дикий зверь «узнает» и «приемлет» западню и потому так слепо бьется и трепыхается в ней). Ощупываю правую грудь, давлю, растираю пальцами — против решетки ребер. Теплая — замерзающая — испарина окатывает меня; изнеможенно (и фальшиво) ворочаю шеей: «Тесно». С тихим треском фосфоресцирует потайная лампа, озаряющая время: вырывает из прошлого пляшущие конусы. Я вдруг начинаю постигать значение каждого слова, жеста, взгляда — бегство, преследование — моего с Николь, сложность отношений. Все принимает новую окраску, свой истинный лик, слышу терпкий запах горя: мы в капкане... но почти радуюсь: прозрению, образу внутренней структуры, высшему смыслу. Дрожащими перстами зажигаю свет, стараюсь профессионально-ловко шутить; но что-то, должно быть, сочится из меня: вяжущее, страшное. Оцепенение передается ей: начинает дрожать, смиренно, детски покоряясь моей воле, а взгляд ее (полукругом в сторону) снова принимает это выражение мучительной растерянности, пробуждающейся памяти после неумного сна. Нащупываю маленький бугорок: свинцово-твердый, с цепляющимися вглубь острыми веточками, корешками; слева под мышкою нахожу дробинку ганглия, справа, кажется, тоже мелькнул один (помягче), но я его потерял. «У вас это давно? — спрашиваю и поправляюсь: — У тебя это давно?» Ответ: «Это? О, нет. Впрочем, не знаю. Ах да, месяца три тому...» — и рассказывает нечто совершенно не относящееся к делу. Из расспросов удается выяснить, что в прошлом было несколько абортов (и даже — весьма поздние). «Тебе придется полечиться», — говорю развязно. «Неужели операция? Это рак?» — настаивает Николь. «Сущий пустяк. Детская забава. На твоем месте я бы это немедленно вырезал». Голос у нее спокойнее: «Ты думаешь? — она улыбается (О, если бы заглянуть себе в

глаза). — Но мне не отрежут грудь?» — спрашивает горделиво-кокетливо. Она вся чудесно раскрыта: такой, искупающей 20 лет каторги, мерещилась, когда я спасался. Но теперь эти пленительные, созданные нарочито для объятий стати, укрепляют лишь мое опустошение и жалостливую брезгливость. «Нет, нет, я не отдам твою грудь, penses-tu!» — клянусь. «Это правда? — в ее улыбке больше уступчивости и благодарности, чем веры. — Как хорошо, что я тебя встретила!» — решает Николь. А я скрежещу зубами. «Ты все знал, сволочь, и не уберегся. Судьба окликала тебя. Лоренса, ты меня покинула. Боже, Боже, зачем я, обреченный. Конечно, обухом повержен, земля мякнет, уходит навсегда». Другой голос: «Облегчи, утешь ее, глупую, прими ответственность, близок темный час, вот смысл события». — «Но я не святой!» — возмущенно защищаюсь. Тихий голос: «Что же делать, что же делать...» — «Ладно, — шепчу. — Смотри же!» (А на кладбище хочется оплодотворения.)

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПОЛПУТИ

Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là.

Pascal

1

Я возвращался обычно поздней ночью. Шел мимо запертого незнакомого темно-курчавого Люксембургского сада, равнодушно (полумертвый) нюхая очищенную, причастную тайнам, обновленную свежесть дерев и кустов. В эти минуты кто-то просыпался во мне, глубоко на дне тюрьмы слабо потрясал колодкою, скулил, покаянно требовал воли и смолкал, неуслышанный. Произошла странная вещь; я почти лишился инстинкта самосохранения. Соблазнительно-жутко! Как в чужом доме проснуться и целую вечность не уметь припомнить, где ты, куда головою лежишь... как в грозном бору, потеряв направление, петлять, кружа и отклоняясь! Сладостный отдых для души. Ибо нет ничего желаннее для нее, как быть потерянною. И в то же время нужно мужество, чтобы не ускорить шаги, не взмолиться, не напрячься и тем самым положить конец опасному блужданию. (Некий голос: «Дольше ты продержишься, ценнее твоя душа; этою же мерой в решительную минуту тебе отмерят и отвесят».) Перед музеем с дремлющими во дворе состарившимися каменными героями — писсуар. Нищенски гудит газовый рожок, вода стекает с вешним шумом; на облупленных жестяных стенках искусно изображены обнаженные торсы; надписи: «Faites l'amour entre garçons... à bas les juifs... vive les soviets... au poteau» (на гильотину), кого именно, не разобрать: целый столбец, карандашом, словно кинжалом, перечеркивается одно имя, ожесточенно выводится другое. Огибаю Сенат с тенями стражи; на противоположной стороне два ресторана с пестрыми абажурами уже потушенных ламп. Здесь усатые генералы между двумя блюдами, во время восстания, отдавали приказ о расстреле. («Vive — l'humanité» — залп). Врезаюсь в сеть загадочных улочек меж театром Одеон и площадью Сен-Мишель. Тут каждое здание напоминает морг. Вот-вот из старого решетчатого окна вдруг глянет, склонится голова Марата (как из ванны на

картине Давида). В темных подвалах медицинского факультета (старая школа) шумит проточная вода. Там под кранами хранятся трупы; в глубоких ваннах плавают мертвецы, — большие селедки, огурцы, — их мешают огромною ложкою. Когда подадут на стол, кожа будет беловато-мягкая, обработанная рассолом, как тончайшее шевро или замша. Подают, убирают, меняют, взвалив на плечи полкорпуса, уносят в кабинет к прозектору — обыкновенные вытренированные люди. Сторож моего отделения ничем не отличался от любого рабочего, контр-мэтра. И только глаза его — поражали. Он пил много — всегда, — не хмелея, но огромная масса поглощенного им алкоголя точно собиралась, оседала в его зрачках: ширились, вздувались, безумели. Один, в сумерках (мы уходили в пятом часу), он убирал, подготавливал к следующему дню, расхаживал меж столами, сортировал кости, черепа. Если ему дать пятерку, он выберет лучший труп: не старый, без внешних изъянов. Однажды с довольным лицом сообщил: «Девушка, есть настоящая девушка...» — и мы все потянулись гуськом к столу счастливцев. Она лежала вытянувшись, раскрытая, большая, белая, вдумчивая, каким-то непонятным образом утверждая свое целомудрие. Не знаю, откуда это пришло: январские потемки, мокрые носки (меж трупами на влажных каменных столах), но я вдруг нашел себя счастливым, благодарным, не одиноким, бессмертным. Что-то налетело, закружило, подняло меня из пота, заношенного белья, старых мыслей: «Хранила себя, отказывалась, и вот ранняя смерть, к чему было всё...» Я узнал: нужно, осмысленно, не пропало еще, не уплыло — есть, есть продолжение, хотя бы в моей нежности и внезапной близости к ней. Спиралью: «Клянусь запомнить навеки эти верные слезы и посвященно служить тому же». Обойденные приставали к сторожу: «Вы не могли нам ее дать». В разных углах говорили на фривольные темы, рассказывали о странных формах извращения, представляли в лицах (и эта гнусность среды еще убедительнее подчеркивала значимость и реальность моего восхищения). Пока дежурный аудитор мощным стуком кулака не дал понять, что начинает урок. Маленький жгучий корсиканец, он с дырявым чемоданом приехал когда-то в Париж. Его сородичи завоевали монмартрские притоны; он предпочел медицину, внося туда элемент кабака. Раз, проходя мимо нашего стола, он железным блюдцем (куда бросают лоскутья жира и кожи) нанес трупу такой удар, что сломал ему челюсть. Первый, «мой»: старик с гетманскими усами, картонный браслет

у кисти (без имени, номер, палата). Бросил на пол этот последний след его существования, затем, поморщившись, поднял и спрятал в карман. («Нет, нет», — все кричало сердце). Отчетливая юная мускулатура, и только мозг — когда добрались — оказался разжиженною мазью. Я унес в кармане кристаллик его глаза, хотел вправить в кольцо (думалось: пропускал, отражал — целую жизнь, — не поведает ли о виденном). Но вскоре отказался от этой затеи и вернул камешек: хоровод скелетов плясал у моего изголовья, ночью, в нетопленом отельном номере. Мне и студенту-румыну достались ноги, две француженки работали над руками, а бедняге греку, Куляксизилису, гному со странным голосом, любившему стихи, — как самому слабому, выпало худшее: шея, мелкие мышцы и артерии, начинать труднее. А к масленице грек заболел гриппом и нелепо скончался в госпитале. Стыдно вспомнить дешевую литературность жизни: на лекции в амфитеатре коллегам-стажерам подали на блюде его нищее сердце; мы потыкали деревянною планкой (что прижимают язык, заглядывая в горло) раненые запухшие клапаны. «Pauvre enfant», — счел нужным бросить нам сторож; а мы, осиротевшие, благодарно и заискивающе искали его взгляда (в засаленном переднике он проходил, неся на плече тушу негра). Я его потом встретил раз, назвал себя: конечно, не мог помнить этих сотен юношей, сновавших по его отделению. Он неохотно говорил о школе; это было у Сены в Духов день, — удил рыбу, — и, помолодевший, измененный, он по-детски спешил рассказать о своей вчерашней удаче: поймал вот такого карпа. А глаза, добрые, старческие, слезятся (совсем не страшно, только жалко его). Я огибаю ночной факультет, оттуда со двора слышен автоматический лай собак, бездушный вой: живут в клетках при лабораториях, обездоленные, лишенные разных частей и органов. На rue Mazarine призрак в цилиндре перебегает улицу и, бесплотный, пропадает в стенах, землистых, пятнистых, как ткани умершего от бубонной чумы. А вот монастырь — подворье книгохранилища. Сколько весен (сирень, черемуха) отдано этим сводам. Я жил тогда в шестом квартале, еще не знал Жана Дута и целыми днями дремал в Библиотеке. «О, Пушкин, не оставляй меня. Ты оплешивеешь. Ты так прекрасен и юн. У тебя мягкие кудри и горячие губы. Пушкин, ты умрешь. Пушкин, я слепну. Прижмись ко мне, ненаглядный. Если сжалится Бог, глаза никогда не выцветут, волосы не побелеют. Пушкин, ты умираешь. Пушкин уже...» — пела Беатриче с льняными воло-

сами, дитя, матерински баюкающее куклу; а в углу на пустой бочке мирно храпел Мефистофель. Якоб Бёме шептал белыми губами древние формулы. Ориген стыдил Тертуллиана, ангел Силезский поверял тайны Майстеру Экхарту; неприкаянно бродил Спиноза. Николай Федоров любовно рылся в библиотечных шкафах; Парацельс зажигал свечи на уровне второго этажа, шагая по воздуху, как по тверди. Я питался тогда кониной. Четверть стоила 1,30. Спал в студенческой комнатке под грудою лохмотьев на rue Boutebrie. Конина пахла женщиною. Ко мне приходил блаженный Августин: протягивал корпус темной рабыни, без головы, с отпиленными конечностями. Я просыпался мокрый, крестясь и чертыхаясь. Скоро набережная; за спиною осталось дымное кафе, сомнительный клуб. Я хватал карты с непонятным интересом, непрестанно курил (без желания), щупал прикуп, лгал, впитывал гомон, похабные анекдоты, порождая ответно смрад и копоть. Китайцы играли в жуткие кости с цветными драконами; потные незнакомцы тасовали талмудическую колоду: таро... 72 карты, где 20 изображают буквы еврейского алфавита, а первый знак свидетельствует о человеке, повисшем меж небом и землею. Они ковыряли в носу, грызли ногти, ругались, отрыгали. Внизу — подвал — засели бриджеры: старики, вдовы, уроды. У них такие лица (изможденные, просящие), словно в прошлом на столе у каждого осталась длинная отыгранная масть — но уже нет перехода. Раз, один упал замертво, его вынесли и после краткого перерыва продолжали игру: он был выходящим. Неподдельная (без солнца) грязь лежала на фигурах, камнях, картах, людях. Русские шахматисты кашляющими взглядами ловили клиентов; польские евреи любили французский белот — озабоченно варили суп из топора. Они говорили на новом санскрите, на могучем сплаве из многих языков. За выступом, развалившись на обитой кожею скамье, целовалась пара: оба крупные, большие, красивые. У дамы были красные и сухие глаза, кавалер поворачивал ладонью ее лицо — неторопливо, обреченно присасывался к зубам, деснам. Тут, напротив, сдают за 15 франков номера — до полудня: кровать и два полотенца... а они сидели, сраженные, в цепком безмолвии. Тщетно такое насыщение, ласки больше не обманывают... или что-то другое, неописуемое, наконец стряслось с их душами... Только, крупные, сильные, хищные, вероятно неутомимые в любви, они почти лежали, непорочно обнявшись; у женщины красные сухие глаза, он обреченно припадал к ее деснам (держал в большой ла-

дони — длинное, узкое лицо), а время капало над головами. «Что же это, что?» — обжигало меня всего порою, выбрасывало на поверхность. Я порывался что-то сделать, изменить, но тотчас же потерянно замирал, испытывая чувство, знакомое, должно быть, рыбе (когда, вынырнув из дебрей аквариума на свет, она утыкается тупою мордой в мутное толстое стекло, а дальше пятна и чудовищные мешковатые тени). Но чем глубже разверзалась трясина, тем слышней и слышней звучал навстречу предсущий голос. Спасение казалось совсем близким. (Почему небо мне открывалось, когда я падал навзничь?) Шагаю дальше, мимо башен Консьержери; «вокзальный» трепет подступает ко мне. Здесь, в Palais de Justice, судили Марию-Антуанетту; усталая, к концу дня она попросила пить, увы, не нашлось охотника удовлетворить эту просьбу. (В подвале Ипатьевского дома стены забрызганы мозгами целой семьи.) Ее везли по rue St. Honoré на казнь; с крыльца храма St. Roche молодая женщина харкнула себе на ладонь и бросила плевок через головы толпы в королеву. Сансон — по 15 франков — не мог нанять достаточное число повозок: пришлось обещать каждому вознице пять франков чаевых. Толпы любопытных всегда запружали площадь во время экзекуции, но раз хлынул сильный проливень — и зрители разбежались. Перехожу Pont-àu-Change; внизу Сена с опрокинутым городом и маслянистыми пятнами отраженных огней; откуда-то слева — с моря или Лувра (где потрошили гугенотов) — тянет ледяным набатным ветром. К площади Шатле, где ночные автобусы, такси, подкатывают крайние волны Центрального рынка: грузовики с ящиками, скотом, бабы. Спускаюсь в подземную уборную. Там вповалку на каменном наслеженном «паркете» под относительным кровом спят нищие. Вода течет из кранов, остро пахнет, опять те же рисунки — карандашом на кафеле стены; мочусь над чьей-то головою, жмурюсь, стыну, дремлю, вспоминаю. Вдруг тихая зависть шевелится, крепнет в душе: о, если бы и мне на его место! Кротко спать у ног испражняющихся, укрыв лицо картузом, ничего не желать — на завтра. Знакомый образ прорезает тьму: веще вздрагиваю. Вижу, вижу тебя, моя смерть. На ступеньках храма, вокзала или библиотеки. Вечером повалят юные (что готовятся к экзаменам). Как помнишь... Сколько весен и сиреней, сколько десятков весен я тоже провел внутри под сводами, где священная тишь и скука. Теплым плодоносным вечером, неповторимо пахнущим детством, выходили мы, последние, на волю, жадно дыша, поры-

ваясь на грех или на подвиг. В нише запертых ворот обосновался бродяга, понурившись, спал; однажды я разбудил его: сунул франк. «Non, non», — обиженно, старчески капризно запротестовал он. Я забрал монету и отошел, оглядываясь, а он приподнялся и кивал мне старчески-святой головою, ободряюще смеялся, будто светло благословляя близкого на трудный путь и славное прибытие. «Смотри, смотри хорошо, смотри же», — толкало меня сердце, и я веще озирался, глотая невидимые слезы, безотчетно, безропотно кланяясь в ноги. А затем морг: нам тогда демонстрировали morte subite — внезапную смерть. Полицейские нашли под забором тучного, заплывшего нищего — и запрашивали о причине смерти. Талантливый доцент, ведавший нашими практическими занятиями, высмеял наивность жандармов, считающих небходимым наличие особых причин для смерти: не догадываются, что нужны специальные обстоятельства — для жизни. «Вы видите, господа, мы почти ничего не нашли!» — смачно декламировал (любил свой предмет; заставлял нас садиться поближе к столу: следует привыкать к запаху... «Человек — это дурно пахнет», — определил он в шутку. Запах же в перегретом зале был обморочный, ничего похожего с анатомическим театром: тела мокнут там предварительно в дезинфекционных растворах). Правда, мы обнаружили красноту клапанов сердца, легкое изменение цвета печени, если взять под микроскоп эту почку, то вы узрите некоторую гипертрофию соединительной ткани: начало склероза. Ноги чуть опухли, в легких известный отек. «Вы видите, господа, это неопределенно, каждый симптом в отдельности банален, встречается сплошь и рядом у сорокалетних, не может объяснить последнего исхода! — голос преподавателя стал торжествующим. — Но все это, сложенное вместе, и определяет состояние, которое мы именуем misère physiologique. Чуть-чуть здесь, слегка там, немного рядом... и достаточно любого, не поддающегося учету толчка, чтобы выбить, растрясти колесики, застопорить машину. Это случается обыкновенно после обеда, ибо в желудке мы почти всегда находим следы его: остатки макарон, с пол-литра красного вина! — («Смотри, смотри хорошо», — кротко сжималось сердце). — В период жестоких холодов или катастрофической жары...» Тут ученый, случайно обернувшись, опешил и развел руками, а мы расхохотались: один из сторожей, вообще отличный мастер и помощник, был нестерпим при демонстрациях. Спешил ли он скорее отделаться или просто не мог (забывал)

работать медленно (волнуемый, как добрый конь, посторонними), только в продолжение одной минуты так обдирал очередной труп, что профессору уже ничего не оставалось (ни показывать, ни объяснять); это и произошло опять — на соседнем столе, где сторож «подготовлял» следующий номер. Об этом огромном розовом детски улыбающемся увальне рассказывали, что однажды в сумерках, заглянув, пьяный, в лабораторию, испытывая голод, он очистил привлекшую его внимание тарелку с неопределенной снедью (как потом выяснилось, извлеченною из желудка покойника).

Оправляясь, медлю: примериваюсь, впитываю... нищенку, что недовольно бурчит на полу, а рядом спутник, философ, безмятежно прикорнул, черный, тучный. Запечатлеваю, прикидываю, пророчески ныряю в даль. Я вижу, я вижу тебя. В последней нищете, убогая, душа моя прорвется, вспомнит наконец. Вокзал, храм или книгохранилище: «Прощай», — из этой (знаю) неповторимой жизни. Студент или набожная старушка сунет монету: «Non, non», — скажу я улыбаясь. Часто в этот миг, как бы его пожирая, мне предстает образ тысячелетнего града (уже являвшийся): город веков, оазис, каменный среди песков, ровно, без теней, залитый медно-пламенным жидким солнцем. (Воздух там раскаленный: дышать нельзя, но и не надо дышать. Нет чувства обычной усталости: тела, ног, подошв. Уже долго, и еще целую вечность, буду так бродить... Как в летнее каникулярное время я так любил, когда чинят мостовую, сверлят машиною, льют смолу, гладят ее моторным утюгом, дышать трудно, а радостно.) Осторожно шагаю назад через тела лежащих: не задеваю, и все же нищенка стучит клюкою, сердито бормочет. С минуту еще жду: не сейчас ли, если б молния меня повергла, — как сократился бы, выпрямился путь! Выбираюсь наружу, где бабы, ночные шоферы, крайние волны из Halles. Пересекаю площадь, за спиною вдруг раздается тихое ржание запряженного коня, и я содрогаюсь от этого задушевного человечного голоса. В молчании в полутьме хмурые грузчики опорожняют тяжелые камионы, несут пухлые тюки, ставят на землю большие ящики (луна бледная на хладном небе); таинственно — не все движения понятны — мнится: то разгружают прибывшие издалека удушливые сны, инфекционные болезни — а город спит. Проститутка зовет, ложно-страстно чмокает языком, и душа целое мгновение бесшумно (на цыпочках) следует за нею. У дымной башни сквера Сен-Жак (где витают черти) едва улови-

мо распространяется трупный запах: меня не обманешь, то не листья осенние, здесь зарывали расстрелянных или заморенных, прикрыв останки тонким пластом земли! С блеклых дерев несется птичий гомон. Можно дивиться, откуда берется в городе такое сонмище, как они помещаются на одном кусте. Только в предрассветье это обнаружишь. Верещат, возятся, кричат, ссорятся — ведут себя, как в будни граждане нищей страны утром, где, скажем, один примус или уборная на многих. Их говор, увы, слишком понятен. Места — в обрез. Дерево — это селение, колония надоевших друг другу мудрецов и младенцев. Озабоченно чистятся, дают советы младшим, одеваются, полощут рты, готовятся к полному случайностями дню разночинцев (промысел, служба, игры). Воздух дрожит от требовательного, опьяненного пробуждением, кротко-жадного, музыкально-беспорядочного писка (как после звонка в школе моментально поднимается на разные лады взятая саранча звуков — какофония детей). Копошение, укоры, догадки. До чего понятно все и знакомо. Живите, как птицы небесные (небесные ли?). Я подкармливал хворого голубя в Люксембургском саду (на клюве — кровоточащие наросты, чирья); только слева, у самого края, осталось неболящее место, которым он мог еще подбирать мякину, выворачивая для этого особым способом шею, мучительно вытягиваясь, опасливо, героически проглатывая крошку. Надо было видеть, что творилось кругом: не только сородичи, молодые, сильные, но любые мелкие пернатые — воробьи — пыжились, куражились, наседали, били несчастного, гнали, отнимали хлеб и тут же перед его носом с гневным достоинством уплетали. А голубь, тяжелый, трясущийся, гадкий самому себе, не настаивал, отбегал за ствол, за куст (летал с трудом), подло прятался. С неделю я голубя, вопреки всем разумным законам, так поддерживал; потом он исчез: выздоровел и пребывал в местах более интересных для стяжателя (либо околел)... Поворачиваю на страшную улицу Риволи, соединяющую дворец с тюрьмою. Близка сеть узких переулков, притаившихся, как змеи; там в праздничные ночи народ строит баррикады, а в будни трепыхаются, словно помятые крысы, проститутки: кровью и резиною пахнет от подворотен. Справа остается Notre-Dame и грязное здание префектуры; меж ними госпиталь Отель-Дье: к темному холодному фронтону его меня навеки припаяли. Там я узнал эту грусть больших палат, огней и сумерек, юных и уродов, зимы и лета (а за стеною — жизнь). О, как жадно я держал стынущую руку обре-

ченного. С таким чувством взрослые толпятся вокруг клетки с орангутангом, мучительно распознавая отдаленно схожие черты. Над северо-востоком Парижа стоит зарево. (Горят доки, арсенал, быть может, рушится Бастилия...) Жмурюсь, затыкаю уши. Убивали, жгли, рубили, взрывали, предавали; с живых драли шкуру и салом мазали свои раны, шилом кололи глаза племенных жеребцов и пускали их под лед; сносили церкви, взрывали музеи, жгли книги, цветы, кружева, гобелены перекраивали в попоны, сапожищами топтали фарфор, детей; пилою отделяли туловища врагов, отрезали груди, вспарывали животы, грабили. Ветер многих бунтов меня подхватывает. На площади Hôtel de Ville, преображенной луною, меня встречает свинцовый окрик: «Где ты был бы в день 14-го декабря?..» Превозмогая робость и лень, отвечаю: «На Сенатской площади, ваше величество». Одинокая фигура мечется по плацу. Он смешно перебегает от шеренги к шеренге. Раздается пушечный выстрел. «Фора, фора», — кричат гвардейские офицеры, побывавшие за границею (позже Раскольников даст залп в обратном направлении). Пушкин на снегу, смертельно ранен; не поднять пистолет! Судорожно сгребает ладонью снег, подносит ко рту, глотает — воспрянуть бы еще на мгновение! В эту единственную дарованную минуту он постарается просверлить врага (тот, не спросясь, потрогал его жену). Мчатся сани, в санях черный гроб (а раньше: «Кого везете?» — «Грибоеда!») «Ты веришь?» — спрашивает Савинков. «Да», — отвечает Сазонов и отходит с бомбою. Через несколько минут (какое ожидание): стук кареты, взрыв. Не выдерживая более, Савинков выбегает на Измайловский проспект. На тротуаре бьется лошадь с распоротым брюхом. (Помню, в деревне по жижице грязи, навоза и хвои — раздвоенные следы — однажды возвращалось стадо; меж темными и бурыми трусил пегий бычок с вывалившимися, свисающими внутренностями: пузыри, сосиски, стеклянные грибы, розовато-коричневых, перламутровых кишок: бугай его пырнул рогами. Полуторагодовалый бычок бежал стороною, путаясь, хромая, томительно скучно, вяло, рассеянно озираясь. О, характерная обособленность, одиночество — словно невидимая плотная стена уже выросла — обреченных. Он спешил, не узнавая своих, приставая вдруг к чужой матке, кротко трясясь следом за бугаем-убийцей. А стадо, бычка будто не замечая, изолируя, опережая, трусило по ароматно-хвойной жиже, неся великий страх, неосознанный и человечий, в душе). «Замордовано Плевего!» — кричат варшавские

газетчики. «Что значит: замордовано?» — спрашивает взволнованный прохожий у лавочницы, и его всегда, казалось, небритые, сырые, холодно-жирные щеки трясутся над тучным, водянистым телом. «До победного ура!» Чугунному Милюкову не везет. Комиссар Черноморского флота едет в Севастополь. У него такое чувство, как у Ипполита (из «Идиота»): пусть только дадут сказать (из окна — толпе) выслушают, и все спасено (истина восторжествует). Но уже слышен рев черни: то с Финляндского вокзала, в апрельские сумерки, ликующие матросы везут на освещенном факелами грузовике убедительно картавящего дворянина. «Es schwindelt!» — говорит Ленин своему соседу, укладываясь на полу в Смольном (о, как в ту ночь голова, должно быть, кружилась). Перебегаю набитую тенями мостовую. Я проделываю путь в свой 20-й квартал, вслед за откормлеными мясом версальцами. На каждом углу патрули; треск старинных ружей, дробь барабана, стук прикладов, проклятия, гимны, вскрики (и яростная тишина), — шумы баррикадной мистерии: лоб в лоб, в потемках, на дне. Солдаты брали очаг за очагом, в ожесточенном городском бою. Оставшийся последний защитник разряжает карабин себе в рот. Улицы, улицы от République до Vin-cennes, и выше, к докам, Obercampf, St. Maur, Angoulême, Ménilmontant. Последнюю баррикаду смела картечь на rue Ramponneau. Кладбище Père-Lachaise: бой идет за каждую пядь могильной земли, за каждый надгробный памятник. «Concession à perpetuitè». Покойников в мундирах поднимают, выбрасывают: кончена относительная вечность. В решетки фамильных склепов суют длинные дула ружей, расходуют последние обоймы; где мадонны, терезы и распятья, дерутся штыками и ломами; взлетают головы, руки, берцовые кости. Раздетых коммунаров (быть может, трупы статских советников?) влекут к стене. Залп, повторный: свинец об камень... и покой, братский, добротный покой под жесткой периною. От Китая до Вестминстера — то же: как лозунги и рисунки в уборных. «Что ждет тебя, Земля! — вопию вдруг молитвенно. — Какая судьба? Устроившись, организовав отдельные части, достигнув равновесия, превратишься ли ты в муравейник с одною маткою, в улей!.. Уподобятся ли Твои сыны африканским термитам, умеющим добывать H_2O из воздуха, или угрям, знающим секрет электричества, медленно коченея под стынущим солнцем... А то: в разгаре гульбы и поножовщины жидкий атомный хвост случайной кометы стегнет тебя по щекам — сметет все... Раскаленная, черноледя-

ная, ты долго опять будешь болтаться мертвою кошкой по вселенной, пока первая инфузория не шевельнется, — она раздвоится, и Каин убьет Авеля... Или ты удостоишься, наконец, другого... Сколько культур и дорог позади: все прешли, пресеклись — тупики, — иные иссякли, иных поглотили моря! Только ты, христианская Европа, скользя меж сотнями топоров, удержалась, тысячелетья преодолевая (улыбаясь сквозь боль) — косность, биологию, ледники! Дотянешься ли, сообразишь!.. Хватит ли мудрости и сердца!.. Захотят ли, сумеют ли Боги тебе помочь!.. Не в силках, не по манежу нам бегать, вечно возвращаясь на то же место! Что за перевалом?.. Гряди, Господь. Алую кровь готов отдать, — Аллилуйя, — грешным дыханием дунуть в твои хлопающие паруса! Гляжу с недоумением и страхом. Слепой сын, Земля, почтительно лобызает Твой матерински-хладный лоб, не узнавая его. Жду чуда. Но как приложиться... Ей, Господи, помилуй». Я поднимаюсь уже вверх, по той неожиданно значительной в этот час улице, что днем похожа на толстую кишку. У церкви, на огромной паперти, копошится, мяукает — кошка ли, подкидыш... Осенью резиновые подошвы топчут сморщенные тела листьев обнаженных лип. Если ветер их высушил, они с тихим, жалобным шорохом вдруг начинают, — будто птицы с перебитым крылом, — волочиться, бежать за мною, догонять, обнюхивая, утыкаться в след. Они образуют отдельные группы, вот замыкают меня в свой печальный хоровод: кружат у ног, сиротливо, бездомно переминаются, чего-то ждут, требуют, просят (прирученные звери, потерявшие хозяина). Я делаю шаг к ним навстречу, склоняюсь, тогда листья испуганно, осознав ошибку, разлетаются, уносятся с тихим враждебным ропотом; но опять останавливаются, возвращаются, вглядываясь, чего-то ищут, корят. «Это души, беспомощные души, потерявшие тело», — решаю я. Хочется всех прижать к груди, согреть их, унести с собою. Но им, вероятно, не этого нужно: немного помедлив, шелестят дальше в тщетной надежде — желтокрылые, дрожащие, покинутые. Иногда под холодным загадочным ветром нелепым плавником, ластом прошуршит по мостовой лист бумаги — газетной, упаковочной. Он скользит, провожает вас, одинокий, озлобленный, сосредоточенный; кружит, иногда заденет колено, долго не отстает, но попробуйте наступить ногою: фыркнет, крикнет, проклянет, оскорбленно вопя, понесется вперед, неприкаянный, отверженный, гонимый: его остуженная душа не жалуется потому, что уже ни во что не верит. Шороху

бумаги вторят всплески черной воды, — там, снизу, в канализационной системе: за решетками, за излучинами спешит она под землею, озабоченно булькая, грозная, всклокоченная, темная, враждебная свету; злобно урчит, плещется, несется. Останавливаюсь, долго слушаю, сомкнув глаза, стихийную возню гордого чуждого сердца. С этим мрачным отверстием и его звучанием у меня связана память — о крысе: дебелая, она выбежала днем из подворотни на тротуар. Рыжая, гладкая, с длинным хвостом, прыгнула под колесо опорожняемого грузовика, зябко кутаясь, подбираясь, прячась. Ее выгнали оттуда: неохотно, мечтательно-хищно скакнула назад в знакомую подворотню (ей бы в другую). Крысу окружили, шофер в тельнике с растерзанным воротом упоенно плясал (месил), все не задевая — скользкую, жирную — сапогами; консьержка с растерянным, озабоченным ликом, махала помелом; отовсюду тянулись конечности, палки, зонтики, детвора взвизгивала, хилые собачонки рвались, бреша, с привязей; всё вовлекалось: мой спутник, коллега, специалист по глазным, не докончив фразу, — ринулся в самую гущу. Так соблазнительно преследование — толпою — убегающего, осужденного: ожидание легкого и страшного последнего писка. Сама крыса, не догадываясь о значении окружающих вещей, машин, звуков, однако, отлично понимала суть происходящего: принимала эту травлю, утверждала ее, казалось, одобряла (долею себя была с преследователями — сама бы приняла участие). Ее задавили в подворотне, у сорных баков; шофер с вдохновенно-исступленным лицом двумя резкими бросками поддал ее на тротуар и столкнул в пах канавы: как со рта беззубого обжоры крошки и капли, свисала мокрая прилипшая зелень помоев, а глубоко вот так катила вода, торопясь (там по трубам, говорят, носятся табуны крыс — попадись только им). А мелькнувший по воздуху острый хвост крысы мне тогда напомнил одну из домашних, детских кошек (они часто менялись в России), подохшую на моих глазах. Мы выводили мышьяком крыс в конюшне, она, верно, поела отравленное мясо: на рассвете забилась посередине детской, судорожными гальваническими прыжками скача, кувыркаясь. Первая догадка была: резвится, играет в снопе восходящего солнца... Потом смекнул: неладное, но сойти поленился (боялся; особая слабость, нега, злорадство, как на улице Будущего, когда — «Помогите» раздастся). Она сразу окоченела, пышная, молодая, с тяжелым (густая коса) хвостом, белогрудая красавица в непостижимом сне.

6 Зак. 2384

Это она, бабьим летом пропав на ночь, вдруг под утро капризно заскреблась в окно; я отворил форточку: не оглядываясь, грешницей, пронеслась в комнаты (а на заборе сидел могучий, грязный, тяжелый, бездомный кот и покровительственно жмурился). «Блудница, бесстыдница, потаскуха!» — оскорбленный, ее поносил. Но когда увидал мертвою на полу, юная, с пышным хвостом, понял, сердце метнулось, и в благодарном порыве — земная радость! — взмолился, простил, славословя (как спустя — то же и по-другому — в анатомическом театре, над девою). Прежде чем окотиться, она бегала, точно собака, по дому, путаясь в штанинах, подолах близких, нюхая, облизывая каблуки, сбитая с толку, напуганная, неопытная, мяукая, — пока догадались устроить ей место в корзине. Так вот листы кружат, трутся у моих ног сейчас. «Это души, это души слепые, чего им надобно?» Сколько тяжести в плечах и усталость; горят пятки, оболочки мозга. Промчалось вверх, шумя второй скоростью, темное такси, глаза тоскливо просверлили номер: 2937. «Где ты будешь через 1000 лет, скажи, подумай?» О, сколько раз, отверженный, я бессознательно впитывал в себя: и луну на строгом небе, и ветер, и пыльцу дождя, мосты, пятна фонарей, опрокинутые в реку, голос женщины на распутье, скрежет далекого автобуса, мелькнувшего за дверью гарсона в белом кителе и себя — от головы до пальцев, от боли в глазах до трущей прорехи в носке, память всего бывшего, тяжесть многих сопоставлений, многотонную гирю неосуществленного... стараясь сохранить, запечатлеть, восстановить. И это не удавалось: так повторить, чтобы старая испарина, запах, выступили — стук шагов, тени и слепые ростки без начала, узлы и корешки (они где-то колышутся, как поплавки). Перебираю знакомые ответы. При бесконечном продолжении должна еще раз создаться такая комбинация: я — тождественный мне — в такую же ночь, так же, на тех же шарнирах, по тем же колеям сознания и памяти пробреду по такой же земле (не это ли тысячелетний град?). Тогда можно предположить, что это случалось уже — позади — где-то, когда-то, в таком же чередовании мыслей и страстей: я уже был, в пальто, сутулясь, один под пустынным небом, и листья, шорох воды, пятки («надо помыть ноги»), и — Бог Ты мой! — только очередное совпадение. А может, суть исключительно в ядре, семени, зерне, передаваемом из поколения в поколение, обрастающем опять плотью, обогащенном мелкою новою насечкой (отражением, биографией). Всегда одинаковое (только на разных уровнях),

цепко-бессмертное зерно, себе на уме, временно связанное с моею внешностью... Как отмежевать себя от предыдущих, выделить братьев, дедов, пращура, все ли мы — одно, один ли я, — все... Если б удалось расщепить ядро, — доставать, как из игрушечного яйца: мал мала меньше, — получится ряд до самого Адама. Разглядываю свою короткую жизнь и ясно вижу: покоюсь стержнем в прошлом. Самое реальное там, хотя «притронуться» я не могу, нечто верное и безотносительное, крепче сегодняшнего и действеннее будущего. Вот столовая, на стене которой я раз вечером заметил силуэт лица: четкий профиль сестры, склоненной над книгою. Мне пришло в голову обвести тень карандашом: легко и быстро нарисую «портрет». Не медля, взялся за работу. По отражению можно было узнать, — сестра; я точно следовал за контуром, а выходило — непохоже; бросил посередине. Так и остался недоделанный профиль на обоях: через войны и революции. Тех стен, верно, уже нет, и мальчика того; сестра далеко, стара, а силуэт тут (с горбинкою нос) — звучит все требовательнее, явственнее. Разной ценности в чем-то утвердившиеся образы. Рыжий с веснушками, поздней ночью сдававший карты в кафе своим ощетинившимся партнерам; ничего особенного (я разглядел его через окно, проходя мимо), и вдруг — попал в фокус, уплотнился, ожил, оброс плотью и навсегда погрузился, неотъемлемой частью, в мой мир: бугорок. Все, что между такими точками, — пучина, темень, небытие; я скачу по ним — кочки, торчащие из воды (жую эту сгущенную, сконденсированную пищу, словно кубики maggi). Снова писсуар. Здесь, в противоположность «люксембургскому», преобладают красные, левые лозунги. Не нужен плебисцит, чтобы узнать глас народа: достаточно обойти уборные. Только на рубеже кварталов, буржуазного и рабочего, чаши колеблются, идет поножовщина цветными карандашами; а порнографические схемы — всюду одинаковые (разве только: «faites l'amour entre garçons...» повторяется чаще в районах с достатком). Застегиваю распахнувшееся пальто, из-под мышек вдруг доносится волнующе-знакомый запах отца (когда я прилипал, обнимал, обвивал). «Где, кто он теперь, что я ему?» — и замираю, сердце крошится. У него были свои «кочки», уплотненные камни, поддерживавшие свод (провалились, выветрились). Рассказывал мне однажды: ребенком болел и вот очнулся (словно прозрел): никого кругом, со двора по-летнему притягательно звучат голоса... он прыгнул с постели, босой прошел в коридор; там на полу в сол-

нечной луже резвился котенок. Мальчик (отец) сгреб котенка и, прижимая к груди, вернулся на кровать. Больше ничего. Ну что тут важного... А блаженно улыбался, передавая подробности (будто притрагиваясь — вот, вот — рукою к прошлому), и сиял, отыскивая, добавляя все новые и новые черточки, точно дело касалось очень серьезных вещей. Я тогда слушал невнимательно (слегка смешило); зато теперь яростно стараюсь вернуться вспять, очистить, наполнить соками, благоговейно приобщиться, сметливо пропустить чрез себя (отцедить, сохранить долю улыбки, слова, не дать потухнуть последней искре: ведь достаточно, быть может, одной, чтобы наново раздуть костер). По биологическим причинам мы за раз мыслим только одну вещь (или группу) — из миллионов, усвоенных нами. Если бы все, что существо знает и помнит, вдруг обрушилось, хлынуло на него: сразу, мгновенно (река, прорвавшая защитную дамбу)... можно ли себе представить взрыв сокрушительнее! Что динамит, игрушка! Здесь каждое ядрышко в отдельности будет расплющено Ниагарой. (Както у взморья, голый, я заметил у себя под плечом запекшееся кроваво-склерозированное пятнышко, зверски, хищно защищавшееся от подступившей к нему вплотную грубой, жаркой ткани. Так зерно сознания борется с подступившими к его рубежам темными водами.) Но откуда же моя жестокая бравада — у бикфордова шнура с огнем. Гипертрофированные центры мои уже начинают пропускать по две-три группы одновременно (вдруг — все запасы). А я продолжаю раскуривать трубку — в пороховом складе. Упрямо, надменно. Еще поворот; церковка с поддельным, старинно-загробным боем часов; два аптечных склада с таинственным «D-r Pierre» на вывеске, в окнах рекламы: индивидуумы тужатся, чешутся — лысые, на костылях, хватаются за голову (мигрень), за крестец (ревматизм)... и соответствующе рядом (уже после курса лечения эликсиром, порошками, сиропом): ходят, едят, ликуют, счастливые. Лавки спят, смежены шторы; у винной — надпись: «ivraison a domicile» (начальное «L» стерлось). Перекресток, угол, клиника. Поднимаюсь. В темноте лестницы мнится: старуха (Руссо?) ковыляет навстречу, проходит сквозь меня, с молодым, лукавым огоньком в синих глазницах, подобная заморской птице. Как-то, всполошив рыжую крысу, я больше не зажигаю карманный фонарик: испуганная лучами, она побежала спереди меня, по ступенькам, пища, забралась в сени, озираясь, мечась — отрезанная, — вопя, и глаза ее кроваво-исступленные, и хрипы яростно-

трусливые были так человечески понятны (катастрофа, центр мироздания) и отвратительны, что я сам, судорожно закусив губу, заплясал по полу (как тот шофер). Я больше не живу в клинике доктора Бира: снимаю комнату в том же старом доме — на четвертом этаже. Не работаю, не практикую (забросил все давно). Вхожу в коридор (общий с одной соседкою), чудится: вот сейчас, сзади, долгожданные руки — Лоренса! — обнимут, обовьют шею. Не это ли путь? Право, счастье. Вставляю ключ, ворочаю, но замок дешевый, обратный (скудоумные любят сложность), не отворяется. Чем-то наша жизнь подобна этому: замок и ключ к нему — а крутишь не туда. Меняю направление. Щелк. Но раньше, чем толкнуть дверь, замираю, мучительно прислушиваясь: так проигравшийся в рулетку, бросает последний жетон, не дожидаясь, отходит, но у порога вдруг останавливается еще на мгновение. Мною овладевает уверенность, предчувствие: сейчас произойдет нечто важное, непоправимое (уж больно этого хочется)... ворвется в мою жизнь, внезапно смешает все фигуры, по-новому расставит (так будет, будет). «Что, что может»? — безрассудно ищу, мысленно обследую горизонт, шарю в самых неожиданных направлениях: драгоценные руки коснутся, Руссо укусит, мать, Жан, вернулся Жан Дут... Перебрав все и не удовлетворившись, я застываю еще на время, в небытии, в молчании, уронив веки, прислонив голову к острому краю косяка, без единой мысли, чувства, — стараясь, однако, освоить, впитать и это состояние (похожий отчасти на слепого, силящегося воспроизвести краски). Волочится минута. Как вобрать ее, впитать... Можно внедриться сознанием, зацепить только выступы, бугры, расщелины, края, карнизы (образов, чувств, интуиций). Но данное состояние характерно именно своим «отсутствием», пустотою, выкачанным — межпланетно — воздухом, буднями, однотонной скукою, усталостью, темной, ленивой первозданной инерцией. Оторвавшись, ступаю вперед; щелкает выключатель. Оглядываюсь: письмо ли, знак, человек-невидимка... что-то должно еще (хоть раз) сверкнуть в моей жизни. Так рассуждает солдат Иностранного легиона в отпуске, уже прогуляв свои сбережения. Вдруг я безотчетно опять упираюсь, цепко напрягаюсь: знаю только, что за дверью оригинальная мысль, ощущение прошли мимо, дохнули мне в лицо, — но не уследил, не зафиксировал, потерял! «Ладно, ладно, — говорю с усмешкою. — В другой. Не стоит мучиться. Закон больших чисел (в который раз) снова выве-

зет. Благодаря ему я опять окажусь в таком же настроении, в непосредственной близости к тем же ассоциациям, и это твое важное наблюдение тогда неминуемо всплывет, придвинется — обязательно до него доберешься». Я готов уже сдаться, уступить, когда проносится соображение: «Но буду ли я тогда тем же?.. Ведь мы ежесекундно меняемся, наполняемся новым содержанием (либо пустеем), и эта искомая мысль в нынешней среде должна породить не тот разряд, что в будущей. Следует добраться сейчас же»! Упрямыми, четкими движениями маньяка-лунатика, жонглера, акробата, скользящего по канату, я начинаю перебирать пядь за пядью, звено за звеном, цепь моих ощущений, медленно и систематически пятясь назад, — попадая стопами в еще не запорошенные собственные следы. Добравшись безрезультатно к улице, снова преодолев черную общую лестницу и мысленно постояв за дверью (руки Лоренсы, Руссо, возвращение Жана, гроб — косяк, резавший влажный лоб), я вынужден, наконец, сдаться; но в самый миг признания своего бессилия нечто, сверкая вроде солнечного зайчика, проносится, и я, — подобно коллекционеру бабочек застигнутый врасплох (неудобно перегнувшись, с полным едою ртом, он хлопает сачком), — овладеваю на лету драгоценною, с виду банальной, находкою. В данном случае заключалась она в любопытном объяснении всегдашней тупости, проявляемой нами, — в поисках самого важного, главного. Известна порочная особенность людей не замечать предметы, положенные тут же, перед ними: замысловато, жадно ищешь карандаш, а он покоится на белом листе писчей бумаги посреди стола. Это и открылось мне в другом плане: чем серьезнее и нужнее нам внутренне идея, тем она «бесхитростнее» спрятана — близко, сверху... оттого ее трудно найти хитрецам. А самое основное, естественно, положено совсем под носом (или даже в носу), и потому его невозможно заметить. Чтобы освоить это соображение, делаю усилие: скрепляю, образую два-три скрепа с окружающими меня ощущениями. Чем мельче предмет, тем охотнее я ставлю вехи; когда же дело касается очень нужного, совсем не принимаешь мер предосторожности, полагая: такого ведь не запамятуешь (и обязательно потеряешь). Умелыми рывками холостяка открываю постель, бросаю еще сверху пальто и, раздевшись, с отвращением, устало зарываюсь в подушки. Иногда я возвращался раньше; иногда ехал ночным автобусом или с первым утренним метро. Тогда впечатления, переживания несколько отличались, но в

моей памяти все они сложились подобно прозрачным пластинкам с пестрыми рисунками, давая одно, общее, тусклое, кирпично-синее пятно очертаний. Пустой ночью автобус мчался, нелепо подпрыгивая. Озлобленный, пузатый, бешено сворачивал в косые улочки, казалось, неминуемо разобьется, скользнет, опрокинется. Но я не делал зачаточных движений для сохранения равновесия (внутренне приготовиться к падению), и в этом истреблении инстинкта, в этом освобождении из-под власти предсущих, косных сил была такая губительная прелесть отдохновения: законы душевной механики и гравитации отмирали, дух очищался от физики — было жутко и обновленно. Ощущение беспрерывно возобновляющегося падения (не соберешь костей); я испытывал почти сверхъестественное чувство оголенности, пустоты, непринадлежности к предметному миру масс. Любой толчок: упаду, даже гибель — но не шевелил и пальцем. А в это время моя душа отражала некий мрачно-горделиво светящий (словно антрацит) профиль: я бродил в ее тайниках, замирая от страха и восхищаясь, впервые исследуя ее заповедники. Дух спирало, хотелось вцепиться рукою, слегка сжаться, обрести тяжесть устойчивости, приготовиться к возможному прыжку, полету, но кто-то, искушенный и озорной, не позволял мне больше принимать участие в игре материи, помогая переступить через заказанный порог. Автобус подбирал ночных пассажиров: гарсоны, полупроститутки-актрисы, музыканты, электротехники, типографы, почтенные старики рабочие, кондуктора, полицейские, читающие таинственную газетку «Paris-Minuit»... Они степенно окликали знакомого вожатого, здоровались (ездят регулярно), обменивались замечаниями по поводу новых событий, законов, мостовых. Эти «завтра» считали уже за «сегодня», а о «сегодня» отзывались — «вчера». Случалось, я смотрел на них с завистью, благоговейно отвечал на любой вопрос. Как бы и мне стать тоже честным тружеником с размеренною судьбою: жена ждет дома, вяжет фуфайки, беременеет, расчетливо помогает мужу «защищаться» в жизни! Какая-то правда в этом! Смиренное существование (без героической кротости), дозволенные радости; на службу не напрашиваться, однако и не уклоняться от своих обязанностей; старость, затем смерть в собственном домике (regret éternel); в праздник лишнее блюдо; родня, визиты, любопытство, удовлетворение некриминальных потребностей, всюду находить удовольствие: у парикмахера, в бане... фотографи-

руются и ждут с волнением проявления снимка. Благодаря этим разным интересам, их жизнь уподобляется многоцилиндровому мотору и движется плавно (хотя тихо), тогда как моя, ограниченная одним-двумя (даже и мощными) цилиндрами, дергается, угловато скачет. Часто — под утро — я возвращался с первым метро. Армию рабочих увозили к станкам: после отдыха, теплой постели, грубого завтрака (уже с алкоголем) они, мясистые, внутренне оскопленные, использованные, отправлялись по назначению. С апломбом исковерканных тяжким трудом людей они по одежде, по глазам, по цвету лица, узнавали во мне «чужого», бездельника — и запросто вычеркивали непонятную им жизнь (я рядом начинал себя чувствовать теннисным мячиком, прыгающем в ауте). Тогда мне становился ненавистен самый облик существ, принявших рабство и возведших его в добродетель. Одурманенный, я брезгливо сторонился этих монстров, краснорожих, потерявших форму атлетов третьеразрядного ринга, — готовый защищать свою жизнь, право на такую! Среди армии круглощеких мелькало два-три таких же изможденных, предсмертно-бодрых лица: отщепенцев, шатунов-неудачников, художников, самоубийц — людей, услышавших некий голос, шагнувших навстречу, (но, очевидно, не в ту сторону). Святое рыцарство полуночников. Мы обменивались равнодушно-заговорщическим взглядом, как братья-масоны, как клейменные одним тавром арестанты, как рекруты того же набора, как генералы, неудачно осаждавшие, в разное время, ту же крепость. Имея перед собою толпу, я испытывал чувство обмана, неполноты, точно при виде звездного неба: как здесь так и там воспринимаешь незадачливо, сглаживая, — свет разных столетий, планов, глубин. Даже каждое существо в отдельности подобно звездному миру: переливают огнями, рядом, тела (чувства, идеи), на самом деле далекие друг другу, иногда уже потухшие, а лучи новых солнц еще не дошли (извне же — плоский, застывший, двухмерный свод). Изредка лица окружающих начинали «передвигаться», двоиться: я видел их второе издание — женский дубликат. Лишь на пятом месяце эмбрион в чреве матери избирает свой пол. Если б тогда, под влиянием случайностей, вот этот, например, развился в сторону женщины, как бы он выглядел теперь... что осталось бы общего, сохранилось... Когда мне удавалось, чрез оболочку, распознать второй «вариант» (легче юноши, чем взрослого), я испытывал таинственно-радостный ужас, словно прикоснувшись к запретному. Случалось, я менял

направление, пробирался домой другими улицами: там мостик лег над полотном окружной железной дороги, рельсы, умытые, блестели в девственно-очищенном воздухе, шумели кроткие липы. Возрождение дня, воскресение света, красок, дрожание звуковых волн; зеленая, серая, сизая, голубая протоплазма рассвета, незаметными толчками разливающаяся (как все в природе, прыжками). Войлок неба и деловитое чириканье птиц — легион невидимок. Утро печальное, как новая жизнь Лазаря! А я с таким полным сознанием зря потраченных суток, месяцев, испорченной жизни — смерти, полусмерти, измены. Покаянные слезы сердца; и вдруг — с льдистым предостерегающим ветерком — вскрик, клятва, обет веры: восстановить, успеть вернуться по собственным следам, еще раз пройти, склониться и уже все тогда исправить. В сорных баках старушки, подобные черным воронам, копошатся, тихо ворча и пришептывая; за гаражом встает солнце. Далеко, в свинцовых швах горизонта, еще прячется боль незабытой ночи. Господи. И весь мир Твой, первозданно-тихий, целомудренно-раскрытый, доверчиво ждет, меня, человека.

2

Я готовился ко сну всегда со страхом (только в те годы, когда физически трудился, было по-иному). Сон так относится к смерти, как сновидения к жизни; человек подготовляется, постепенно приучается к вечному покою. Лежу пластом на постели. Точно под наркозом; под стеклом, под бегущей тяжелой водою. Ни живой, ни мертвый в общепринятом смысле, ни бесчувственный, ни бодрствующий. Выключен из жизни. Она юлит где-то за экраном, несется, светит! Я изолирован — только отдельные формы ее еще меня задевают (и даже с удвоенною силою). Так, в этом состоянии я особенно подвержен действию звуков. Шумы эти, в зависимости от часа, разные, — чем дальше за полночь, тем знакомее и содержательнее. Я все изучил, впитал; собственные грезы и думы прилепил к этим насечкам (подобие условного рефлекса). Если бы даже часы на трех близких церквах не хоронили меня безжалостно, отбивая каждую четверть, то и тогда я знал бы точное время. В полночь проходит несколько групп, пар: это возвращаются из синематографа (песенка, вскрик, смех, неотрывные, животные поцелуи у порога). После, медленно шаркая, пробредут две старушки, они кормятся от церкви: торгуют свечами или сда-

ют внаем кресла... Бог ведает чем заняты так поздно (может сидят за бутылкою вина). Они веско шлепают, останавливаются, тихо кашляя, шепчутся, горбатые, на фарфоровых ножках, — им бы покойников обмывать. Через отворенное окно доносятся их ночные размеренные голоса; приблизительно так: «Et sa mère, elle est mourante», — сообщает одна, несколько громче. «Son fils, il doit être ma rié...» Им весело от вина, покойно благодаря близости к попам и мадоннам; хитро осклабясь, они лижут банку жизни с остатками меда на дне, скупо, опасливо, чтобы хватило подольше. Долго копошатся на углу, прощаются, слышно мышиное — скребки, писк. За стенкою у меня такая соседка — совсем под мышь! Мягко промелькнет в темноте, хозяйничает (часами моет салат), делает «пипи» (несколько капель) прямо на лестнице (ей трудно подняться в уборную), и взгляд у нее при встрече трусливо-поникший, мудрый: «Ты думаешь, молод, так обязательно меня переживешь! Нет, братец, неизвестно, у кого что в кишках!» Она развела у себя клопов особой породы: толстых, брюхатых, деловито-радостно подвижных (даже зимою). Однажды ей пришла в голову странная фантазия: выкурить их серою. Через какие-то излучины отара клопов проникла ко мне: коричневые, овальной формы, тугие банкиры, гурманы, рвачи. (Моя и старушки кровь смешались, как в мистерии). Потом: тишина, нарушаемая, через удлиняющиеся промежутки времени, шагами: два-три прохожих, вдруг завернувших на эту улицу (там, где-то, последние метро выбрасывают пассажиров, как слабеющее сердце, сжимаясь, запоздало посылает очередную волну прерывисто пульсирующей крови). Промчится нечаянный автомобиль, прожужжит колесо велосипеда, трущее валик динамки. К двум часам раздастся поденевному будничный треск опускаемой железной шторы: где-то вблизи запирают таинственный (не удалось проследить) магазин (быть может, возвращается с гуляния приказчик)... Так и вошел он в мою жизнь — загадочным новым «Летучим Голландцем». Вскоре к лавке, что напротив, подъезжает тяжелая машина; гремят цинковыми пустыми бидонами, выставленными у дверей. «Sales brutes!» — кричит в отворенное окно, летом, булочница, разбуженная тяжелыми сапогами возниц (шаги санитаров в зачумленной местности). Они смеются, сплевывают, переговариваются особыми свежехриплыми голосами бодрствующих. «Топ, топ», — случайный одинокий прохожий (поспешные мелкие шлепки — женщина). Кто, кто удаляется за стеною, даже не дога-

дываясь обо мне, столь близком в эту минуту?.. Есть нечто ранящее в ночных гулких шагах. Вообще звук шагов страшен: он производится почти непосредственно костями, скелетом человека — о деревянном гробе, аршине, что снимают мерку, нашептывает. Мне бередит сердце нежность, жалость к судьбе этого «чужого», так неосмысленно проносящего свой скелет; оттого что я ничего верного о нем не знаю, боль только чище и острее. (Я навсегда привязался к детской книге, второй части которой не мог раздобыть; в Альпах я не взошел на Монблан — и только о нем вспоминаю; бывало, в решительную минуту меня спасал образ, который я даже мельком, как Данте, не встречал. Памятнее всего вещи забытые; действует неведомое, реально проявляет себя скрытое.) И к моим шагам, верно, прислушивались тайно, трепетно, не зная, благословляли... Сколько раз я вспоминаю давно, случайно (во встречном поезде) запечатлевшееся лицо, поразило чем-нибудь или понравилось! Приходилось ли кому-нибудь так подумать обо мне — с действующей силою и любовью... Часто, подсев к знакомой паре, любезно меня приветствовавшей, я по беглым блесткам в глазах, ужимкам губ, невинным замечаниям догадывался: им хорошо вдвоем; что бы теперь ни сказать, сделать, — вызовешь только насмешку (радостно сближающую их), оскорбительное снисхождение. Каким тщедушным и обойденным начинаешь себя чувствовать, обиженно злясь, негодуя (так юношей, попадая в чужую семью за стол, я бывал удручаем лаской, открыто изливаемою родителями, в кредит, на своих сыновей — моих ровесников; с меня же спрашивался полный расчет, в известном смысле чистоганом). Происходило ли когда-либо обратное, желанное, мимо чего я пробрел, как этот несчастный за окном? Нет ничего мучительнее сознания упущенной возможности (особенно когда не ведаешь даже, в чем, собственно, она заключалась). Много раз при мне близкие или незнакомые совершали ошибку: теряли что-то, отвечали не то, вредили себе по недомыслию, мчались вперед, когда их ждали позади... И сердце сжималось: ведь, должно быть, я тоже ошибался, портил свою игру, ступал в кал, пропускал удачу (другие видели, как, дорожа копейкою, ронял кошелек и отходил, слепец). Ищешь кого-то усиленно, не замечая, — вот он напрасно машет тебе с другой стороны площади (так человек не слышит голоса тихо окликающей его судьбы). Внове это чувство ярче: самой чудовищной пыткою, отравляющей детство, должно считать пропажи. Ребенком я

часто портил вещи, игрушки, безутешно оплакивая их потом. Однажды потерял ручные часики. И хотя знал: не накажут — дешевые, — но это было похоже на умирание; до поздних сумерек искал, в состоянии, близком к самоубийству (даже теперь, всякий раз, когда случается обнаружить в траве детский брелок или мяч, я содрогаюсь от знакомой тоски). Около трех часов раздается океанский гудок паровоза (над городом, ночью); всю жизнь мне, верно, суждено будет засыпать, имея под стеною железнодорожную линию. В самых неожиданных местах — стоит мне поселиться — оказывается она здесь, рядом (достаточно вернуться другою дорогою, чтобы ее обнаружить); так товарищ, кончив курс и устраиваясь, жаловался: сняв очередную квартиру, вручив задаток, он сразу убеждался: тут же за углом притаились еще двое докторов. Мною изучен этот могучий крик локомотива, пронзительный, усталый (на полпути); но сердцу не надоест сладостно тянуться навстречу печали своей колыбельной песни; я уступаю родной грусти, свинец тела радостно топится в слезах, сдаваясь, очищаясь. Я вообще подвержен главным образом влиянию звуков. Они действуют на меня с лютой силою, бесцеремонно высекая древние зовы-огоньки. Целый ряд их. Таков для меня крик петуха. Ночью. Русь. Тьма, тьма, огромная незащищенная равнина, непролазная грязь, в стойле глухо стукнет об мягкий настил конь, во сне перебрав ногами, в ответ укоризненно вздохнет корова, сверчок только что угомонился; вдруг, из неуемной тьмы, неустойчивости, жути, — ветхозаветный, пронзительно-апокалиптический дальний вскрик петуха: «Люди спят и боятся, укрылись и заперлись, отлично делают, не по добру лазят теперь Каины; на дворе первородный мрак и грязь, мне это всё доподлинно известно; спите, милые, покамест, когда будет надо, я опять скажу». Затем, по убедительности, следует плач младенца в сумерках, рядом: в избе, комнате, где пятеро, душно и бедно, а он, неземным ужасом объятый, жалуется: там (откуда вернулся) было мрачно и холодно, долго обижали, гнали без передышки, не объясняя, а самое трудное еще впереди. Весною кошки, сцепившись, падают с крыш и так стонут — космическим, преджизненным голосом душ, уставших скитаться и жаждущих последнего воплощения. Летним утром очнешься — и голоса доносятся (со двора): особенные, прохладно-солнечные, росистые. Или: осенний прозрачный закат — поля опустошены, похолодало, убрались уже со скотиною, — вдруг раздастся издалека материнский крик... «Галии-иина, Галиии!» Вой собаки, в

ночь, снег огромной вселенской мертвецкой (увы, ув, ув, ув, ув). Печаль вечерней зо́ри: за городскою чертой, в казармах за пустырями, трубач, трубач, — потрошишь душу! В тающей дымке осенними проселками выезжает батарея на позицию. («Собери-ка коня, подбери повода, с бодрым духом по полю летиии... — кроткое, как панихида: — И кому суждено будет во поле лечь, то́го, Господь Бог, помяни-и... — а после молитвенной паузы, короткое, как свист хлыста: «Все исполняйте!») Шума поезда не слышно; не дошел, обогнул, испарился. Вот подросток, возвращаясь с первого свидания, просвистит: il pleut sur la route, dans la nuit j'écoute, le coeur en déroute, le bruit de tes pas... И шарахнется кровь в благодарной тоске, представив себе человека в тиши, одиноко дожидающегося возвращения женщины; «с заблудшим сердцем» прислушивается он к мерзлым, передающим треск костей шагам: «Нет, не она» (эту ждет другой). Отчаяние, клятва отомстить, ах, суметь заслужить, вернуть! Какую нежность я чувствовал ко всем поджидающим верно (и зря). Я всегда опасался этого капкана, страшился тупого отчаяния и звал его. В сущности, вся наша жизнь это ночное внимание к шагам за окном. Раньше ждешь: счастья, женщин, удачи, карьеры, затем смерти. А в стекло барабанит дождик. Кто-то колдует, вызывает образ Лоренсы: в сон капает невыразимая сладость больной любви. Проковыляет случайный пьянчужка: ругаясь, скандаля, а через минуту добродушно усовещая призрачного друга. Подерется грязная чета, и гугнивый голос повергнутой в канаву несчастной потаскухи вызывает зуд. Однажды старый матрос уселся напротив у подъезда и упрямо-плачущим детским альтом запел. Повторялось: «Où sont les jeunes marins? où sont les braves marceaux? Ils sont dans le fleuve!» Бормотание, плач, и снова: «Où sont les jeunes marins? où sont les braves marceaux? Ils sont dans le fleuve!» Он искал следы своего прошлого, друзей, радости и, не находя, безутешно, с прозорливостью пьяного, рыдал. «Где они, все эти молодые и отважные... В пучине!» — горестно стенал. Напрасно булочница хлопнула окном: «Sale brute, veux-tu boucler?..» Посвященный, он продолжал упорствовать. Его стыдили, гнали, ругали пьяницей, алкоголиком. «Это неверно», — возражал он убежденно-кротко, потому что раньше ощутил себя обокраденным, потом запил (как особо чуткие люди сперва узревают правду земных отношений, затем сходят с ума, и среди всевозможной чепухи вдруг прорываются таинственно-верным замечанием). К четырем часам у Maggi останавливается грузовик; тяжелые люди

в подкованных сапогах тащат баки с молоком, перекликаются. «Sales brutes!» — точно рак отшельник, высовывает клешню булочница. Я обираюсь руками; нечто живое трепыхается в пальцах (вдруг лопается, как раздавленная упругая ягода); пахнет черной смородиною. Зажигаю свет. Это клопы, толстые, брюхатые. Вначале я пробовал их травить, потом опрыскивал белье, сыпал порошок; следующий этап — казнить их при помощи бумажек, тряпочек, картонок. А затем, все более и более уступая, примиряясь, проваливаясь в эту мою неверную жизнь, я начал без плана уничтожать голой рукою наиболее докучливых. Пальцы в кирпичнотепло-клейком; пахнет — ко рвоте. А старушка, мышиная старушка за стеною, смотрит девичьи-радостным взглядом и стыдливо смеется. Летом клопы упитанны — совмещая тяжелые утробы с изумительной поворотливостью, — смелы, похожи на жизнерадостных, молодых банкиров, биржевых маклеров, бриллиантщиков, нэпманов; зимою — тощие, бледные, анемичные, сморщенные, как спекулянты времени военного коммунизма. Я стараюсь еще делать отбор, найти исключения, не просто крошить, а внести порядок, некое единство. Поскромнее, забитее — таких я изредка милую. Иных выбрасываю за окно. Погибнут... Пусть. Не я создал мир, не я ответствен за «до» и «после» встречи. Оккультные школы учат, что паразиты появились как следствие (материализация) разных дурных, низменных инстинктов. Так, например, коховские палочки — отражение классовой ненависти. В этом случае мои клопы — злоба среднего рантье, потерявшего на русских бумагах часть состояния. Однажды солнечным утром мне попался крохотный клопик, нежно-рыжеватый, с кудряшками лапок, словно дитя (или барашек), молочно-бледный, прозрачный, трогательный. Я положил его на ладонь, разглядывая. Он странно держался: в профиль, казалось, стоит на головке (уткнувшись в кожу), весь вытянувшись, стройный. Но вдруг темная точка привлекла мое внимание: пятнышко посреди его спинки — раньше не было. А бурая точка на моих глазах, как будто увеличивалась: вот она уже с булавочную головку, с горошину. «Это моя кровь», — неприятно задело меня. «Ну что ж, бери, бери», — с радостью Сатаны, дающего соблазненному мешок золота, твердил я. А когда он насосался вдоволь, я аккуратно его раздавил. Несколько мгновений, содрогаясь, размашисто, вслепую, хватаю пальцами улепетывающих брюхачей (это подлое несоответствие унизительно-трусливого их бега с внушительною осанкою бесит меня

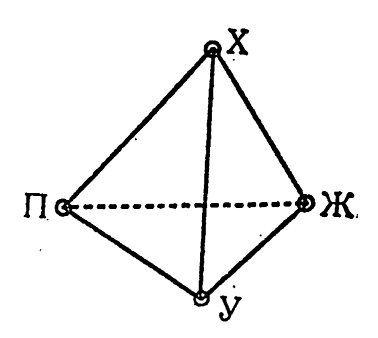
более всего). А в это время кругом подготовляется перемена: воздух дрогнул, сдвинулся и застыл в ожидании близкого суда. То, с ночной убедительностью одиноко бодрствующего, часы медленно начинают отбивать четыре четверти; затем, помявшись немного, будто испытывая раскаяние, — следуют четыре гробовых удара. Я падаю на бок, беззвучно кровоточа: «Уже, больше уже ничего не будет»! — и, пораженная этой самоистиною, душа заливается слезами. Еще чуть больше или меньше, хуже или лучше, но общий контур уже намечен, круг наполовину описан («Уже, больше уже ничего не будет»). Как все, даже мельче. О, с каким ужасом я ребенком глядел на взрослых (моя судьба особая). И ненароком отпустил усы. «Казак, на гибель идешь»! — шептал некто (пока я теребил их перед зеркалом). О, если бы я понял этот голос! Потом сбрил: нет больше на губе (однако, не помогло). Что же я мог сделать... А надо: посередине странствия земного каждому дается возможность прошибить лбом стену. Слезы, предутренние, предвоскресные слезы раскаяния, непривычно царапаются в носу. Я горестно тискаю сердце, выдавливая хоть какой-нибудь ответ. Я спрашиваю, как мог случиться и со мною этот анекдот, что происходит со всеми (распознавал его давно и страшился с детскою проницательностью). Да, как я смел так поступать, куда девалась жизнь, почему она ушла меж пальцев... Что я делал, чего не понял, где вина... Уже, больше уже ничего не будет. Что же это?.. У меня хватало сил. Тягался. Не хотел профессии, положения, определенного места в жизни: знал, что пришлось бы отказаться от всех иных занятий, действий и притязаний, как обладание данной женщиной означает отречение от остальных. Всякий раз, когда надлежало избрать одно четкое направление, я как бы присутствовал на собственных похоронах; даже докторской работы не защищал, потому что любой конец был мне противен (как некая смерть); победа «завершения» оборачивалась неизменно поражением. Доказывая одно, я алчно грустил от невозможности убеждать тут же в другом (и в третьем), различном или противоположном. Скрежеща зубами, я героически старался вечно удерживаться на том перекрестке, откуда могут выйти Наполеон и Моцарт, бухгалтер-феномен и чемпион плавания, — ни шагу не делая дальше (не увязая)! Мне хотелось вечно оставаться ребенком, потому что в нем одинаково зарыты силы Аристотеля и Франциска Ассизского, Колумба и Шекспира. (О, как трудно, должно быть, матери видеть своего мужающего сына: неукоснительно, вот он вливает-

ся в общий поток, любая определяющая черта делает его чужим, отмирают сотни возможных, желанных ликов и судеб.) Мнилось: таким способом задержусь, может, отгребусь. Но я забыл главное: великое в ребенке это то, что он растет. И в этот час знаю: не помогло, обойден, караул! И как армия, объятая паникою, бросает укрепленные позиции, орудия, снаряжение, ослепленная, бежит по самому опасному пути (только потому, что она отсюда пришла)... так я, мгновенно сдавался, отступал, возвращался, сожалея об утерянном, мечтал еще успеть врасти в жизнь, стать отцом, гражданином, хозяином, приложиться ко всем побочным радостям (бриджу, парикмахеру, обновкам, флирту, денежному счету). Но вот — всегда неожиданно — знакомо ударяют другие часы, на новой церкви с архистаринным боем. Их не слышно весь день и полночи; только в какую-то часть ее — стих ли город совершенно или воздух так очистился, посвежел? — прозрачный, убедительный звон начинает сгущаться, крепнуть (подобно гласу средневекового фантома раздающийся вдруг sub galia cantu). Колокол медленно отбивает свои четверти. Приблизительно так: «Напрасно люди спят. О, если бы они догадывались. Я знаю, в чем истина»... и снова: «Напрасно люди спят. О, если бы они догадывались. Я знаю, в чем истина»... и снова: «Напрасно люди спят. О, если бы они догадывались. Я знаю, в чем истина»... так четыре раза. После многозначительной паузы (словно колеблясь: поведать ли?) опять ударяют: «Ррра!» (Содрогаюсь, привстаю.) «Ддддва!» (Только, только готов поспешить навстречу.) Вот: «Трииии!» (Никнешь, убеждаясь: не по силам). Тогда, сжалившись, они смолкают: «Четыре!» Однажды в полночь я пробирался к этому храму. Но опоздал, должно быть, хотя рассчитал время. Еще издалека меня встретили, оглушили первые удары. Я съежился и побежал прочь, затыкая уши, не сумев вынести и доли лютой правды. Ночь поблескивает, поскрипывает; тикая, переваливается. Окно, толчком, поседело, засеребрилось. Только что ночь казалась смуглой, лживою, пахнущей госпиталем, вином и заразою, подозрительной и желанною незнакомкой, а вот уже нежным цветком она проходит за стеною, подобная бледной невесте, у которой после венчания хлынет кровь из горла. (Это в Праге мои хозяева выдали замуж дочь, скрыв от жениха ее болезнь. Новобрачный выпрыгнул из постели, устрашенный кровью, столбом брызнувшей из горла жены на подушку; наспех, как во время пожара, оделся — и скрылся). В пятом часу чирикают птицы: сонмище, град их, республика. От-

куда они берутся здесь в таком изобилии, чем промышляют на бензинном асфальте?.. В эту пору только они слышны и подвижны в сонном городе (так будет и когда последнее людское сердце остановится). Они копошатся, щебечут, хозяйничают (им принадлежит вселенная) на любом дереве, кусте, газоне: тем хлопотливее, гуще, оживленнее, чем каменистее квартал и меньше в нем зелени. Вспоминаю родные луга. Вот домик бы, жить философом, анахоретом. Но этого мне скоро становится мало: я поборол рак, больше того, при помощи неистово воспроизводящихся клеток рака победил смерть. «Сегодня большой день, сам старик будет»! — это обо мне. Нет, лучше жену. Любить. И детей плодить... Летом — с большими деньгами на модный курорт: молодой, богатый, героически спасаю красавицу, играю, обнимаю женщин. «Господи, — становится гадко. — Ты видишь, я не хочу докучать. Но что же мне делать? Уведи меня, наконец, от этих капканов». Я вижу фигуру, схему западни, в которой инертно бьюсь: в моем сознании с периодичностью планет вращаются одни и те же образы, темы — приближаются по строгой орбите и скрываются, связанные меж собою. И только изредка, с непостоянством кометы, проносится сияние, исчезая надолго, быть может, на века. Вот уже, через равные ступеньки времени, медленно передвигается, останавливаясь у ворот, грохочущая машина; звенят опорожняемые посудины: увозят сор. Голосом отплывающего корабля обиженно проревет ослик: запряженный, долго ждет своего оборванного хозяина у дверей бистро. Чудовищная молочница — Слон — отпирая лавку, сообщает свое мнение о погоде, всегда: «Quel vilain temps»... (когда она удовлетворена, то говорит тише). Идут детки в школу. По голосам можно предположить: многие женщины уже собрались у лавки Maggi. Вероятно, и моя консьержка по-заячьи стреканула вниз, спеша, после целой ночи поста и молчания, прочистить горло, проверить ход мыслей, справиться как бы на соседних часах. Я замираю, жду, в своем странном сне: вот пастушья свирель, очищенно-праведная, как музыка Грига, раздается совсем близко (и так холодно недоступно). То человек, торгующий сыром, гонит свой выводок коз. «Смотри, это день уже пришел», — шепчу я. Вдохновляемый этой свирелью, я по частям, годами, сочинил пленившую меня сказку. О времени бегущем. В горах слышен шум: обвал, пронеслось ли дикое животное... Мальчик испуганно прижимается к старому пастуху, играющему на дудочке у ключа. «Это время, мой друг, это

время бежит», — улыбаясь, объясняет тот. Мальчик вырос, он учился в городе, обзавелся застенчиво алеющей невестой, приезжает с нею в родные горы. «Что это там внизу шумит?» — спрашивает он старого пастуха, трепетно прижимая к груди похолодевшую нареченную. «Это время, мой друг, это время бежит», — ухмыляясь, отвечает старик, играющий на дудке. Молодой человек уезжает далеко, с неистовостью героя шашкою врубается в жизнь. Невеста — изменила. Его любили другие. Жена умерла; все медленнее поднимается секущая рука. Седеющий господин в трауре возвращается в горы, где он бродил ребенком. «Что это там шумит?» — вопрошает столетнего пастуха, указуя пальцем в сторону, и голос его неуверенно дрожит, отвыкнув, должно быть, от разреженного воздуха высот. «Это время, мой друг, это время бежит», — смеется безумный старик, наигрывая бесхитростную, как жизнь и смерть в совокупности, мелодию. Седеющий человек в трауре хочет снова бежать, поскорее что-то свершить, доделать,— но вспоминает все предыдущие попытки и, беспомощно опустившись на камень, прикрыв лицо ладонями, плачет. Одурманенный свирельной печалью, я хочу воспрянуть, встретить день, сесть и написать эту, быть может, замечательную поэму, но лень и сомнения парализуют (стеклянное состояние, в котором все воспринимаешь, но трудно шевельнуться). Лицом в подушку — шторы спущены, зимою холодно — вспоминаю эпизод из жизни Шумана: ночью пришла пора ему сочинить песню. Не желая будить только что уснувшую жену, он карандашом, тут же на наволочке, записал свое произведение. Нежность, благодарность овладевают душою: я ликую и кланяюсь композитору — за выдержку, самоограничение, кротость и многое другое. Не песней только он тогда обогатил землю. Да, так измеряется людское сердце. Я понимаю, — и отсюда — горделивая радость. «Иисусе, — ропщу. — Как дико. Я верю любому Твоему слову. А не знаю, что делать. Прими жертву, наконец, не делай из меня Каина». И вот со дна моего колодца вижу: окошечко, оттуда свежий ветерок. Мне что-то обещано важное, строгое (выберусь, выкарабкаюсь, да). Я весь молитвенно простираюсь на минуту, но сразу кто-то во мне отделяется, начинает скучать, зевать и топтаться, как воинская часть, не занявшая к сроку предназначенное место (томится, разлагается, зря теряет людей под случайным обстрелом). Тогда мне услужливо подсовывают развлечение: я знаменитый музыкант. Перебираю, смакую все сладостные варианты Успеха: деньги, власть, слава. Но

скоро вяну: у меня нет соответствующих амбиций. Предпочитаю легкую атлетику: мог бы стать рекордсменом. Даже чемпионом бокса, легкого веса, захудалой страны. Впрочем, это вздор. Нутро жаждет Подвига. Спасать, жертвовать, служить. От подвига неизменно скольжу к Женщине: две точки одной прямой — ось, на которой болтается шар жизни. Я пришел к убеждению, что жажда подвига и жажда греха связаны между собою, родственны — и одинаково разрушают душу. Тошно от обилия женского тела, услужливо расположившегося кругом меня (торчат из хоровода: мышино-клопиная старуха, Николь с отрезанною грудью). «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» — долблю каббалистически, отмахиваясь. Становится будто легче, но в образовавшуюся мгновенно щель проскользнул уже гениальный биолог, обезвредивший смерть. Или: я убиваю тирана. Опускаю его при помощи крана в смолу, затем, вздернув, поджигаю. Пылающий факел; у подножия холма беснуется чернь, раздирает меня на части (мелькает девичье лицо); снова улыбки, ноги, безобразный шрам через всю грудную клетку Николь. «Господи, Господи, Господи, Господи...» Так что я мог бы это периодически возобновляющееся кружение представить схематически в виде треугольника; от основных точек его (Успех, Подвиг, Женщина) едва заметно обозначен хилый прорыв к Спасителю!



Разные звуки еще добираются ко мне, лишенные торжественности, значимости: утро, автобусы, суета. Стекольщик вещает: «Vitrier, vitrier»; торговка трубит в рожок и как о Страшном суде предупреждает: «Fromage à la crème, fromage à la crème»... у нее болезненно-грудной, «порожний» голос (рожком себе раздула легкие). Бежит, толкая возок, торговец фруктами, напевая про

фунты и франки, спешит (то ли его ждут в другом месте лучшие потребители, то ли ему запрещено останавливаться), — на ходу отвешивая и обсчитывая. («Садов малина, малина, вишенья есть; картофель, разные коренья, огурцов, огурцов, огурцов... трооооу!» — всплывает напевное русское). «Marchand d'habits, marchand d'habits!» — голос, стенавший еще в плену вавилонском («Handel, handel, handel», — слепое варшавское). «Demandez, lisez l'Humanitè», — жуликоватый газетчик. Как потерявшего аппетит горожанина нужно хитростью или силою сперва несколько раз подкормить, — чтобы окреп: лишь тогда он примется по-настоящему за еду... так меня, усталого, только после долгого дремания, пробуждения, нового провала, брала, наконец, охота к подлинному сну, бессовестному, похмельному. Он был плотен, подобно свинцу, и вначале без сновидений; но, развиваясь, как живое существо, где-то в четвертом часу пополудни (возраст зрелой, насытившейся мудрости) поднимал меня или опускал в те слои, где будто рыбы сквозь стеклянную воду мелькают злые силуэты видений. То, чудилось, вместо бороды за ночь у меня отросло подобие парши вроде зерен ржи, кукурузы. Я провожу рукою по щеке, и выколупленные семена сыплются на пол — холм. В ужасе я пытаюсь почесать, но трудно: самая душа зудит. То у моего колена, с внешней стороны, образуется щель, оттуда выпадают черные мягкие волокна: ногтем можно поскрести кость — не больно. «Случилось непоправимое, — проносится. — Это неисцелимо». Вот я со знакомым безработным (тот самый специалист по соусам, чудовищно жующий) поднимаемся по госпитальной лестнице в палату Николь. «Вы любите маринованные геморрои? — справляется он и, видя мое недоумение, решает. — Неужели никогда не ели? Ну? Ладно, мы это устроим!» — покровительственно, хлебосольно. Или: одетый с иголочки, брожу по лесистому (таежному) берегу вздувшейся, мутной реки. Не то нужно переплыть ее, не то другая опасность угрожает — приблизиться страшно, а отступить нельзя; спотыкаясь под тяжестью рока, цепляюсь за кусты, мажусь в глине. От чувства животного одиночества полупробуждаюсь, в сущности, на самом интересном для меня месте: хочется знать, что дальше... И я начинаю сознательно доплетать узор, логично развивать прерванный сон, тем самым удаляясь от него, подобно человеку, который, желая нарисовать весь предмет, торчащий только наполовину из воды, не принял бы во внимание законы преломления. Часто в это время мне чудится: кто-то рядом, при-

сутствует. «Вероятно, это мой ангел», — вспоминаю покорно (всякая личность имеет ангела — идеал самого себя: каким был задуман, мог бы стать); теперь, отвернувшись, в потемках, он тихо ждет моего пробуждения: быть может, сроки уже пропущены... Я давно уже задумал картину (в тонах голландской школы): изможденный субъект подделывает чужую подпись, похабничает, соблазняет, ворует или с ножом подкрадывается сзади к жертве... а его ангел, прекрасный, святый, в углу, закрыв светлою рукою лицо, безутешно плачет. Но вот, непостижимо близко за окном, раздается вдруг горне-дальний посвист пастушечьей свирели; ее несложная песенка похожа на алгебраическое уравнение, — скобки, плюсы, минусы, степени и корни, — превращенное после редукции в: а — а = о (жизнь и смерть в совокупности). То пастух гонит домой свой выводок коз. «Смотри, это день прошел за твоими плечами», — говорю я внятно, и сердце замирает: мягкие лапки печали его теребят, сладостно сочатся капли отравы. «Это день уходит в сумерки, и не догнать уже!» В такую минуту когда-то раздался голос Лоренсы. (Я помню твое отраженное солнце. Ты пела о вечной встрече. На каждом вокзале я провожал ту же. Ослепший, оглохший, безумный, я узнаю тебя). Восстановил ли я уже необходимый запас энергии или змея невозвратимого времени столь остро ужалила... но, повыждав еще несколько мгновений, я, наконец, чувствую потребность шевельнуться, принюхаться, ощупать пальцами ближайшее окружение. И как в растворе за появлением микроскопического конгломерата неожиданно скоро происходит вся дальнейшая кристаллизация, так во мне, за первым толчком, потоки жизни, заглушенные и мутные, сразу начинают бурлить и подыматься. Я лежу еще некоторое время по инерции, деланно отупелый, разучившись ориентироваться, не понимая значения всех предметов: как вновь преставившийся в потустороннем мире. Случайно мой взор падает на землистую волосатую ногу, протянутую поперек кровати; она так похожа на другие, виденные мною в лазаретах и ночлежках, сотни конечностей, что, брезгливо вздрогнув, я стараюсь отодвинуться. Но это не удается. Тогда я соображаю: да эта нога — моя! Проникаюсь жалостью: всхлипываю, будто очутившись на собственных похоронах. Вот за щиколоткою сопутствующее мне с колыбели единственное сочетание вен — разбухли! — и я вспоминаю о нем, как о родимом пятне на теле мертвого друга. Шатаясь, бреду к окну, поднимаю штору: только на две трети (узел мешает). Смеркается.

Наступает мой день, по-своему размеренный, согласованный, цепкий. Бреюсь, моюсь. После свежей воды (скоро встреча с партнерами или собутыльниками) чувствую веселое оживление: я еще порезвлюсь, черт возьми, немного! Из амбразуры уборной (где провожу унизительные 10 минут), вижу освещенные, приблизительно ходом шахматного коня, окна соседей. За ними, постоянно в тех же позах, те же господа: хозяйка моет тарелки, старик неторопливо расправляет на коленях мятую салфетку, на столе дымится суп, темнеет початая бутылка вина... Что мне они, что я им, — а нежность и досада! Обедаю в ресторане, клубе, молочной — в зависимости от средств; гуляю, еду на свидания, в кафе. К вечеру оказываюсь среди света, тепла, зеркал, людей, радостно меня приветствующих. В эту минуту все почти любят друг друга, мы точно взаимно страхуемся, утешаемся общностью гибельной судьбы; исчезновение, отход одного воспринимается как угроза, измена, подвох, грубый толчок. Длилось это уже не месяц, не два, не пять — мелочь, такое случалось со мною! — а почти три года, без перерыва, без отдохновения и проблеска. Все труднее, все тише звучал таинственный подземный ключ, с детства пробивавший в моей жизни себе путь на поверхность; только на рассвете, иногда возвращаясь, я еще верил в спасение и клялся когда-нибудь вернуться по собственным следам, вторично пройти, все наверстать, переделать, исправить. Но и это начинало походить на обман. От поры до времени меня навещала Николь. У нее появилась опухоль и во второй груди. Изредка, неведомо чем побуждаемый, я вдруг начинал лихорадочно перелистывать рукопись диссертации. Но не хватало жестокости жалким пахарем, в заморозки, выйти снова на нищие озимые поля, в стуже и одиночестве, среди сумерек, месить грязь за плугом, глотая голодную слюну, видеть воочию отдаленную весну и — после стольких случайностей! — наконец, чудесно заколосившуюся, благодатно шумящую ниву. Мне претили грубость, обман и условность, в которые должно облечь две-три недурные мысли, чтобы сделать их приемлемыми. Иногда мне, правда, хотелось, зажав нос, стиснув зубы, ринуться (как в погреб собственного дома, куда подступили помои из лопнувших труб) уйти в работу. Два-три месяца каторжного труда — и конец. Пусть испорчу, но все же кое-что останется и ценного. Однако у меня не хватало черствости для такого отношения к материалу, подлости, — чтобы чинить насилие над своею душой. Мутная тоска: с утра перед исполнением

очередного урока... К вечеру, по мере того как накопляются исписанные страницы, делается веселее душе. А назавтра: опять начало, ничего! (Так комиссионер, знакомый, обязавшийся уговорить ежедневно 12 хозяек купить по фунту кофе, рассказывал: «Вот их уже, проклятых, 7, 8,10. О, радость, надежда. Последние две. Одна — сверх. Чувствуешь себя магнатом, — а наутро снова погорелец: пусто, мрак»). Чтобы дать исход душевному зову, зуду совести, иногда меня беспокоившему, я периодически начинал справляться о ценах на печать, качестве бумаги, условиях тиража и пр. Так страстный путешественник-мечтатель, ни разу не покидавший родной квартал, с первыми весенними ветрами начинает рыться среди карт Michelin, путеводителей, Бедекеров, брошюр общества Кука, приобретает дорожные вещи, деловито изучает маршруты. Я даже побывал в одной маленькой дешевой типографии. Суетливый хозяин меня принял, как сына, обожающе ласкал очами, отложил свою текущую работу, немедленно принялся щелкать на счетах, без просьбы с моей стороны делая почему-то разные уступки. Увы, он не мог взять этот предполагаемый заказ с таблицами, снимками: станки не оборудованы. С отеческой заботливостью указал место, куда следует обратиться. В погоне за видимостью дела я однажды сходил и туда: в больших неприветливых ангарах хмурые наймиты равнодушно встречали посетителей. Только что частный владелец мне горячо жал руку, весело подсчитывал, доброжелательно, толково отвечал: если бы потребовалось уступить мне кровать, он бы и это постарался уладить: до такой степени бескорыстно любя уже во мне заказчика (Прекрасную Даму). Здесь же меня встречали, как подчиненного, лишнего, врага. Когда я добрался, наконец, в соответствующую комнату, заявили: «Поздно, уже без десяти минут шесть». Порою так же бесцельно меня тянуло в библиотеку, где столько раз над моею головой плыло, синело, чернело небо, — вот крыло ночи ударит в большое окно. Какое было время! Это чтобы его вернуть, я брел в сумерки по rue Mazarin, покупал отзывающие потом сосиски, тут же съедал их, в католических тенях, заглядывая в подворотни, слушая заклинания великих мистиков (по-прежнему, в их присутствии, люто мечтая о любви). Эта жизнь давно кончилась! И мое теперешнее паломничество к стенам книгохранилищ было только готтентотской попыткою воскрешения. Со старыми друзьями я давно порвал отношения. Разошелся с доктором Биром. Он мне хотел даром уступить клинику (доходы пополам). «Странная

нынче молодежь, — сетовал он. — В старое время все мечтали о работе». И, выслушав краткий ответ, осуждающе (но и любопытно-завистливо) покачал головою. Бир пожелтел, сморщился, стал умнее и ласковее (от силы или слабости)... Я скромно жил на карточные доходы, выигрывая полосами, как профессионал, — и на разные случайные заработки (так, я показывал иностранным туристам французские госпиталя). Одного писателя, англосаксонца, я представил как врача и провел по всем женским заведениям: это ему нужно было для романа, направленного против любви («Любовь больше не рентабельна»)... и получил вознаграждение в фунтах, достаточное для полугодового безбедного существования. С Верными, по отъезде Жана Дута, я потерял связь. Они по-прежнему собирались где-то, готовились к деятельности, учились, хлопотали. Раза два за это время меня навестил Свифтсон. Он думал, что я опасно болен, что за мною нужно следить, но проявлял большую осторожность, полагая, что иное вмешательство может только повредить; кроме того, я Свифтсона недвусмысленно гнал вон, и он мог считать некорректным по отношению к Жану Дуту особенно настаивать. Он приходил всегда под вечер, ни о чем не расспрашивая, делился опытом Верных (они все еще отмеривали, не решаясь отрезать). Постепенно, будто слыша возражения, он начинал развивать свою любимую мысль. Мир — это загрязненная комбинация разных благодатных частей, молекула. Мы, стремясь очистить его, не должны, однако, рисковать потерею хоть одного из этих элементов. Очень хорошо, что нельзя легко преобразить весь мир, ибо тогда другие могли бы еще скорее окончательно его исковеркать. «Нам завещано: будьте святы, как Отец ваш свят... а об остальном позаботятся силы небесные». Кто ищет полной, немедленной победы... Малоумные! Да и что такое победа... Англичане, потерпевшие поражение в битве с шотландцами, теперь неотделимы от последних. А разбив ирландцев, укрепили вражду — и теперь отложилась провинция. Ленин подвизался в октябре, думая что делает мировую революцию, а вот она: национальная и мировая реакция. Колумб открывал путь в Индию. Кто выиграл последнюю войну... Австрийский канцлер, граф Чернин, в своих мемуарах упоминает о следующем факте. Немецкого аэронавта Рихтгофена, лично сбившего немало машин, настигает английский истребитель, давно мечтавший о встрече. Несется, готовый любой ценой сшибиться, сбить немца... близко, а тот не стреляет... еще

ближе: в упор можно, детская игра! Немец все не отвечает! Тогда догадывается: у него заело пулемет, безоружен. Помахав приветливо рукою — до свидания! — англичанин повернул свою машину. Войну выиграла не Франция, обожравшаяся золотом, не Америка, удачно поставившая на верную лошадь, не Англия, скромно уведшая к себе весь германский флот, не Италия (что трагичнее судьбы Австро-Венгрии). Войну выиграл тот летчик, что, помахав рукою безоружному хищнику, увел свой аппарат. Он, а не Клемансо (душивший — ведь зря! — Вильсона на мирной конференции), отец победы в идеальном отечестве. «Все это верно, — согласился я по возможности вежливо. — Но почему-то меня теперь не интересует». Именно это мое безобидное замечание так неожиданно разгневало Свифтсона. «Вы замкнулись, ушли в себя, отрезаны от целого! — начал он волнуясь. — Это грех жадности и обиженного самолюбия. Вас ждет наказание. Подумайте, вы биолог, что будет, если отдельный орган или клетка, начнет гипертрофировать, размножаться, ни с чем не сообразуясь! Это и есть злокачественная опухоль, вам подобная!» Чтобы поддержать разговор, я ответил: «Напрасно вы так судите обо мне, я ведь теперь тружусь над своею диссертацией, делаю выписки, вот, вы мне напомнили»... и, достав свою пыльную тетрадь, прочитал вслух: «Раковая клетка это гениальная клетка, почувствовавшая преступность смерти, бунтарски восставшая против слепого порядка жизни, — где во имя мифического «целого» (виды) части «нормально» изнашивают себя, гибнут. Она отделилась от коллектива, симбиоза рядовых, составляющих организм (кроткие, серые, они решили покориться), махнув рукою на клеток-баранов, повернулась спиною, и начала неистово размножаться, буйно завоевывать, поглощать все (в ущерб другим, обреченным), решив дорого продать свое существование. Раковая клетка — это великая клетка, на свой страх и риск затеявшая борьбу за бессмертие (не удовлетворяясь чахлой вечностью рода, вида). К сожалению, это не идет впрок организму, как слишком острые идеи философов и героев вредят обществу. Но, однако, здесь рычаг возможной бессменной молодости, постоянного обновления — сей порыв нужно использовать, организовать...» «Чье это?» — брезгливо осведомился Свифтсон. «Англичанин один, Бам-Бук». — «Бам-Бук? Странная фамилия!» — «Псевдоним», — неохотно пояснил я. Внезапно он подсел ко мне и, почти гладя, касаясь плеча, умоляюще зашептал: «Скажите, скажите, помните, давно, у адвока-

та в день отъезда Жана, вы сообщили, что ничего еще не совершили хорошего. А вам за тридцать. Что это, гримасничание или действительно такая темень в глазах? Во имя Господа, не откажите мне в доверии!» — очень волнуясь, почему-то настаивал Свифтсон. «Отчего ж, отчего ж, — сконфузился я, стараясь вспомнить. — Тогда действительно так считал, но теперь произошли перемены: найдется нечто стоящее и у меня». Он грустно попросил: «Вы не можете со мною поделиться?» — и страдальчески уставился. «Охотно, ко мне иногда приходит жалкая женщина с отрезанной грудью, способная вызвать ужас, отвращение, и я ее ласкаю». Свифтсон вздрогнул, строго поглядел, но я не шутил, вдруг лицо его искривилось, и он жалостно, нежно заплакал. «Кстати, — поспешил я переменить тему. — Кстати, давно собираюсь вас спросить, вы не можете мне напомнить слова пророка Исайи: там, где про волка, что ляжет рядом с барашком... или сообщить место, главу». Свифтсон приподнялся: «Я помню их, одиннадцатая глава. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море...» — и, сделав паузу, Свифтсон добавил: Вы знаете, вы знаете, мы еще будем с вами рядом, вместе, определенно, сердце мне говорит». Я почувствовал, как челюсти мои свела судорога и, не ручаясь за свой голос, протянул ему руку с признательностью и благоговением. О, если бы меня в ту минуту взяли за ворот, встряхнули и поволокли! А может, Свифтсон был прав: я снова ушел бы, тогда навсегда. Руку он пожал сдержанно: блюл какие-то сроки или не доверял еще. «До свидания, до свидания!» — повторил, вкладывая особый смысл в это избитое слово. Однажды ко мне еще наведались Дингваль и профессор Чай (вероятно, подосланные Свифтсоном). «Не беспокойтесь, газа не открою, — грубо успокоил их. — Собираюсь еще долго резвиться». Они предложили, неловко, запинаясь, вместе помолиться. Я их огорчил отказом: мне молиться при свидетелях — как париться в общей бане.

3

Знакомый госпиталь. Сюда на хирургическое отделение снова записалась Николь: будут резать. Встречает меня с виноватой пытливою улыбкой. Растерянный пробуждающийся взгляд: полукругом вниз, давно привлекший мое внимание. Молча сижу у изголовья. Старательно целую — ее щеки горделиво розовеют. Я презираю палату в этот час («посетителей»). Мне стыдно без мундира (халата) здесь. Чувствую робость, самолюбие страдает: почти заискиваю в каждом санитаре, сестре милосердия. Нечто подобное я испытал в детстве, когда в доме запахло эфиром, камфорою. Ложечка в стакане с прозрачною водой (а на дне снежинки хины, салицила). Термометр, ловко сбрасываемый. Чужая женщина, профессионально суровая (как шулер благороден) высовывается из спальни матери, отдает приказания: наколоть лед, раздобыть кислород. О, потерянность, слабость и детская доверчивость. Я учел то состояние, сделал вывод. Раньше мечтал стать носильщиком на вокзале или пограничником, проверяющим визы. Привыкнуть к вещим гудкам, уничтожить ночь, приобщиться к рубежам времени и земель (так артиллеристы похрапывают на ящике со снарядами). У почты мне хотелось разносить конверты с заграничными марками и многими штемпелями (их люди с таким сложным чувством — избавление! — ждут). Стук Морзе на телеграфе. Артельщик в банке блистательно — четко, как палач с осужденными, манипулирующий пачками кредиток (значительными долями жизни каждого)... Все они стоят у главных узлов нашего быта, спокойные профессионалы, среди суетливых, растерянных любителей. Могильный бой часов и сигнальные огни им больше не страшны. Потом мне захотелось — в суд, полицию (тогда в соседней квартире делали обыск, мерзкие сыщики петлили у подъезда). Я понял: опасность — и тут надо получить иммунитет, спуститься в колодец, и ядовитые газы станут привычными для легких. Но, понюхав эфир, камфору, поглядев на чужих людей, бесцеремонно распоряжавшихся нами, притихшими... (Вечером к дому подъезжали важные доктора, жуликовато блестя очками и лысинами, проходили в комнаты. Сразу зажигались все лампы, мы замирали на цыпочках, услышав обрывок латинско-русской фразы, вытирали губы, как после причастия)... посетив лазарет, сойдя в мертвецкую, — сделал выбор! Я стал ле-

карем, вероятно, единственно для того, чтобы всячески подготовиться к внешним атрибутам смерти, усвоить целиком ее технику, сохранить независимость — в эти последние минуты. «Смерть самое неизбежное и трудное из того, что мне еще предстоит, я хочу стать своим человеком в ее прихожей» — вот приблизительно идея, которую я пронес и осуществил через десятилетия братоубийства, голода и любви. Сколько раз я держал за руку агонизирующего, изучая все его гримасы и блики (словно ученик виртуоза, что должен за ним повторять упражнения). Меня влекла и мучила всегда нищая простота, неубедительность, с какою жизнь превращается в материю. Предполагаешь: вот биология до этой черты, а там — камень! На самом деле — неопределенность! Так пастор возвещает влюбленной, целую ночь прогрезившей паре: вы обручены... фотограф решает: готово, снято... или на экзамене (месяцы зубрежки!), после минутной беседы, профессор заявляет: вы прошли... Не веришь — ничего не случилось осязаемого, резко отделяющее эти два разных мига! Только со временем, шаг за шагом, по интимным отношениям, новым условиям быта четы или по отдыху в занятиях, появлению следующего курса лекций у студента — эта метаморфоза становится действительною. Так и смерть. Вы держите руку. Дыхание уже пресеклось. Вдруг — несколько судорог тела (от мертвых пахнет пеленками). Это сердце — иссякло. Свершилось. Но что именно... Как установить разницу между собирающейся замерзнуть водой в 0° и тающим снегом (тоже в 0°)... «Скончался» — говоришь (подобно пастору, профессору, фотографу). Но кругом и в тебе нет уверенности, понимания, хотя родственники плачут уже (там у венца — сразу начинаются поздравления). Теперь я не узнаю палату: никогда не заходил в качестве просителя в эти часы визитеров. Осенний предвечерний домашний почти уют, группы, свои муравьиные заботы, планы, гнев. Обсуждение: не министерства и доктрин, а 1/10 градуса температуры. Благоговение перед каждым лично испущенным ветром, интриги по поводу обмена этого халата на другой, лучший, принадлежащий выздоравливающему или умирающему; порицания, злоба, сплетни, благодарность, заискивания и надежда, надежда — еще; подлое обрастание вещами, свертками, тяготение к долголетнему комфорту — на склоне вулкана. Все близко, но далеко не ясно — ускользает; среди хворых много таких, что могли бы уже выписаться, а из посетителей некоторым впору улечься на койку, — если бы решились, поняли,

условились. Даже границы смерти растяжимы. Некогда критерием было дыхание: к устам прикладывали зеркальце. Потом пульс, сердце; еще ждут 12 часов. (Почему не 12 суток или веков?)... О чем говорить с Николь?.. Я старательно ее целую на прощание. Неловко вручаю подарки: мужчине я знаю, что нужно. Выбрал цветы, шампанское и варенье. Кружу по светлому лабиринту неописуемого двора, обхожу знакомые — и все же неразгаданные — корпуса: отделяясь, прощаясь, сознательно отряхая прах с ног (чужое, мимо). Вот часовенка. Сюда из мертвецкой холодным утром санитарки, переругиваясь (чья очередь, кто обязан), подадут выпотрошенный остов Николь. Здесь при помощи более или менее позолоченного гроба, свечей, попов ее частично восстановят в людском звании; отворят другие двери, через особые ворота ее вынесут на другую, тихую улицу, где чинный катафалк, траурная толпа, степенные речи и господа с розетками в петлице. Это две разорванные цепи, два ряда (письмо — до почтового ящика и после). Палата, операционный стол, агония — одно; затем гроб, церемония, кладбище, склеп — другое. А между ними: таинственная дыра, несвязуемая прорва, Ниагара. Корпус за корпусом, задние калитки, коридоры. Здесь, в первом этаже, мы принимали новых кожных больных. Орава обнаженных существ вваливалась, расцвеченная сыпью и язвами. Поток мужчин разбивался сразу на пять-шесть очередей у наших столиков. Затем кагал женщин; опять мужики, до пояса голые, ловко придерживающие подбородком задранную рубаху и коленями расстегнутые брюки; снова бабы: скученные, в белье с распущенными бретельками и шнурками, со сползающим чулком. В зале висело огромное трюмо. Часто его завешивали простынями (того требовал наш ординатор), но иногда забывали, и многоголовое чудовище (подземное, морское) удваивалось, уподобляясь фантастическим грозным растениям, гадам с раскраскою бабочек, друг друга пожирающих. Огненные букеты, розы, пурпурные лепестки и бутоны терзали бедное людское тело, пришедшее на эту землю по своим личным делам. Сконфуженные, странные субъекты, по ошибке затесавшиеся в это отделение; бледные детки с глистами, чешуей коросты; экзема младенцев — зарево костра, язвы нищих; аляповатые пионы банальных поражений (жар, краснота и боль). А между ними: синеватое пятнышко туберкулеза, скромный бледно-розовый мрамор второго сифилиса, пустяшный серый бугорок рака... достойно держали себя: без шума, важ-

но, с тою врожденной грацией, которая отличает дам большого света (так же подлинный ревизор остается неразгаданным среди треска Хлестаковых). «Не царапнул ли я случайно ногтем, только всего?» — выражает надежду несчастный с отвисшим молочным брюхом. Нет, не ноготь: «Вы видите, это твердо, сухо и не болит, а в паху кулак собранных железок», — и шеф, опустив голову, на минуту почтительно смолкает, будто франкмасон, в толпе узнавший вдруг каменщика 33°. Вот с поднятым воротником пиджачка продрогший шофер: пожелтел, отощал, волнуется, видно, всю ночь не спал (гадал, молил), утром, чем свет, без завтрака, собрался, прождал два-три часа, нервно шагая, сторонясь «тех», страшных, еще надеясь спастись, выскочить. Мулат, пучковолосый, стройный, литой. Когда он вошел, голый по пояс, мы услышали шум ветра в 12 баллов, хлопанье парусов, крик за штурвалом и залп. От него пахло океаном, солнцем, тропиками. Он полз на капитанский мостик с ножом в зубах, грузил хину, играл в кости. Давно уже не плавает, живет во Франции. Шесть лет тому назад в последний раз проходил Панамский канал. «Бацилла Гансена», — сказал патрон. Кругом все дрогнуло, зарокотало. «Проказа, проказа», — пели вихри и смерчи. Белая длань судорожно тянулась из песка, дервиши плясали у заброшенного колодца. Мулат вышел, не сгибая лоснящейся спины, и сразу ветер, дувший от его разведенных (как иглы особых аппаратов, пропускающие электрический ток) волос, стих, каравеллы растаяли. Я последовал за ним, под каким-то предлогом снова ощупал «клеймо» на шее и на прощание пожал руку (может быть, затем, чтобы иметь уже право отказывать некоторым в рукопожатии)... Розы, пионы, костры тел. О, как серьезна эта любовь, большую мзду она взымает. Мускулистые каторжные груди, тельники, фуфайки, бандажи, кисть женской руки, поплывшая вдруг, что лебединая шея, родимые пятна (их матери целовали) на самых неподходящих местах, острова грязи, веснушки на ягодицах, потные соски, запахи и татуировка. Татуировка! Изучают разный фольклор. Но до этого, кажется, еще не докатились. А между тем вот подлинное, безымянное творчество, поле для изучения народной души. Девица с выщипанными бровями просит, чтобы ее избавили от инициалов, вытравленных под левой грудью. «On est bête à 20 ans», — решает ординатор с редкою седою шелковистой бородкой на ровно-багровом веселом лице — похож на Вакха — и шутливо-зверски щелкает пальцем по соску. «О, я был очень болен, — сообщает он подошедше-

му коллеге. — Печень. Но теперь уже лучше. О, лучше!» — значительно повторяет, на минуту вообразив, что постороннего это может так же интересовать. Этот Вакх нам однажды рассказывал, как в детстве ему, хворому, давали закусывать рыбий жир шоколадом. С тех пор он не может видеть даже запечатанной плитки! «Mais on a réussi!» — заметил кто-то из слушателей (имея в виду его бравую осанку и румяное лицо) с той особою улыбкой, что появляется даже при самом независимом общении с начальством. «On a réussi», — согласился сияюще. А через две недели он был уже мертв: беднягу всего изрезали — непонятное с печенью! Соски этой девицы («on est bête à 20 ans»), рыбий жир с шоколадом («on a bien réussi»), легкая его смерть («о, теперь уже лучше» — серьезно и необычайно внимательно) — все это вместе почему-то крепко залегло в моей памяти, своеобразно проявляя себя. Так, например, — в какой-то связи, — я не принял клиники Бира. Буквы, сердца, якорь — самая безобидная татуировка. Змеи обвили ноги бездомной, хвост у щиколотки, а жала протянулись вверх (симметрично), к сокровенному месту. А у легионера пара глаз выжжена артистически на заднице: уморительно косят в сторону центра. Сутенерская надпись снизу живота дугою: «Robinet d'amour» («j'aime et j'hais», — так же часто повторяется). Щиты, загадочные чертежи. Фигуры синей тушью: женский бюст с пухлой грудью... или: во весь рост, на цыпочках, танцовщица с круглыми яйцевидными икрами. Это в одну краску: близкая, дешевая, полицейская татуировка — тюрьмы Франции, север Африки (Алжир, Тунис, Марокко). Солдат из Индокитая узнаешь по художественно исполненным рисункам. В Шанхае работают тремя цветами, главным образом зверей: драконы, змеи, тигры, леопарды — душат друг друга, грызут, охраняют. Это похоже на что-то музейное: яркие, четкие миниатюры.

Издалека маячит, белеет Maternité. Там в «зале работы» смердело, как в согретой мертвецкой. Библейски томились, ерзали женщины с псино-умоляющими, соблазненно-жертвенными глазами. Я лежал ночью на свободной койке, дожидаясь. Это под утро — к трем с половиной — чаще всего рождаются, как, странно смыкая круг: в это же время большинство умирает (а зачатие?)... Рядом, перворожешица, молодая, обнаженная, могуче била ногами по настилу (вспоминались играющие кобылицы). У стола с весами верещал сверток; растрепанная акушерка перебирала руками «место»: рыжие крашеные ногти клопино светили сквозь упругую

оболочку. Святое материнство начиналось лишь потом. Спустя две недели выписывались, проходили, опьяненные, с розовым свертком (как семья Бюта на улице Будущего). В этой первой ночи жизни было многое неправдоподобно (а пахло потрохами). В нашей комнате дежурных висела гравюра, изображавшая резвящуюся пару (надпись гласила: «Que'est ce que c'est l'amour?)... А дальше, на внутреннем отделении, мучительно долго умирал мой первый больной: тучный патриарх, еврей. Большие выпученные темные глаза с поволокою. Он ими тяжело обводил палату и когда останавливался на мне, то делались понятны: сны пустыни, и Синай, и овен (рогами — в чащу), и тайна Радуги. «Почему все согласны умирать, кроме евреев», — спрашивал interne (в его голосе ничего, кроме раздражения, нельзя было уловить). А вот — хирургия. Новые, выбеленные корпуса. Я помню их... Проносили, провозили; улыбались, бредили; вдовы, солдаты, дети, потерянные, перемещались по коридору (казалось: центр вселенной передвигается вслед за ними). Ослепительно жмурилась девочка — «spina bifida», — смеялась лукаво, пока ее укладывали на возок, подтыкали одеяло: очаровательная крохотная латинка. Не хотела вдыхать наркоз — о, первый глоток из маски! — я похлопал ее ладонью по щеке, в ответ она скосила глубокие большие ласковые глаза, шаловливо грациозно повела ими, как газель, и доверчиво, послушно задышала. Она умерла на рассвете. Слышу противную воркотню автоматического дыхания; стон пробуждения, первый взгляд (полукругом в сторону), запах: эфира, крови и каучука. А за всем этим ослепительная детская отпускающая улыбка («spina bifida»), что, как медное солнце, висит над моей головою. Старику ампутировали penis: рак. Рядом, я думал: «Как он воскреснет? Если без — значит, восстановление неполное. А если с — то зачем, к чему это ему в том царстве?» Искусно, уверенно хирург манипулировал инструментами, ловко и важно совершал обряд: не просто брал нужные ему щипцы, иглы, не кратчайшей дорогой шел к цели, а, видимо, сложнейшей, путаной — через целый ряд колен, звеньев и этапов, подчиняясь законам стерильности и телесной иерархии. «Что сказал бы варвар, не слышавший о микроорганизмах и сращениях, наблюдая эти хитрые приемы?» Вероятно: «Жулик, фокусник, шарлатан, пускает пыль в глаза! Никель, каучук, газ, ведь сразу проще, а он чешет правой рукою левое ухо, набивает себе цену, авгур». Меня давно поразило сходство действа хирурга в операционной и жрецов, свя-

щенников у алтаря. Возможно, что в церковной империи с нелепою (но тщательно подобранною) одеждою, числами, огнями и запахами все также имело конкретный смысл, основанный на точном знании. Но утеряв необходимый опыт, мы теперь судим, как неучи, допастеровские нигилисты, — о хирургической операции. Сходство идет до странных мелочей: во время причастия Тело и Кровь не должны упасть, брызнуть, капнуть — осквернение, загрязнение (инфекция). Литургия построена тысячелетия тому назад на принципах послепастеровской биологии. Только забыто обоснование. Как может случиться: когда-нибудь затеряются предпосылки и современной науки или умрут микробы. Тогда оскопленные хирурги станут торжественно и слепо повторять свой обряд во всех мелочах: кипятить воду, варить скальпели, надевать для каждого этапа другую белую рясу, уже не зная, кому или зачем это нужно! Над операционным столом висел круглый тяжелый прожектор, выложенный гранеными прямоугольниками, толстыми, зеркальными. Там в уменьшенном, собранном виде отражались соседние, дальние и близкие, многоэтажные массивы зданий: перевернутые, плыли вниз головою купола, колокольни, крыши, башни, веранды, кронштейны, трубы. Отраженный город повис вверху; неописуемой чистоты был свет и цвет его, недоступно-проясненный, небесно-церковный, беззвучный, подводно-уснувший, призрачный и четкий, нетленный, зачарованный; подобный — пустынными балконами и сияющими стенами! — Тысячелетнему. Неземная жара плавит воздух, башни и камни. А тот город стоит, притихший, затерянный. В побелевших песках — дворцы и стогны. Я бродил уже по его неведомым улицам, среди невиданных существ, опознавая старых, забытых, желанных двойников. Нет больше ощущения: меня, моего тела. Не потею, не знаю усталости — жара в подошвах — трения носков, башмаков, асфальта. Встречаю родных, друзей. Многие давно преставились, а те на далеких материках. Не беседуем, только шагаем — бок о бок. Но откуда эта радость и вера: надолго мы вместе, больше нет разлуки, не запрутся таверны, где мы сиживали, последние поезда подземной железной дороги уже никогда не отвалят от застав. Я брожу по тысячелетнему, заповедному граду. Тишина, все стало, не течет, не меняется. Сухая жара омывает: меня, эти стены и белые пески; раскаленное солнце где-то висит, но нет ни пыли, ни жажды, ни теней; воздух так ясен, что все окраины — достать рукою, а времени больше нет. И сер-

7 Зак. 2384

дце истово тянулось в светлый отраженный край: от стола, туда вверх, близко, — по карнизам! «Но еще не время», — стоически крошилась душа. «Так это из люстры мой Град, оттуда! — догадался я вдруг. — Странно, не ожидал. Но в общем что мне делать, куда сейчас податься?» — рассеянно и пытливо осведомлялся я, стоя посреди монастырски-тюремно отгороженного госпитального двора, жуткого в сумерки. И чувство было такое, как у одного из сиамских близнецов (когда второй уже мертвый).

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ОМЕГА

Не суждено описать Братства.

Упанишады

1

В этот памятный день я возвращался, слегка одурманенный от непривычного бдения, совсем рано домой. Смеркалось. По avenue Gambetta мне навстречу громыхал — катафалк. Кучер в перчатках, едва сдерживал на широких вожжах неистовых белых красавцев коней с выгнутыми лебедиными шеями. Рядом, на козлах, сидел джентльмен в черном цилиндре (а сзади овальный гроб, без родственников и провожающих). «Странно, вечером, на лошадях», — мелькало у обеспокоенных прохожих; они заглядывали друг другу в лица: проверяя впечатление. Внезапно, должно быть почувствовав мгновенную слабость держащей руки, могучие кони яростным зигзагом дернулись на спуске. Экипаж подпрыгнул, гроб взлетел и скатился на мостовую; ударился об камень, словно орех, раскололся надвое: отскочила крышка и из гроба ловко воспрянуло существо в белом саване. Не мешкая, оно вихляющей, какой-то противно-босо-кошачьецепкой иноходью, согнувшись, понеслось к решетке, вскарабкалось и (бело оскалясь, огрызаясь на свидетелей) перемахнуло через ограду, скрылось в сквере, прилегающем к чинному кладбищу Père-Lachaise. Экипаж остановился несколько ниже (лошади гневно фыркали, картинно скребли мостовую), оттуда свалился джентльмен в цилиндре. Озадаченно поглядев в сторону исчезнувшего призрака, он обменялся замечанием с кучером, опасливо подбежал к гробу, собрал его половинки, рысью поволок за собою к экипажу, погрузил и сам вскочил уже на ходу: лошади с распущенными хвостами тронули с места мудреным галопом, похожим на кадриль, и мгновенно пропали в тумане. Мы смотрели им вслед, за решетку сквера, друг на друга, смятые, растерянные, готовые сразу уступить, застенать, побежать из жизни или пожать плечами, расхохотаться, — ожидая знака извне, слова. Беззащитные, жались в группы, перебегали, судили шепотом. Некоторые, словно подхлестнутые, бросались вниз, — догонять. Умножились несчастные, что видели

только хвост, кончик происшествия или совсем опоздавшие: расспрашивали, судили. Одни твердили: «Настоящий, мертвец, женщина»... другие уверяли: «Большая кошка или пантера в чехле»... третьим казалось, что это световой луч, «зайчик», скользнувший по гробу и мостовой — к стене. «Да полно, что вы, — все чаще раздавались трезвые голоса: — Пьяные отвозили пустой гроб к заказчику или в этом роде». А улицу заливали другие волны: то же, да не то (подобно картам, при следующей сдаче). Мостовую вновь покрыли клокочущие машины, в иных комбинациях и зигзагах; зверски вопили газетчики: последнее издание. Появилась цепь — люди-сандвичи, гуськом, зазывая в цирк: там выступает известный сорвиголова, развлекающийся со смертью (Qui s'amuse avec la mort). На разбрасываемых летучках и афишах красовался юноша, одетый, как жених, с большим белым цветком в петлице фрака. Он дружески шагал об руку со смертью, разрисованной, как зебра: та показывала ему на кипящий котел, на виселицу и электрический стул, а он все любезно соглашался. «Да не реклама ли это цирка, трюк?» — предположили в разных концах. Наиболее солидные, матерые господа и дамы вдруг сконфузились, неодобрительно покачав головою, отстали. Только смрадная нищенка, горбатая и хромая (для сохранения равновесия она приняла такую позу, что все мнилось: вот-вот упадет), продолжала визгливо, гневно-поюще стонать. Скользя и припадая — быть может, на четвереньках, — она оступилась в мрак. Неожиданно и я повернул назад, туда же, вниз. Гнилостные туманы пали в этот вечер на город (это случается раза два, три за год). Казалось, они поднялись, выползли из трущоб, снизу, где щели и скважины — фиолетово-желтые причудливые гады, — протягивая ко всем лапы, когти, морды, клешни, присасываясь банками, подобно осьминогам, обволакивая, обвивая, целуя, душа. Огни напрасно горели: они только прилегали к темноте, не смешиваясь, не побеждая. Вот ядрышко фонаря, а тьма вокруг него — сама по себе. Только на самой плоскости сферы обозначилась серая теплая кора — ореол, — словно из тел неведомых пограничников, павших смертью храбрых. Я слышал, урывками, не то пение, не то ругань нищенки, на четвереньках оступающейся где-то близко в мрак, но догнать ее не мог (не хотел). В том состоянии потерянности близость горбатой, пьяной, еще более обиженной, чем я, меня успокаивала, ободряла; я чувствовал в ней нужду. Казалось уместным подойти, благодарно заговорить; но это ведь бесполезно, да и

слова соответствующие не находились. На площади République, у ярко озаренной витрины спортивных принадлежностей, сгрудились ротозеи; там, в глубине магазина, покоился челнок, у весел сидел обнаженный негр и равномерно, могучими взмахами греб. Манекен?.. но такой художественный: вряд ли (да и дорого). Черномазый изредка поворачивал свое лицо к тротуару, к женщинам, к школьникам, к людям за стеклом (в клетке обезьяна). Она скалит зубы, кривится (смеется или шепчет проклятия); сгибаются эбеновые ноги (дрожат квадрицепсы), пухнут бицепсы рук: гребет по воздуху, но всерьез. Я проталкиваюсь вперед, незаметно мигаю, делаю дружественные знаки. А он все угрюмо выпростовывает весла, злобно обжигая любопытных своим оскалом. Брат мой. Брат мой готтентот, брат мой орангутанг, брат мой в труде, в злобе и в спасении, ты не понял меня, когда, один из толпы, я кивал тебе курчавой головою. В первом часу ночи я вышел из Palais-Berlitz, где упрямо опускал монеты в чрева разных и впрямь бессмысленных автоматов. Большие бульвары уже спали. Они были просторны и чисты. Haussmann чинно лег меж универсальными магазинами. Осторожно, обман: узенькие слепые улочки притаились близко, сбоку. Они, что змеи, когда прокладывают шоссе, уползли прочь, в укромные места, задремали в трещинах и норах, дожидаясь своего времени, чтобы ужалить. Смертные тени сгустились в подглазницах влюбленных; верные друзья, одинокие сироты подзывают гарсонов и расплачиваются: от ворот Парижа вагоновожатые повели уже последние составы. Медленно спускаюсь по лестнице в метро: с закрытыми глазами, не держась за поручни. Не знаю отчего, но все чаще и чаще я стараюсь обходиться без помощи органов чувств, ищу иных возможностей ориентации. Мертвые в потустороннем мире первое время должны ужасно маяться, парализованные, лишившись старых «дырок» (а новые еще не прорезались). Вероятно, отсюда мое безотчетное желание натренироваться, привыкнуть к слепоте. В этот час редкого движения вагоны мчатся с предельной рьяностью: стук, мотание, свист ветра, временами чудесно передают душу бега настоящего поезда... а мысли дорожные, дальних следований, начинают подступать. Сколько прелести: свистки, вокзалы, зазывание, скорость, не мешающая, однако, впитывать бесконечность равнины. Жаль, следующие поколения не будут знать этого, в сущности, уже обреченного способа передвижения. Как, впрочем, нас могли бы высмеять предки, путешествовавшие на перекладных, слушавшие

осмысленное ржание коней, щелканье бича, «эээх» ямщика (а на остановках уют камина, запах жаркого и благодатные встречи). По сравнению с электромашиною паровоз живое существо: кипит, взвизгивает, капает, пачкает, греет (несовершенство, потеря энергии). Человечность умирает в самой машине. Газовая плита варит и одновременно еще светит (зря), керосиновая лампа наивно старается греть, хотя этого от нее совсем не требуют, — электричество, современное, более «непроницаемо», но и оно покажется трепетно, легкомысленно живым — в грядущем: вокруг еще распыляется тепло, нужно все же взять рукою, нажать кнопку (фоточувствительная клетка уже освобождает от этого). Как-то ночью, у Halles, сомнамбулически шагая, я был разбужен человечески-внятным, близким, доброжелательным, дружественным голосом: то рядом, в оглоблях, заржала лошадь, повернув ко мне добрую, мирную голову; и в этой ее фразе (ночью, меж шлюхами, мясниками и нищими) пролился весь остаток земной теплоты, душевного величия (где память о рае, приятие судьбы и прощение богам). На остановке вдруг подходит бывший товарищ, студент, я его лет 10 уже не встречал; у него теперь гнусная испитая рожа и взгляд благорррродного патриота, живущего на чужой счет. Не удивляясь встрече, здороваюсь. Он садится рядом и начинает кричать — звенит, стучит, мотает! — под самое ухо, а то и в нос. Людей можно, кажется, поделить на два типа: у одних пахнет, у вторых не пахнет изо рта (не поможешь мытьем, полосканием — желудочный клапан приоткрыт). Он хвалит немцев потому, что ненавидит французов. Ему отвратителен целый ряд народов (по странной случайности, именно те, с кем приходилось общаться: свои русские, поляки, евреи, чехи). Его лицо (злобная маска) совсем близко — не отвернешься. Мелькает дикая мысль: ударить. Наконец мне пересаживаться (République). По коридору, с закрытыми глазами, делаю 20 шагов. Потом замираю, хотя тишь да гладь, никакой логической опасности: не страх, не ужас, вообще ничего определенного! Я замедляю шаги, начинаю топтаться на одном месте, зная: *не могу* больше (окружен стеною). Протягиваю руки, ощупываю: путь свободен... еще несколько шлепков ногами — нет, сдаюсь, (а в сущности, именно с этого мгновения — трудится душа). В туннеле слышен гулкий бег, позади тяжелое дыхание: это пассажиры спешат к последнему поезду. Увлеченный, я бросаюсь вперед, сконфуженно выбегаю на пустую площадку, где уныло дожидается несколько сумрачных фигур. Сажусь на

скамью, сутулюсь. На темном рельсе — с равными промежутками — стоят лужицы отраженного света. Прогуливаясь, бредет мимо, должно быть, женщина, в чем-то мешковато коричневом (пальто либо шаль). Опять возвращается. Я отворачиваюсь, какое мне дело. Вот раздается оглушительный — торопитесь! — полицейский свисток: то контролер дает знать бредущим в коридоре: приближается последний состав. Я поднимаюсь, иду к хвосту, чтобы попасть в крайний вагон (так ближе к дверям — на моей станции). Со стороны я, вероятно, произвожу впечатление вполне осмысленного, дрессированного существа. С опозданием отмечаю странность: голова поезда остановилась посередине... шипение, скрежет... и вот по той стороне пухлый, коротконогий, в светлой фуражке неумело бежит к стеклянной будке, дергает рычаг у распределительной доски — искра! Театрально, без пауз, кричит в телефон. Беспомощно дребезжит звонок. А кругом: напряженное затишье, кляксы возгласов, незаметное движение, без контуров, дуновение, — что составляет душу катастрофы (ошибиться нельзя, хоть раз вкусив). Понимаю: бросилась под колеса женщина. Растерянные, весело-возбужденные, пьяные бедою голоса. Доносится: «Вот тут, вот так, без шляпы, в платке, она целый вечер здесь, под самый вагон, тормозил». Целый вечер здесь... Догадка, еще удар, зигзаг памяти — и более или менее ясно. Это она мимо меня шлепала в коричнево-песочном платке. Решила себя наконец убрать. Вышла из дому. Весь день слонялась под землею. Говорила: «Второй, нет, следующий поезд». Вдруг осенило: к чему спешить, можно под последний, в час ночи, о нем известят «казенным» свистком. «Все проверено и учтено, да, спасения нет, так надо, (а может, чудо). Гуляет по туннелям, садится в разные вагоны, то отстраняется, то, наоборот, липнет к людям, меняет направления, сходит на, должно быть, знакомых, но по-иному звучащих станциях. Устанешь. Вечер. République (вероятно, сюда она часто попадала). То посидит на скамье, без мыслей, без впечатлений, то заспешит, суетится. Все видит, слышит, обоняет половинчато-вдвойне: пароксизмы внимания. Вопьется в случайного соседа, забудет свой взгляд на нем... целуются молодые, она знает это... или ребенок: тянется крохотною ручонкою, уцепился за подол матери, ха-ха-ха. Вскочит, пройдется, бесцельно станет у зеркала, объявления, расписания последних и первых составов (трудно женщине в таком разобраться). Опять сядет, смиренно ждет: пассажир последнего поезда (всякому свое). Иногда с чер-

ствым любопытством взглянет на ближнего (о чудо). «Глупо, ведь, если рассудить: никто уже не в состоянии помочь». Когда я спустился на перрон, теперь знаю, она поглядела пристально. Проковыляла близко. Дважды, трижды, сюда и назад. Но у меня свое: учусь ориентироваться в потустороннем мире (тоже в известном смысле дожидаюсь свистка). Слепые, глухие мокрицы. Рядом ракета, бомба, адская машина (чем начиненная?), человек (что задумал?), кружит, пересекает путь комета, звезда. А я только лишь заметил ее, — когда уже потухла. Смотрит, ищет (чудо), приближается: туда и назад, рядом. Долго ждала этого свиссстка, но как он зазвучал: протяжный, властно-тюремный, казарменный! Здесь я теряю нить, только сердце дергается (о, если бы уже на самом деле). Резкий железнодорожно-полицейский свисток (о нем вспоминать потом, как Раскольников о звоночке на квартире старухи процентщицы). Какой-то геологически свирепый, железобетонный. Трезвой, ей страшно. Слушает, расширив душу, пьет, захлебываясь, кислотный звук. Между первым клекотом свистка и шипением тормозов — секунд 15, 20. Вот в эту разницу (дальше опять все понятно) я снова и снова заглядываю, как в темную прорву, ничего очами не видно, а корчусь на дне, словно узрев все. Опять, опять: подвожу цепь к одному краю, ставлю ногу на другой, опускаю голову, ныряю на миг в «разницу», барахтаюсь там, задыхаясь и постигая. Чтобы достать тело, нужны разные чины и специалисты, даже если легко: только руку протянуть, — так установлено. Мы взлетали на цыпочки, гнулись, скользили: хоть бы что-нибудь увидеть реальное — клочок плоти, ткани. Некоторые клялись: вот край платья, пятно. По чувству, лишь через полчаса явились пожарные. Вместе с ними хлынули откормленные, матерые ночные полицейские — особая порода. Тело забросило под самую середку: два вагона прошло... низкие оси, буфера, рессоры, брусья, сеть проводов, шпалы — не проползешь. Прежде всего, естественно, занялись нами, свидетелями. Я отрекомендовался врачом. «О, я не думаю, чтобы вы пригодились. Впрочем, я осведомлюсь». «Ayez pitié de moi!» — раздался вдруг такой близкий, беспомощный, исподний, загробный, потусторонне-сонный, слабый, женский, материнский, предсуще-знакомый голос. Все замерли от неожиданности, потом всполошились, нелепо побежали, спотыкаясь, мечась, подступая. Это бывает иногда с безнадежно ранеными: очнется и с минуту, словно вполне здесь (в противоположность средним увечьям). «Ayez pitié de moi!» — снова, так же освящая эти

грязные кафельные своды, донеслось, кажется, из-за спиц, колес, рельсов (неведомо откуда, неопределяемо, ибо невесомо, прозрачно-беззащитно рождались звуки). Пожарный в бутафорском шлеме полез было, пополз на корточках, на карачках, застучал, погремел примериваясь; старший нагнулся, поколдовал. Нет, решительно не спорилось: забыли (или случай особый), нужен еще один прибор. Контролеры, машинисты, уборщики, кассирши, служащие метро, слонялись (разбуженные ночью мухи) бледные, запуганные. Только пожарные и полицейские больше зря не суетились, солидно ждали инструмента, перекидываясь редкими замечаниями профессионалов-мастеров. Раз, воскресной летней ночью, в госпиталь привезли контуженного в драке. Случай банальный, требовал, однако, немедленного вмешательства. Я попросил сопровождавшего пьяную жертву полицейского мне помочь. Едва, после разных манипуляций, я вонзил иглу шприца в обнаженный мускул, как страж, огромный дядя, съедающий быка, пробормотав воркующим голосом несколько слов, кулем грохнулся на пол. «Я очень впечатлителен», — признался он потом, весь покрытый испариною. Теперь вот он ходит большими сапожищами, служит, распоряжается, а меня, если толкнуть, — упаду (колени, колени). Мы привыкли к разным постановкам смерти: я знаю ее в белых ширмах, с эфиром и неслышной сестрою. А ему доступнее эта, особая, железнодорожно-пожарно-судебная, где пятна в щелях, лужи, прилипшие к телу лоскутья, пряди волос неизвестного происхождения. Бесплотный голос давно уже смолк. Вот издалека: сапоги — по лестнице бегом. Несут, пятясь задом, аппарат. Кругом облегченно дрогнули, переместились. Сжатым воздухом поднимали вагон: шипел нагнетаемый газ, медленно всплывала тяжелая рама (чудилось, сейчас сорвется: воздух ведь). На путь подали узенькие носилки, устланные землистою парусиной; двое поползли с ними под оси. Мучительно, мнимо неловко (о, как медленно!). Они уже хлопочут над чем-то (податливое и неповоротливое, что трясется, будто студень). Вот, впервые для меня, за ободьями, брусками шевельнулся край чего-то: подол, платок... И вдруг: рука, человеческая рука, неповторимая. Бледная (у рожениц такие), мелкая, детски послушная, со взлизом жирной грязи. Она высунулась было, странно двинулась, сползла вниз и снова, описав дугу вверх, скрылась. Путь назад, позвякивание металлических частей: пряжек, колец, касок. Подняли носилки: один конец... другой — на площадку. За-

вернутая, подоткнутая парусиною, легкая, тоненькая. Только на мгновение; молния, след лица. Крохотное, землисто-меловое. Уже немолодая. Детская нежная кожа в пятнах. Спит, трудные роды (главное свершено); слабая, но ух как много осилившая, железо протиравшая. Тени ржавых, землистых лишаев, взлизы грязи, а лоб — знакомый. Ловко подняли, умело понесли, вильнули в дверях: коридор, лестницы и — главный выход на Place de la République, где нас ждала довольно многочисленная для этого часа сумрачная толпа обывателей. Ловко бросили носилки в машину, тронули в сторону St. Louis, молодцевато вскакивая на ходу с привычной горделивою четкостью движений, свойственной профессионалам (так опытная проститутка победоносно вихляет задом, ведя уже сговоренного клиента, хирург торжественно кладет последние изящные швы, взломщик лихо распахивает дверцы несгораемой кассы). Пустынен и задумчив проспект ночью (что-то гложет его сердце). Случайный попутчик, шлепая с той же быстротою, долго плетется рядом, медленно отставая (или обгоняя). Они бормочут, напевают, странные неудачники, фантомы. (В писсуарах оккультно шумит светильный газ, там классовые лозунги и порнографические рисунки, гильотина и разврат.) На скамьях, в нишах подъездов, смиренно почесываются спросонок бездомные — замерзли, оступились в камень, в тень. Рука, всё *та* рука предо мною! Чем, чем — знакома ли, напомнила важное? — чем она меня стегнула по глазам... (согреть бы дыханием!). И вдруг взрыв: «Она ведь мертвая, эта рука!» Противоречие: *такая* рука должна оставаться неподвижною, а она перемещалась (по чужой воле). Несоответствие поражало, коробило. Да, да. Бледная, грязная, нежная, слабая, что осиливала, что творила, держала, как грешила и каялась. Мать моя, дочь. А лицо — роженицы, истекающей кровью. В мешке, подоткнутая. И лоб (где я видел близко такой!). «Господь, прими эту душу. Прими и прости!» — повторил я уже грозно, с чувством бессилия, будто собираясь пальцем сверлить гранит: только лишь предполагая сопротивление (так в семейной жизни одна половина, подозревая, что вторая начинает сердиться, мгновенно тоже раздражается). «Нет, нет, нет, что мне наконец делать! — шарахался я, не желая попасть в старый, знакомый тупик. — Вот. Сначала. Помоги. Вот эту душу, которую я, не ведая, приял (будучи средним и ничем), ее утешь. Прости ей: за страх и горечь, за муку *разницы* (свииисссток) и мужество (ведь трезвая), согласилась, безгласная. И за эту молит-

ву. Отец, если дух мой что-нибудь пред Тобою, вот кидаю его на весы. Сделаю все положенное, все, что, помню, что подскажешь, любое приму (только не бормашину). Иисусе, укрепи мою молитву. Вот человек и неслыханный его земной путь (Тебе знакомо), он в жизни по-разному слонялся, едва-едва связал концы с концами. Господь, прими новую душу! Согрей, исцели. Прости, что бы ни было позади. Дай мне искупить долю ее грехов. Если надо, стану святыыым». Рука (детская, но рожавшей) опять зашевелилась, близко, покрытая крапом смерти, слабая, кроткая, со ржавыми взлизами (дыханием согреть!). «Далась тебе рука!» — и вдруг я, униженный, остановился, обмер, пораженный в самое сердце, опозоренный догадкою: «А будь это мужик, мужская?» — и, ошельмованный, прислонился к автоматическим беззвучно, малиново мигающим весам, косно стремясь внешним движением исчерпать внутреннюю сумятицу: пристыженный, потный, возмущенный (так беглого каторжника часто опознают в минуту его наивысшего торжества, по дороге в церковь с богатою, знатной невестою). «Что же это, Господь, даже помолиться нельзя без сексуальности!» — отчаянно, кичливо, с претензией возопил я, обманутый в лучшем порыве, осрамленный, спущенный вниз (коленом наддали). А когда уже не было ни сил, ни охоты продолжать этот диалог, наступила тишина, симметрия, не мира, а усталости. Туда, как в пустоту, устремились заштатные гении, разные шепоты и запахи, производя ответственные изменения. Быть может, важно не откуда исходит чувство — пусть из навоза, — а к чему ведет, толкает. И здесь я воистину оправдан, освящен. Неожиданно торжествующий, победителем, я продолжал путь, славя Творца, таинственным образом приобщаясь к Его могуществу. Иногда, кусая мысленно губы, подпрыгивал (или, наоборот, приседал), вспоминая, как возле меня кружил человек, целый день ждавший чуда (я легко *мог* бы его совершить). О некоторых других, предыдущих знакомцах: безработный, он неловко попытался ограбить ювелира (убил), потом двое суток бродил по городу без пристанища и, посидев на лавочке против освещенного кафе, вечером стрельнул себе в рот... как-то женщина шла в осенние сумерки спереди меня, с двумя детьми (один на руках, второй рядом ставил кукольные ножки). На ней были холщовые туфли, чулки, доверху мокрые, а вокруг — вселенная. Веселье, огненный (яростный) свет били в мою грудь. Больше не страшно, словно я знал уже, что делать, или чувствовал: скоро узнаю. «Промедление

смерти подобно». Казалось, решительное произошло или — близко. Так противный морской ветер становится попутным, когда меняешь галс. «Воспрянул, воспрянул, зря не истрепался, — шептал. — Осанна, осанна». И просил только, чтобы очередная поганая случайность (проклятие этой жизни) не подкралась вдруг и спутала (не впервые) все карты, отбросив за ту межу, когда снова, годами, мне придется отлеживаться, заткнув уши и ноздри, пока не приспособлюсь, залижу раны, обрету необходимое для действия равновесие. Меня несло по темной сети мелких переулков. С точки зрения энергетики я должен был смертельно устать (во всяком случае, больше, чем давеча), но уже давно я не испытывал такой легкости, силы и отваги (спешил, неразумно бежал в гору, кичась и забавно восторгаясь). Наверху пахнуло могилою, а с колокольни упало: «Напрасно люди спят... Я знаю, в чем истина»... втянув голову, я пронесся мимо, свернул на улицу с мертвыми лавками, где в конце — красный крест Бира. Быстро (так перелистывают устарелый учебник) скользнул по лестнице (на повороте — старуха с синими глазами. Сейчас до локтя голые руки! Лоренса!). Дверь в прихожую, общая с клопиною старушкой, — приотворена. Толкаю ее, преодолевая отвращение, касаюсь (однажды крыса, испугавшись фонарика, бежала впереди меня, зарылась туда, смятенно-свирепо пища, прячась в углы от лезвия света). И навстречу, слышу, переполошенный голос: «Не пугайтесь, пожалуйста, это я!..» Отпираю, впопыхах нащупываю кнопку (провалилась), щелкаю выключателем, а пальцы дрожат, как перед бедою. Спиноза, застенчиво мнется, потом, переступив порог, объясняет, заикаясь: «Я вас ждал. Дважды заходил. Поручение...» Мне начинает сдаваться, что я именно к нему так спешил сейчас, чуть ли не давно условились о встрече. «Жан?» — спрашиваю. «Жан Дут вернулся, — кивает Спиноза и старательно улыбается, подчеркивая это будто бы архирадостное для меня событие. — Он уже два дня здесь. Устраивается. Сделал важное открытие. Просит вас пожаловать обязательно завтра к 10 часам. Я побывал даже в нескольких... кафе», — Спиноза смутился. «Кто еще с ним приехал?» Спиноза с готовностью объяснил: «Там много разного люда, и цветные есть». — «А мальчика нет, Педро?..» — «Кажется: худой, узкогрудый». — «Послушайте, Спиноза, хотите выпить чаю? С ромом. Славный вы человек, Спиноза!» Позабытая буйная радость овладевает мною. Ощущение совсем иное, чем раньше: беспокойно, лихорадит (нет мира) хочется двигаться,

хлопотать, тягаться. «Чудесно, как я рад вас видеть! Вы меня подозреваете, знаю, знаю, а между тем я вас очень люблю». Я озорно улыбаюсь молчаливому Спинозе, хлопаю его по плечу, заговорщицки подмигиваю, тормошу, пытаюсь накормить, напоить, уделить хоть долю своего возбуждения. Наливаю остатки рома, показываю книгу Ангела Силезского (упрашиваю взять на память). Спиноза отказывается: от рома, от дара... изредка трет себе рукою виски, словно оттоняя боль или норовя вспомнить нечто. Я знаю, ему трепанировали череп в Мексике: расстреляли за участие в коммунистическом бунте. Чудом спасся, раненный в голову, уполз. Из евреев, он два года провел во французском монастыре, был Римом рукоположен в священники. Я чувствую такой прилив любви, что, не церемонясь, спрашиваю: «Скажите, вы родственник того Спинозы, философа? Давно уже собираюсь...» Он застенчиво улыбается (трогательно видеть эту детскую черту на таком серьезном, тысячелетнем лице), отвечает: «Ничего общего. Если угодно, могу объяснить...» — опускает, прячет глаза: вероятно, ему часто, при различных обстоятельствах, с противоположными побуждениями приходилось об этом рассказывать. Поднимает их (успев потушить какую-то искру): большие, слегка выпуклые, обреченные, не отражающие света благодаря густым длинным туберкулезным ресницам. «Мои предки все — раввины. Пращур был отцом двойни: братья-близнецы, против ожидания, ни в чем не схожие. Когда они приступили к изучению особой книги, начинавшейся приблизительно так: «А теперь займемся грядущим после конца времен...» один из мальчиков обомлел от страха. Пращур хотел тут же прекратить урок, но второй решительно заявил, что желал бы не мешкая продолжать (это очень не понравилось старику). Вот последний, мой прадед, благодаря странному обстоятельству и был переименован в Спинозу. Он занял место раввина в соседнем городке. Несмотря на огромную эрудицию и примерную жизнь, в округе его боялись и сторонились. А брат-близнец, господствовавший в роде, прозвал даже — Черным и ненавидел. Однажды, когда в годовщину смерти Черный, по преданию, посетил гробницу отца, где молился усердно, а затем наведался к старшему, последний его встретил такими словами: «Ты был у отца, а отец был здесь, он тебя не простил и я тебя не прощаю»... Шла ли меж ними распря или тайные причины — Бог ведает. Скоро поползли слухи, что Черный беседует с христианскими священниками, его встретили ночью в городе, у ворот дома епископа, на-

шлись свидетели, утверждавшие: крестился. Чернь ворвалась в комнаты, перерыла все. Обнаружили сундук с книгами, на языке неизвестном, но самая внешность коих выдавала церковно-христианское происхождение. Прадеда повели за черту и начали побивать камнями. Знатный барин, случайно проезжая в коляске, услышал крики. Он задержался на минуту, послал форейтора и спас еретика. Будучи человеком просвещенным и не без фантазии, он решил назвать осужденного Спинозою. Оттуда и пошло. Прадеда с семьею увезли, кажется, в Вену. Однако вскоре его жена с пятилетним сыном вернулась: последний дал жизнь моему отцу», — улыбаясь объяснил Спиноза. «А про первого Спинозу вы ничего больше не знаете?» — вопросил я. Он ждал этот вопрос. По оливковому лицу метнулась тень, тотчас же скрылась, подавленная в зародыше (словно зевок). «Официально его больше никто не видел. Только есть легенда, — он глянул искоса, нерешительно, проверяя мое отношение к легендам. — Много лет спустя, когда большая часть тех людей отошла уже к патриархам, старшине-близнецу в канун большого праздника доложили про нищего, который просит о — еде и ночлеге. Этого странника брат принял с величайшим рвением, уступил ему свое место (что у нас не в обычае), усердно потчевал, назавтра ввел в синагогу со всем почетом, установленным для людей, богатых золотом или знанием. А наутро, что еще поразительнее, он во главе семьи пошел провожать бродягу и до городской черты нес его заплечный мешок. Старцы будто бы узнали в страннике того, Черного... и шептались по углам. Некоторое время спустя, когда брат умер и место царствующего в роде занял его великовозрастный седой сын, последний однажды с утра отдал приказание: «Готовьте праздничный обед, вытопите баню, кто бы меня сегодня ни спросил, ведите тотчас же сюда и не мешайте нашей беседе». Вот в полдень странник бодро подошел к крыльцу, хмуря ласковые глаза. Его встретили, точно принца, угощали. Беседовали, запершись. Проводили до рогатки и долго стояли, глазели: вот уменьшается, непоколебимо тает в неведомой дали, куда ленточкою вьется серое шоссе. «Это Черный, — шептали будто бы снова старцы, узнав его. Все!» — Спиноза смущенно поглядел, неожиданно улыбнулся и перевел дыхание. «Доночуйте, милый, здесь! — предложил я. — Это легко устроить. Уже поздно. Я так рад», — убеждал я, уверенный, что откажется, и осчастливленный его мгновенным согласием. Мы улеглись рядом на полу (подушка одна, кровать узкая).

Из темноты в закрытые глаза скользил знакомый неведомый странник. Вот он, подпоясанный веревкою. Ах, как хорошо. На повороте останавливается, оборачивается, улыбаясь (как мне тот, на скамье), а старцы у рогатки глотают светлые слезы. Эта история мне что-то напомнила, тронула те же, уже задетые места. Боясь шелохнуться, долго тягался с памятью, пока набрел: Святой Сергий и Стефан Пермский... поклонились друг другу на расстоянии девяти верст (с тех пор в Лавре укоренился обычай после третьей перемены еды вставать и отвешивать низкий поклон). Рядом, трогательно доверившись, Спиноза: на одной подушке наши головы, и не брезгаю, не гнушаюсь... как в детстве (когда все — одна семья).

2

Проснулись мы почти одновременно, рано. Вместе вышли. Я знал, что мое нетерпение будет только расти, в одиночестве достигнет гиблых размеров, и потому цеплялся за Спинозу, которому порядком надоел: он вспомнил про неотложное дело и скрылся (а может, правда: свидание). Собственно, я не верил, что сейчас (да хоть когда-нибудь) увижу Лоренсу. А Жан двоился. То мне казалось: иду на свидание с другом, братом, учителем, которому обязан всем (даже теперешним, вчерашним, своим внезапным пробуждением, воскресением к реальной жизни); то вдруг — по-летнему небу туча — я темнел, хмурился, коченел, стараясь подыскать слова вражды и средства мести. «Потребую объяснения, скажу все, что думаю, и не удовлетворюсь туманными намеками». Я надувал щеки, выпячивал грудь, но скоро забывал продолжение, менял направление мыслей, точно ложась на другой галс. «Вокзал, меня ранивший еще в детстве. Кто виноват... Цветные подвижные фонари, голос рока, разлуки, мертвецкая и профиль Лоренсы (стянуты волосы), Жан сверяет часы в окне уплывающего экспресса, его плечи слишком широки (новое пальто), заслоняют многое. Я не люблю широкоплечих. С ними у меня особый разговор. Скажу ему... Лик Лоренсы, лоб матери, профиль сестры на обоях (войны, революции). Брось чудак, кто виноват... Жан, Жан, не женщина станет меж нами, еще раз (быть может, последний) я иду за тобою». С этим я приближался солнечным утром к знакомому сумрачному подъезду. А там «лучистый» квадратный дворик; открыл широко рот — подобие поклона — на уровне окна консьержа. Он

износился за это время: обрюзг, полинял, словно вывалялся в муке. На площадке: «Да хватит ли у меня сил взглянуть на Лоренсу, ведь сейчас...» Я повернул, решив спуститься побродить, собраться с духом, сообразить, но внезапно дверь щелкнула, стремительно распахнулась, и на пороге: выбритый, загорелый (вождь после колониальной кампании), с тяжелым бычьим затылком, много изменившийся — Жан Дут! «Войди, — сказал он хрипловатым голосом. — Сюда». Сперва затворил дверь, потом взял мою руку: «Ты собирался бежать?» — «Я думал Лоренса, не знаю!» — начал я оправдываться. «Лоренсы нет», — пояснил он тихо и обнял меня. В обширном пресловутом кабинете собралась уже вся компания, резко выделялось несколько экзотических чужих лиц. «Подойди, я тебя представлю жене», — приказал Жан. Навстречу поднялась желтая крохотная женщина с приплюснутым носиком и раскосыми глазками. Грациозно протянув игрушечную бескостную ручку, она произнесла фарфоровым голосом: «Мадлон!» Жан чего-то ждал, действуя как гидравлический пресс на меня: я склонился и поцеловал смешные, резиновые пальцы. Снова меня подтолкнули, и вот черно-багровое косматое существо — негр, папуас, австралиец, караиб? — нечто обезьянообразное, вдруг шагнуло вперед, качаясь, плывя на сильных, но каких-то несуразных, согнутых коленках, волоча по полу штанины. Одной рукою вынимая изо рта дымящуюся трубку, улыбаясь, — должно быть, светски, — он протянул мне другую: очень горячую и волосатую, со сползающей льдиною белокрахмальной манжеты. «Бам-Бук», — отрекомендовал его Жан. Медленно отступая, пятясь, он терпеливо проделал в обратном порядке те же движения и наконец опустился в кресло. Но мимо, я смотрел уже мимо, одурманенный знакомым овалом возмужалого лица с мальчишеским ежиком волос. «Педро», — плачуще воззвал я, раскрывая объятия. Он встал, красивый юноша, явно хворый (а в краях губ и глаз отражение Лоренсы: вопрос, ожидание и одновременно столько доверия). «Педро!..» Он виновато помялся, но молчал. «Не узнает, — объяснил Жан. — У тебя на носу сажа, что ли», — и повернул мое лицо: в упор к себе. Через минуту, вздохнув, отвел глаза, рассеянно бросил: «Не сердись, ведь он был ребенком, да и то в припадке». Меня обступили друзья — те же. Иных я уже не встречал годы (Липен, Савич), с этими недавно беседовал (Спиноза, Свифтсон). Но как все изменились, сдали. Самое ужасное происходило с Чаем и Дингвалем. Их время отмечало особым клеймом: стран-

ное дело, не видать морщин или седых волос, а хочется стенать от жалости. Один Савич чудом избег общей участи (разве что нос еще набух, отвис). Я устроился на диване, рядом с Липеном (Германия моего детства, он посерел, раздался в плечах, лицо широкое — старший брат того). Перед нами, посередине тяжелого стола, возвышалась стеклянная банка, наполненная, вероятно, спиртом: в ней, слегка на боку, покоилось человеческое сердце. Я видал разные препарированные части, дюжинами, в музее анатомо-патологической медицины, но с первого взгляда на это хрупкое — детское или женское — сердце во мне что-то оборвалось, мучительно заныло в крови. «Друзья, — раздался зычный, торжественный клич Жана. Он стоял в центре комнаты, расставив ноги, как на палубе судна, крайне взволнованный (не подозревая того). — Десятилетия я жду этого дня. Он был продуман до всех мелочей. Однако главного я предвидеть не мог! — Жан указал на сердце в банке. — Вот между нами сердце отныне, точно радуга между Иеговою и патриархом. В эту минуту завершения систематического каторжного и вдохновенного труда хочется засвидетельствовать любовь и верность Богу — Отцу, нашему Творцу, Сыну Христу, чьим именем дано спастить, и Духу Святому, питающему все благодатью. Будем просить и о дальнейшем соприсутствии всей Троицы, ибо, как вы догадываетесь, вероятно, конец моего личного дела является только серединою нашего, большего. Отче наш иже еси...» — в другой тональности продолжал он. Мы поднялись и все подхватили, хором скандируя слова молитвы (Мадлон и Бам-Бук судорожно перекрестились слева направо). Изредка чей-нибудь голос, словно споткнувшись, звякал и выпирал из хора на какой-нибудь фразе. (Да святится имя Твое: Савич; да приидет Царствие Твое: Жан; хлеб наш насущный: Спиноза; и остави нам долги наша: Свифтсон). В наступившее затем райское благоухание мира (где осязаемо реяли силы небесные) вдруг вкрались звуки, похожие на заглушаемый рев: то Бам-Бук, держа сверкающий платок у лица, осклабясь, не то рыдал, не то смеялся от блаженства. «Братья дорогие, — опять торжественно обратился к нам Жан. — Как вы знаете, два с половиною года тому назад я уехал отсюда в бруссу, чтобы продолжать экспериментальную работу. Мы жили в тропическом лесу среди обезьяноподобных людей и человекообразных обезьян. Жена моя заболела и вскоре умерла. Я решил: пусть сердце Лоренсы останется, оно мне поможет в поисках... и вырезал его. При

помощи малокалиберной каучуковой трубки я подавал через отверстие аорты питательный раствор Рингера-Локкэ: сердце продолжало пульсировать. Оно имеет автономные центры, вам это известно, тут нет даже подобия чуда. Оно билось долгие месяцы у самого изголовья: спал ли я, работал — всегда рядом, вместе. Даже уезжая, никогда не переставал я мысленно следить за его жизнью, участвовать в ней. Оно мягко, обнадеживая, сжималось за стеклом: 20, 30 ударов в минуту, иногда ускоряя, то совсем замедляя: похоже было на то, что многое, кроме усовершенствованного состава Рингера-Локкэ, влияло на его систолы. Как ни странно, сердце утешало меня. Оно учило, вразумляло, толкая вперед, — опять сначала, не сдаваться! Подсказывало неуловимую тайну, любовно, всепрощающе мигая в дикой ночи. А работа не спорилась: планы, казалось безошибочные, не оправдали себя. Я чувствовал: разбит на этом пути, но отказаться от первых предпосылок не мог. Выдохся. Увлекся охотою, прогулками по неисследованным трущобам и руслам исчезнувших рек. Пропадал надолго из дому: пришлось выписать из Аннама хозяйку. Она оказалась с некоторыми способностями. Тропики. Лес, болота. Скоро Мадлон стала моей женою или вроде того. А между тем я давно уже замечал: слабее, тише бьется сердце Лоренсы. Мадлон делала все, что надо, все, как я, даже аккуратнее. Правда, Мадлон?.. Я помыл орган, изменил систему питания: опустил, окунул целиком в раствор, меняя его регулярно... но не помогло. Однажды, вернувшись из леса, я нашел его уже вторично мертвым. А ведь с некоторого времени опека стала лучше, тщательнее: мне лично за думами и мечтами случалось забывать, пропускать сроки, я мог неделю просидеть не шевелясь, глядя на мигающее сердце. Тогда я сообразил: да ведь это научно поставленный опыт. Если только Рингер-Локкэ поддерживал сердце, то почему оно сдало именно к тому времени, когда уход стал регулярным... Что изменилось в обстановке... Больше не было: ночного бдения перед вечным другом, дней, в течение которых я, без слез, неотрывно следил за его ликом, сурово и нежно улыбаясь; а если отлучался, то и это не мешало мысленно продолжать участвовать в его жизни (каждая моя систола твердила о Лоренсе, принадлежала ей, потому что я воистину любил). Значит: сердце билось не от раствора солей англичан (или капли внутренней секреции желез, что я добавил), а благодаря любви. Трепетание одного сердца подталкивало другое, делало его существование необходимым, душа бдила за двоих, мой ритм переда-

вался туда: пульсации крепли вместе с моей нежностью, слабели, когда я удалялся. Я не смог бы ее сохранить для полной жизни: моя любовь недостаточно велика (согласился же я ее потерять!). Даже щепоть любви, на которую я был способен, и та начала испаряться: тогда сердце совсем остановилось (несмотря на Рингер-Локкэ и чиновничью аккуратность Мадлон). Итак: если бы вся земля, два миллиарда существ, любили Лоренсу, она бы не умерла! Если бы моя тощая привязанность длилась, сердце пульсировало бы доныне. Друзья и братья, мой опыт важен тем, что впервые демонстрирует объективным, научно-экспериментальным путем биологическую ценность любви. Борьба за бессмертие превратилась отныне в борьбу за «миллиардную» любовь. Когда мир полюбит Жана с такою силою, что сумеет беспрерывно пребывать в нем, когда мы все одновременно так же обратимся к Мадлон, то никто из нас уже больше не окоченеет. Сия тайна открывалась издавна в других символах многим. Свифтсон говорил о подобном, заблуждаясь однако в средствах: испокон веков одиночки копались, достигая личного удовлетворения, но мало в чем меняя целое. Как же выполнить задачу... В течение данного отрезка времени зажечь всех! Я испробовал метод «обратимости», который мне оказывал услуги при других, менее важных обстоятельствах. Если у человека под влиянием любви повышается жизненный тонус, учащается пульс, ускоряются ритмы (порыв), выделяются обильнее секреции, (дыхание, вазомоторы и пр.), то, вызвав искусственным путем подобные же: пульс, дыхание, секреции... не начнет ли объект испытывать восторга любви? Все перечисленные выше симптомы в значительной мере являются следствием пропорционально-острого раздражения симпатикотонической системы. И действительно, раздражая ее особыми возбудителями, я добрался к намеченной цели: все мои объекты начали попадать в самый центр религиозного циклона, евангельской всепобеждающей любви (когда море действительно по колено). Оставалось только усовершенствовать мое изобретение, найти удобный и верный способ такого же безошибочного воздействия на расстоянии и в крупном масштабе (миллионы должны подвергнуться цельной обработке, преображаясь). Я не стану упоминать о разных фазах моего откровения, тяжбы с материей: как всегда, это плотная амальгама страстного напора и жульничества, расчета и случайности. Вот он, вот перед вами!» — Жан Дут обернулся, отступил в угол, где стояло нечто, накрытое черной тканью (подоб-

но старинным фотографическим аппаратам), и ловким движением, как престидижитатор, он сбросил траурное сукно, открыв нашему взору систему колб (рентгеновских ампул) с экраном: провода вились кругом. Педро, Бам-Бук и Мадлон помогали ему, хлопотливо разбирая шнуры (звякали и серебристо блестели крохотные таинственные пластинки). Они выкатили легкий аппарат на середину комнаты, Жан шепотом отдал на незнакомом языке распоряжение: прибор подтолкнули ближе к окну. «Друзья и ученики! — снова начал Жан. — Я включу эту лампу. Она горит невидимым светом, а лучи ее могущественны. Их имя — Омега, если хотите, лучи любви или жизни. Все, что попадает в зону их действия хоть на 30 секунд, подвергается чудесному влиянию, претерпевает райское изменение. Я могу уже строить жерла с радиусом досягаемости в 10 километров. Но и это не предел. На плоскогорье Индокитая, в области диких Мойев, я однажды добился результатов, о коих лучше пока умолчать, ибо разум этого еще не приемлет. Мужи и братья! У нас будет много таких ламп. Поглядите же, как они действуют! — и он нагнулся к рычагам. — Ступайте сюда!» — вдруг жестко приказал он, указывая место за щитом. «Послушайте, — крикнул Свифтсон. — А эти лучи не могут нас задеть?» Жан подтвердил догадку: «Разумеется. Вы должны стать за экран. Вот панцири и шлемы! — он швырнул нам груду изумительно легкой одежды. — Это шелковистая древесная пробочная ткань, обведенная особой смолой. Заметьте себе: достаточно любого контакта с так называемыми хорошими проводниками (металлы), чтобы свести защитную роль этого вещества к нулю». Мы все облачились в легкие саваны и стали под прикрытие. «Готово? — несколько гортанных слов к Мадлон. — Глядите! — возобновил Жан. — Вы его знаете. Вон там внизу. Это консьерж. Годами мы исходили кровью, но напрасно. По мнению Свифтсона, должно терпеть. В крайнем случае вечность обойдется без него. Но сегодня наш праздник. Ныне силы небесные невидимо служат с нами». Во дворе у крана шевелилась знакомая туша консьержа (я видел только его багровый затылок). В это время, с улицы, проскользнула внутрь шершавая согбенная фигура нищего. Без проволочек он достал из-за пазухи фагот, приставил ко рту, вверх, как шкалик, и дунул в него. Консьерж обернулся: яростное лицо (не доносит слова)... Музыкант боком, точно краб, пополз к выходу, а консьерж продолжал выбрасывать во все концы свои подобные клешням руки. «А!» — гакнул, словно занося топор, Жан,

трогая пальцами, перебирая кнопки: послышалось легкое (отдаленное) пощелкивание, будто треск цикады или кузнечика. «Есть, есть, есть», — жестоко оскалив зубы, он водил чем-то, похожим на дуло или рупор, целясь вниз. Было по-настоящему страшно (хотелось зажмуриться, отступить). Вдруг, нельзя определить что, — но мы поняли: свершилось. И лишь затем консьерж дрогнул, выпрямился, подскочил (как в балете). Лицо его, издавна скотское, плотоядно-равнодушное (ножки и кошельки), ожило, бледная радостная усмешка преобразила губы. Стройный, помолодевший, с каким-то лучистым нимбом вокруг тела, сияя, весь похожий на столб, сноп света, он, кланяясь, приближается к нищему, простирает свои объятия. Тот сначала испуганно слушает, потом, сам очарованный, подается вперед, ответно приникает. Вот — откуда подвижность! — консьерж вихрем кружится по двору, уносится в дом, выбегает с табуретами, кульками. Он приглашает гостя сесть, ставит вино, хлеб, сыр, подает воду для мытья и, опустившись на колена, тряпкою счищает грязь с его худых кораблей-башмаков. Но, заметив прорехи, срывает теплые, мягкие туфли с собственных ног и начинает переобувать бездомного, улыбаясь, блаженно всхлипывая. В окне появляется сонное, опухшее лицо жены: вот багровеет, еще больше разбухает, собираясь взорваться... но Жан опять завел трубку. Треск кузнечика — миг. Консьержка птицей, взмахнув руками, выпорхнула. Низко кланяется мужу, о чем-то просит, зовет внутрь, спешит достать с подоконника вязаные носки и шарф, одевает нищего. Потом убегает, возвращается с мисками, кастрюлями, чайником: наливает, радостно потчует гостя, заливаясь слезами, изнемогая от непривычного блаженства. Нечто райски-библейское в этих дарах, истовых поклонах и больших блюдах с варевом. Нищий подкрепляется, затем берет свой инструмент, и знакомая песенка, с детства или еще раньше, до утробы, простая, как солнечный свет, вдруг озаряет стены. «Жан, — кричу я. — Дорогу. Я иду к ним. Жан, друг мой. Да понимаешь ли ты!» — «Выключите линию! стой! стой!» — гаркнул Жан и, поймав меня за фалду хламиды, потащил назад. Кругом царило дикое ликование. Сквозь туман (в глазах слезы) вижу, как все мечутся по комнате, восторженно тормошат друг друга, пляшут и верещат. Спиноза обнимает негра с Ямайки, Чай, взяв за руки Липена и Педро, скачет с ними через стол, Савич рыдает, уткнувшись в грудь Свифтсону, а последний рвет на себе ворот, делая горлом глотательные движения. «Хочу

немедленно, пустите, я счастлив!» — звонко воплю. Но меня отбрасывают в угол, я падаю навзничь и где-то сверху, на покачнувшемся книжном шкафу, замечаю сцепившихся Бам-Бука с Мадлон. «Что они могут делать в такой позе?» — загадываю. Чьи-то руки, должно быть Жана, протягиваются к ним, хватают за плечи и встряхивают: головы лениво поворачиваются, и лица у обоих, как при наркозе. Теряю на миг сознание. «Еще. Дайте pylocarphie!» — слышу возглас Жана и открываю глаза. «Очнулся!» — радуется, а я улыбаюсь: мне нравится его беспокойство. «Ты что, как»,— заботливо пристает. «Жан, Жан, — могу я только выдохнуть. — Не надо шприца. Я только счастлив», — и бодро поднимаюсь. Споткнувшись о Педро, целую его (беспутно, в самые губы), за ним Спиноза, Савич, остальные: вхлипывают, мудро кивают мне. «А я решил, что ты хлебнул лучей! — признался наконец Жан. — Погиб для нас». — «Друзья и соратники! — снова воззвал Жан, заняв свое место в центре (я заметил: Бам-Бука и Мадлон уже не было в комнате). — Бойцы! Знайте, от нас требуют величайшую жертву. Мы, какая логичная нелепость, должны исключить себя пока из этого блаженства. Сперва окружим, втянем, вовлечем мир целиком, приведем его к святости любви. И лишь в конце сами примкнем. Впрочем, неизвестно, быть может, двое или трое из нас лишатся навеки счастья, дежуря поочередно, трезвые, у рычагов: заряжая души, по мере надобности возобновляя запасы. Устойчивость влияния лучей еще не проверена. Стисните зубы, прочь соблазн! Знаю, обидно: мы, посвятившие себя бессмертному делу, должны оказаться вне его. Но в этом своя диалектика. Ибо всякий поддавшийся лучам Омега уже не способен продолжать скучную, методичную работу управления. Зоркие, мы должны сохранить холод и даже бездушие среди горения и нежности прочих. Преодолеть искушение, быть жертвою, отдать собственную суть. Это трудно, герои! Особенно для вас, с детства пьяные и влюбленные. Опасности подстерегают каждого. Но когда это Бог любил слабых духом, и разве, не претерпевши до конца, спасаешься! Мы построим батареи ламп. Кроме того, я научился закупоривать эманации моих лучей в портативные ампулки, микроскопические шарики, которые я затем навинчиваю под пуговицы, пряжки, брелоки. С такою пуговицею на борту пиджака достаточно вам дважды пройти мимо любого, чтобы его преобразить. Пища, подвергнутая воздействию моих волн, сама становится источником той же энергии, аккумулируя ее живительные свойства наподо-

бие витаминов. Мы окружим земной шар, с вышек и аэропланов озарим всю его атмосферу. Желаете вы этого?» — так заключил Жан. «Я этого жажду! — торжественно выступил вперед Спиноза; нечто гимназическое появилось в его облике (и даже голосом — школьник). — Мы поспешим в Испанию. Скоро. Завтра же». Я перебил: «В Россию, в Россию. Прежде всего. Осветим Кремль. Села. Расположим лампы на границе, так что всякий, подступивший к ней, захлебнется в любви». Сквозь зубы, видимо терзаясь, Чай молил: «Азию надо. Китай, Индия, полчеловечества, мы обольем ее, умоем лучами Омега, сразу превратим в огромный резервуар вселенской любви. Так легко. Она только этого и жаждет». А Дингваль хлопотал за черных братьев: «Вы не знаете, как они страдают в этом чужом мире», — стенал он. «И не стыдно! — покрыл все капитанский голос Жана. — Для этого я вас избрал и посвятил...» Мы смущенно опустили головы, невнятное бормоча и оправдываясь. Только один Савич вдруг выпрямился и, как всегда косноязычно, брякнул: «Блевать я хотел на Россию!» — лицо его сияло от нечеловеческого напряжения. «На улицу Будущего! — опомнился я. — Клянусь. И в госпиталя...» «Тише, — прикрикнул Жан. — Вы, Свифтсон, что скажете, дружище?» Лишь тогда мы вспомнили про Свифтсона и обернулись: он стоял у окна, слегка на отлете, и молчал. «Приму ли я участие... — тихо, волнуясь, взвешивая каждое слово, начал он. — Не знаю еще, хотя понимаю ваши чувства вполне. Во всяком случае, осторожность и честность рекомендуют производить испытание не сразу в планетарных масштабах. Должно проверить себя раньше на многих мелочах, прежде чем приступать к коренным преобразованиям. Вот моя настоятельная просьба». Жан улыбнулся: «Другими словами, вы бы не хотели рисковать судьбою Британской империи...» «Я не совсем это имел в виду», — вежливо, но твердо возразил тот.

3

Было решено, что двое из нас поедут в страну, превращенную благодаря насилию и безумию в сплошную крепость или тюрьму. Жан и я отправились за визами (мы лишь потом сообразили, что можно обойтись без них). Вооружились. Одна из жилетных пуговиц каждого содержала по крохотной трубочке с эманациями лучей Омега. Эта ладанка могла насвечивать (через свой игольча-

тый, свободный от изоляции проход) только под особым углом, радиус ее действия был, разумеется, значительно меньше, чем у *лампы*. К тому же ампулки эти скоро выдыхались (приходилось наново заряжать). Посольство... Мгновение — и вот уже нас ликующе ведут в кабинет к нужному чиновнику. Пока Жан объяснял сущность дела, я занял позицию, тщательно нащупывая шею в крахмальном воротничке: казенная улыбка на сволочном лице чиновника проваливается. Нечто ангельское, молодое, беззаветное озаряет его: светлеет и смеется, слезы блаженства сияют в глазах. «Охотно, если это нужно», — решает. Просит нас сесть, отдохнуть, предлагает вина и бисквиты, отдает распоряжение. Его оживление передается другим, через минуту приносят все необходимое... и он тут же выписывает бумаги, клеит фотографии, ставит штемпель. В кабинет без стука заглянул, как мы позже узнали, секретарь. Чиновник кликнул его, торжественно представил нас, словно давно жданных, именитых, — сказал о просьбе и что рад ее удовлетворить. «Вы...» — секретарь больше не успел ничего произнести: взятый с двух концов, только восторженно икнул, стрельнул, волнообразно, как змея, к окну и стремглав вылетел, делая руками движения наподобие крыльев, — вроде василиска. Он исчез за карнизом, и только вскоре донесся вверх рев и топот многих. «Переборщили, переборщили», — раздраженно повторял Жан. Захватив паспорта, мы вышли. На перекрестке посередине мостовой, окруженный стекающимся людом, покоился секретарь посольства (о таинственной гибели его писали потом разный вздор). Он был мертв и прекрасен: тело преобразилось, став легким, емким, широко-плоским, — словно раздулись полые кости. Ажан благоговейно ощупывал его лопатки, утверждая, что видел издали: летит человек. «Это ничего, это вздор! — убежденно успокаивал всех подбежавший вслед за нами чиновник. — Разве вы еще не знаете...» И, стуча себе кулаками по груди, ликуя и томясь, он уверял присутствующих, что всю жизнь смутно поджидал этого дня, сейчас все новое, а смерти нет!

Потом мы завернули в большой ювелирный магазин, — попросили денег. Улыбаясь, хозяин нам отдал все наличные, предлагая также камешки, жемчуга. Мы взяли по изумруду. «Возьмите еще, — уговаривал он. — Вы молоды, пред вами жизнь и полезная деятельность во славу земли...» — он выбежал на порог и начал раздавать случайным прохожим — кольца, браслеты, бусы. А мы застыли в окне с судорожными лицами, как наводчики у орудий

(когда уже заряжают картечью). Те, что попадали в зону нашего огня, неизменно отказывались брать драгоценности: всплеснув руками, они тотчас же срывались, поворачивали, спешили куда-то, ликуя и зовя.

В условленное время Жан и я подъехали к бирже, где нас ждали все остальные. Гуськом поднялись по каменным ступеням в исполинский зал и, развернувшись, открыли канонаду. Клерки, переписчицы, комиссионеры, агенты, — всё толще, всё крупнее — директора, банкиры, акционеры, — все заметались, прыгая, корчась, как в обданном пламенем или кислотою муравейнике. Они выползали отовсюду, тугой кишкою забивая все двери, теснились на террасы крыльца, скатывались на мостовую. Мы гнали их — в упор. Из прилегающих кругом контор и частных банков высыпали группы зараженных тем же чувством дельцов, маклеров, клиентов. Разорвав на себе одежды, неся в руках ветви каштана, банкиры пели «Аллилуйя» на мотив «Интернационала», члены правления выкрикивали строфы Откровения. Потрясая векселями, купонами, девизами, все они каялись перед встречными, неумело плача и любовно радуясь; вихрем очищали квартал, подбирая, унося нищих и калек, кланяясь сирым и слабым. На всю биржу остался только один служащий; его сердце не выдержало восторга и порвалось: большая ладонь придушила хрипло щелкающий без надобности ключ Морзе.

К трем часам я и Жан пробрались в Palais de Justice. Был серый день, в уголовном суде слушались банальные дела. Только один, маленький, юркий, с развратными прыщами от носа до затылка, обвинялся в убийстве (любовницы). Он отрицал свою причастность (сама застрелилась). «Я требую голову этого монстра», — заявил прокурор уверенно. «Готово, начинай», — приказал Жан. Вот подсудимый вскочил, он рвет на груди рубаху. «А, а, а, — плачет и, руками обняв голову, стучит ею об доску трибуны. — Что я наделал!» Вдруг поднимает лицо, улыбается. Оглядывает всех и смеется. Полицейские, стоящие по бокам, начинают тоже улыбаться. Смеются адвокаты, сторожа, присяжные. Судьи сдерживались дольше других, но, наконец, и они сдались: вот уже весь зал ликует и теснится вокруг обвиняемого. Куда девались его прыщи, похоть, вороватость, пронырливая, угрюмая озабоченность и жестокость... Кровь отхлынула, очистилась кожа. Лицо это прозрачно, безмерно печально и блаженно в святости своей. «Конечно — я убил! О, если бы смертью я мог искупить вину! Братья, а

ведь я был... уверяю, теперь непонятно! Что случилось со мною и когда именно. Что-то оборвалось. Медленно и нелепо. А между тем сейчас я снова чувствую необъятные силы. Постойте, дайте вспомнить...» «Сын мой, — перебил его председатель, тоже сразу помолодевший (глаза его мудро и любовно обвели присутствующих). — Стоит ли теперь говорить о прошлом, когда впереди еще уйма работы! — легко взбежав к подсудимому на возвышение, он обнял его, облобызал и, так держа, повел за собою; у порога обернулся: — Друзья, вы тут устройте все без меня. Признаться, мне не терпится, времени так мало». «Стойте, стойте! — крикнул прокурор. — Возлюбленные, о, если бы вы только знали...» Но его не слушали, устремились к выходу: присяжные, судьи, адвокаты, репортеры, дамы, перебивая друг друга, ликуя и взывая. Свидетель защиты, лысый, бритый холостяк, держа за фалды отставшего секретаря, молитвенно поверял ему тайну, а тот, жалостливо хмурясь, гладил его по плечу и клялся: «О, это поправимо. Я знаю, радуйтесь».

Под вечер мы шли мимо полицейского участка. Из окон подвала, забранных деревянными щитами, донесся свертывающий кровь стон изувеченного узника. «Сюда, Жан», — потребовал я. Стражи в форме городовых и с лицами ангелов, распахнули перед нами двери, отомкнули замки. Целебным ветром дохнуло в подземелье. «Пить, — простонал арестованный. — Раны горят». Он лежал в углу на рванном мешке (пол каменный, запятнанный кровью, со следами многочисленных отпечатков уродливых подошв). «Сейчас», — нежно склонился к нему Жан. Вот избитый, до сих пор только ерзавший на спине, встает, легко передвигается по камере. Вдруг он хватает себя за голову, удивленно озирается. «Нет, это невозможно!» — говорит, проникновенно улыбается: озаряет все. Сторожа падают на колена, в скорби тянутся к нему, ищут, обнимают, кланяются до земли, заливаясь слезами. Потом отечески берут на руки, несут, осторожно переставляя свои чудовищные сапоги. На лестнице один покачнулся, внезапно воспрянув словно на цыпочки. Он икнул и одеревенело, бревном, покатился. «Посмотри, — кивнул я Жану, указуя на нимб вокруг головы покойника. — Надо полагать, он уже в раю». Но Жан грозно, почти угрожающе закричал: «Имей в виду, что у тебя слишком большой процент осложнений. Учись индивидуализировать дозы. Сердце не привыкло к любви, особенно полицейское».

Вечером мы наведались в кафе, где играют в карты, кости, биллиард, жадно колупают в носу, грызут ногти и курят. Там, в за-

купоренном подвале, рядом с уборною, тянулся бесконечный бридж, меж разноплеменным людом всех возрастов (но с одинаково грустными, грязными, изможденными лицами: у каждого в прошлом осталась длинная отыгранная масть, на которую нет уже перехода). Оттуда неслось: «Как, у вас голая дама на руках и вы ждете. Режьте, режьте скорее». — «Атакуйте, — бодро приглашал старческий голос. — Мертвый, мертвый ходит». Я сказал Жану: «Вот режут голых дам, а мертвые ходят. Спустимся». И старцы поднялись в смятении. Посыпав головы пеплом папирос, проясненно всхлипывая, они устремились прочь, подвижные, как юноши, голосисто распевая гимны.

Ночью мы свернули в темную (несмотря на обилие цветных огней) улочку близ Réaumur-Sébastopol. Одолев прихожую (матовые стекла), попали в зал-ангар, устланный циновками, опоясанный зеркалами. Меж столиками семенили голые женщины: белотелые, смуглые, коричневые, цветные. Одни с выбритой растительностью, другие, наоборот, щеголяли пышными проборами в самых неподходящих местах. Некоторые догадались оставить на себе чулки: темные... чем выгодно отличались. Низкорослые носили туфельки на высоком каблуке. Иные, помельче, изображали детей: порхали с распущенными волосами, сверкая яркими пятками. Благодаря зеркалам помещение выглядело — безмерным; посетители: провинциалы, старцы, туристы с женами, ерзали, поднимали воротники, словно опасаясь сквозняка. В тепличной атмосфере с парами тягались ароматы сильных духов, покрывая всевозможные запахи. Голые подходили к столикам, присаживались, отпивали, обнимали мужей, отстраняли (иногда ласкали) жен. Румыны собирались вскладчину полюбоваться «фигурами любви», искали компаньонов. Прогуливалась невеста, обнаженная, в фате, желанная в своей чистоте. Наверху имелась специальная комната, убранная под «пульмановское» купе: за окном, на подвижном расписанном холсте, мелькал дорожный пейзаж свадебного путешествия. У кассы щелкнул звоночек, кассирша выдала билет и два полотенца, человек в макинтоше последовал за нагой (подобной таинственной птице, ядовитому цветку). Гуськом они поднялись по отлогой широкой лестнице. «Сюда, вдоль стен, — распорядился Жан. — Я дам знак: тогда начинать». Пламенем обдало эти пыльно-ковровые, раздушенно-потные своды. Вспыхнуло, сверкнуло, опалило: «Вы куплены дорогою ценою!» Кто-то вскричал, кто-то заплакал. Рухнул столик:

беззвучно рассыпался, словно картонный. Гарсон с подносом, уставленным цветными ликерами, скользнул, качаясь (будто — по канату), выпорхнул наружу. Шведы и арабы, англичане и японцы, одинаково стеная, прикрывали голых своими пиджаками, кланялись им в ноги, умоляя простить. А те рвали на себе крашеные локоны, молча катались по земле, обливаясь жгучими слезами, простирая вперед руки, подобные кружевам или цветам. Затем все устремлялись к дверям, одним вихрем уносились прочь, помогая друг другу. Сверху спускались, храня еще в углах рта братоубийство похоти, но глаза их — уже сияли. Помолодевшие бежали, запечатлевая навеки преображенные лица случайных компаньонов, прощая и любя. Растерзанный герой, бывший комбатант — под мышкою болтался рыжеметаллический остов искусственной руки, — полураздетый, вел даму в фате, принимая поздравления: оказавшийся в толпе пастор их обвенчал. В белом, взявшись за руки, они скрылись последние, счастливые, серьезные. Вся эта озаренная святостью армия бежала по ночному городу, увлекая встречных: жуликов, нищих, сутенеров, полицейских. Ибо скоро обнаружилась еще одна особенность лучей Омега. Согретые ими, в свою очередь начинали лучеиспускать (или так действовало общее ликование, сила жертвы и веры, мнимая беззащитность)... 50-летние детины поминали родителей, матери — выскребков, парни — обиженных девушек, фабриканты — служащих, рабочие — жен (возвращая им первую любовь), коммерсанты — покупателей, адвокаты — подзащитных конкурента, рекордсмены — отставших на ристалище. Торговцы покидали прилавки, чиновники канцелярии, солдаты казармы — разбегались волнующим табором, кротко славя ближних, простираясь ниц перед обездоленными, маясь и тоскуя при одном воспоминании о прошлом, зря утраченном времени, радуясь прозрению, торопясь вернуться по собственным следам, отыскать, встретить, — тех же, подобных ли, — и все наконец восстановить, исправить. Беззаботность большой, дружной семьи царила в сердцах. Никто не пытал себя: а дальше, затем... до того полным, перегруженным было настоящее мгновение, раздуваясь до границ вселенной. Где преломилась Омега, отверзались резервуары неистощимой, неиспользованной мощи, хлябями проливались на землю. Все плыли, точно в божественном облаке, неопалимой купине, в эдемском цветении ароматов, музыки и молитвы, походя щедро одаряя других мудростью и любовью (по чудесной, тайной энергетике, бла-

годаря этому удваивая еще свои силы). «Чада, чада мои, чада, — всхлипывала переполненная грудь. — Братик, брат мой, братец». Как общее правило, бросали старые занятия, семью, дом, покидали на время родные места. Но первоначальные: торопливость, смятение... вскоре пропадали, появлялась торжественная медлительность и полнота движений (свойственные зачавшим драгоценный плод). Избранники становились больше ростом, величественнее. Понятие возраста теряло современное значение: юны были многие, румяные деды и стойко-воздержанные отроки. На перекрестке мы видели однажды старца с белыми бровями, исцеляющего паралйзованного: после двух-трех минут любовной беседы, жадно впитывая мудрый взгляд, калека поднялся и зашагал впереди своего избавителя. Я поклялся перед отъездом побывать на улице Будущего: осветить каждый кубический сантиметр — она давно ждала этого. Клинику Бира мне удалось оцепить. Булочники, мясники, колбасницы, фруктовщицы, о, как славно вы бежали, бросая лотки! Впереди всех, уже не хромая, консьержка с молочницей, обнявшись... они что-то вещали, с лицами, потерявшими знакомую жадность питающихся трупами вампуков, сочетая нежность материнства и праведность девственности. Во время маневров Спиноза и Педро (они собирались в Испанию) осветили одну из действующих армий. Отряд, облаченный в сталь и свирепость, вдруг превратился в ликующий братающийся хоровод. Воины побросали ранцы и гранаты, каски и ружья, распрягли лошадей. Эскадрилья бомбовозов поднялась и, вместо стали, обдала пляшущих всей радугой полевых цветов. Танкисты вышли из машин. Враждующие генералы, сняв мундиры, плели венки из трав. Обнявшись, воодушевленные солдаты рассыпались по всем дорогам, выкрикивая счастливую весть, спеша чему-то немедленно положить конец (или начало), благотворя встречным. Наша подготовительная деятельность, отнюдь не организованная, хотя и проваливалась в опару столицы, все же обратила на себя внимание. Газеты, в это время года жадные до сенсаций, затрещали, слепо мечась, перевирая разрозненные факты. В палате был запрос, и Академии поручили выяснить подоплеку дела. Этою весною преобладала странная жара, перемежаясь часто с проливнями, несущими с собою бессчисленные пылинки (говорили, что ветром подняло и перебросило пески из Сахары). На юге выгорали леса. Коё-где, в сторону бельгийской границы, крестьяне кашляли, отплевывая мелкий окровавленный

песок. Естественным казалось связать эти разные явления, что профессора и совершили: объясняя наблюдавшиеся случаи отдельного или коллективного психоза злополучными заносами. Ученые общества издали несколько популярных брошюр (о влиянии мелких бронхов на центральную нервную систему). Психиатры обогатились еще одной разновидностью так называемого «счастливого» помешательства. Один из них, самый важный, закончил свой доклад следующим образом: «Итак, если бы мы не знали, что перед нами безумные, мы бы могли сказать, что это самые счастливые и достойные люди со времен грехопадения. Господа, вообразите себе жителей рая с каким-то полным знанием и мерою вещей, перенесенных в нашу современность, вот как ставится проблема». Мы присутствовали на этом диспуте, но Жан категорически запретил (как раньше в палате депутатов и в Сенате) пускать в ход — в таких местах, бессистемно! — лучи. За эти дни мы потеряли двух людей, не считая словно испарившегося (я его с того памятного утра больше не видал) Бам-Бука. Мадлон и «Германия моего детства», — то ли неосторожно сунувшись под сноп Омега-лучей, то ли рикошетом пронзенные, — скоро оказались для нас потерянными. Начальным симптомом служил обычно чрезмерный, легкомысленный оптимизм. «Задетый» разбивал ставший вдруг лишним аппарат, снимал изоляционную ткань, умоляя последовать его примеру: пойти сейчас же и слиться в соборной радости, в одном порыве с небесным сердцем человека... все так ясно теперь и ощутимо... немного раньше или позже (что время!), но это свершится, победа явна, разве можно еще сомневаться... Зачем жестокие ухищрения, сговоры, таинственные лампы, когда истина проста, осязаема и чудесна! «Идемте, идемте немедленно, будем, как те, счастливы Христовой благодатью, а там: небо уже позаботится о плане, о целом!» — звали они. Безоглядная щедрость и чувство превосходной мощи любви характеризовало это состояние. И — о соблазн! — послушайся мы ответного голоса, все бы, не колеблясь, сорвали панцири, пуговицы, и тотчас же шагнули на сретение: так близко дышало спасение. Но, ведомые властною рукою и памятуя весь предыдущий опыт, мы только смыкали поредевшие ряды, следуя за осунувшимся, магнетически-притягательным Жаном Дутом. Мадлон, запертая нами в квартире, пролезла через оконце уборной. Среди бела дня, на глазах у перетрусившей неопытной консьержки, спустилась по старинной водосточной трубе и ушла. Мы ее встретили потом еще

раз в больших магазинах. С песнями и цветами она вела группу молодых дам: продавщицы, заказчицы, швеи, побросав тряпки и манекены, пречистыми самаритянками потянулись за ней. Липен же выскочил на ходу из машины около площади Concorde. Он сорвал шлем и куртку. «За это счастье! За это счастье! Не могу больше! Чего ждать!» — крикнул он и пропал в тени дворцов. Кроме того, умножились случаи гибели: сердца атакуемых не выдерживали и сравнительно часто (1%) разрывались. В данной среде требовалась более тщательная дозировка: условия здесь были не те, что в тропиках. Следовало проверить эталон на подходящем опытном поле. За неимением лучшего, Жан избрал Венсенский парк. На рассвете мы подкрались к воротам зоологического сада. Поверх решетки глянуло злое седоусое лицо сторожа: через миг он уже отпирал ворота, кланяясь, простирая руки, как при евангельской встрече с блудными сыновьями. Было счастливое пробуждение. Роса умывала растения. Скалы, пески искусственных пустынь и гор искрились, переливали блестками под радужной кистью солнца, дыша и ворожа подлинными экзотическими снами (так кусок ткани, опущенный в питательную среду, продолжает жить свойственным ему образом). Птицы суетливо чистили гигантскими клювами оперение; рогатые пощипывали уже травку, хищники выползали из логовищ и брались за привычные развлечения: прогуливались, облегчались; белые медведи озорно топили друг друга в бассейне. Укротитель, венгерец (стальной взгляд и профиль — для монет), попробовал сопротивляться: секунд 40 продержался... вдруг стряхнул фуражку и ликующе побежал впереди нас. Он поднял решетку, отделяющую прогалину львов от львиц. Мы взяли их под контрольный огонь. Жан пустил маленькую лампу с портативным трансформатором. На этот зеленый луг, опоясанный с трех сторон каналом, через узкую лазейку, потянулись животные. Антилопы и медведи, страусы и кошки. Молодая жирафа, гребя шеей (с головою огромной улитки), проплыла; тигр, ягненок и буйволица стали в круг, дыша парным молоком. Лев кротко пощипывал листья, газель облизывала старую пантеру, медведь блаженно сопел в ноздри зебре, и волк оцепенел около удивленно выкатившего глаза барашка, — как на школьной фотографии: директор возле сторожа. «Жан, во имя Бога, я это знаю, стой! — завопили моим голосом. — Я это видел в передней, где пахло калошами «Треугольника»! Там еще мальчик в белом! Осанна!» — схватив лежавший на чемодане светлый

плащ, я перемахнул через межу и, обломав ветвь платана, присоединился к встретившим меня как старшего доверчиво расступившимся зверям. Я стал между тигром и антилопою. Подняв одной рукой зеленую ветвь, вторую положил на царственную голову льва. Волк, проницательно посмотрев мне в глаза, подошел и тихо улегся у ног. Сзади кто-то огромный мягкими губами, парно дыша, лизал полы плаща. «Скорее отставить. Выключите. Приготовить шприц!» — раздалась, наконец, команда Жана Дута, могущая тягаться с адским воем циклона. Прыгнув на поляну, он потащил меня прочь. «Не надо ламп, не надо расчетов, поверь. — отбивался я. — Пойдемте тотчас же, ах, с тиграми и козлятами пройдем по миру: они узнают и поймут. Это осязаемо. Все равно: раньше или позже (что время!) это постигнут. Теперь зримо: партия выиграна, судьба святой земли решена. Осанна, осанна!» — порывался я вперед, щупая себя, обираясь: грудь вот-вот развернет лава блаженства. Цепкие объятия. Осторожно и жестоко подняв, меня понесли... уложили в ближайшем доме, ибо отныне любой очаг мог быть родным, всякая семья — нашей. Я очнулся вечером: у изголовья дремал старик рабочий, заросший, с поднятым воротником пиджачка. Я его видел впервые, но знал: отец не мог бы меня больше щадить. К постели приблизилась хозяйка. Оттого ли, что склонилась, — ее лицо показалось огромным, колыбельно-доступным. В комнате появился Жан. Поглядел, точно на укушенного собакою (подозреваемой в бешенстве), с некоторыми предосторожностями исследовал меня. «Счастье, что ты завернулся в плащ, прежде чем прыгнуть, — решил он. — А какая-то бестия слизала с подола всю изоляционную массу, еще минута и капут»... «Уверяю тебя, Жан, я здоров. Это не лучи! *Это* началось раньше, давно! Я счастлив!» — но устало, знаком руки, он велел мне замолчать.

В ближайшее воскресение трудовая Франция чтила память коммунаров. Мы пошли на манифестацию (даже Свифтсон, верный свидетель, без аппарата следовал за нами по пятам). В этом году, по целому ряду причин, разные партии, в силу противоположных чувств, с грозной страстностью готовились к демонстрации (и контрдемонстрации) своих армий. Колонны построились на Place de la Nation — оттуда потянулись: мимо каре полиции, мимо спешенной кавалерии. В подворотнях и тупиках маячили могучие крупы оседланных лошадей. На задворках стояли дюжинами пустые грузовики, темные, пахнущие жандармами: если бы

не шоферы, попарно сидевшие у руля, их бы можно было счесть за брошенные на произвол судьбы. Преображенная толпа с религиозным подъемом выкрикивала свои песни. Оркестры смолкали и снова зачинали гимны, освященые веками подвижничества, (где залпы в грудь, унылый вой фабричных гудков, память о иной жизни и слава павшим). Несли портреты вождей и чучела врагов. Но разве дикая ругань по адресу последних и туповатые сволочные лица первых могли бы породить эти явственные круги: всеродства, праздника, жажды вечного, дружного соревнования в труде и в подвиге. Знамена, транспаранты, лозунги. Надбавка, столько-то рабочих часов, платные отпуска, контроль синдикатов. Консьержи требовали введения особых замков (чтобы их не будили поминутно). Справедливо и разумно. Но не отсюда радость, не про это песни, гордо поднятые чела юношей (еще не пропотевших третьим потом), сияющие, ведающие муку глаза дев (еще не рожавших). Автоматические звонки и лишний четвертак — только убогие косноязычные символы, свинцовые крылья. На самом деле речь под сурдинку шла о ином. Они верили в торжество истины, в бессмертие чудесной жизни и любви, блаженство новых встреч, цветов и детей, нового человека под совершенным небом на щедро обновленной земле. Оттого и музыка, церковно-блаженные беззаветные лица (старые мастера с их удивленными супругами), пламенная жажда: немедленного подвига, жертвы, общего творчества, раскрытия тайных, непочатых сил, рождения героев, освобождения вселенной. «Какая правда, какая есть правда: вот так с миллионами, локтем к локтю. Идея, если в нее верят легионы, становится священной — шептал во мне голос. — Любой опыт, если он подлинный, будь то религиозный, социальный или любовный, приводит к тому же сознанию (в разных степенях). Профессор Чай, когда чувствует себя разбитым, отчаявшись, вместо церкви идет в гимнастический зал: четверть часа акробатического парения и он возрождается... как после молитвы, закаленный, подобревший, очищенный. Самой неподходящей банкой может человек присосаться, где угодно просверлить отверстие, но пьет он из одной подземной реки. Если он отправляется действительно из своего центра, он попадает в центр мироздания»... «Это наши, это все наши», — твердил под боком Спиноза. Всех нас опьянило крепкое вино, пробужденной на миг толпы. Только один Жан, неся чемодан с портативною лампой, без устали внушал: «Тише. Не шагайте в ногу, сбивайтесь: ритм оркестров, вол-

8 Зак. 2384

ны тел не про вас. Тише. Учитесь тормозить порывы. Капитаны. В одиночестве. Последние к земле обетованной», — напоминая о чудовищной жертве впереди. Уже смеркалось, когда мы — нас прибило к рядам работников театра — достигли южных ворот кладбища Pére-Lachaise. Группы скучились, кольцо полиции незаметно придвинулось. Распорядители, с повязкою на рукаве, отнесенные в сторону, нелепо размахивали кулаками, усовещая. Оркестры смолкали, готовясь к маршу возле трибун. Зажгли припасенные фонари, плошки; потянулись, оступились в темноту, — где плиты и деревья, — чудовищным роем насекомых. Только что ревела улица; на тротуарах густая толпа мещан провожала нас завистливо-критическим взглядом; вопили верзилы, желавшие показать свою солидарность, улюлюкали пьяные, garde mobile, молчаливая, в касках, ощутимо выпирала из-за каждого угла... и вот сразу ночь кладбища, пустота, прорва, шелест веток, какая тишь: потеряны (и в ответ хочется любви). Мы приближались к цели паломничества: Стене коммунаров. Сгрудились, спрессовались десятки тысяч туш — локти, спины. Снова почувствовал мгновенно почву под ногами уже смутившийся было человек. Фантастические огоньки, фонарики, факелы только усугубляли мрак, рождая лохматые тени: оркестры — сразу, вдруг — потрясли воздух; кругом завопили невидимки и ринулись, не разбирая пути, по мертвым плитам, по вековой мураве; грозя, клянясь поднятым кулаком, в сплошном реве, мы пробежали мимо освещенных трибун, где стояли с блаженными лицами, яростно шевеля губами, бонзы французского социализма. Я нашел себя, как после сабельной рубки, когда впервые доходит незнакомый собственный голос (аааааа) и начинаешь различать, где ты, где сосед, где конь. «Жан, Жан, — воззвал я — Ведь они бессмертны. Ведь коллектив не умирает. Они скользят, переливают души из сосуда в сосуд. Коллектив не может умереть, отсюда счастье и могущество скоплений». У Жана раздувались ноздри, щека — экран для многих теней — подрагивала. «Ах так, так! — проскрежетал он, не разжимая стиснутых зубов. — Подите сюда!» — и, ловко толкнув, вывел нас из рядов. Еще два шага, и мы попали: в небытие, в убийственное молчание. Где-то игрушечно хлопали голоса и обрывки песни, мелькали карликовые тени, огоньки; а здесь царит полночь, ледниковый сон и заглушенные инфрамикровздохи (жалобы). «Ах так, так, — повторял Жан. — Ну вот, послушай, вспомни, кролик!» — и, легким броском швырнув меня на землю,

он повелительно вытянул руку. Я упал на мшистый могильный камень: он был холоден, влажен и шершав. Голова шлепнулась об мягкое, жирное. С минуту пролежал съежившись, слушая, потом встал. «Что же делать?» — покорно осведомился. «Не предавать опыта, исторического и личного, — ответил Жан. — Не предавать за мармелад. Вперед». Мы выбрались на аллею, пустились снова по течению и нас отнесло за Северные ворота. Переулок был подобен реке, закупоренной дамбою. Расстроенное шествие бурлило, ища себе (и своим чувствам) выхода. Доносились револьверные хлопки. Гуськом, вдоль магазинов — цветы, венки (а в непосредственной близости к Монпарнасу: чулки, духи) — мы добрались к площади Гамбетты, где уже — кипело... точно в закрытом котле. Отряды кавалерии с шашками наголо, заслоняли выходы в боковые улицы, оставляя один — только по avenue. Метро было закрыто. В центре площади лежало на боку несколько автобусов, одна большая машина горела: это пламя среди ночи будило атавистические грезы. Пешие жандармы оттесняли прикладами наседающих. Снова захлопали откупориваемые бутылки пенистого крепкого вина. Над головою, подобно тусклой луне, светил циферблат часов мэрии 20-го (хотелось помыть его грязное стекло). Пронеслась окровавленная женщина, влача тело изувеченного подростка, тяжелый жандарм замахнулся на нее прикладом. Профессор Чай не выдержал и хлопнул его ребром ладони по гортани. («А!» — с наслаждением крякнул Спиноза). Вот пробивается всадник с занесенной шашкою. Держась пальцами за отворот пиджака, поводя розеткою в петлице, Дингваль осветил его. Дико вскрикнув, тот выронил оружие, прыгнул с коня и, путаясь в длинной шинели, воздевая руки, обратился к людям. Ему дали подножку: толпа сомкнулась, подергалась, сжалась и снова раздалась, шарахаясь от этого места. А осиротевшая лошадь еще долго путалась меж тушами, ища себе пристанища. Нас теснили, комкали — медленно относило. Подошвы клеились к липким кровавым камням (манифестанты, зажав бритвенные ножики в ладони, незаметно подрезали вены лошадям). Нас приткнуло к мэрии. Тогда, окинув испытующим взором поле, Жан сказал: «Больше ждать нечего, начнем. Через эти дверцы мы поднимемся наверх. Вы со мною наконец?» — грубо, обращаясь к Свифтсону. «Нет!» — ответил с натугою спрошенный, выступая вперед. «Какой вариант вы предлагаете? — подчеркнуто-любезно осведомился Жан. — Затянуть псалмы»... — «Я иду туда! — серьезно, не

замечая насмешку, объяснил Свифтсон. — Именем Христа я буду среди них, проповедуя. Вот и все». — «Вас раздавят, вспомните прошлое. Косный упрямец, вы так нужны нам!» «Смерть не есть худшее, — возразил Свифтсон. — Имейте в виду», — и, кивая нам, повернул. «Стойте, я с вами!» — крикнул Савич. Он рванул свой пуговичный аппарат и, вручив его Жану, решительно двинулся за Свифтсоном. Все это было делом одной секунды. Толпа расступилась, пропуская, вовлекая их, затем, потрепавшись немного, волнообразно дрогнув, снова обрела прежний вид, будто горло удава, поглотившего барашка без следа. «Вы?..» — «Жан, — решил я умоляюще. — Одно только слово...» «Как, неужели в такую минуту между нами станет женщина?» — изумился он. В это время забили барабаны и протрубили горнисты, предупреждая о залпе. Не дожидаясь, Жан рванулся и быстро зацокал каблуками по старинной узкой лестнице, пахнущей застенками. «Да, правда! — решил я; разглядев во мраке тонкую фигурку Педро, обнял его. — Пойдем, ты узнаёшь сердце Лоренсы? — показывая ладанку на моей груди. — Это его свет мы сейчас прольем на беснующихся. Скорее!» Мы прыгали через ступеньки, а навстречу уже характерно пощелкивал кузнечик. То с балкона мэрии 20-го под звездным небом, господствуя над синей площадью (где солдаты, штатские, лошади и машины), Жан, пристроив свою лампу, открыл огонь... Здесь начинается новая глава этой современной летописи. О последовавших затем событиях, а также о великом соревновании, эпической борьбе не на живот, а на смерть между Жаном и Свифтсоном я расскажу в другом месте.

Париж

Челюсть эмигранта

Hold ту hand,
I'm a stranger in Paradise...

Ария из Kismet

1

В приемной зубного врача, по случаю святого Патрика, пустынно; за окном, со стороны Пятой авеню, с грохотом океанского прибоя, разбиваются о камни кафедрального собора новые оркестры, грозя своими трубами, литаврами, барабанами. До двадцатого этажа акустические волны, — как, впрочем, озона и света, — доходили смягченными и отцеженными.

На стенах чистой серой приемной висели в тяжелых рамах снимки, препараты, макеты челюстей, опухолей и зубов — разных проекций, оттенков, разветвлений... Богдан с отвращением рассматривал розовых фарфоровых ублюдков, завернутых в вату.

— Что, любуетесь? — Шумахер вкатился шариком. — Еще бы! Вот это уник: зуб мудрости пещерного человека. Принадлежал существу, жившему за 200 000 лет до нашей эры, ха-ха-ха.

— Неужели, — вежливо удивился Богдан.

— Ха-ха-ха. Из берлинского музея. Стоит пятьсот картонов Честерфильд... А это клык обезьяны. Обратите внимание: видите бугорок? В этом вся штучка: больше никакой разницы, ха-ха-ха.

Ирландские дудки сверлят небоскребы; из окна видно: далеко внизу отдельные колонны чинов гарнизона, саперов, гвардейцев, кадетов, учениц, сестер милосердия, работников ассенизационного обоза шли на штурм кардинала Спеллмана в малиновой тоге — все они казались миниатюрными и безопасными. («Что я здесь делаю?» — мелькнула знакомая сумасшедшая мысль).

— А вот, — задавался Шумахер, — челюсть, найденная в Перу: ей тысяча лет! Только, к сожалению, у меня не оригинал, а дорогая копия. Полюбуйтесь: они уже тогда пломбировали! Ей-богу: грубо, примитивно, но безусловно пломбы и коронки.

Богдан покорно уткнулся в стекло, изучая потемневший от времени обломок нижней челюсти с металлическими точками в некоторых полууцелевших зубах.

— А мы считаем себя исключительными гениями... Атомные бомбы, погодите, найдут и допотопные атомные бомбы, ха-ха-ха.

— Да, — неопределенно промычал Богдан.

— Однако ученые не знают, отчего такое различие в технике, — продолжал делиться любимыми мыслями дантист. — Есть вполне

добротные из серебра, есть из бронзы, а рядом совсем рудиментарные, из смеси гипса с глиною. Специалисты написали целые труды об этих пломбах и все-таки не нашли объяснения...

— Вероятно, это эмигрант, — тихо сказал Богдан. — Бежал с родины, скитался по многим государствам с разным уровнем культуры, и в зубах сохранился след его передвижений.

— Очень остроумно, — снисходительно похвалил Шумахер. — Но ведь еще не доказано. Вообще, наука интересуется, главным образом, анализом, химией, электролизом, а не литературными догадками.

— Мне, наоборот, было бы гораздо интереснее узнать мысли, чувства, склонности этого древнего пациента: о чем он мечтал, кого любил, как жила его душа... но этого мы, кажется, никогда не узнаем.

— Пожалуйте, прошу, — торжественно пригласил Шумахер и провел Богдана к электрическому стулу: он не любил, чтобы его прерывали.

Зуб шатался уже давно: не имея антагониста, вытянулся — левый клык.

Пользы явно никакой: только ноет и отравляет. А расстаться жалко: спереди, значит, конец, метаморфоза натурального рта.

За столиком, внизу в кафетерии, с дантистом, соседом по двадцатому этажу, Богдан шутливо вздернул край губы и толкнул языком высунувшийся клык — прямо под нос Шумахера.

— Выдернуть! Сами понимаете: инородное тело!

Как мило со стороны чужого человека (знал, что Богдана опять перевели вниз по служебной лестнице)... А может, так вырвалось: болтун ведь — и сразу пожалел! (Тоже бывает.) Добрый тучный бруклинец, лично не пострадавший от революций, войн, концлагерей, блокад, но каким-то чутьем знающий все про нужду, болезни, долги, смерть и последний суд. Хотелось назвать его умницей, так понимал он на лету чужую беду и даже всегда напоминал о ней. Но именно слово «умный» к Шумахеру не подходило. Наоборот, всякий раз, слушая его, Богдан опять и опять поражался этой исключительной коллекции черт глупости и скуки. Кроме того, — или именно поэтому, — дантист был фарширован пошлыми анекдотами, баснями и поговорками. Причем штучки его требовали вспомогательных диаграмм, пояснительных текстов, энциклопедических ссылок — не обязательно скабрезные, они, как общее правило, были сложны и невеселы.

«Какой, однако, утомительный бедняк, — решал Богдан неоднократно, слушая Шумахера за сандвичем в подвале, куда они спускались ежедневно в полдень. — Но добрый, добрый малый, несомненно». Благодаря ему Богдан вдруг сообразил, что одной доброты недостаточно, и сделал соответствующую запись в своей древней тетради, куда изредка заносил впечатления и мысли, свидетельствовавшие о происходящих изменениях в душе.

Юношей Богдан верил в личные таланты и искусство; но вот запись конца двадцатых годов: Ce n'est que l'art!

Наступил черед естественных наук: он слушал биологию в Коллеж де Франс и заставлял себя читать Юнга и Маркса, но скоро Бергсон ему растолковал, что естествознание только метод, а не цель. Тогда выступили новые свидетели: Франциск Ассизский и апостол Павел (кимвал бряцающий). Во время «смешной» войны в подворье префектуры полиции Богдан однажды подслушал разговор двух загнанных эмигрантских душ: «К чему мне умный человек, что мне с ним делать?» — говорил один. На что второй раздраженно ответил: «Ах, лес муа респирэ»... Тогда Богдан сочувствовал первому; а теперь неожиданный опыт: Шумахер! Одной доброты тоже недостаточно. Чтобы заполнить образовавшуюся метафизическую дырку, Богдан внес в свою тетрадь: «Между жалостью и любовью дистанция, дистанция. Поменьше бы жалости в человеке с его личной сентиментальностью и жестокой идентификацией. Любовь, как свет звезды, холодна, прозрачна, безлична в основном, мудро горит и не сгорает, связанная больше со своим источником, чем с плоскостью, на которую падает. Апостол не сказал, что все *кроме* любви, чепуха; он только заявил, что все *без* любви чепуха».

Итак, левый клык торчал, — воистину клык, — и мотался во все стороны: только помеха. А в промежутках между едою постоянно ныл — лишнее тело, чужое, мертвое.

Годы французской жизни интимно связали Богдана с полицейскою кличкою *étranger*. И определение больного зуба как *foreign body* ему напомнило много жестокого в его жизни. Чужое тело, конечно, следует удалить; и все же душа эмигранта сжалась, слегка сочувствуя этому инородному меньшинству, если и мешающему, то не всегда по своей вине.

Выдернуть передний зуб, затем резцы — а там, очевидно, протеза. Гамлет, Иосиф К., Раскольников: извлечь резец или не извлечь, пойти на искусственную челюсть или не пойти, распадать-

ся по частям или... (здесь вся заковыка). «Как это было? Ведь рвал я себе зубы в прошлом. Раз, два, три, одиннадцать упраздненных мест. Тогда было просто», — удивлялся Богдан.

А клык все отважнее шатался, цеплялся за другие зубы (звук: коса об камень, пила на гвоздь); тупо, требовательно ныл. «Еще нарыв образуется». И на святого Патрика, когда низко над городом повисли оркестры и дублинцы угрюмо шагали мимо сияющего кардинала, Богдан наконец решил завернуть к Шумахеру.

К удивлению своему, отметил, что испытывает нечто вроде страха. Да, боится, как баба, щипцов, боли без смысла, таинственных осложнений, сердечных и бактериологических сюрпризов: ведь случается! Когда-то об этом даже не задумывался (так, Наполеон у Бородина догадался вдруг, что его могут обойти, опрокинуть, окружить — а прежде рассчитывал только на удачу). Заставляют рисковать, принимать участие в игре без шанса на выигрыш. Вот извлекут еще один зуб, безвозвратно, упадет тяжелый камень на дно, и сверху опять сойдется ровная, твердая, блестящая, острая десна, враждебная всякому чуду. Ау, молочный зубок, где ты! Как таинственно просто и совершенно произошла та метаморфоза.

2

Да, кончились чудеса в теле Богдана: еще один процесс сворачивания, невозвратимый *(irreversible)*. Из-под молочного вырос крепкий, стройный, надежный зуб, как обещали родители (без обмана), до того удачный, что потом о нем долго не вспомнишь (а когда заметишь — уже плохо). А вот ранняя пломба: увы, запоздалая, эвакуационная, темного серебра, несокрушимая — зуб искрошило во Франции, а пломба еще висела глыбою, грозя обвалиться. В Париже цвела сирень: крупная и менее пахучая. Во рту торчал утес — острые края царапали язык. (Богдану снилось: ломается, тает, крошится все во рту). И мать одного знакомого музыканта пожалела лохматого юношу: по собственной инициативе и даром поставила коронку. (Вот это золото, еще блещет за щекою, а дантистки той давно нет — пропала без вести в 1943 году. Несокрушимый мертвый корень с металлической шапочкой — безгласный спутник почти всей жизни Богдана.) Зато спереди был совсем здоровый клык, никогда не беспокоил, и вот надо удалить, сразу, совсем, хотя известно: другого молочного преображения уже не жди. («Откуда ты знаешь?»)

Сколько раз Богдан ходил к дантисту, и главным образом — рвать. Бывало, это даже воспринималось как творческий акт, дававший в осадке чувство удовлетворения: вот избавиться от гнили, тяжести, воспаления, останется только годное, добротное, с чем можно жить и побеждать. Но постепенно сознание незаметнейшим образом менялось, уступая скромной действительности... Все равно, и задний побаливает, и нижний в черных пятнах, а сбоку ноет от холодного и горячего: что же, рвать начисто? Откуда только взялась эта новая мудрость: удаляй самое неотлагательное, бросай волкам на съедение одного коня и скачи дальше без плана — ночь темна, огней не видно и до села далеко (но, чу, будто церковный благовест). Забавная гонка: что раньше иссякнет — соки в жилах или зубы во рту. Все дело в синхронизации. Смешно умереть, оставив полный рот жадных зубов, а жить с темными пеньками тоже обидно. Синхронизация. Ритм. Вы танцуете в паре с врагом, но соблюдайте темп и слушайте музыку. Смерть напирает равно на шар: не пропускайте ее, но и не слишком отталкивайте вдруг, в одном месте: мягкость, гармония, ритм. Да, извне пустота, небытие, ничто, и мгла, и зло, и холод. А в середине, на узком пляже, я и вы: жизнь. Бог сперва создал вакуум, и ничто, и тьму, чтобы иметь площадь для сотворения мира. Другой вариант: наш космос вторичного посева, поэтому он относительно прекрасен и отчасти совершенен. Когда неумелые любители построили неустойчивый мир, последний рассыпался на части. Бог по любви своей, чтобы спасти от небытия хоть эти беспомощные дольки, создал из них ограниченную, но явно прочную систему. Не удивляйтесь мыслям Богдана; гностики, Плотин, книга Зогар, блаженный Августин, Федоров, Якоб Бёме это родные, будничные имена, как и липы над Сеною, Гоген, *«A la recherche du temps perdu»* и полет Линдберга в одиночестве. В этой среде Богдан по праву зрел, наливался, рос, попросту жил и о «темном центре внутри Бога» он честно думал, даже теперь, направляясь в кабинет Шумахера.

«Все-таки почти страшно: боюсь, определенно трушу. А помнишь, шел к дантисту, как на осмысленную работу — долг, урок». Все, все готов был вырвать Богдан, что гниет, шатается, болезненно: изо рта, из России, из мира — прочь! «Что же случилось, где предательство, как незаметно подменили части души». Если выяснить основные чувства, мысли, влюбленности и вдохновения, если отметить пунктиром разных цветов действительную и вооб-

ражаемую реальность, в недрах коей Богдан обретался, когда удалял каждый свой обреченный корень, то получится весьма правдоподобный макет всей его жизни — и в совершенно неожиданном разрезе. Портрет с новым освещением, покоящийся на дюжине камней — точно индустриальные алмазы дорогих часов. Современное ожерелье из клыков и резцов. Такой опыт должен заинтересовать не только передовые художественные школы, но и ряд демократических организаций, ученых обществ. Ибо твоя боль, Богдан, твои мыслишки и выпадающие зубы, освещенные заревом тотальных и локальных пожаров, оккупаций, блокад, концлагерей, голода, тюремных пайков и братских виз, это всё образ, далеко выходящий за пределы лично личного, строго индивидуального. Ведь не ты один рассыпаешься на части. Подумай здраво: сколько кругом дантистов занято с утра до ночи — это ли не объективное явление.

Сидя на зубоврачебном троне в центре Нью-Йорка, 17-го марта, повязанный бумажной салфеткою и одним ухом тревожно прислушиваясь к потоку сердобольного дурака, Богдан почти против воли брел назад по собственным следам: неловко скакал с кочки на кочку, удивленно озирая открывающуюся ему мозаику. Образ разных событий, их интерпретация претерпевают таинственные изменения вместе с ростом (или разрушением) вспоминающего. Какой момент сознания соответствует действительности? Через много лет, под грузом усложненного опыта, нам прошлая боль вдруг покажется пустяком, а подвиг ребячеством — что же, доверять выводу? На высокоправдивом художественном полотне рельсы железной дороги сбегаются в перспективе (ведь это ложь).

Шумахер ловко и весело вспрыснул новокаин, рассказывая о современных успехах зубоврачевания, и сразу (дожидаясь действия наркоза) приступил к анекдотам. Дама является к хирургу: ноги, живот в сплошных синяках, ссадинах. Доктор прописал мазь, удивленно расспрашивая: «Откуда такие кровоподтеки?..» Но дама не отвечала. Назавтра он получил от нее письмо с объяснением: посмотрите в телефонную книгу под указанной ниже фамилией и вы найдете разгадку! С этими словами, Шумахер распростер на коленях пациента приготовленную заранее толщенную книгу абонентов Нью-Йорка. Богдан как раз накануне у себя в конторе уже слышал этот анекдот (вплоть до поисков в телефонной книге); однако у него не хватило духу огорчить

доброго пошляка и он кротко, придерживая онемевшей щекою салфетку, начал перелистывать десятифунтовый камень в мягком переплете. Шумахер не выдержал и порывисто раскрыл нужную страницу, ткнул пальцем в подчеркнутую строчку и отступил назад торжествующе, как фокусник, дожидающийся заслуженных рукоплесканий. В указанном месте вслед за фамилией значилось: Manufactures of steel balls.

— Хэ-хэ-хэ, — медленно залился Богдан, словно вникая и смакуя. — Хэ-хэ.

Шумахер только снисходительно сиял печальными глазами: в который раз сегодня он уже преподносил этот вздор!

«Тайна, — восхитился Богдан: — Глупая шутка в один, два дня облетает все уголки, конторы, города штата, через неделю она в Сан-Франциско. И так было до телефона, телеграфа, радио. Доктрина трубадуров в один месяц распространилась из Прованса до Рейна и Нидерландов. Секрет человеческого общества, не чуждый, вероятно, и муравьям».

Когда дантист, раскачав, потянул зуб щипцами вниз, острая боль вдруг озадачила Богдана; завороженный рассказом об успехах медицины, он ожидал другого и возмущенно схватил Шумахера за руку... Но тотчас же, устыдившись, стих. И тогда клык легко выскользнул. Только боль создавала впечатление борьбы и усилия. На самом деле дантист удалил — просто и даже элегантно, без осложнений.

— Я не дал полного наркоза, боялся ткнуть в периосту, на случай инфекции...

— Понимаю, понимаю, — сконфуженно отводя глаза, твердил Богдан.

«Случалось, мне дергали даже без наркоза; одному зубному технику я сам помог удалить мой обломавшийся под щипцами корень (сирень, первое башо, Гамсун). И не боялся; и не гордился: не задерживался мыслью на таких подвигах. Как настойчиво тогда дышала грудь. Что произошло? Почему теперь иначе?» — спрашивал Богдан-жертва.

«А очень естественно, — откликался Богдан-хор. — Естественно, хотя и нелогично. Когда были силы и отвага переносить, побеждать любую опасность, тебе ничего серьезного не могло угрожать. А теперь, когда кругом в непосредственной близости только боль, осложнения и даже агония, все, что выпадает на твою долю, уже весьма рискованно».

Голос Богдана-героя покрывал первых два: «Братья, сестры, молодые, смелые, не откладывайте дела своей жизни на завтра. Не думайте, что в крайнем случае потом удастся понять, объяснить, закончить. Теперь, теперь. В агонии у человека нет даже сил дышать. Чтобы размышлять, нужен излишек сил. То, чего вы не постигнете в расцвете и зрелости, вы уже никогда не усвоите, вероятно. Не полагайтесь на страдания и смерть как на учителей и помощников».

Этот диалог звучал, как фуга, сопровождаемая жужжанием пылесоса.

— Вот и почистили немного, дряни-то сколько накопилось, — негодовал милый Шумахер. — А второй клык мы через недельку хватанем. Ах, пустяки, я всё знаю, не стоит благодарности. Потом и маленькую челюсть соорудим.

«Наконец-то, искусственный зев: вот оно, не отвертишься! Радикальный переход. Следующий опыт, спиралью! Предвидел, и все же сюрприз (как любовь, деньги и смерть), — в несколько голосов думал Богдан. — Молочные зубы — тезис; постоянные — антитезис. А фабричные — синтез, что ли...»

Сначала так: удалить этот зуб или тот — и все чудно, в исправности. Но вот декорации с освещением поменялись: отныне и малый коренной, и большой, тут справа, там слева, плюс антагонисты — повсюду закралась разлучница. Не очистишь радикально. Надо, значит, поступать сообразно и решаться только на самое необходимое: изо дня в день. И вдруг теперь новый план замаячил впереди: вымести рудиментарный хлам и водворить искусственную, в своем роде бессмертную уже улыбку.

— Вот прикусите марлю и подержите с часок.

Но прикусить, к ужасу Богдана, оказалось нечем: антагонист и другой, рядом, ему успели уже удалить тут, в Нью-Йорке, еще в годы войны.

3

Кое-как придерживая деснами кусок марли, Богдан отдался лифту, который его торжественным камнем спустил вниз. Солнце уже светило по-весеннему и даже грело, но ветер жестоко подметал мостовую, пыль, мусор, бумажки бешено носились, сворачивались, взлетали — не уменьшаясь в количестве, постоянные в своем разнообразии. Со стороны Пятой авеню плелись группы

уставших, но оживленных, разодетых в странные мундиры участников парада.

Накануне вечером состоялось собрание одного общества, в деятельности которого Богдан считал себя заинтересованным; однако во время доклада приезжего бельгийца-католика и последующего обмена мнениями, его совершенно отвлекала мысль о завтрашнем свидании с Шумахером и мешала сосредоточиться. Теперь, подгоняемый мартовским атлантическим ветром и тягучим воем труб, Богдан точно освободился из оков и неожиданно воспринял то, что происходило на собрании, с новой ясностью; так что непроизвольно даже вступил в тяжбу с ожившими тенями (которые теперь, вероятно, уже не помнили о его существовании).

На собрания эти сходились разнокалиберные люди, старавшиеся, по-видимому, выяснить, как надлежит жить христианину в современном мире. Война оставила печать особой горечи на этих жаждущих убедительной веры людях. Любопытно, что все участвующие группы, несмотря на объединяющее имя Христа, резко отличались между собою сообразно историческому опыту.

Богдан легко определял национальные и расовые принадлежности постоянно меняющегося состава, и не по акценту или цвету кожи, а по содержанию речей — что, впрочем, не доставляло ему удовольствия.

Французы были самыми радикальными; их коктейль из цинизма и католического конформизма таил в себе несомненную остроту. Литургия, сопутствуемая равнодушием к судьбе безработного, воспринималась ими как преступление против Святого Духа (что несколько сближало их с русачками). Эмигранты все знали, всех поучали и требовали только фактического упразднения свобод, доброкачественных паспортов и валюты, чтобы уладить спорные вопросы, как на родине, так и по соседству в Европе, Азии, Африке.

Американцев социальный вопрос совсем не волновал; их удручала русская тема: государственный произвол, примитив, нищета (при наличии несомненного духовного запала). Англичане, по существу, примыкали к ним, утверждая, что нет узла на Западе, которого не удалось бы распутать в рамках существующих англосаксонских конституций (атомную войну, впрочем, надо избегать, пока это совместимо с достоинством человека).

Южноамериканцы, испанцы, итальянцы напоминали русских интеллигентов *fin de siècle*. Идеализм, благородство, порыв и лень, зависимость от прислуги и любовь к сладенькому.

Каждый из индивидуальных представителей этих групп имел свою личную морщинку, складку, пружину, на которой держался, считая ее ключом к создавшемуся положению. Один находил главное зло в уходе людей с земли и оделял желающих дешевыми фермами в кредит. Другой призывал строить удобные жилища для бездомных рабочих в больших городах; третий был уязвлен расовыми безобразиями в Южной Африке и видел все грядущее зло оттуда. Четвертый полагал, что насекомые, наводнения, засухи, вот с чем надо бороться в первую очередь! Пятый считал контроль деторождения в государственном масштабе панацеей (или, наоборот, апокалипсисом). И каждый имел шансы, при некоторой удаче, стать мучеником и святым на своей полоске.

Объединял всех этих друзей, пожалуй, образ любви. Они стройным хором утверждали, что самое главное при встрече А с Б, чтобы первый любил второго и действовал только по любви, из любви, от любви. Что именно он делает — уже не важно: любовь сама творит чудеса (искусство для искусства).

Эта постоянная, эгоистическая, основанная часто на идентификации мечта о любви к ближнему давно возмутила Богдана; ему хотелось объяснить, что Бог есть не только любовь, но и свет, а свет расходится прямыми линиями: он освещает то, что на его пути — равно и розы и мусор, такова природа его! Если поставить на место конкретного Б новый В, то свет будет продолжать изливаться с прежней готовностью, а не свернет и последует за Б, чтобы обязательно его лично согреть (вот именно этой своей затаенной мысли Богдану не удалось складно высказать накануне).

Самыми утомительными были, разумеется, упражнения дорогих соотечественников. Они ухитрялись одновременно и напугать, и насмешить слушателей. Ненавидя сволочной большевизм с его куцей социальной правдой и гигантской жизненной ложью, они, однако, не хотели отказаться от «русской национальной идеи» или детского мессианизма времен Достоевского; после сорока лет позорного коммунизма соплеменники совсем не конфузились и еще норовили спасти кустарными средствами остаток человечества (на меньшее степная душа не соглашалась). В порыжевших башмаках они топтались у чужого котла, подкармливаясь, часто не по заслугам, и норовя в благодарность преподать непонятливым иностранцам урок в политике, праве, морали, со-

вести, организации земных и небесных учреждений. Вселенский анекдот, подчеркнутый еще тем, что русские в серьезных делах истории, религии, права неизбежно ссылались на литературные произведения. «При чем тут Толстоевский, — недоумевали серые иностранцы. — Мы говорим о конституции, суде, железных дорогах, налогах, учебных заведениях, сексе, а вы уже опять пустились в пляс от литературной печки». Причем Богдан, к ужасу своему, все чаще и чаще видел, что гениальная отечественная словесность уводит именно в ту трясину, откуда с ядовитым бульканьем выделился большевизм.

Чахлые эмигранты пытались спасти себя и мир именем Толстого; но отрицать одним росчерком пера культуру, традицию, церковь, науку, искусство и не очутиться у разбитого корыта — трудно! Метод этот варварство, а одно варварство приводит к другому. Другие цеплялись за беднягу Достоевского и как некие духовные «Очи черные» хором тянули: Алеша Карамазов, Алеша Карамазов, старец Зосима, старец Зосима... («Идиота» эти джигиты почему-то меньше терзают). Богдан знал, что в каждом большом чекисте сидит маленький Достоевский; отношение последнего к полячишкам, иудеям, французишкам, католикам и Дарданеллам вряд ли враждебно природе партии Ленина—Сталина.

«Русский человек — всечеловек!» — вещал Достоевский. И это так польстило враждовавшим западникам и славянофилам, что они даже помирились. Те самые здравомыслящие лысины, которых рассмешил немецкий тупоголовый сверхчеловек, отлично уживаются с уютным сознанием собственного всечеловечества, забывая основной урок евразийской истории: не до жиру, быть бы живу!

Доказательство того, что русский человек обязательно всечеловек, Достоевский избрал чисто беллетристическое. Пушкин-де так описал сценки из западного Средневековья, что и тамошним художникам по сей день завидно! Значит, всечеловек. А если у Пушкина универсальная душа, то и у всех его соплеменников.

Кто судья, что Пушкин так хорошо описал скупого рыцаря? Этот самодовольный вздор так польстил русачкам, что за почти сто лет никто не сообразил следующего: ведь Пушкин перевел Песни западных славян с французского, *сочиненные* Мериме. Пушкин их счел подлинными! Значит, и француз бывает всечеловеком, если он мог так подделаться под славян. (А может, только Мериме, Пушкин, Стендаль, а не все русские и французишки.)

Достоевского, по-видимому, потому и любят потенциальные чекисты, что он их заверил в безусловном всечеловечестве: навеки и при любых обстоятельствах.

Богдан всем нутром своим чуял, что большевизм в русской истории не эпизод. Значит, если в нем нет никаких спасающих честь отступлений, то русская культура так же позорно исчерпает себя, как и немецкая. (Чтобы отстоять национальную честь, надо найти хоть искру добра в проказе большевизма.)

Богдан знал еще со времени выхода в свет своего скандального романа «Святой Скорпион», как выгодно польстить землякам и соотечественникам, пощекотать их волосатые подмышки, лизнуть по шерсти... Только таким путем можно стать писателем земли родной, властителем дум, водителем душ. Если же мразь называть мразью, тупозвериное тупозвериным, глупость высмеивать, если упорно повторять народу: тише, скромнее, подбери живот... то читатель почему-то обижается и начинает скучать.

Вообще, гипертрофия одной функции в русской культуре, изящной словесности — дело сомнительное и даже вредное. Страны, где наука, суд, железные дороги, гражданственность, полиция, церковь, нравы, условия быта достигают высокой степени развития, те страны обыкновенно (но не обязательно) могут похвалиться хорошей литературой. Но рост словесности за счет других творческих функций расстраивает весь национальный организм, пожирая душу на манер своеобразного рака.

4

Марля во рту мешала дышать (намокла, затвердела); Богдан с отвращением сплевывал коричневую дрянь: нечем прикусить паз — не хватает антагонистов. И вдруг его поразило: какой вздор, что́ ему вчерашнее собрание и все хитрые суждения... Вот было два зуба снизу: пустота! Где они, когда потерял (ведь тут, кажется, в Нью-Йорке)? Как он шел, куда ложились тени, кем был, на что надеялся, чего ждал от следующей почты. Образумься, чудовище: где солнце сияло в ту пору, куда душа тянулась в рассрочку... Кем ты мнил себя и над чем трудился? Профуфукал. Белые пятна заполняют карту на полюсе и в джунглях, а в собственном рту неисследованные топи. «Я найду, я найду»! («я увижу, я увижу»).

«Моя челюсть уже теперь, точно найденная через тысячелетия в ледниках: чужая, загадочная и омертвевшая. А между тем толь-

ко я один могу еще по этим рубцам и заплатам во рту восстановить ход времени и сознания: никому другому уже не удастся!»

Зубного врача звали Нарвин и был он Богдану знаком, потому что удалил ему еще первый нью-йоркский зуб (с которым у Богдана связывалась полоса жизни чрезвычайная: потеря Франции, семьи и бурная случайная любовь, оборвавшаяся нелепо). Как человек, когда-то удачно пообедавший в приличном недорогом ресторане, спустя некоторое время опять направляется туда же, — совсем в другом настроении и без милых спутников, — надеясь все же, подобно первому разу, насытиться, развлечься и отдохнуть... так Богдан снова пошел к Нарвину.

У него не ладилось с двумя зубами: один, ясно, удалить! Второй меньше докучал — попробовать залечить, оттянуть, забыть... Каким путем достигается гармония во рту, то есть то состояние, когда не думаешь, не замечаешь своих зубов: есть ли это абсолютное состояние или тоже только привычное, субъективное, условное?.. Мысль, показавшаяся Богдану такой важной, что он даже записал ее в блокнот: чего не делал уже давно. «Так называемая гармония в природе, красота искусства, может быть, на самом деле только привычное, знакомое сочетание с детства. Больше ничего. Приучив ребенка к другим краскам заката и даже к отвратительным запахам, можно взрастить в нем противоположные идеалы и абсолюты».

Нарвин — старинный беженец из Петербурга; не в пример Шумахеру, любил поговорить на высокие темы: религия, политика, вегетерьянство! Смачно декламировал: пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, но ты, доволен ты, взыскательный художник. Было ясно, что Нарвин отнюдь не смутится, если судьба его забросит в Ватикан или к французским художникам, испанским тореадорам, шведским массажистам, русским теософам или шотландским пэрам. Богдана всегда трогала эта черта в русском человеке: вера, что, по существу, он в состоянии поддержать любой разговор и не осрамиться в любом обществе.

— Выставить, выдернуть, — решил Нарвин, ткнув инструментом.

До какого-то времени дантисты в жизни Богдана еще лечили его зубы, только изредка удаляя их; но с недавних пор все перевернулось: склонялись только к высшей мере! (Правда, Нарвин нашел сзади в зубе мудрости пятнышко и обещал заштукатурить.)

— Надо почистить грязь, снять камень, тогда десны начнут дышать. Для вас двадцать пять долларов.

Впрыснул двумя приемами новокаин: сразу одеревенела щека и край губ; пока Богдан ждал, прислушиваясь к набуханию во рту, дантист принес ему карточку с нарисованным черепом. Богдан сидел с открытым ртом и вытаращенными глазами, а Нарвин объяснял, куда вписать имя, фамилию, адрес, телефон и сколько аванса пациент собирается сегодня оставить. («Десять долларов».)

Досадно, что неизбежные мелочи отвлекают человека. Богдану есть о чем серьезно подумать. В тот год многое сбежалось в один узел и жизнь от этого выглядела напряженной, богатой. Богдана вдруг поманили успехом на службе и эта живая приманка американской карьеры, денег, чести его прельстила. Он недавно разделался со своим романом «Святой Скорпион», в который вложил все, что знал: в пору работы ему казалось, что плотность многих страниц выдержит натиск целого столетия. А между тем, если не считать двух-трех мелкотравчатых отзывов в либеральной прессе, книга его прошла незамеченной (как полагается в эмиграции). Только личные знакомые при встрече обменивались замечаниями, которые при желании можно было счесть лестными. «Забавно, забавно, ничего не скажешь... Я и не знала, что у вас такое воображение... Кстати, вы читали такого советского писателя Афронькина, его расстреляли...» Засим разговор переходил на более важные темы: введет ли Сталин демократический режим, были ли элементы Октября уже в русском Феврале?

Вот тогда-то началось увлекательное продвижение Богдана по службе, казалось, освобождающее его от уездного космического хора эмигрантских лягушек. Но успех совсем не автоматичен: надо бороться, защищать разные мероприятия, писать проекты, отбиваясь от наскоков провинциальных и тоже глупых американских лягушек, имеющих творческие поползновения и, главное, желающих улучшить свое положение на земле.

Для Богдана, воспитанного отчасти в интеллигентской традиции обязательной жертвы ради туманных отвлеченностей, этот новый стимул, — карьера, — казался принадлежностью детской игры, не лишенной, впрочем, азарта.

Свое пребывание в США Богдан рассматривал как временное трагическое недоразумение; Гитлеру, кроме общего счета омерзительных извращений, он предъявлял еще свой, бытовой: конец жизни в центре Монпарнаса, вынужденный отъезд в страну чужой культуры.

В таком состоянии духа Богдану приходилось сражаться с табуном молодых джентльменов, выросших в традициях, не совсем понятных — личной *opportunity* и погони за *happiness.*

Богдан родился и получил первую зарядку в тех суровых краях в те наивные времена, когда полагали, что работнику на любом поприще достаточно иметь соответствующие квалификации и добросовестно выполнять свои обязанности, чтобы числиться хорошим и желанным сотрудником: человека судили по его продукции. Демократически-плебейское измерение: *How to make friends and influence people,* — отсутствовало. Даже можно было себе позволить феодальную роскошь — на манер Суворова пропеть петухом (один славный доктор требовал, чтобы завешивали все зеркала в доме, куда он приходил с визитом).

Вопрос о карьере, деньгах не ставился столь обнаженно для духовных предков Богдана: даже стыдно заикнуться! В старой России люди *comme il faut* бросали бомбы, свергали генерал-губернаторов, награждались тюрьмами и ссылками.

Потом война, революция; спите, орлы боевые, — вы жертвою пали... Из Севастополя Богдан, подростком, отплыл под зимним сквозным ветром — как в бреду! (Простуда, насморк, кашель: два дня пролежал в трюме.) Когда вышел на палубу у Босфора стал свидетелем чуда: тепло, оливки, лето.

Константинополь; Тунис. Гомерический прыжок через Средиземное море в Париж. Сорбонна, первые стихи, Национальная библиотека, Мазарин, сосиски с *pommes frites,* экзамены весною и сирень, сирень и нужда, дыры в носках и опять стишок, первые рассказы и роман, изданный на правах рукописи, — ракета, потухшая между землею и другим небесным телом, быть может, навеки обреченная вращаться в эфире и даже положить начало грядущего химического или биологического процесса (но Богдан об этом не узнает)... Потомки небоплаватели разглядят этот мотающийся в пространстве комок творческой энергии и отсигнализируют в космическую полицию: покойный не был чужд!..

Нет, бить надо в центр, по существу! *Opportunity,* деньги, что о тебе скажут налогоплательщики — это для эскимосов, папуасов, обреченных душ. Следует осознать и закрепить каждый этап горя, счастья, роста. И один час этого земного времени, если его пьет щедрая, молодая, зоркая, пьяная от рождения душа, требует всей жизни для дальнейшего осмысления. «Василий Семеныч, — спрашивает в 1918 году Богдан преподавателя арифметики, поднимая

руку (и подмышка форменой курточки уже распорота по шву), — Василий Семеныч, сколько измерений у времени?»

Никто его не подготавливал к *opportunity.* Вопрос о карьере впервые реально возник у Богдана уже в Новом Свете, куда его зашвырнуло конвульсиями тысячелетнего рейха. И даже в Нью-Йорке Богдан не сразу понял происшедшую в мире перемену: зря тратил силы, время — воистину деньги! Но прямолинейная действительность острыми шипами преподала страшный урок. Отныне работа, способность, искусство, честность, трудолюбие, вкус не играют решающей роли. (Это второстепенные качества.)

Настоящий критерий: популярность, шарм, умение ладить с людьми, не раздражать их, улаживать конфликты, а не множить, авторитет — основанный в первую очередь на росте, костюме, манерах, красноречии. Не борьба с материей, с гипсом, камнем, словами, красками, формулами, в честной потуге вырвать из мрака осознанную кривую, образ, закон... Нет: борьба с интригами, сослуживцами, сплетнями, наветами, подножками, поножовщина, хитрая, тихая, прилизанная. И если что-то строить, улучшать, то в сотрудничестве с анонимным хором застрахованных чиновников. Современный гений подвизается, главным образом, на административном поприще. Век посредников, составителей планов, бюрократов, полицейских, экзекутивов; роль изобретателей, творцов нынче второстепенная и сравнительно мало вознаграждаемая.

В разгар войны, благодаря мобилизации, в тылу освобождается множество гражданских мест; так Богдан попал в одно крупное издательство, где, несмотря на европейское образование и уважение к творчеству, несмотря на самостоятельность, упрямство, хороший вкус и презрение к рентабельности, все же быстро продвинулся вперед. Среди разнообразных изданий его фирмы имелся журнальчик, влачивший жалкое существование, хотя по содержанию он почти не отличался от других тетрадей, пользовавшихся завидным успехом на американском рынке. Богдан только что закончил поэму «Мадрид—Париж», где сопоставлял судьбы двух столиц, и теперь чувствовал потребность отдохнуть или, вернее, по трехпольной системе, потрудиться на совершенно другой ниве. (Так, между двумя книгами, он изобрел машинку для автоматического раскладывания пасьянса.) Осмотревшись, Богдан предложил изменить обложку ежемесячника: вместо стереотипной, примитивной давать в каждом номере портрет какого-

нибудь живого, интересного лица. После на редкость острой и бурной борьбы его революционную мысль одобрили и первый выпуск с фотографией прекрасной дамы, лукаво и таинственно улыбающейся, сразу разошелся удесятеренным тиражом.

Богдан продвинулся на оклад главного секретаря (600). Фортуна, можно выразиться, повернулась, наконец, надлежащим концом, и Богдан счел себя удовлетворенным. Впрочем, не надолго: в течение года Богдан несколько раз объяснял ответственным директорам (все торговцы, а от добра добра не ищут), что в его планы вовсе не входило давать иллюстрации исключительно дам и девиц. Нет! Можно показать и слонов, и мужчин, и детей, и памятники искусства. Именно на этом пункте Богдан благополучно вскоре сломал себе шею (к вящему удовольствию демократической молодежи). Впрочем, победа в Европе к этому времени была уже обеспечена и много испытанных канцеляристов возвращались к своим конторским упражнениям. (Богдана перевели назад в экспедицию.)

5

Непосредственным шефом Богдана являлся некто Лерой, человек выше среднего возраста, кончивший Йель, когда приличному американцу полагалось кончать Йель. Наивный допотопный эгоист, шумный холостяк со вставными зубами: помесь грансеньора с коммивояжером. Гуманист, торгующий всякими вещами, имеющими спрос, и знающий, что на рынке все позволено. Облик и ужимки джентльмена, а дело творимое почти бесчестное: единственный критерий — рентабельность. Если вопрос и ставился изредка о качестве, то имелось в виду качество отчетности, упаковки, бумаги, рекламы, организации, но отнюдь не существа продукта. Ибо то, что хорошо, то продается или, вернее, то, что нравится шестидесяти миллионам американцев, не может оказаться мусором. Здесь святые Палестины и Лерой современный крестоносец, освобождающий и стерегущий гроб Господень. К этому примешивалась еще капля спортивности. Жизнь — состязание между сверстниками одного выпуска; пункты это деньги, деньги это пункты. Да, пожалуй, условность, но помогающая вести состязание и выбирать победителя.

Как в большинстве американских издательств, во главе этой фирмы стояли люди не творческого, писательского опыта, а про-

делавшие административную и рекламную карьеру (начавшие службу в магазине, в экспедиции, на складе). Считалось: если сотрудник умеет хорошо сбывать книги или журналы, то именно он-то и знает, какие книги и журналы следует печатать. Товар, который легко раскупается, хороший товар, а фолианты, залеживающиеся на полках, — плохое и вредное явление. «Потребитель, вот кто устанавливает ценность продукта! И он всегда прав». Из этих администраторов многие во время войны ушли в отдел пропаганды; предполагалось, что если человек умел внушать шестидесяти, миллионам американцев, что покупать, то ему удастся убедить земляков Геббельса (а потом Сталина), в чем обязанности, наконец — выгоды семьянина и налогоплательщика.

Лерой был одним из таких удачных продавцов книг и агентов рекламы ; трагизм его положения только усугублялся тем, что был он, хотя ограничен, но преимущественно честен, а в молодости получил отменное образование (даже прочитал пяток классических произведений в оригинале). Наделенный от природы некоторыми творческими иллюзиями, он, — владея французским языком, — в свободные вечера регулярно переводил очередной занимательный роман; потом издавал и, как жертва, разводил руками, когда публика не оценивала по достоинству его находок. Благодаря положению и влиянию Лероя *Book of the Month* клубы изредка выбирали его упражнения для своих сирот, что вполне оправдывало всю авантюру в глазах других директоров. (Они даже искренне почитали Лероя знатоком европейской литературы.)

Этот джентльмен занимал огромный кабинет с видом на Ист-Ривер и дальше — *Welfare Island;* в углу этого современного храма, за ширмою и потому с вечной электрической лампою, ютился Богдан, главный помощник Лероя по журналу «Вся правда». Анекдот заключался в том, что если бы случайно Богдан остался и выжил в стране восходящего социализма, то, вероятно, сотрудничал бы в «Правде».

Удачная карьера (как женитьба) принесла Богдану желанные волнения и пряности; но вскоре острота романа иссякла, воцарилась рутина и вооруженная скука. И после трех лет полезной литературной деятельности Богдан так возненавидел свободных, павших и бессмертных покупателей, на которых будто бы трудился, что жизнь его без диктатур и доктрин тоже потеряла смак и смысл.

Кроме того, близость к Лерою делала его свидетелем и даже соучастником интимных процессов стареющего организма. Ос-

новное место в жизни этого веселого, ограниченного и самоуверенного буйного холостяка занимал телефон. По телефону, разумеется, завершались разные фазы почти всех дел; но по телефону также производились частные заказы и улаживались домашние недоразумения. По телефону, наконец, завязывались, развивались, тянулись и рвались сексуальные отношения. Богдан был плененным свидетелем этой злой сатиры на кипучую деятельность: творчество, мудрые распоряжения, — шутки, лесть, блеф, реклама, — домашние мероприятия и, вперемешку, воркования, располагающие к оргазму или убийству.

У Лероя в обращении всегда несколько пышных однообразных блондинок; сообразно каким-то глубоким и загадочным требованиям сердца он приглашал то одну, то вторую, то третью на завтрак, обед, в театр, на *week-end* к себе на остров. Ибо это творение Божие, как и все, имело в своей жизни некий решающий секрет... Остров!

К одним смертным Лерой поворачивался ликом блестящего организатора, торговца; другим он подставлял профиль редактора, переводчика, шармера, гуманиста; третьи видели в нем гурмана, сибарита, старого волка с острыми искусственными зубами, потребляющего сырые бифштексы и шотландское виски. Но Богдан понимал, что ключ к жизни Лероя — остров. Каменистый бугор, покрытый зернистым песком, ввиду Лонг-Айленда, без растений, деревьев, травы, но отделенный от материка, от мира простых обывателей. Остров Санчо Панчо, где Лерой волен казнить и миловать рыб, насекомых, крабов, блондинок, а иногда мальчиков.

Но остров надо постоянно налаживать: после очередных ураганов отстроиться, организовать транспорт, воздвигнуть новую кабину у самой воды, починить пристань, привести в порядок моторную лодку, яхточку, протянуть электрический кабель. Доконала его канализационная система: тут Лерой наткнулся на особого рода технические трудности (может быть, поэтому ему остров достался так дешево)... Никак не удавалось отвести в море то, что джентльмены и блондинки выбрасывали; кроме того, с плебейских пляжей на «большой земле» наносило — мусор, скорлупу, окурки тоннами! Беседы с мастерами ванн, газа, уборных и газонов занимали весь досуг от марта до середины октября; зимой жизнерадостный холостяк даже мысленно эвакуировал остров и сосредоточивался на литературе и ночных кабачках.

Поначалу Богдан проникся уважением и даже завистью к американцам, выпестовавшим такой тип активного человека: продукт скрещения культур Нового Света, представитель высшего сословия в демократии, делец, читающий Гомера и клинопись биржи... лангусты, Библия и паруса! Тут покупка сырья, производство и продажа с упаковкою превращается в творческий акт. Одновременно архитектура и психиатрия. Раньше составляют план, чертежи, сметы, обследуют потребителя, выясняют коэффициент заинтересованности, привлекательности (если возможно, меняют пропагандою знаки в свою пользу). Потом экскаваторами выгрызают землю, кладут фундамент, льют бетон, проводят трубы и кабели — вот приступают к производству, с явной выгодой и пользою для всех. Чего желать лучшего? Ведь за год они издают несколько десятков сносных переплетенных книг и пяток иллюстрированных журналов. Много чуши, повторений, безвкусицы... Антология: «Письма матери к сыну в мировой литературе», а в следующий сезон — «Письма сына к отцу в классических произведениях»... Но все же попадаются труды, радующие сердце при любых обстоятельствах. Кое-что, вероятно, уцелеет и переживет столетие. Молодцы. Сами живут, как им нравится, и другим не мешают. И это современники немцев, Сталина, рычи-Китая, холодеющей бабочки-Европы! *Glory, glory, alleluia.*

Но когда он пригляделся пристальнее к Лерою и понаторел над его вульгарными проектами, Богдан почувствовал нестерпимую скуку. Пустота, тщеславие, разврат, тупость (возводимая даже в качество — поскольку она приносит дивиденд), рутина, лень, трусость (перед общественным мнением), виски и гольф, лицемерие, эгоизм, только усугубляемые заплатанными цитатами из Сенеки и Шекспира.

Приблизительно в ту пору и Лерой изменил свое отношение к привередливому помощнику. Вместо прежнего доверчиво покровительственного оскала фарфоровых зубов начала проглядывать нетерпеливая враждебность удачного, но стареющего самца к неудачному, но полному вирильных сил вероятному сопернику. Богдан догадывался, что скоро придется подавать в отставку (значит, опять начинать с 200 в конторе). Но другой развязки не предвиделось; он уже ненавидел этот спокойно пошлый, ложно либеральный тон, шуточки, слюнку и убежденную агрессивность Лероя — все, что он раньше принимал за выражение оригинальности и деловитости, достойной подражания.

В сотый раз, как многие эмигранты его призыва, Богдан задавал себе простой вопрос: «Почему я здесь остаюсь?»

И почти все мыслимые ответы: «Куда же деваться... хорошая страна, добрые люди, отличные условия работы...» — хотя и справедливые, не удовлетворяли.

Было еще одно ядовитое соображение, возникавшее в самые тяжелые минуты: «Стоило показать Сталину кукиш (который бы меня, вероятно, поставил на место, примерно, дивизионного командира)... стоило бежать с опасностью для жизни от Гитлера, который мне предлагал на первых порах выгодно разбазаривать Францию, — чтобы вот теперь надрываться для этого бездарного пылесоса, несносного шалуна, под которого уже ничто, кроме долларов, не потечет (да и последние продолжают свой бег только по инерции)».

6

Вот при каких обстоятельствах в самый разгар служебного кризиса Богдан попал опять к Нарвину. Пульсировала горячая десна, дергалась щека, но за всем этим, однако, другая боль, иной страх: жизни, бытия, ускользающего смысла. «Ну что я здесь делаю?» — спрашивал он себя по установившейся традиции, как тридцать пять лет тому назад в древнем порту Константинополя или Бизерты, в Марселе, Париже, Валенсии — под визг арабской конницы, — снова в Париже, в Касабланке, на Азорах, на Кубе и, наконец, в виду крошащегося от неподвижного парного зноя Нью-Йорка. (Американские солдатики, попав во время войны на острова Океании, неизменно задавали себе тот же вопрос: «Что мы здесь делаем? почему здесь очутились?») И ответ напрашивался один: тут жить еще можно, хотя тошно, а там уже немыслимо.

Нарвин ловко извлек больной зуб; затем занялся другим, погибшим, хотя еще не воспаленным: «Поверьте доке в этом деле, самое верное — удалить!» И вдруг заговорил о вегетарьянстве. Оказывается, Нарвин запомнил пациента с прошлого раза и даже тему их беседы: года три тому назад, — почти сразу после приезда Богдана, — он ему вырвал первый зуб в Новом Свете.

— Я вас сразу узнал, — с достоинством, старательно, точно чеканя фальшивые монеты, повторил Нарвин, с трудом раскрывая и закрывая кривой, заставленный крупным золотом рот. — Неловко навязываться, может, вы не желаете вести знакомство, —

мудро растягивая тоненькие брови, печатал ртом дантист. — Однако вы очень постарели.

— Сэр, разве можно такие вещи говорить, — кисло пошутил Богдан: он сомневался зовут ли дантиста доктором, а имени-отчества не помнил. Ему страх как не хотелось обмениваться мнениями, но было ясно, что Нарвин его не выпустит легко из тисков.

— Ну, не постарели, а возмужали, остепенились, присмирели, — старательно фабриковали кривые губы.

Присмирел! Вот оно. Еще бы!.. Когда Богдан в первый раз обратился к Нарвину, его мотало в центре любовного шторма, куда он попал так же случайно и незаслуженно, как парусная лодка, вышедшая из бухты на послеобеденную прогулку и захваченная внезапно для нее налетевшим ураганом. (Несмотря на внутреннюю и внешнюю неподготовленность, приходится делать то же, что и экипажу других судов, идущих в дальнее плавание и рассчитывавших на непогоду.)

Этот любовный вихрь не только давал ему чудесные силы, увеличивавшиеся от растраты, преображавшие плоть, убивавшие боль, грусть, усталость, но еще открывал глухие затоны, подводные ямы, освещенные черным солнцем пещеры в райских дебрях его живой души. Он был тогда счастлив и знал постоянно цель своего существования, знал так хорошо, что даже не думал об этом. Заботы сводились к мелочам, и форма не отрывалась больше от содержания. Увидит он сегодня, скоро, ее... Если не сегодня, значит, завтра. Душа раздувалась в огромный шар — океан вливался в каплю, и крыло жизни простиралось в другое измерение. Звуки, сияние, запахи, вибрации, оттуда распространяющиеся, свидетельствовали о вечной удаче, о конце умирания. Даже зубная боль, не исчезая, теряла остроту — покоилась где-то рядом, сбоку, совсем незлая (а вслед за этим время, старость, суд и казнь тоже претерпевали зрительно-осязательные изменения).

Нарвин почитал себя усиленно православным и не признавал московской, чекистской юрисдикции: любил поболтать об этом с русским клиентом. Долголетний опыт научил его простой истине, что бормашина побуждает к терпимости и соглашательству — и он этим пользовался!

Нарвин ухитрялся и в эмиграции питаться исключительно корнями бытового православия: за год раз пять ходил в церковь, Рождество праздновал по старому стилю, весною говел, а Пасху без поросенка воспринимал как ересь. Некоторые изгнанники,

чтобы окончательно не опуститься, привязали себя крепко к русской березке, к цыганскому романсу или к Достоевскому (Алеша Карамазов); вот Нарвин для этой роли почему-то избрал себе кутью! (В последний раз он ее ел на Дальнем Востоке, после разгрома Колчака.)

Нарвин, как полагается, ненавидел Толстого и не пропускал случая отпечатать: «Помилуйте, ведь это же, если не ошибаюсь, преступление против Святого Духа...» И Богдан неожиданно для себя, дожидаясь действия наркоза, спросил почитателя генерала Краснова:

— Неужели вы думаете, что у Бога действительно две руки и кто-то сидит одесную, а чином пониже ошуюю?

И как только он это произнес, точно вспышка магния осветила зажоры и размоины его души, — вероятно, давнего происхождения! (Так сознание отстает от контура действительности и человек имеет дело с двумя реальностями.) «Ведь еще недавно я во все это почти буквально верил: в пику дуракам и умникам. Я, по-видимому, перевалил еще один рубеж, даже не заметив того». Богдан в течение всей жизни возвращался к игре, которая его забавляла и притягивала еще в отрочестве. Раз пять за последние тридцать лет он начинал составлять новую эпитафию на своем памятнике — с кратким перечислением важнейших фактов душевного порядка. У Пушкина, после убийства Ленского, «горожанка молодая, в деревне лето провождая», натыкается на могилу юноши и «глазами беглыми читает простую надпись»... Ни один пушкинист, кажется, не заметил, что, ознакомившись с *простою* надписью, горожанка, отъехав, вряд ли была осведомлена в достаточной мере, чтобы мыслить:

Что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра?
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудак,
Убийца юного поэта?

Вот чтобы не конфузить зря горожанку молодую, когда она, «флер от шляпы отвернув», остановится перед памятником в Нью-Джерси, Сен и Уаз или, при удаче, в Альп Маритим, теряясь

в догадках, чтобы не подвергать доброе создание соблазнам воображения и моды, Богдан решил дать ей исчерпывающую по возможности, хотя и краткую информацию. Острота игры заключалась в том, что надписи эти с каждым разом менялись, точно умирали разные люди (хотя воскреснуть должен один). Последняя эпитафия была составлена Богданом всего два года тому назад: в том же блокноте, которым он и теперь пользуется. Там адреса и телефоны казавшихся тогда живыми и нужными людей: эта пожелтевшая книжечка, — как старые календари, — чем-то напоминала кладбище.

«Здесь покоится Богдан, сын своего века. Он верил в Бога-любовь, Бога Отца и Сына и Святого Духа, но редко приобщался Таинств. Он ссорился с богатыми и сильными, но покровительствовал слабым. Припертый к стенке, он сражался, как матерый волк, но при излишке становился легкомысленным и давал гадам фору. Любил мясо и алкоголь почти во всех видах и готов был разделить трапезу с ближним. Художник в осажденной крепости, писатель среди позабывших грамоту читателей, верующий без прихода, солдат без тыла и походной кухни. Он успел побывать отцом, мужем, любовником, бойцом и мучеником. Видимый мир он знал, любил и жаждал преобразить; потусторонний он разумел как лежащий в других измерениях и стремился, пока есть силы и руки, туда проникнуть. Ему мешали коммунисты, фашисты и демократы, иезуиты и масоны, дураки и подлецы, свои и чужие; и он их всех возмущал, ибо своей бессмертной, но неприятной личностью заслонял собственное дело. Он умер в лаборатории, ночью, работая сверхурочные часы без воздаяния; так часовой охраняет казенный ящик — даже пустой! Прохожий, помолись за Богдана, пока над тобою не капает».

Теперь пришлось бы опять кое-что изменить, даже добавить, чтобы отгородиться от формальной терминологии. Разумеется, верил в Бога Отца, но что это значит? (Мужчина?)

А все же человек остается верным своему замыслу: он так же страстно защищает друзей и клеймит врагов — только последние иногда меняются местами.

В это самое время Нарвин лихо расшатывал щипцами зуб: туда-сюда, туда-сюда. Боль еще чувствовалась, или, вернее, предполагалась: она уже не была связана с Богданом узами первого родства. Отделились, разошлись в смежные сосуды: Богдан и муки жизни. Он думал: «То, что содержится во мне и протекает

чрез меня, значительно больше, величественнее, ценнее, святее, чем сам я. И если это чудо не сама Елена, то оно ближе к ней, чем к блаженному Августину. Мы с ней и Бог, и мир, и любовь, и страдание, и жизнь, и роды, и выкидыши, и смерть, и сияние, и молния из тучи, и тяжелая вода, и песок, и земля, и море, и раковины и тот необозримо темный океан, который втиснулся в сверкающую каплю, не взорвав ее. Елена и я ничто в сравнении с тем потоком, который несется сквозь нас, но совсем отделить его от нас тоже нельзя. Если такое знать, то уже академик Павлов не опасен; надо только закрепить это чувство — навсегда, не меняя!»

Да, Елена, он увидит ее вечером. Что это значит? Счастье, бессмертие, вечность, добро, потеря части и нахождение целого? Может быть! Но так же беспомощно выражено, как — «ошуюю и одесную». Содержание этой жизни абсолютно, а форма беспомощна. Благодаря присутствию Елены ежесекундно в его сукровице все разрозненные ремни его души сбегаются навеки к одному личному, утверждающему, непоколебимому колесу. Из этого центра узнаешь себя (не сразу!), когда просыпаешься ночью в темноте... так найдешь себя, в конце концов, когда очнешься и сядешь в гробу под раскаты архангельской трубы. Душа горит, не обжигает, только светит. Кто здесь не верит в неопалимую купину!

— Видите, это совсем не страшно, — очевидно, уже не в первый раз заявляет Нарвин. — Вот прополощите, пожалуйста.

— Да, действительно, — восхищается пациент.

«Что есть боль? — тщится понять Богдан, честно прополаскивая рот. — Граница, за которой легкое, приятное раздражение, щекотание переходит в мучительное. Боль отличается от удовольствия только количеством? (А добро и зло?) Но порог, за которым поглаживание становится неприятным, абсолютен ли? Для всех одинаков? Или для каждого личный? То есть начало моих зубных терзаний могло бы еще не быть таковым для соседа? Если у каждого свой порог чувствительности, то ясно, что его можно искусственно передвигать: под влиянием обстановки, вдохновения, мыслей, любви, вина, стихов, духовного напряжения! Не переносить боль стоически, а передвигать, отстранять, выкорчевывать волею, воображением, музыкой».

— Как вы думаете, доктор, — гнусавит Богдан с ватою во рту, надеясь чему-нибудь научиться (а потом поделиться находкою с Еленой: ведь ей придется рожать). — Как вы думаете, можно ре-

бенка так воспитать, чтобы он какое-то постоянное свое недомогание воспринимал как норму и перестал даже замечать?

Ему было неловко говорить, да и удивленно надломленные ижицами брови Нарвина не располагали к мудрствованию — он не закончил вопроса о происхождении и сомнительности того, что называют гармонией... К тому же если даже страдание не безусловная, абсолютная величина, то, значит, и смерть...

— Вы, пожалуй, не поверите, — говорил дантист, позвякивая инструментом во рту Богдана. — Мне попадались клиенты, которые даже любили бормашину. Ничего, ничего, прополощите. Ей-богу, они по-иному реагировали. Я это особенно часто встречал почему-то у чехов. Когда-нибудь даже напишу статью «О национальном отношении к боли».

— Немыслимо, — мужественно отбивался Богдан, выплевывая кровь. — Если боль и смерть понятия расовые, то вполне законны расовые философии и религии. И любовь, — улыбнулся он неожиданно.

— А, любовь, — просиял Нарвин, точно коснулись его специальности.

7

Елена. Они познакомились в свой первый нью-йоркский год; он приплыл из Марокко, она из Лондона. Американцы только-только начинали мобилизоваться. Рассудительным буржуа немцы казались победителями *(vainqueurs partout)*. Пушки гремели между Доном и Волгою; вся униженная и порабощенная героическая молодая Европа прислушивалась к раскатам русских, христианских, советских, гуманитарных, ангельских катюш, молясь за их меткость. Богдан стряхнул свой политический плен, паралич, охвативший его в дни предоставленной собственной участи республиканской Испании; временно работал на радиостанции *OWI*, тщась, вопреки наивности властей и жадности тунеядцев из Средней Европы, выполнить урок получше. (Он подал заявление в армию де Голля и ждал ответа.)

У Елены был певучий нарядный английский акцент; она душилась незнакомыми духами (Yardley) и даже голос ее показался Богдану — благоухающим.

— Богдан, какое звучное имя...

Был коктейль их отдела — на Пасху 1943 года. Пили калифорнийское шампанское. Она уселась на спинку кресла и раскачива-

лась взад и вперед своим тонким, плоским, но выносливым телом; русые гладкие русские волосы, до ожесточения голубые глаза и вздернутый (ирландский) нос.

— Выбор у нас маленький? — спросила она, улыбаясь некрашеным ртом.

«Как мне жить дальше? — допытывался Богдан за минуту до этой встречи. — Воевать с гадами я уже воевал. Демократы тоже люди. Фашисты, социалисты плохи не потому, что они фашисты или социалисты, а потому, что они только люди. То же о французах, англичанах, неграх, христианских демократах: удручают в них обывательские черты. Как мне сотрудничать с людьми в одном, даже большом, деле... Как радоваться жизни целиком, не проклиная полдня, восемь часов, сорок часов в неделю, за которые платят 75 долларов? — докучал самому себе Богдан; такое испытывает пассажир в переполненном автобусе: куда ни сунешь ногу, все равно проходящие спотыкаются. — Бог? Да. Но между мною и Им незаметно выросла стенка. Было время, Его дыхание обожгло лицо: осталась только эта память. Но я устал молиться стенке».

— Да, выбор небольшой, — весело согласился Богдан, поддерживая Елену. — Постель или пивная, вот и все.

— Пойдемте отсюда.

Он взял ее за руку и повел... Такой была их последующая жизнь: им казалось, что они знают, куда идут.

В те годы людьми владело одно чувство, сразу показывавшее их принадлежность, воспитание, среду... Чувство гнева, отвращения, обиды, гадливости, стихийной жажды мести. Достаточно было двух-трех полуслов, междометий, чтобы сразу найти надежных друзей в виду несомненных врагов.

Европейцы до сих пор еще не сообразили, сколько психологического торжества, душевной радости несет с собою обыкновенно очередная война против немцев: сомнения, колебания, распри, полутона и оттенки — исчезают! Поиски смысла, оправдание цели, расщепление волоса; анализ рефлексии, отраженной в подсознании — прочь, мимо! Какое блаженство, задача одна, проста и монументальна: гаду надо оторвать ручки да ножки! Истина, ставшая вдруг священной. Одно исповедание для христианского общества; подлинная кафолическая служба. И в этом объединяющем людском порыве европейское сердце, уставшее от оговорок и отступлений, облегченно дышит, точно нащупав искомые звенья круговой поруки.

9 Зак. 2384

В атмосфере десантов, казней, заложников личная жизнь вытеснялась из текста, принимая форму примечания курсивом, благодаря чему только выигрывала в ясности и убедительности.

Женщину, ставшую женою Богдана, немцы увезли из Тулузы и, по-видимому, сожгли: на пятом месяце беременности. (Где-то бродят табуны призрачных недоносков, цепляясь за ситцевый передник фрау Ильзы.)

Рассказ об этом (и некоторые жгучие психологические подробности) нормально должен был бы оттолкнуть Елену от Богдана; но получилось почему-то наоборот: их швырнуло точно прибойной волною в объятия друг друга. (Захотелось примерить собственную ступню к чужим следам на мокром песке.) Как и полагается в таких случаях, Елена непостижимо быстро забеременела.

Она снимала дорогую мансардную квартиру на восемнадцатом этаже: фантастическая терраса вилась вокруг ее замка из двух комнат... А внизу грозный ров — Ист-Ривер. Там, на вершине, в виду таинственного острова Велфер и моста в Квинсе (похожего на упраздненную тюрьму), они, с повадками средневековых грешников, провели первую американскую весну. И хотя май в Нью-Йорке без запаха сирени, без одурманенного и дурманящего соловья, без журчания вод и вибрации холодного светлого воздуха, но все же это оказалась великая земная весна! Воскресение в каменном мешке, гудевшем от поездов и машин, от пронзительных, отравленных вихрей, от оглушительных и кратких тропических ливней с мгновенным перекатом к истомной, мглистой, экваториальной, неподвижной, донной жаре (когда солнца не видно и зной бьет прямо с неба — отчего потеешь в самых неповадных местах). И любовь шествовала, как первая, вторая, как всегдашняя, книжная, романтическая (даже в классические века), преображающая и вдохновляющая христиан, язычников и атеистов, тотальная, единая и безвременная: косая форточка в эсхатологию. И что Богдану в таком состоянии зубная боль... Большой коренной, еще один, подумаешь!

Елена забеременела, и в этом им померещился лик чуда (насыщенного парами символизма). А к осени мужа ее воинственные лодыри подобрали в дебрях Камбоджи и, больного обязательной для тех широт лихорадкой (как нервная горячка в романах Достоевского), привезли конвоем в родную Англию. Сплошной эпос. Елена сочла справедливым вернуться к мужу; она родила бледную девочку, о чем протелеграфировала в Нью-Йорк.

Нет, в то лето, отправляясь к дантисту, Богдан не боялся иглы. Наоборот, его радовало: личные страдания сближают его с роженицами, солдатами, пленными, детьми в лагерях и печках. «Это не все, — думалось ему. — Когда-нибудь мы тоже пройдем через Геркулесовы столпы в Маре-Тенебрум и догоним другие потрепанные суденышки, что дает нам пока право думать, курить, радоваться дню и ночи, приливу и отливу, огню, воздуху, любви». Так что потом, в кресле Шумахера, Богдан ерзал и томился от двойной муки: конечно, зуб, кость... Но еще: он завидовал себе в прошлом — исчезнувшему, растаявшему. Все так постепенно, незаметно изменилось. Даже чувство, с которым входишь к дантисту. Отныне платишь самые нетерпящие отлагательства долги. А бывало, щедрая душа через каждую потерю оснащалась к новому плаванию. И росла.

8

В последний раз Богдан удалял зуб с чувством определенного творческого задания еще в предвоенном Париже. «Вот вырву, и опять будет хорошо. Как прежде, даже лучше: ибо опыт духовный, физический прибавится». А опыту цена — жизнь! Богдан тогда знал: все, что он делает, — к зрелости, к вящему обогащению, расцвету его личности. И до поры до времени это было верно. Сперва герой отважно взбирается на вершину своей крутой горки: каждый шаг расширяет что-то в нем и кругом. А потом начинается спуск, сперва легкий, пологий... Тогда уже, вопреки стараниям и предосторожностям, все оказывается только сворачиванием и обеднением (излишний опыт, пожалуй, охолащивает).

Посередине торчал этот зуб в Бордо, точно перевал в Гималаях, — дымное лето 1940 года, когда он походя убил немца.

Богдан и Олимпия оставили Париж 12 июня (экзаменационный месяц); немцы были уже у застав. Город Света лежал открытый, холодеющий, как дама с камелиями в последнем акте. Было чувство: опять все позволено! (Как в ту ночь у Севастополя, когда Леня украл у казака одеяло. «Теперь оставь, Богдан, теперь мы на чужбине!» — крикнул он гимназическим басом и швырнул ненужное одеяло за борт истребителя, где ходила и переваливалась непонятная русской природе стихия.) И вот уже теперь на втором рубеже Европы выбиты двери и окна, сквозят вихри — очередное подобие изгнания из рая. Библейский ветер налетел

сверху и смерчем поднял одушевленный скарб, бегущих, ошеломленных, смятых горожан. Дорога загорожена извивающимся туловищем с оторванной головой; костная масса и отбросы забивают проходы, мешая самим себе. Дети, матери, старики, непропорциональные чемоданы, непропорциональное честолюбие, непропорциональная мораль. Проказа, гром Синая, овен, запутавшийся в чаще рогами, уведите из стана менструирующих женщин, на Луаре взорван мост и воды расступились. Низко заходят мессершмиты, пугают стадо автомобилей оглушительным шумом, бомб не кидают, иногда, из озорства, поливают бессмертную толпу пулеметной струей. А рядом, еще выше, совсем в другом плане, небесная галльская голубизна и блеск, одинаково доступный уху, носу и глазу, прикосновенный местам, не указанным в географическом атласе.

Ночью таинственные фары близоруко щупали дорогу, которая уже никуда не вела; беженцы отдельными большими семьями, — племенами, — лежали там, где их застали сумерки. У железнодорожного полустанка застрял поезд; спрут осемью ногами присосался к составу, но паровоз неожиданно отряхнулся и ушел в темноту по запасному пути. Пустые эшелоны героически мчались на Париж и их освещенные окна в степи казались метафизическим пунктиром.

Богдан вел отбитую в дороге и починенную им каретку «скорой помощи». Бензин отпускали даром у колонок: уничтожать у французов не хватало воли. (Во времена Цезаря, Версенгеторикса и каролингов, отступая, они сжигали урожай.) Рядом с ним дремала Олимпия; сзади приютилась семья Сен-Клеров, подобранная в пути. Они продирались тропами и проселками. Богдану в расцвете тридцати трех лет казалось, что нет силы, способной его сломить. Этот избыток священной мощи делал его непомерно щедрым для Европы тех дней — он позволял себе роскошь жалости к ближнему.

Впрочем, присутствие Олимпии тоже, вероятно, — без слов! — подталкивало его к относительному добру и состраданию. Ее коричневые глаза с густыми ресницами были похожи на гордых зверей в клетках зоологического парка. Жар ее цыганских зрачков, беспрестанно дышащих, — раздуваясь, опадая, — отражал иное пламя, видное только ей: пламя топок крупповских печей, в которых ей суждено было вскоре истлеть. (Узколобому Богдану мерещилось — это прошлое: огни Университетского городка под Мадридом, хота и песни в Барселоне.) Безропотная жертва, чис-

тый барашек, преображающийся только под звон кастаньет, она искупила его буйство и силу, похоть, гнев, эгоизм тех дней (когда десять миллионов штатских метались по дорогам Франции, точно в западне).

От Сены через Пуатье до Бордо; потом Байонна, рыжая полоса Ируна и снова поворот: По, Тарб, Тулуза, Монпелье... В продолжении одной недели, захлестнувшей на манер Ниагары; без денег, без полноценных бумаг, подчиняясь верному инстинкту: не поддаться тупому, рыхлому, бездарному, истерическому, биологически неудачному, немецкому чурбану в сапогах и каске.

У Луары наполовину сорван мост, но по бревнам перейти можно; Богдан пробрался к солдату, стоявшему на часах, и сразу в его улыбке почувствовал — неладное, трудновыразимое.

— Нет, приказано не пропускать. Ты думаешь мне приятно, *je fais mon devoir!*

Он говорил с сильным и неприятным «р», взгляд белесый, убегающий, наглый:

— Я эльзасец, — подтвердил он.

Богдан с наслаждением ударил его ногой в живот, потом кулаком, поднял и вместе с ружьем швырнул в Луару. Провел Олимпию, а затем всю семью Сен-Клеров на тот берег: старуха мать, мальчик-подросток, три взрослые сестры и муж старшей: тучный беспомощный композитор, еврей, который уже несколько раз всхлипывал и вяло заявлял, что такой ценой, пожалуй, не стоит продолжать существование.

Эта переправа через священную реку (на севере зарево — там горят склады с припасами, нефтью), орды беженцев на шоссе, песьи глаза трех французских сестер, ревнующая его к жизни Олимпия, с обновленной щедростью открывающая ему грудь на каждом привале. Развал Парижа, Галлии, Франции, Европы, всего старого симметрично-атомного трехмерного уютного мира, опрокинутого немецким кретином на собственную голову (опять впавшем в шизофрению и нуждающемся в лечении шоком)... Это зарево над западным краем земли по-настоящему несло с собою начало небывалого праздника, вакационного перерыва после трудного школьного века, отпущения всех грехов, прощения всех неудовлетворительных баллов, великое и стихийное равенство народного бедствия.

В празднике заманчиво освобождение от пут долга и обязанностей, человек отрывается на время от рутины, останавли-

вает поток привычных занятий, пускается в неизвестное, невыгодное, иррациональное. Нечто подобное свойственно и стихийным катастрофам: конец трафарета, прыжок в фантастическое, пьяное, фосфорическое — из Аполлона к Дионису. Этот хмель, очевидно, дает народам силы переживать острые фазы своего падения.

Ночевали в Пуатье 16 июня; весь север, вплоть до Нидерландов, выхлеснут из родных берегов и катится к Средиземному морю. Историки не могут понять, каким образом в девятом веке детки вдруг спонтанно собрались и пустились освобождать гроб Господень! Но кто объяснит, зачем десяток миллионов тихих консьержей с узлами, пуделями и драгоценными шкатулками оставили родные кварталы и побрели неизвестно куда... Недаром английский король в тот день по телеграфу выразил сочувствие французской нации, застигнутой ночью на дороге.

Вдоль шоссе — на юг — двигался неудержимый обоз насекомых с кладью, детьми и молитвами: великий французский плебс пятнадцативековой крепости. В темноте слышен однообразный гомон, шорох, треск новозаветной саранчи. Вокзал в Пуатье на запоре и ощетинился солдатами. «Уходите, возвращайтесь назад; поездов не будет, только военные эшелоны!» — официальная версия. Прошлепала, улепетывая от немцев, цепочка миниатюрных танков, действовавших, вероятно, с переменных успехом в 1918 году под Одессою.

Богдан и Олимпия подхватили за руки старуху Сен-Клер и, порою неся ее, сопровождаемые всей семьею, побежали огородами, — через два плетня, — к провинциальному железнодорожному полотну. Марокканец, сверкая в сумерках зубами и коротким ножом, примкнутым к винтовке, преградил путь. Богдан похлопал его по животу, достал из кармана серебряную монету в 20 франков, подкинул ее несколько раз в воздух и, заразительно улыбаясь, вручил арабу... У платформы стоял темный эшелон; в теплушках ночь, сон: чувствовалось — переполнены. Из щелей торчит российская солома, доносится теплый храп, кислая отрыжка, шепот (молитвы), урчание (верблюдов)... Вот она, полупустая знакомая теплушка: пять человек рядовых пошли в город запасаться вином. Пролезли по соломе под веселый, почти владимирский говорок солдат, возбужденных сознанием, что почему-то их случайно вывозят из бойни, из плена (и довольных заполучить в свой вагон несколько «парижанок»).

Состав тронулся без сигнала — бойцы, ушедшие за вином, сгинули, быть может, навсегда. Пахло сосновой доской, онучами; снизу по-русски стучали колеса: та-та-та, ту-ту-ту, то-то-то. (Кто «та»? Которую «ту»? Что «то»? Вот именно: то-то и то — самое главное!)

В наполовину отодвинутую чудовищную дверь видны непреложные, похожие на цветы, созвездья. Фантастическая ночь, и все-таки какая знакомая и по-своему желанная. Путивль, плач Ярославны, Минин и Пожарский или молитва Орлеанской девы, Роланд, мавры в Пиренеях, осада Рима, очередной бич Божий, спрячьте все сокровища храма, Иеремия варит похлебку, пахнет ногами беженцев.

Олимпия прижималась к нему с новой вспышкой страсти, точно каждый километр, приближая поезд к Испании, возвращал их на прежние психологические позиции. В самый разгар смены эонов, когда своды, вчера еще такие крепкие, вдруг обвалились, потолок рухнул, стены, объятые горящей лавою, ушли под воду и на небе, среди звездных роз, протянулись стожары трассирующих пуль, Богдан, прижимая к груди помолодевшее от страха лицо Олимпии, решал: ведь то, что я переживаю теперь и есть счастье! В барской гостиной или в монмартрском кабачке оно не было бы полнее.

Вот приблизительно в это мгновение, словно доказывая еще большую многосторонность земных возможностей, у Богдана вдруг задергало, защемило, укололо в коренном зубе. Пронзительная боль ударила только на минуту, две, но успела затемнить, стереть ощущение недавнего блаженства: не уничтожить совсем, а только превратить в смутно различаемый, бесформенный полюс (так, выключив свет, знаешь, что где-то рядом часы: ведь тикают... но образ недоступен). Богдан пробовал себя утешать в разгар мерзкой боли: «Вот теперь мука, но раньше я блаженствовал — одно покрывает другое, вознаграждает». Но ему было ясно: самообман! Радость, счастье, расцвет, весна, любовь, Олимпия, творчество не имеют ничего общего с переломом костей, нарывом в кишках, сорокаградусным морозом, пыткою, гвоздями под ногтем, допросом, позором, подлостью, глупостью, удушием, агонией; хотя все это и стоит рядом, но совсем не встречается друг с другом, как волны света и звука не пересекаются — и стало быть, не могут дополнять, уравновешивать себя. Это два уравнения, написанные по соседству, с совершенно разными неизвестными — разрешение одного не дает ключа к второму: они в иных мирах. Две половин-

ки от разных шаров, наскоро склеенные в одно целое по непонятным соображениям.

Забыв, что поклялся больше не уделять внимания своим мыслям, пока их некуда записывать (его восемнадцать блокнотов, плод незаметного труда двадцати лет, остались в парижском отеле), Богдан, вдохновенно морщась от боли, все же старался освоить, оформить новый опыт.

Олимпия мудрым чутьем шла по тому же пути: несмотря на его гримасы и зачаточные стоны, продолжала тихо ласкать, веря в силу и прочность тепла! Пусть вода заливает костер: постараемся спрятать один уголек.

9

Они приплелись в Бордо только к вечеру следующего дня. Не располагая всеми нужными документами и пропусками, Богдан на всякий случай счел благоразумным (вместе с остальными своими спутниками) спрыгнуть на окраине с застопорившего поезда и пересечь город на будничном трамвае.

Цыганский табор, Севастополь, падение Рима и Константинополя, пожар Москвы, похабный мир, Брест-Литовск. Каждый народ побеждает по своему и величие его — особенное: но в падении и поражении все племена подражают друг другу.

В канале стоял пароход, на котором собирались бежать в Марокко правительственные чиновники: по мосткам сплошным током в обе стороны рыскали подозрительные спекулятивные силуэты. Рядом, у трамвайной остановки с феодальным упорством дежурили беженцы, обремененные узлами и тюками. Город, куда еще с начала *смешной* войны переселилось правительство, запружен, раздут, как страдающая запором кишка: а с севера пихают все новые куски слоеного теста.

Старые переселенцы, администраторы, дельцы с ужасом и сомнением смотрят на вновь прибывших, которым ничего, кроме жизни, спасать не хочется. Аборигены ненавидят — без различия — всех чужих, оскверняющих священную землю родных Ланд.

Трамвай переполнен; тут австриец, который уже дважды чудесным образом спасался от пивного Магомета; польский еврей, потерявший счет милостям Божьим, группа подростков из эвакуированной фабрики под Севром, мужик фламандец с женою до того пропотевшей, что дух захватывало, и жгучая дама, аромат-

ная, случайно попавшая со своим кавалером, красавцем южанином, морским офицером, в эту компанию (от них пахло полом, адюльтером, трюфелями): запах двух этих женщин существовал одновременно, не смешиваясь и не противоборствуя — как боль и наслаждение!.. Еще десяток туземцев, проделывавших этот путь по личным делишкам ежедневно и не понимавших, что нынче случилось особенного (хотя они утром читали газеты).

Вокзал. Большие вокзалы; мобилизация, война. Киев, Брянск, Москва. Фронт, временное отступление, тыл, до победного конца. Шепетовка, Казатин, Жмеринка, Варшава; гар дю Нор, гар Сен-Лазар, Пари-Лион-Медитерране. Вокзальная толпа: слепой липкий спрут; склизкая, тускло поблескивающая туша, похожая на блевотину только что нажравшегося пса. Опять сорвался с цепи древний обиженный каторжник. Всухомятку, без бани — уже вши! — детки на полу. И еще: эрос под шинелью, на соломе. Радость какая: отпуск, вакации, антракт. Композитор Сен-Клеров шесть месяцев уже не курит и вдруг схватил цигарку: все трын-трава. Человек помолодел на двести тысяч лет и может опять рассчитывать на пещерных богов; мускулы зорко сокращаются под грязным бельем; одной из многих душ Адама — весело.

Город аборигенов уже спал или притворялся спящим — чтобы не ворвались в дом: к его постели, одеялу, жене. Черно: затемнение военного времени. Южная ночь и красное вино на лицах армии дезертиров. («Просыпаюсь утром, а офицеры уже смылись в камионе, ну, думаю...» — Pardis, — соглашаются собеседники).

Военной выправки пары и группы, в штатском, с перчатками, боком, боком, через задние двери буфета.... и оступались навеки в затемнение (гордиться нечем). Бордо, похабный мир. Богдан за кружкой кофе Красного Креста шепчет Олимпии о генерале Скалоне, застрелившем себя в уборной станции Брест-Литовск: последний акт чести среди последних мраморных умывальников и имперских зеркал. Та волна 1918 года достигла теперь берегов Атлантического и Тихого океанов: чести больше нет нигде. Полковники в плену выдают государственные секреты, доносят на товарищей, подписывают позорные документы, бойцы подпольных организаций предают друзей и соплеменников... Их всех потом судят чиновники и часто оправдывают. Олимпия родилась в Кастилии, где пламенные скакуны, уроды, святые, рыцари и влюбленные: ей понятны жалобы Богдана. Вообще она Францию никогда не любила.

«Наш мир спасет честь, — решает в сердцах он. — Не совесть, а честь! Не мужицкая расхлябанная правда, а римский стоический закон... (Непонятно, кому Богдан мстит; все тело зудит и чешется: солома, грязь, ветер и солнце большой дороги.)

В это самое время по соседству в отеле, за опущенными тяжелыми шторами, сидят министры, предатели и генералы, ведут занимательную беседу, стараясь поразить друг друга дальнозоркостью, объективностью и цинизмом. Два-три героя обречены. Генералу де Голлю, как садовнику, дает расчет наложница хозяина. К горлу Манделя уже протянулись грязные пальцы парижского сутенера Лаваля. Крым, Кубань, Жиронда в 20-х числах июня.

Если вокзал напоминал язву, то прилегающие улочки казались уже захваченными антоновым огнем. Юг, Бордо, Жмеринка, Одесса, Барселона, шпионы и дезертиры, осада, блокада Карфагена, пятая колонна Чингисхана или Агамемнона, турки и крестоносцы грабят Святую Софию, хлещет поток, выбрасывая на метафизический песок нищих, сирот, мещан с чемоданами и узлами.

Беженцы отдыхают на булыжниках у канав (положив светлые головы на обочину тротуара, спят старцы; меж ними бредут упрямые муравьи, руководствуясь сяжками). Семьи на рыхлой глине у вырытых противобомбных убежищ, прикорнули, чуть-чуть оттгородившись от соседей: если взглянуть сверху, похоже на мозаику! Из наступившей темноты раздраженные умирающие голоса; пьют кофе — уже без сахара!.. Когда в 1936 году кинохроника показывала бытовые мелочи из Испании, французы удивлялись: «Неужели правда? в один месяц все исчезло? нет, у нас такое немыслимо!» (Американцы, американцы, изучайте физиологию саранчи.)

Новые поезда еще подходили к платформе и словно подавали пар в азиатской бане; члены гражданских комитетов, краснокрестные дамы с перстнями и камнями на белых развратных руках — скрылись, не в силах себя больше проявить среди наступающего мрака. (Скоро, скоро ли раздастся истошный вопль: «Громи все к чертовой матери!»)

Centre d'accueil — неподалеку от вокзала исполинский деревянный амбар, набитый сеном, но пропахший кислыми виноградными жмыхами; там все занято инвалидами прошлых войн. «Не курите, не светите, предатели, пятая колонна», — неслось вперемежку с дряблым кашлем из всех углов и куп, где зарылись в труху герои славных редутов и траншей. (По соседству, в эти са-

мые часы, их маршал, Петен, уже сдавшись немцам, еще торговался с Муссолини.)

Пыльные, высохшие и потемневшие от лишений, Богдан и его подопечные пробрались в черный с земляным полом сарай (слышно было, как далеко у стены течет вода из крана в переполненную бочку).

Богдан не раздевался уже неделю; последнюю ночь, со вторника на среду, в Париже он провел у окна своей мансарды у Пер-Лашез (почти напротив Стены коммунаров). Духи Марсельезы, 1789 года, 14 июля, комитетов спасения, *Chant du depart,* Клемансо и версальцев носились над столицей, тщась уплотниться, стать опять реальностью. И еще другие песни, шаги, может быть, Жанны д'Арк или — галло-римской эпохи... Богдану чудилось: вот-вот, спонтанейно, Париж снова станет Варшавой, Лондоном, Севастополем! (Как много случайного в необходимом и обязательного в чудесном.) Когда на рассвете он вышел за газетой, — сводным листком всех эвакуировавшихся уже больших изданий, — эпически простоволосая торговка прошумела: «Ты всё еще здесь, бедная Франция, мы погибаем из-за иностранцев!..» На что Богдан, театрально рванув ворот рубашки, гаркнул: «Я уже воевал, ломал хребет за прекрасную Францию!» — солгал он, даже не заметив этого, употребляя выражение наполеоновской эпохи: *je m'ai fait casser les reins.* И в это самое мгновение улица подверглась странной метаморфозе; вдруг ощетинилась зубами, клыками, рогами, копытами, хвостами, штыками; из мясной выглянули детки Шаслупа с кровавыми ножами, с противоположного тротуара весело бежал безработный Пьер с лицом диким и помолодевшим; магазин *Tout un peu* судорожно распахнулся и оттуда донесся зловонный визг о предателях, иностранцах, евреях. И Богдану стало страшно; но кроме непосредственной опасности его парализовала еще нелепая мысль: казалось, всему этому он уже был свидетелем в 1812 году (когда неудовлетворенные москвичи линчевали Верещагина).

Тело чесалось, зудело — особенно ноги: солома, отруби набились под шерстяные носки (Украина). Богдану захотелось помыться: под испорченным краном, над старой бадьей (стекающая вода образовала липкую азиатскую лужу).

С наслаждением, но экономя время, намылился: студеная вода обдала хлыстом. Олимпия, в темноте посмеиваясь, держала полотенце (ей завидно — но не хватает отваги последовать его примеру); с радостью прислушивалась к смачному пофыр-

киванию своего здорового мужа, с которым впервые встретилась приблизительно у таких же координат в Барселоне 1936 года. Эти во многом похожие условия высекли из памяти прикрытые уже золою искры — раздули старое пламя (давно ставшее оккультным только).

— Вот и зубная боль миновала, — весело откликнулся он, задыхаясь.

И в это время (он едва успел натянуть пыльные брюки) завыла сирена, затем низко над головою загудели тяжелые самолеты; совсем близко, вероятно у вокзала, стукнули пушки DCA, вызывая сугубое беспокойство. Вот грянула первая бомба: ах-ах (по контрасту: ха-ха), и три измерения дрогнули, пошатнулись (еще немного, время загнется и разуму откроется другое). «Ах-ах (ха-ха)» — невесело весело, опять (разбавленное мощным гулом моторов над распластанным вокруг вокзала древним станом).

10

Из всех обстрелов, пережитых поколением Богдана (и смежными с ним), бомбардировка Бордо выглядела самой позорной и мальчишеской; руки чесались от бессилия, хотелось харкнуть в лицо — средней истории, оливковой Италии, оскопленной Франции, Муссолини, под салом которого билось когда-то сердце поэта, солдата, революционера. Все было глупо, мелко, подло и заранее предрешено в этой крысиной драме. В ту ночь Богдан узрел гибель Муссолини: его страшную и смешную смерть.

Крик Гитлера, обливаемого керосином, Богдан давно уже слышал на нюренбергских торжествах.

Только в Сталине ошибся: подушка на голову, старческая шея дергается; гортанное мычание тирана и липкая кровавая пена... Увы, обошлось, к позору народа богоносца, без рукоприкладства; султан опочил под балдахином, при почетном карауле — обманули Богдана!

Итальянцы решили стегнуть плетью колеблющегося Петена и заполучить Ниццу; вот почему они, солидаристы и синдикалисты, ударили по затопленному беженцами городу. Но личный состав требовательно поднимал голову в потоке больших событий: заныл, автономно и не смешиваясь с другими переживаниями, засверлил коренной зуб. И Богдан понял: на этот раз серьезно, надолго.

Вынужденное бездействие, пыльная солома, кашель бывших героев Вердена — как случайна судьба человека: не судите его строго. Великая субстанция разлилась по несовершенной форме. Скорпион ли, Адам ли — всё чудо.

Как воспроизвести эту ночь, затем и всю жизнь... Точно в русской сказке: открыть одно яичко, в нем другое, поменьше, и еще, и так далее; а в последнем микроскопический ключик (без которого яичка-то не откроешь). Злая сказка. И вдруг молния из уст бабы-ведуньи пронизывает все насквозь и озаряет: не ключик это, а счастье людское, обвороженное и усыпленное. «Но день настанет неизбежный»... Откуда слова? Ах, песня Гражданской войны:

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь тяжелый труд,
Но день настанет неизбежный...

Как этому дню радовались и правые и левые, и красные и белые, и зубры и комсомольцы. В эсхатологии русского человека есть что-то воистину ребячески оптимистическое. Всем известна правда апокалипсиса, но чему тут радоваться и зачем торопиться. А степная душа, отталкиваясь от повседневности, соблазняется любой заворошкой и веселится: кроши все к чертовой матери. «Ах-ах, ха-ха».

Когда все давно окоченеет и прилетят разумные существа на дисках, они поднимут геологические пласты и откроют скрижали, осколки ваз, бомб, популярные издания Данте, Библию, таблицу Менделеева... Будут мудро рядить об особенностях строя, культуры, религии, техники. Но эта ночь и Богдан с мокрыми волосами, гул тяжелых бомбовозов, Олимпия, излучающая отраженный свет, «сие есть заповедь моя» и детский плач на соломе, похожий на писк котенка, Муссолини — подлец, личный враг, а не историческая особа! — и святая всесокрушающая стихия жизни, льющаяся по заржавленным трубам души, а зуб во рту: как бы его вытолкнуть, выплюнуть... «Что вы, разумные существа других эонов и небесных тел, поймете в нашем мытарстве?» — осведомляется Богдан. Ему отвечает хор других светил: «Все тот же агнец был заклан при нашем сотворении».

— Ложись ближе, назло немцам, — шепчет Олимпия, раскрывая объятия.

Сладострастно рвутся бомбы; «Я вырву этот зуб», — гневно клянется Богдан, давая волю всей своей оскорбленной муже-

ственности. («Солдату разбитой армии стыдно ласкать женщину. А все-таки какое счастье. Стыд и рай; рай и зуб».)

Отшумели воинственные моторы; влюбленные застыли, перепутавшись руками, волосами, нежностью, истомой, мыслями (но не личностью). И вот на рассвете: опять та же поганая сирена, задуманная администраторами еще во время похабного Мюнхена и несоответствующая реальному инвентарю. Ибо, кроме сирены, требовались еще: бомбоубежища и воздушная оборона с артиллерией, вышками, аэростатами, а далеко, на границе, зарытая в землю и сталь, родная армия с танками и резервами... В море линкоры и подлодки, на заводах радивые мастера, составы, груженные сырьем, и гордая улыбка усталой бабы, отработавшей вторую смену. Но этого не оказалось: осталась только сирена, поставленная на крышу мэрии, — бессмысленно выполняющая свое назначение.

Неожиданно все сорвались с места и побежали к пустырю: почудилось, что на рассвете опасность действительнее, чем ночью! Ветераны на костылях, разбитые морды... Неподалеку зияли, вырытые отважными чиновниками еще во время *смешной войны*, окопы: туда ткнулись детки и путники с чемоданами, только что слезшие с подошедших с севера поездов: они несли с собою ауру Соммы, Бретани, Луары, Бургундии и казались чужими в Ландах.

Едва дождавшись конца рейда, Богдан бросился искать дантиста; в аптеке предупредили: слишком рано! Он с Олимпией уселся на лавочке под чинарой; молодой вдове, подчеркнуто бледной, в трауре (с ребенком и узлом), стало дурно — припадок: трясет, корчит, дергает. Аптекарь посоветовал порошок гарденала, но даром его не давал, а у женщины что-то с деньгами не ладилось; Олимпия ей отдала свою комбинацию аспирина с фенасетином (с которой не расставалась).

Наконец постучались к зубному врачу. Француз из Бордо пил очень вкусный и пахучий, только что размолотый, свежий кофе и совсем не удивился, что после такой ночи его беспокоят сущими пустяками (русский Богдан испытывал угрызения совести от этого проникновения будней в апокалипсис).

Южанин в домашнем халате охотно и ловко принялся за дело.

— У меня плохой новокаин, армейский, почти не действует и опасный, а платить за него придется. Лучше удалить без наркоза: дешевле и спокойнее.

— Ступай, подожди там, — смущенно попросил Богдан; и Олимпия, морщась, почему-то на цыпочках выскользнула из комнаты. Богдан мысленно вздохнул, открыв рот и уставясь на стену соседнего дома: вот прямо перед его взглядом высунулась из окна противоположного дома, на высоте третьего этажа, простоволосая женщина и, горестно размахивая руками, старалась его от чего-то предостеречь. Этот сигнализирующий образ появлялся перед Богданом с детства почти всякий раз, когда он усаживался в кресло дантиста, и уже стал привычным; иногда он оборачивался мужчиной, стариком или даже ребенком, часто находя уместным маскироваться — будто бы вытряхивая простыню или скатерть (подросток визави кабинета Нарвина пускал мыльные пузыри). Но впечатление тайного предупреждения всегда создавалось ими.

Ему уже рвали зубы без наркоза: в России, конечно, а последний — в Испании... Но тогда это было естественно: иначе не представляли себе. А теперь что-то надломилось уже в душе Богдана: страх, лень, усталость, годы — впервые решительно подняли головы и зашевелились на виду.

«Господи, спаси и помилуй», — взмолилась несколько смущенно душа.

«Я тогда, очевидно, опять верил в Бога», — догадался неожиданно Богдан. Так, человек, на склоне лет, роясь в старом сундуке, находит трубку, кисет и вспоминает вдруг, что когда-то курил... а затем еще многое, связанное с этой полосой жизни. «Как я, однако, мог существовать без молитвы. И хорошо вести себя, дай Бог всякому: не только для себя старался — о других скорбел! Теперь я не хочу двух шагов сделать самостоятельно, без молитвы».

На плите той могилы (в погибших блокнотах) высечено славянской готикой: «Здесь упокоился, нежданно, негаданно, бедный стрелок. Он сражался с маврами в Испании, и русские социалистические реалисты ему выстрелили в спину! Смешной эмигрант, добровольно взваливший земное неизбежное иго, благородно отказавшийся от привилегий благодати... Он понял: надо стоять у амбразуры, стрелять, целиться и в то же время видеть себя — как стоишь у амбразуры, целишься и стреляешь, а там снова еще один круг, спираль в изогнутом зеркале! Ибо только творчество освобождает человека». По этой записи совсем не заметно, что Богдан опирается на чудо: лучи вновь зажженной звезды еще не дошли!

11

В погребе у Любимого
Я выпил вина...

Св. Иоанн Креста

Тогда испанская кампания достигала своего романтического зенита. Университетский городок на окраинах Мадрида; (Тракторный завод в Сталинграде).

Богдана привезли на грузовике из Парижа. Ночью, уже без шуток, вина и песен, перевалили через Пиренеи. Моросило (всерьез). Французы Народного фронта обращались с эмигрантом вдвойне учтиво: смотрите, метек, вранжель и тоже понимает!

Порыв давно прошел: еще у застав Гренобля. В героический акт вкрадывалось множество личных, мелких соображений. Одни успели отказаться от службы или комнаты. Другим надоело перебиваться на скромное пособие шомера; третьего прельстили девочки в военных мундирах на страницах иллюстрированных журналов.

Богдан стольким глубокоуважаемым общественным деятелям, современникам Кропоткина и Брешко-Брешковской, сообщил по секрету, что отправляется на фронт... Его так ругали зубры и чествовали пореволюционные юноши, что теперь отказаться было уже немыслимо для самолюбивого кавалера. «И все-таки мы герои!» — улыбаясь, думал он на полу грузовика. Захотелось вдруг описать подвиг Икара или Муция Сцеволы с такими же частными, обывательскими подробностями (отчего величие жертвы отнюдь не умалялось)... «Но с этой формой творчества теперь покончено, Богдан!» — зазвучали басы.

Их высадили глубокой ночью; дали рому на дне манерки (бедный Дионис). Богдан тогда совсем не пил вина, не ругался и не знал женщин; не верил в Бога и почитал за непростительную слабость всякое падение. (Походил на дикаря, упрямо гребущего веслом, не догадывающегося, что можно поднять парус — использовать благодатный, щедрый ветер).

Венгерец или австриец на ломаном французском языке произнес речь касательно общей конъюнктуры; винтовка заряжалась

отдельными патронами (без обойм), штык западный. Их провели гуськом мимо пригородных домишек и наивных баррикад на передний край. Там стреляли в ночь; в ответ изредка вспыхивали огоньки, подобные железнодорожным. Вскоре раздался свисток и толстенький польский мальчик побежал вперед, размахивая наганом; за ним вплотную следовали Богдан и остальные. Ложились, стреляли, снова бежали (Богдан неожиданно заметил рыжеватую чужую землю и понял, что он далеко — у порога Африки). Подниматься с каждым разом становилось труднее и труднее, некоторые продолжали лежать, и лозняк кругом шевелился, точно меж стеблями ползли юркие змеи.

Уже светало, когда со всех сторон зазвучало нестройное «Ура!» Впереди сверкали вспышки, очень громко стучал пулемет, и грудь залил сплошной поток восторга (совершенно вытеснивший страх и недоумение).

Они ворвались в неприятельские окопы, но живых арабов Богдан не видал. Отряд повели назад; на полпути лежал в красной глине пухлый мальчик, цепко держа еще в руке тяжелый револьвер — но видно было, что душа его уже рассталась с этим обрубком материи. Богдан поспешно отошел за куст: его вырвало. Вот когда, собственно, он наконец осознал, что его уже несколько часов беспокоит настоящая зубная боль (так что его даже потянуло назад в зону огня, где физические страдания воспринимаешь по-иному).

Богдану бы сразу сообщить об этом по начальству — может, нашелся бы среди добровольцев дантист... Но он искренне полагал, что с привычными формами жизни покончено с тех пор, как тронулся их грузовик у плас де ла Насион; тогда все знакомое и логичное иссякло — началось сплошное фантастическое, ведущее к разрушению и подвигу! А тут вдруг верхний коренной — какая обидная чеховская пошлость. Что общего между мертвым уютным сверлением в челюсти и его пронизанной сиянием, смятенной детской душою?.. В опухоли десны нет личного, исключительного: это коллектив, казарма, племя, раса. Восход солнца или стихи, любовь к девушке, прощение врагам, долг и жертву — это всякий переживает по-своему, особенно! А флюс у всех один.

Богдан остался в части: провел еще целый день и мучительную ночь, стреляя (прижимая щеку к горячему дулу ружья). Взятому прямо из большого города в поле — на землю, под звездами, среди озабоченных насекомых, ошеломленному воинственным

воем и чужими языками, Богдану все казалось нереальным, до смешного сумбурным, призрачным. И только зубная боль соединяла его еще с привычной оболочкой жизни.

Их опять подняли в атаку; из древнего монастыря на бугре злостно палила пушка. За каменной стеной, куда честно добежал Богдан, уже хозяйничали республиканцы, выволакивая призрачно-сухие, легкие трупы легионеров и двух пышно-красочных петухов-офицеров. На заре часть опять отвели назад в резерв, за сотню шагов от позиций (где под добротными плитами покоились отвоевавшие уже рыцари и монсеньоры).

Богдан не находил себе места от боли; он брел вдоль монастырской стены, зачем-то разыскивая ту брешь, через которую накануне, под дробь пулемета, пролез на другую сторону.

Развороченные стены во многих местах еще дымили (или, казалось, дымили, почернев). Внутренний двор совершенно уцелел: там виднелся средневековый фонтан, а кругом статуи величественных и опрятных святых. Богдан постучал в запертую решетку (хотя рядом можно было легко перешагнуть). Появился монах — точно нес драгоценный сосуд на голове. Лицо, впрочем, мужицкое, хитрое и перепуганное.

Солдат объяснил по-французски и жестами, показывая на свою щеку; неизвестно, понял ли его привратник, но провел через двор и портик в церковь — велел подождать!

В полутемном прохладном храме было хорошо. Эти камни, вероятно, принимали еще удары первых мавров, а может, и вандалов; они меняли свое расположение и назначение, но не вес и температуру. Богдану чудилось: ноздреватый камень дышит.

Кругом тянулись приделы; самый большой принадлежал святому Иоанну Кресту. Русский эмигрант опустился на колени перед святым и, прижимаясь воспаленной щекою к зернистой скале, замер. В голове автономно шумели еще гудки плас де ла Репюблик, утомительное путешествие на дне грузовика, девушка, подававшая вино в Тарбе, сплошная бессонница, рыжая Испания, визг мавров, зубная канитель, все это новое и совсем знакомое в жизни современного мальчика... В 1919 году конница металась по дорогам Киевщины, Херсонщины, Волыни (и мычали волы).

— Что такое жизнь? — спросил Богдан. — Кто нас создал? Зачем? Куда мы бредем?

«Из темной тучи грядет свет. Тьма не простое отсутствие огня. Подлинный свет, принцип его, не лучеиспускает, не горит, не

греет. Только эманация производит солнце и звезды, рождающие диалектические тени. Абсолютный свет, эссенция его недоступны простому глазу. Но только его надо видеть, стоит видеть: сияние темной тучи...» — говорил святой, повиснув в воздухе и слегка покачиваясь; потом сделал книксен и опустился на свой цоколь. За спиною раздался вкрадчивый кашелек.

— Падре.

Священник отлично изъяснялся по-французски.

— О, нам одна стихия уже не страшна, — отмахнулся он от вопроса Богдана: напугало ли их вчерашнее сражение за оградою... — На Тихом океане я видел, как огненная лава вливалась в море и бурная пучина вокруг нашего судна поднималась вверх столбами пламени.

Он в Южной Америке выполнял роль не только духовника, но и врача, коновала, акушера: единственный хирург у подножия Анд на участке, превышающем Андалузию. Впрочем, ему случалось в пещерах находить древние инструменты для ампутации и даже трепанации, par Dieu.

— Кстати, в джунглях рвут зубы без наркоза, — заметил падре не без злорадства, вопросительно оглядывая вооруженного иностранца.

— Думаю, надо удалить? — спросил Богдан, тыча пальцем в зуб и скривившись больше, чем нужно. (Он вспомнил, как в первые годы во Франции ему трудно было привыкнуть, что зуб женского рода... И русский поэт, студент Сорбонны, друг нескольких знаменитых художников и общественных деятелей, Богдан часто попадал впросак у дантиста, куда он являлся с рекомендательными письмами, но без денег.) — Думаю, надо выдернуть, pas d'erreur?

Падре неубедительно промычал «си»; видно, клиника, диагноз не входили в круг его занятий. Но руки у него были замечательные: большие, покрытые редким мягким длинным волосом, белые и сухие.

— Интересуетесь нашим патроном?

«Все болтают перед экстракцией: в джунглях и в столицах!» — усмехнулся Богдан, испытывая мгновенное удовлетворение, как всегда, когда намечалось творческое обобщение из лабиринта двусмысленных символов, стрелок и значков.

— Да, я знаю его стихи. Святой Иоанн Креста большой поэт.

— Он святой, — поправил падре. Чувствовалось, что этот миссионер может стать весьма неприятным собеседником именно

благодаря своим качествам: честности, прямолинейности, настойчивости.

Но в то же время руки его ловко, всеми пальцами и кистью перебирали щипцы в кожаном, массивном футляре, вероятно, сопутствовавшем еще первым конквистадорам. И движения этих рук свидетельствовали об уме, вкусе, знании причин и следствий явлений.

— Я полагаю, что каждый святой выполнял бы какую-то другую роль, если бы не стал святым, и эта его воображаемая профессия кладет на него печать, — искренне уверял Богдан, никак не забывая, что ему предстоят отвратительные минуты, и все же увлекаясь разговором, обращаясь преимущественно к ладоням священника, которые выжидательно застыли в воздухе, точно поддерживая длинный и ценный предмет: — Одни святые исключительные администраторы, другие строители, купцы, эксплуататоры, третьи медики, сестры милосердия, учителя...

Падре, молча сверля его карими стеклянными глазами, слушал.

— Вот святая Тереза — хозяйка, организатор. Тереза-маленькая актриса, писательница, автор гениального интимного дневника. Святая Екатерина сиделка, нянька. Есть воины, дипломаты, ученые, моряки, тираны, спекулянты. Ваш патрон — великий поэт.

Оливковое лицо священника расплылось в улыбку (он держал тяжелые щипцы, похожие на принадлежность конского туалета).

— Я застал вас перед образом святого Иоанна Креста, — сказал он решительно. — Неужели вы молились поэту?

Богдан удивился.

— Не знаю, — сказал. — Подумайте, два дня тому назад я еще слонялся по Большим Бульварам... вот опять чужбина, ваша республика, вой врагов, умрешь и не догадаются даже, кто умер и за что... Трудно в таких условиях проявлять последовательность.

— Я буду рвать вот этим инструментом, — заявил падре таким тоном, точно сообщил добрую весть. — Отец, Сын и Святой Дух.

Богдану стало душно: интерес к тайнам мироздания, жажда смысла, готовность за него платить... остались теми же, только сдвинулись немного в сторону, потеряли наглядность; так небо продолжает тускло мерцать, когда его заслоняет парусина.

— Главное, хорошо ухватить. Полагается отогнуть кругом десну. Да, да, это неприятно... Теперь щипцы... не торопясь, не торопясь... и зажать. Странно: не больно, какой парадокс! Зажимаешь тисками часть живого тела и не больно. Боже упаси сразу дергать:

надо расшатать, оторвать от скреплений, иначе, боже упаси, сломаешь. Направо-о-о-о, налево-о-о-о, вперед и назад, ничего, ничего. Все это знаешь, но когда делаешь, обычно упускаешь из виду одно обстоятельство. Опыт не помогает в самой работе; опыт учит главным образом истолковывать неудачу и не смущаться ею. А теперь не сразу вверх, а по кругу, спиралью, спиралью...

12

«Что я делаю здесь? — оглянулся вдруг Богдан на собственный профиль, как с ним часто случалось в жизни. — Удаляю зуб... Пришел на эту землю, под это небо, чтобы: раскрыть зев и слюнявить бумажку. А когда выпадут или растворятся все зубы, уйду, исчезну куда-то. Какой неправдоподобный вздор. Где они все молочные зубы, где я вас оставил лежать? Где тенистые берега истока реки? Всё там же. И вода все так же журчит по камням. Если повернуть вспять и поплыть вверх — дотронешься рукою до старинной ветлы у плотины. Эти берега незыблемы и постоянны? Водопады, пороги, мели, притоки, галька, всё реальность, независимо от памяти и сознания: они там! А меня несет дальше, все стремительнее и пассивнее. Что я? Я лодка? Человек у руля или у весел?.. Но я и часть реки, берег с рощами и лугами, я и форма и содержание, причина и следствие, творец и творение, раздираемые бурным течением. Куда же я несусь и где остаются *та* заводь, *то* дно и те ивы? Догадываюсь: река впадает в океан. Неужели я и море? Река течет; море покоится на кругообразных повторных взмахах. В той же реке нельзя дважды искупаться: будто бы невозвратимый процесс. А в том же безбрежном океане будешь вечно плескаться: он всюду! Вся задача заключается в том, чтобы поплыть против течения: назад к пройденным местам и знакомым истокам. Шагнуть в другое измерение и подняться вверх по реке: время должно иметь больше, чем одно измерение — шагнуть из линии в плоскость или окружность времени (для этого нужна машина). Здесь покоится юноша, винтом прорвавшийся в шестое измерение и легко добравшийся к первопричине».

Зуб лежал посторонним, мертвым телом, и Богдан (словно отделившаяся душа) взирал на него с удивлением.

Они расстались полудрузьями; Богдан решил, что тот тертый калач (в своем роде комплимент). Падре же ни на йоту не отступил от вековой, зоологической осторожности; иностранец, ино-

верец, республиканец, но тоже Божья тварь. Пациент щедро сунул в кружку для бедных несколько бездушных для него банкнотов.

Отплевываясь, вернулся в часть, где ему сообщили, что произошла ошибка: их место не на фронте, а в Барселоне — обучаться и экипироваться.

И вот перед Богданом уже расстилается солнечный город с чертами военно-тылового разгула. (Именно как легко воображение себе представляло.) Запасные девицы, герои, эффектные повязки, чужие деньги, зажигательные плакаты, вино и молодость под синим античным морем.

Грузовик лихо несется по набережной, окаймленной телеграфными столбами: через минуту подравняются вон с тем шпилем. «Значит, на том пространственном стыке будущее станет прошлым. И тем скорее, чем быстрее мы несемся. Предельная скорость должна расщепить время. Всякая реальность создает себе прошлое. Одна смерть не имеет прошлого. О ней не скажешь: тогда я умер. Но то, что не имело прошлого не существовало в настоящем: оно не было».

— Что ты думаешь об этом, Богдан, ведь здорово? — два внутренних собеседника обратились к усталому арбитру.

— Мне бы теперь в баню и выпить, может, девицу какую-нибудь заполучить, а вы всё с монпарнасскими разговорчиками пристаете, — рассвирепел Богдан, но через мгновение уступил: — Будущее подобно отражению в зеркале: оно там, но это мнимый образ, реально существующий только по эту сторону зеркала... Божий мир отразился на гладкой поверхности вселенной, и этот мнимый отблеск есть Ничто, смерть, небытие.

Под вечер того же дня, на трамвае, ведущем в порт, Богдан встретил Олимпию.

Южный город шумел под косым солнцем. Богдана (без всякого усилия с его стороны) принимали за уже нюхавшего порох бойца в отпуску. Живописная толпа, средневековые стены, ветер Африки, Сицилии, Карфагена, Цеуты несет золотистую пыль. Хорошо быть смелым, молодым, пройтись по бульвару в лихо заломленной кепке... пить коньяк без марки, но равного которому и Улисс не пивал... держать за плечи смуглую девушку с пышным именем Олимпия, чей смех упорно напоминает кастаньеты, а походка, песня — русскую деревню. Завтра или через неделю Богдана опять перебросят на фронт защищать законное правительство, освобождать испанский народ от генералов, мавров, карди-

налов. Биться за Христа трудящихся и грешных; за право рожать детей и кормить их, за бесплатные курсы арифметики и балета, за любовь если не ко всем соседям, то хотя бы к членам того же объединения, за мир от Гибралтара до Бруклина, от Суэца до Цусимы, за инсценировку рая на земле в ожидании неминуемого Страшного суда и знакомого последнего чуда, за церковь всех святых и святых всех церквей, за творчество великих и малых поэтов, за тихий подвиг, за детей Линдберга и лавочника, за муки Иоанна Креста, истязуемого монастырскими игуменами.

Если бы только демократы, там сзади, поняли, что это их судьба решается теперь под Мадридом... Мюнхен и drôle de guerre только естественные последствия этой ошибки. Республиканская Испания на границах Франции в 1940 году изменила бы картину разгрома (африканский этап, во всяком случае, оказался бы перепрыгнутым).

«Проклятие, проклятие Блюму, если он не поймет! — повторял тогда Богдан. — Если нас теперь оставят на произвол судьбы, мое поколение больше пальцем о палец не ударит, когда сверхколбасники начнут делать из демократов сосиски...» Вот настроение Богдана тех дней. И еще: «Жалко, больше нельзя будет читать по четвергам литературных номеров «Последних новостей» и «Возрождения»...

Богдану негде заночевать, и Олимпия ведет его на цыпочках в свою комнату. (Позже он ее увезет через Ниццу в Париж и сделает своей женою с тем, чтобы в 1942 году она попала в газовую камеру; впрочем, нынче Крупп и Ильза Кох голосуют за христианских демократов.)

Все горит на солнце; столбы золотистой пыли, соли, радости, певучих голосов. Из порта — смола, рыба и хор лебедок. А там вдали французский берег: Пор-Вандр, Прованс, Кап-д'Антиб, итальянская Ривьера... должно быть, богатые белогрудые иностранки и сухие кавалеры спешат в казино Монако.

«Я мог бы теперь слоняться там, если бы распорядился своей судьбою иначе, — догадывается вдруг Богдан. — Но вместо казино и рулетки ночью по свистку побежать с ружьем наперевес. Тебя ударит взрывной волной и на всю жизнь оставит след в колене. Какое отношение это будет иметь к грядущему (и там, за Млечным Путем)... Не знаю. Но даже отрывок из хрестоматии, заученный школьником, сказывается в нем порой, когда он уже глава семьи, государственный муж или художник».

Богдан сидит на пригорке у старинной церкви и обняв Олимпию зорко смотрит на восток. В наступающих сумерках за водой ему чудятся какие-то знакомые и непонятные очертания; только пять лет спустя он понял наконец, что видел, но не мог разобрать тогда... Ночью его корабль будет пробираться в этих же территориальных водах к Африке; и вот вдруг справа, точно рассыпанные угли с жаровни, мирные огни большого города — враждебного именно своим будничным дыханием.

— Ce sont les phares de Barcelone, — взволнованно скажет молодой офицер: если бы показались маяки Огненной Земли, то он почувствовал бы почти такой же восторг. — Теперь четверть двенадцатого, народ выходит из синема.

И Богдан вспомнил солнечное зарево, шум древнего порта, опухшую десну, плечи Олимпии и свой взгляд, брошенный в сторону Прованса (откуда должен будет отвалить его корабль), ждавшего, — среди чаек над рябью, — пластического ответа целых пять лет.

Франция, Европа, твои мальчики, воспетые звонкими писателями вроде Гюго и Достоевского, умирают за ротатором; генерал де Голль — последний редут благородства, свободы и мужества. Немцы, как бешеные щенки, кусают сосцы собственной матери; шкурники сдались и распродают импрессионистов агентам гестапо. Но уже загремели пушки Сталинграда и скоро на Тракторном заводе из развороченных камней и стальных брусьев образуется чудесная преграда, которую чем больше долбить и сверлить, тем неприступнее сделаешь.

Этот зуб в Испании отметил конец дешевого демократизма и автоматического оптимизма; он разделил жизнь Богдана точно на две равные половинки.

13

Зато как легко и даже весело было разделываться с больными зубами в Париже в героические творческие годы. Богдану случилось даже раз гнаться за дантистом 14 июля: смешно и грешно. Вообще ему почему-то докучали зубы именно в праздники (или в дни народных бедствий), когда добиться помощи и труднее, и дороже.

День Бастилии или Диониса? Мистерия, вечное повторение по кругу: убогое второе измерение времени. Праздник начинался еще

13, под вечер, мощно раскачиваясь в звуках, красках и страстях, постепенно к утру 15 совершенно парализуя город: в метро и кафе, у станков и прилавков люди наконец застывали, изнеможенные от вина, поцелуев, пляса и близкого, ощутимого присутствия старинного бога огня, крови, ферментации и дурмана.

Вот уже вынесли столики и стулья на мостовую у скромного кафе захолустного квартала; флажки развешены и гармоники грянули неожиданно громким фальцетом. *Дэми и боки* с пивом, красное густое дюбонне, одеколон перно, янтарное бордо, радужно вспыхнули под первыми лампами. В душном летнем воздухе слышен топот карлов, паниссов, сатиров, нимф, фавнов, спускающихся с окрестных гор и холмов. Но опытные консьержки и бравые эмфизематические контр-мэтры уже кружатся на своих варикозных ножках, охваченные дурманом таинства.

Дионис напролом бредет из рощи; темнеет, темно, и вот уже плюгавенькая девочка с античной грудью закружилась в паре с наглым Жаном в велосипедной кепке, завороженно уплывая в тень ограды Пер-Лашез.

На Монпарнасе, Монмартре жадные туристы норовят отделаться от своих белокурых любопытных подруг и следуют за темными загадочными женщинами, сошедшими с холмов Бютта и Менильмонтана. Всех обуяла кровь Диониса, щедро разлитая в воздухе. Путешественники, рано улегшиеся спать в своих отелях, снова оделись и мечутся по бульварам, не зная, куда деваться. Где центр жизни, таинства, действа? На Монмартре, Монпарнасе, Сен-Мишеле или в шикарных кабачках? Хмель Диониса освобождает от ярого греха.

Богдан в те годы проводил свои вечера в библиотеке; под предлогом экзаменов писал урывками первый роман. (Потом, на тротуаре, в чаду танго, ему вся работа последнего периода представлялась хламом; да и вообще писать, значит, сознаться в собственной неудаче...)

Он завидовал этой толпе, разномастной, но сопричастной одной тайне. Консьержки и шотландские леди, индокитайцы, Пикассо за одним столиком с русским клоуном Альбатросовым, уверявшим, что Ленин у него украл полное собрание сочинений Достоевского; Шаляпин, Алехин, дюжина сутенеров, отдаленно напоминающих Франсуа Виллона и шофер-вранжель, кавалергард, издающий на ротаторе «Конституцию империи народов государства Российского». Пройти мимо, вон как тот педерастик,

ласково кивнув головой Линдбергу или Андре Жиду и обняв сидящую напротив даму, потянуть ее в хоровод. Сказать: «Я плохо танцую, хотите вина...» Значит ли это, что надо обязательно спать? А если да, то как это все налаживается? Кто первый предлагает? Намеками или прямо? И в отель или к себе? Страшно. (К счастью, денег нет.)

Ему шел 22-й год; жил в старинном доме без отопления, против церкви Сен-Северен (совсем близко пресловутая рю де ла Арп). До десяти часов отсиживался в библиотеке Сент-Женевьев.

Летний вечер спускался на синих парусах: стеклянный купол позволял следить за медленным продвижением воздушного корабля. Лейбниц доказывал, что мир состоит из монад и лучше этой тюрьмы ничего не придумаешь! Гегель требовал для всякого *да* соответствующего *нет*, ограничивая тем самым способности Бога-Света. Для Бергсона память в личности и личность в памяти. Богдан пишет о человеке, который живет, растягивается, линяет и все-таки знает, что это *он*, все тот же... И только иногда, просыпаясь в темноте, одно мгновение, герой не сразу находит себя: кто он, где очутился, зачем? Эта минута стоит веков: через трещину в сознании можно подглядеть тайну души, *отделенной* от памяти. Так строчил Богдан.

Вечер уже подплыл к самому городу; у заставы его остановил пьяный сторож: при свете тусклого фонаря, проверил подорожную и поднял шлагбаум — синее судно проскользнуло вперед, на мачте взвились голубые розы. Обыватель смотрит на небо и думает: там Бог... ангелы глядят на землю и повторяют: там Бог.

Против Богдана за длинным и узким библиотечным столом улыбается девушка: похожа на Жозефину с портрета Давида: подросток и женщина одновременно, куклы и аборт. Подвижная, серьезная и смешливая; она выражением своего личика ласково поощряла робкого Богдана, любезно благодарила дежурного, подающего книгу и строго осаживала других самцов, нащупывающих почву... (всё в рамке одной и той же миловидной улыбки).

Главное, Богдану нравится в ней — что она явно его выделяет! Часто садится напротив за столом, гладит взглядом лоб, лицо, вспыхивает угольками в зрачках — вот-вот ухмыльнется всем личиком, бледно-смуглым, детским и страстным. Июль, душно, жарко, она готовится к последнему экзамену и раздраженно, в который раз, подчеркивает важные литеры в скрипте. Иногда проведет рукою по мешающим кудрям, глубоко вздохнет и взгля-

нет на Богдана, шутливо жалуясь, ласкаясь. Богдан отзывается морщинкою с края глаз и тотчас же, нахмурившись, зарывается в тетрадь. «Как мне вылепить этот вечер? Он еще не миновал, а я уже воспринимаю его как свое прошлое. Я еще здесь, но уже побывал там, или, наоборот: я уже там, но еще возвращаюсь сюда: Ангар с небом над головою; стены книг и подъемная машина посередине; хромой инвалид, любитель рыбной ловли, выуживает из подвала Фому Аквинского, Спинозу, Федорова. Этот парниковый воздух с духами и вонью; нищие, дремлющие и отрыгивающие в тени реформаторов; молодежь, зубрящая основы римского права, ждущая десяти часов, чтобы спуститься к Дюпону, подкрепиться, развлечься. И вот я между небом и землею, зажатый между двумя безднами, метафизический сандвич, знающий, что Бог не мог бы создать трехмерного мира, если бы сам не выпирал из него. Чтобы сотворить остов пространства надо перешагнуть через него (вовнутрь или наружу). Я займусь расщеплением атома времени».

Жозефина удивленно и требовательно гладит его взглядом; Богдану чудится, что все его эксперименты с атомами и абисами только трусость и тунеядство. Истина, слава, блаженство — здесь! Положить голову на ее подвижную грудь и так провести остаток вечности. Вот мудрость и тайна. «А что, если, восстанавливая сегодняшний вечер, забыть про синие паруса, католический крестик в жаркой тени декольте и себя в разных позах. Если обернуться назад к основному эфиру, покрывающему и глубь, и ширь, и высоту: среда, представляющая из себя нечто гораздо более важное, чем формы, которые она обнимает и наполняет. Да, Фрейд прав, детство, комплекс отца. Но это детство началось гораздо раньше: там в предзвездной пустыне агнец был заклан при сотворении мира. Какая травма, Отец!»

Вот уже грянула «Марсельеза» с рю Суффло; на Трокадеро бьют фонтаны: они изменчивые и постоянные, вечно подвижные и те же! «Вот такое равновесие надо создать в романе. Тогда через полвека героические юноши меня откопают в Москве; в поощрение начинающим расскажут об эмигрантской борьбе с самодержавной бездарностью, пошлостью, глупостью, ложью. Журналы, за недостатком места кромсали мои рукописи, но я будто бы шел неуклонно вперед, точно видел оккультный свет или слышал голос... В ту минуту, как я это произношу, мне становится ясно: вру! Никакого света, никакого голоса. Но в то мгновение, как я решаю

последнее, мне опять чудится: и это неправда (значит, вижу, слышу). У Жозефины, вероятно, пахнет под мышками и все же в ней больше мудрости, и чуда, и возможности творения, чем в блаженном Августине. А если с нею заговорить? Так и так, дескать, не желаете ли прогуляться? Денег нет. Но значит ли это, что надо обязательно спать? Грех. Что грех: это грех или я, во мне грех... Если я этого еще не понял, то когда же, Господи? На смертном одре? Когда мне рвали зуб, я разменивал часть своих сил, но ничего не приобретал радикального».

14

Синяя баржа плыла по улицам. По обочине Млечного Пути бредет человек-сандвич. Живую, тоненькую, поющую душу зажали две бездны. Луч света брызнул из темной тучи. Жрец и жертва движутся в пустыне, руководствуясь явно апокрифическими картами, но компас в общем верный, и поэтому они все-таки к оазису доползут.

Параллельные линии, вероятно, пересекутся, вес и длина раздуваются и сжимаются, радиус от движения укоротится, но угол пребывает вовек. Угловая культура, угловая религия, угловая наука, угловатое искусство. (Проза должна все время загибаться в другую, чуждую ей среду.)

В это время Жозефина горестно вздохнула, схватила свой библиотечный формуляр и, на обороте быстро что-то черкнув, решительно протянула через стол Богдану. Детские шаловливые глаза, чуть-чуть овальные, а лицо страдающей матери, любовницы, рожавшей, умиравшей, воскресавшей девы рода человеческого.

Моник Бегэ, 11, рю Бонапарт — прочитал с похолодевшим сердцем Богдан. Милая, дорогая, драгоценная, честная и отважная. Теперь ему ничего другого не остается, как действовать, и действовать он будет, хотя видит Бог, что это ему трудно и противно, ибо он еще не понимает причин и следствий отдельных актов, рассыпанных в мире, точно жемчуг порвавшегося ожерелья.

«Si on sortait ensemble?» — грациозно расчеркнулся он, словно всю жизнь делал такие предложения. («О, подлый трус, ничтожный человек с видом значительным».)

Она понятливо кивнула мягкой курчавой головой матери-подростка и, покорно вздохнув (выпятив довольно высокую грудь), начала складывать записки и пособия.

Богдану надлежало еще с час работать (под «сортэ ансамбль» он имел в виду — когда закроют библиотеку, если вообще что-то определенное имел в виду). Но теперь ему ничего не оставалось другого, как, игриво улыбаясь в одну сторону и по волчьи скаля зубы на соседних самцов, последовать за Жозефиною, почему-то на цыпочках, подражая ее походке. Ее голые милые руки висели покорно, плечи, тоже открытые, знакомо и празднично белели под тусклыми лампами книгохранилища. Только грудь (очевидно, без лифчика) часто и высоко вздымалась: в этом таилось начало грозное и предостерегающее. Ему хотелось зажать руками эту грудную клетку, остановить на минуту неизбежное движение жизненных соков. Прищурившись, она осведомилась:

— Куда мы, собственно, направляемся?

— Что ж ведь канун 14 июля, — игриво осклабился Богдан. — Не так ли?..

Кошки скребли во всех углах его девственной, героической, безденежной, непрактичной и грешной души. «Неужели это я? — задавал он себе в такие решительные минуты обычный вопрос — Богдан, который не засыпал, пока не вернется отец, обожал сестер, но стыдился с ними выходить на улицу: чтобы не засмеяли. Неужели это я: на коньках с горы — прямо под трамвай. А там река и сосновые дачи, пахнет скипидаром, у порогов ловят линей. А потом на Украине конница переходила вброд большую реку и повстанцы сбили несколько всадников: Богдану видно было, как завертелись и поплыли вниз к другим порогам папахи, сумки, тела. Потом Париж. Что это все, бред: Жозефина, Паскаль, каштаны, Бог, похоть, Анненский, Пруст, Кафка...

Богдан родился русским с таким расчетом, что ленинский подвиг его застал в одиннадцатилетнем возрасте; семья вскоре отступила на юг, так что гражданскую заварушку он наблюдал уже с берега живописной речки, где разбивали станы еще татары и литовцы, шведы и французы — с переменным успехом. После разных передряг в Константинополе и Бизерте Богдан осел, наконец, в Париже. Из России вынес ровно столько, чтобы отравить себе безмятежное существование на трезвом Западе; верность звучному и варварскому, молодому и необъезженному языку без четкой грамматики, без полного словаря: так что все упрекают друг друга в незнании отечественного синтаксиса (начиная от Толстого и Гоголя, кончая любым присяжным поверенным или штабс-капитаном). Эта стихия речи отравила Богдана, одурмани-

ла навсегда, так что уже чужой язык, ставший будничным и родным, до конца ему не давался. Затем презрение к французику из Бордо, чувственному, расчетливому... «сухость» англосаксов, колониальных жуликов, лицемеров. То ли дело наша ширь, да стихия, да березка, да воля, да песня ямщика. Однако, к Достоевскому, к Дарданеллам, к разбитым зеркалам и смердяковским клятвам, что русский человек вместе с красотой спасет мир, и даже к толстовским онучам и советам постаревшим хозяйкам, ко всему этому африканскому максимализму Богдан с юных лет относился со здоровым юмором.

Так, постепенно, родился цельный образ, докучавший Богдану: континент, разбитый на манер Версальского парка. Тайга с грушами дюшес, протопоп Аввакум и Марсель Пруст; Чаадаев и Кафка, Федоров, Джойс и Бергсон. Закон и чувство меры; православная совесть, знакомая с колыбели, и честь, прельстившая его на католическом Западе. Где нет чести, нет подлинного равенства, нет достоинства личности, нет личности (коротко говоря). Мужиков пороли, а бояре на карачках били челом царю — его «верные рабы». Даже хоронили исключительно рабов Божьих. В отсталой Испании гранды присягали королю — «первому среди равных». Да, честь впереди совести. «Дело эмиграции привести в Россию этот цветок, изнутри его пересадить, привить к дичку совести. Вот наша миссия!» — решал Богдан, и друзья его поддерживали, чему помогало красное винцо, которое, если привыкнуть, не уступает соборной водке.

Богдан занимался философией в Сорбонне и писал стихи; он боролся с лжерелигией, что неожиданно привело его к самому догматическому древнему православию. «Верить можно только в самое неразумное, непонятное, абстрактное», — решил он. И чем загадочнее таинство, тем оправданнее. Первое причастие давал сам Христос: живой и во плоти. Значит, речь шла о какой-то абсолютной крови и плоти... Эти разглагольствования отнюдь не отпугивали духовника Богдана, священника парижской формации, тоже чудесный продукт того периода странствований: душа, растянувшаяся между Серафимом Саровским и Паскалем, Соловьевым и Терезой-маленькой, Прустом и Тургеневым. Бывший кавалергард, он на стоянках такси, у руля, зачитывался стихами Ходасевича и Поплавского, что совершенным парадоксом привело его в церковь (в Париже тех дней это почиталось вполне логичным). Отца Виталия кавалерийские рейды Богдана не устрашали.

Свои аскетические упражнения Богдан одно время доводил до нелепицы, как все, впрочем, что делал всерьез (несмотря на свою любовь к Западу). Соорудил себе нечто вроде власяницы — носил ее зимой и летом! Роль вериг выполняли гимнастические приборы и гири (с одной, помельче, не раставался и на улице). По природе слабогрудый и несколько уставший от октябрьской диеты, он благодаря свирепым, страстным упражнениям развил неимоверные мышцы на спине, на плечах и сзади на руках (лазательные); да и по походке Богдан в те годы смахивал на гориллу.

После двухчасового гимнастического сеанса казалось блаженством облиться из таза студеной водою (душ в Париже редкость) и под визг своей болезненной матушки («тунеядец, шел бы работать, паразит») съедал яичницу, выпивал литр какао и, захватив отцовскую сигару и панаму чеховского образца, отправлялся в библиотеку, по дороге заворачивая в зверинец, Жарден де Плант, Музей естественной истории или на блошиный рынок. Всюду у Богдана друзья простого звания: сторожа, воришки, хищники, мелкие коммерсанты. Светило небо или бил косой дождь; душа напевала смешное (рифмовал солнце и двоеженцы, jamais и chameaux).

Его охотно пускали в клетки кормить и чистить лохматых беженцев из Центральной Азии или Экваториальной Африки. До 10 вечера читал: Плотин, Якоб Бёме, Тертуллиан, Леонтьев. Ночью возвращался к себе боковыми улочками, свернувшимися у ног Пантеона, Клюни и Сорбонны; если оставалась мелочь, покупал в кафе-табак полую анемичную французскую свечу (в старинном доме со стеклянной крышей не было электричества, а на ночь мать запирала газ). До рассвета, случалось, писал: немножко в бреду, вполне одержимый и посвященный.

Изредка в журнале печатали его отрывки: без начала, без конца — эмигрантские редакторы, занятые подсчетом советских преступлений, не могли уделить больше места Богдану. Потом на собрании кружка его ругали без зазору, как принято в русской среде, не скрывая зависти и злобы (или он разносил кого-нибудь, причем Манес, Юнг и Блок переплетались с личными счетами, тем более сложными, что они, быть может, существовали только в воображении). В кабачок приходила часто одна поэтесса, в которую Богдан упорно собирался влюбиться, но, увы... за всю жизнь свою он не поцеловал ни одной русской! Соболиные брови, лебединая грудь внушали ему страх, хотя и повторял на пирушках: «Есть женщины

в русских селениях!» — захлебываясь от народнического энтузиазма. Политическая программа друзей Богдана исчерпывалась, кажется, формулой: «Ни Ленин, ни Колчак плюс хлеб». Фарс: история поменяла знаки на обратные.

Вот все, что внешне характеризовало жизнь Богдана, что можно сообщить о нем, скажем, на суде или в полиции, на допросе в культурном застенке. И как это несправедливо, ибо не исчерпывает и одного часа его скитаний днем по зверинцу, вечером в книгохранилище, а ночью на Монпарнасе, в Halles или сурового жертвоприношения эмигрантского писателя, отрезывающего без совершеннолетних свидетелей собственные члены и приносящего их в жертву лично знакомому Богу (похоже на акробатические упражнения — в высоте, в пустоте, без спасительной сетки). И поток, поток, поток: в крови или в душе? Хор ангелов, вибрация космической борьбы, субстанция мира. В начале было Слово, и Его вырвали, как инородное тело: экстракция. Кто это раскачивается вниз головой на трапеции, держа за руки Богдана? Еще раз, еще... на взлете отпустили, и душа делает сальто — попадает на встречную пустую трапецию! Просят не рукоплескать эмигрантскому писателю.

До того: опара России, старый город, отождествляемый с хрестоматией, святками и коньками. Слезами залит мир безбрежный. «Кто я, куда меня Бог несет?» — думает Богдан, ведя девушку под звуки свирели и топота ног, шагающего от застав ополчения Диониса. Жозефина поворачивает к нему бледное лицо, глаза ее блестят оживленно и страдальчески. Они целуются (русскому мальчику немного страшно).

15

Мостовая на рю Вавэн вся загромождена столиками; пары топчутся в сумраке, оркестр играет душное танго, благоухают деревья. Издалека доносится Шан де Депар и смех с бульвара — неугомонная пьяная речь. («Prenez garde, prenez garde» отзывается как «ренегатэ, ренегатэ».)

Богдан заказал для себя пиво, для Жозефины порто. Верхние этажи домов в сторону Люксембурга (помнящие еще доктора Гильотина) ухмылялись бледной, хитрой улыбкой рамоликов. Осторожно пробирался автомобиль, сдувая одурманенных фокстротчиков. Завязывали и развязывали таинственные шаблонные узлы;

то, что наполняло сосуды, превосходило по ценности самые сосуды. Солдаты, моряки, студенты, туристы муравьиной цепью тянулись у дверей отелей, обнимая одной рукой своих нареченных, другой закуривая или роясь в бумажнике. Дионис обосновался в Лютеции, на плитах галло-римской эпохи, и посылал разъезды во все стороны оккупированной столицы. «Или — или», — призывал Богдан родного, просящего у врагов пить Бога, ожесточенно припадая к живой, обнаженной груди Жозефины. Она глядела гордо и печально, как мать, знающая, что ждет ее детей впереди. Видя его страдальческую рожу, спросила:

— Все так же болит?

Еще у Сент-Женевьевы, подготавливая себе отступление, Богдан пожаловался на зубную боль; затем, целуясь с нею, — у решетки Люксембурга, — он временами как будто ощущал ноющее сверление в зеве под левым глазом. И вот теперь, после вопроса Жозефины, боль, точно освобожденная, открыто хлынула на него вдруг и на минуту затопила (чему он искренне на первых порах обрадовался).

— Да, знаешь, я должен поискать дантиста! — решительно рванулся. Не дожидаясь ответа, положил на блюдце деньги и поплыл, разрезая головой, руками густую толпу, словно маслянистую воду. «Вот и конец. Как просто. Или — или. Какой позор». (Этот призрак его еще там околачивается.)

Мимо Ротонды, Космоса, Селекта — вынырнул за вокзалом: черное небо, мелкие звезды рю де ла Гэтэ. Попалась на глаза знакомая реклама русского кабачка... Под искусственным небом в подвале в обнимку топтались пары, раздавленные цыганским романсом.

В углу сидели несколько русских литераторов: во главе стола известный актер экрана, баловень судьбы (в день русской культуры он обычно сидел на трибуне между Буниным и Шаляпиным). Он угощал и держал себя с подобающей скромностью — слегка на отлете, в смокинге и перстнях; рядом пристроилась молоденькая поэтесса, та самая, в которую Богдан все собирался влюбиться, и ворковала улыбкою.

Богдан посидел тихо несколько минут; с ним не разговаривали, вина не предложили: в глухом свитере, без галстука, однобортный пиджачок.

Ах, душа моя, мы с тобой не пара,
Ты уйдешь, не станет мне больней.

Дорогая самая у меня гитара,
Ни за что я не расстанусь с ней...

Богдан вдруг приподнялся, скинул пиджак и, развернувшись, хряснул знаменитого актера, героя «дня русской культуры», по скулам; и прежде чем успели спохватиться, уже степенно удалялся из кабачка, держа в руках порыжевший пиджачок и нагло улыбаясь несовершеннолетней цыганочке (навеки Каин, без апелляции).

У кафе «Версай» опять дым коромыслом. Дионис верхом на лесбиянке объезжает площадь; музыка сочит яд, вино дрожит в стакане. И трудолюбивые пары, наскучив кружиться, поднимаются и опускаются по лестнице отеля, точно ангелы во сне патриарха.

— О как много самообладания
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования, —

над кем смеешься, Богдан? Эти лошади по сей день тянули телегу. Они больше себя.

— Ты думаешь? Но в чем отличие одной лошади от другой? Собственно, в чем тайна личности?

Тяжело отдуваясь, Богдан пьет перно у стойки; хмуро озирается, как солдат, вернувшийся в родные места после тридцатилетней войны: ни родных, ни знакомых.

Проститутки обычно в такой праздник отступают в темные, затхлые логовища, брюзжа и чертыхаясь, не в силах конкурировать с чудесным дурманом: Дионис упраздняет дома терпимости. Наиболее предприимчивые и одаренные на одну ночь сливаются с выступившей из берегов стихией, подвизаясь бескорыстно или даже себе в убыток. Такой оказалась Ренэ. Золотистая плоская блондинка американского типа. Улыбнулась дружелюбно-вопросительно.

— Могу я вас угостить чем-нибудь? — галантно осклабился Богдан.

— Да, кафе арозе ром.

Он поэт, русский; жалко, она не знает иностранных языков. Ее друг, которого недавно убили на заводе, любил читать книги; по его совету Ренэ прочитала Фауста в переводе. Старику захотелось молоденькой девицы, и он продает свою душу дьяволу. Quel imbécile!

Прошли темными, умытыми полночными духами неузнаваемыми аллеями к Люксембургскому саду; там под кустами пищали суслики или фавны. Как близко, рукой подать, за ограду: Галлия, истоки Европы, фольклор, Ева, зачавшая от змия, Благовещение.

Сели на скамью и суслились: целомудренно (не давала волю его гимназическим рейдам). Ее район Монмартр; но в такую ночь не стоит выходить на работу. Впрочем, позднее дурман, может, рассеется.

«Если отпустить ее, она еще займется клиентурой», — понял Богдан.

Ее друга убили провокаторы во время забастовки. Осталась девочка, живет с бабушкой в Реймсе. Ренэ чуть было не попала в публичный дом. Приятель мужа все уже устроил. Да она в последнюю минуту сообразила и улизнула. Заплатила тому, но он все недоволен и обещал отомстить. Это он ей помог освоиться с ремеслом: его сестра в этом деле. Они несколько раз встретились, и, таким образом, была посвящена в тайны профессии. Да, тут есть свои секреты: как подцепить клиента, как ему помочь и понравиться. Одна как дура мечется, все каблуки стопчет, и шиш, а другая в книжечку только записывает адреса и даты солидных рандеву.

Идиотки содержат при себе паразита. Утешают себя: пригодится на случай болезни или суда, позаботится о докторе, адвокате. Дуры, сутенер обычно скрывается с последними сбережениями, ищи его тогда.

— Послушай, — сказал Богдан. — Уже поздно, пойдем в отель. Отдохнем до утра, как друзья, понимаешь. А с первым метро расстанемся.

Она, видимо, этого давно ждала. На рю Вавэн, где полстолетия тому назад Богдан оставил тень Жозефины, им преградил дорогу отель, дешевый, мертвый. Вошли и прикрыли дверь, оставшись в кромешной тьме. Но никто не откликался на их зов и покашливание. (Вопрос: «Куда идут содержатели отелей резвиться?») А выйти уже нельзя: дверь захлопнулась и не отмыкалась. «В первый раз со мною такое случается. Спиритический сеанс», — посмеиваясь, но и напуганная, говорила Ренэ, вслепую бередя замок своей пилочкой от ногтей. Богдан послушно ждал, пока дверь не отперлась.

Снова отель, на рю Монпарнас: освещенное окно во втором этаже — поднялись в контору. На площадке их встретил мрачный тяжелый хам: такие потом подвизались на черном рынке. «25 франков».

— У тебя есть? — доверчиво спросила Ренэ, уже берясь за сумочку.

— Ну конечно!

Остались одни под мутной лампочкой: широкая постель посреди большой комнаты, как в буржуазных спальнях. Ренэ быстро разделась, пробежала, целомудренно придерживая кружева рубашки, в соседний чулан, где возвышалось одно непоколебимое бидэ; конфузливо улыбаясь, скользнула под простыню. Богдан осведомился: можно сделать пипи в бидэ?

— Bien sûr, — ответила она покровительственным басом.

— Нет полотенца.

— Позвони, — приказала строго. — Должны дать полотенце.

На звонок никто не явился; он разоблачился, потушил свет и улегся. Тогда она рядом начала ерзать, порывисто дышать, как-то особенно псевдо-страстно глотать слюну. Приглашая ее заночевать в отеле, Богдану и в мыслях не мерещились соблазны; хотел только предохранить ее от дальнейших приключений. Но теперь вдруг понял: ребячья затея, что он докажет, кому... «По дешевке живешь: и ее спасти, и свою невинность сохранить».

— Что ж дальше? — спросил стоически. Она не ответила, только придвинулась ближе и еще чаще задышала. Потом задала какой-то технический вопрос, деловито-дружески. — Oui, — неуверенно отозвался Богдан, и в это время раздался грубый стук в дверь: «Вы звонили!»

— Да, салфетки! — крикнул Богдан в довольно неловкой позе.

— Они на спинке кровати, у головы.

— А, спасибо... (Видишь, Богдан, Провидение озабочено каждым волосом твоим и пытается вмешаться).

16

Через минуту было покончено с девственностью этого русского мальчика, которого учительница словесности когда-то снабжала книгами Гончарова и Аксакова... А он тайком, под звуки гражданских берданок, читал Фламмариона и Джека Лондона, чтобы примириться теперь на Вернаносе и Мелвилле.

Ренэ казалась явно разочарованной; помылась и, снова благополучно укладываясь, произнесла: «Je te considère comme un saint».

Богдан сообразил: в данном контексте — не комплимент! Свернулась на бок и, тихо дыша, сразу заснула. От нее чем-то дур-

но пахло. Этот запах, вымышленный или действительный, предыдущих посевов душил Богдана. Так что в эту ночь зубная боль явилась избавительницей, защищая от вони душевной и телесной. Огонь в зубе представлялся желанным на первых порах.

«Дальше, глубже, вертикальнее, чище, святое жало, сверли, высекай черные звезды. Из темной тучи грядет молния, посыплется райская вибрация. Святой Франциск Ассизский, где ты? Ведь это ты меня погубил...» (Богдан имел в виду эпизод из жизни святого: в пост Франциск навестил каких-то простых людей и те, обрадованные этой честью, предложили ему своего лучшего вина. Святой отпил из стакана.)

«Я понимаю теперь природу боли, — удовлетворенно думает Богдан, отодвигаясь на самый край постели. — Боль ничего не имеет общего с радостью и не является ее антагонистом: они в разных мирах, полушариях, с другими корнями. Мука одна только перекрывает другие формы зла: вонь, пустоту, скуку. Пока это все существует, страдания спасительны. Но если начнется подлинная пытка, я потеряю управление и превращусь в щепку. Нас обманули: в пору агонии поздно, поздно уже, Богдан, спасать, исправлять, додумывать. Не засыпай сегодня и завтра, ищи ответа. У стариков и больных нет уже сил. Агония — неимоверная нагрузка. Мертвый — идеальный дурак».

За окном зеленел, желтел, розовел парижский рассвет. Воздух уплотнялся и становился наглядным, как у французских импрессионистов. Неопытные пары тыкались в запертые двери отелей, звонили, кричали, жаловались, спорили. С бульвара доносились пароксизмы изнемогающих оркестров. Голоса за окном звучали из другого мира, а смех, точно из классического театра. Богдан чувствует нежную жалость к этим шагам, голосам явных неудачников. Его подмывает высунуться в окошко и залепетать на многих языках: «Дорогие братья и сестры, святые творения Бога света и правды. Мужайтесь, уповайте, тараньте стенку. Ваше содержание значительно больше вас самих. Значит, вы больше того, что чувствуете, изображаете и делаете...»

Мелькнул торжествующий стан Жозефины, перекрывая и смерть, и ночь, и смрад. «Да, с Жозефиной был бы рай, и все-таки зуб ныл бы: отдельно и сбоку».

— Это называется кризис сознания, — улыбаясь, шепчет. — Такая ночь может быть отмечена в истории культуры, как встреча Данте с Беатриче (если у меня кишка Данте). Но кто мне ме-

шает: не кишка же, в самом деле? Главное, при вспышке молнии успеть запомнить очертания вырванных из второго мира предметов.

«Как воссоздать эту ночь?» — загадывает Богдан. Он пробует хронологический порядок: детство, вечер накануне, планы на будущее, липы, запах, женский смех, весна в библиотеке... И видит: чушь, ничего не доказывает. Плоский поток времени, линейная память никуда не выводят. Решалась судьба, закладывался фундамент, агнец был заклан гораздо раньше и выше... Тут, по наитию, Богдан догадывается: надо подпрыгнуть! Вертикальная память. Ура, я нашел! Там, во время оно, или, вернее, до времени, когда субстанция мира еще не остыла, были зачаты, сотворены капли, зерна и корни, из которых десять биллионов лет спустя вышла святая душа Богдана с пробором неаккуратным и характером строптивым. Он отказался от сочного сандвича, но украл черствый ломоть хлеба. Почему? Там, там, в липких созвездиях ищите объяснения. Вот Афродита лежит поперек Млечного Пути в розовой рубашке с кружевами; Жозефина проплыла с развевающейся гривою. Ева встретила Марию. Кто-то стучит кулаком по небу, и звезды сыплются, точно стаканы со стола. Ангелы поют: свят, свят, Саваоф... А утренняя звезда, Люцифер, зажав пылающую ноздрю, сигает в море. Да, Карл Маркс прав: бытие действительно определяет сознание, всё бытие!

«Хорошо было бы заразиться, — мелькает вдруг нелепая мысль у русского мальчика. — Логично, справедливо».

Зуб разбухал, накалялся; боль окатывала отдельными волнами, поднимаясь выше, как прибойная полоса. Ренэ свернулась калачиком, едва дыша; принюхиваясь, Богдан лежал с краю, боясь шевельнуться. «Франциску Ассизскому захотелось подражать: широко шагаешь, пупсик. О ту пору еще не было течения времени; только туманные пятна размеров нашего Млечного Пути. Агнец был заклан на перекрестке. Из темной тучи начали оседать светлые капли. Какие странные отпечатки в лаве. Моя задача отобрать верное от неверного, нужное от ненужного», — решает Богдан, новый разведчик.

Он теперь понял. Художник ничего нового не творит. Творит только Бог да племя кретинов. Художник ходит по вселенной, склоняется над сонмом замаскированных, противоречивых, нераздельных образов и отбирает важное от неважного, хорошее от дурного, существующее от лживого.

Можно построить машину, которая автоматически воспроизведет все мыслимые словесные, звуковые и красочные комбинации. Но потом очередь за Богданом: его задача отобрать чушь и галиматью от серьезного и захватывающего. Вот ценная жила уходит под землю: твое дело узнать ее, добыть, очистить и уложить в мозаику, если ты прошел искус. Отбор: только и всего! Для этого человек создан свободным: чтобы по своей воле выбирать, не полагаясь на чужой вкус и авторитет. Все тайны космоса можно объяснить в терминах художественного творчества.

Опять всплеск музыки за окном, стук каблуков, смех (нежность к твоим сыновьям, Господи).

«Я не понимаю одного, — продолжает свой диалог Богдан. — Тайны личности. В чем она? Мы отличаемся друг от друга не божественной, святой силой. Дух в каждом один, и не умрет, и не воскреснет. Убежден: если есть личность, она бессмертна. Но где она? Чем положительным отличается один от другого? Христос, живущий в Павле, разве иной, чем в Марье Васильевне?»

Этот проклятый зуб беспокоил его уже давно: всегда после еды. Но стоило поколупать там спичкой, прополоскать и — проходило. А на этот раз ничего не помогало: пробовал и булавкой, и теплом. Наоборот, точно докопался до самой нервной ткани, обнажил ее. Ренэ вдруг проснулась, потянулась и заулыбалась, как счастливая любовница; он деловито отдергивал занавески. Утро.

— Знаешь, я побегу искать дантиста, — взмолился искренне.

Больше не было речи о встречах, продолжении идеальной дружбы, о совместном чтении «Мадам Бовари». Впервые в своей жизни Богдан осознал ограниченность личных духовных возможностей и как будто сдался, уступил, не желая надрываться.

К девяти часам армянин на рю Вожирар впустил Богдана в приемную и, после неизбежной болтовни, дернул зуб. Одна боль перекрыла другую: не радость симметрична страданию, а второе, новое страдание. Возможность подобной острой, подлой муки во рту свидетельствовала о чем-то катастрофическом в природе, где смерть являлась, пожалуй, одной из форм избавления.

Армянин не удалил всего зуба: сломал, оставил незаметный корешок. Десна закрылась, а через месяц опухоль, жар и рентген показали прикорнувшее на боку дремлющее вроде эмбриона гада инородное насторожившееся тело (corps etranger), от которого лучше немедленно избавиться. Пришлось надрезать десну. Но это случилось только через месяц. Пока же Богдан пробирался к себе

в мансарду, против церкви Сен-Северен, вероятно, очень помятый, но явно счастливый и полный творческого запала. Страдания, сомнения, подвиги и грехи; духовный и любовный опыт, разорванная десна и музыка, гул, вибрация: в оно время, когда еще не было причины, протяжения и огня, одна из утренних звезд... Какое чудо расти, отмыкать в темноте чудовищные двери, принюхиваться к запаху жизни, а за пологом реальное присутствие Бога Света и Духа и Сына, темной тучею покрывающего день Бастилии, Латинский квартал, Париж и даже всю Европу, над которой умное ухо уже слышит рокот бомбовозов подобный грому Синая. Вертикальная память — вот улов одной ночи. (Впрочем, и до того уже раз Богдану дантист обломал зуб.)

17

Ему недавно минуло 19. Раннее лето; Богдан только что сдал первое башо и ждал оглашения результатов, чтобы укатить на юг. Семья отбыла в Кальвадос к замужней сестре. Он рано поужинал обычной дыней, французским хлебом с маслом — молоко. Поковырял в давно подгнившем зубе, который ему пломбировала жгучая дама в Константинополе. Улегся в постель с «Голодом» Кнута Гамсуна (как после с Ренэ), предвкушая удовольствие от тихого чтения. Но зуб на этот раз вел себя, точно норовистая лошадь, в которую вонзили шпору. Вспышки боли чередовались, все раздуваясь, напоминая о конечной агонии. И это смущало молодого упрямого юношу, уверенного в благополучном завершении всех начинаний: иначе смерть, а гибель для него теперь, конечно, невозможна.

Богдан читает, как загнанный, истощенный герой встречает наконец девушку. Эта тема, пожалуй, самая таинственная и страшная теперь... И все-таки паршивая полусгнившая косточка во рту мешает по достоинству переживать подробности невозможно-необходимого диалога, который ждет и Богдана (как агония).

Он ерзал, вставал, чистил, полоскал, ковырял, грел, мазал йодом и снова брался за высокохудожественное произведение. Для чего-то сволок матрас на грязный пол и улегся в пыли. Было полетнему душно, за дверью из старого крана всю ночь капала вода; и арабы цепочкой тянулись гуськом по лестнице в соседнюю квартиру, где жило несколько разбитных девиц, почему-то пользовавшихся особой популярностью среди алжирцев.

В эту ночь искусство впервые дало трещину. Если лучшая книга не может смягчить боли, если ободранный нерв в дупле способен перекричать весь человеческий опыт прекрасного и величественного, то чего же искусство стоит... Игрушка для сытых. «А вера может облегчить и страсть, и ненависть», — решает Богдан. (Позже, 14 июля, рядом с Ренэ, он догадается, что страдания и счастье могут существовать рядом, не пересекаясь, не враждуя).

— Что самое важное для меня теперь? — осведомляется Богдан. — Не Моцарт и не Пушкин, а лекарь. Значит... Впрочем, не любой лекарь, а искусный. Значит...

Так начался период его интеллектуального заигрывания с Марксом, Фрейдом, Дарвином, Юнгом и Павловым: современный Олимп. Эта путаница, к счастью, благополучно закончилась с испанской кампанией, где Богдан воочию столкнулся с отпрысками этих старцев, серыми и подложными, как советские автомобили. Да, человек шагает по извилистой и неустойчивой лестнице, а ступеньки — это зубы: скок, скок, вертикально.

А наутро Богдану вырвали зуб: без наркоза. Малый коренной, крепкий еще (о, сколько их, вероятно, можно было бы спасти).

Врачиха самолично только лечила; для экстракций вызывала из задних комнат мужа, техника с волосатыми руками, присыпанными гипсом. Он долго шатал, гнул (в окне соседнего дома темная женщина расчесывала длинную косу); наконец извлек что-то. Богдан нащупал языком, затем пальцем новый корень, выросший точно вулканический остров... Спокойно, не без иронии, заявил, что не встанет с кресла, пока не удалят по возможности остатки. Да, ему шел 20-й год, и он готовился к большому плаванию. Он пришел на эту землю в результате чудесного бурления сил в продолжение нескольких миллиардов лет и без свирепой борьбы не уступит своего ответственного места; на млечной перекличке раздастся убедительный голос юноши: «Есть, есть».

Схватив другие щипцы, техник навалился на Богдана, но сталь соскользнула, мотнув набекрень мозги. Пробовал разные инструменты, долго бередил, тянул, скоблил, но не мог как следует уцепиться. Утирая гипсовый пот, пытался заверить пациента, что если так все оставить, то через несколько недель сама десна вытолкнет корешок.

— Я не уйду пока не очистите все, — весело и твердо повторил Богдан. Казалось, не стоит пройти через все геологические прессы, чтобы очутиться на земле в положении дантиста... Но если

уже случилось так, то зубы рви и чини как следует! (О, безжалостная молодежь.)

Опасливо озираясь, словно вор, попавший в западню, техник схватил висевший через плечо хобот бормашины и, зацепив винтом глубоко в десне, потянул изо всех своих лохматых сил, выгибая, выдергивая кривой пень. Обрубок выскочил: жалкий и страшный. Несколько мгновений все облегченно переводили дух.

— О, вы молодец, — сказала докторша мечтательно.

— Ваш муж тоже молодец, — снисходительно заметил Богдан.

Пожалела ли она его или почувствовала себя виноватою, только заявила, что поставит бесплатно коронку на соседний зуб с покоробленной пломбою (работа константинопольской школы). Богдан неохотно согласился принять в рот металл, который, вероятно, переживет его... Через поколения и зоны найдут в пещере у золы челюсть, оповестят музеи. «Homo Emigrans, — скажет профессор. — Видите, различного уровня зубная техника. Бедняги, подумайте, при таких резцах они все же питались почти исключительно мясом».

Эта коронка выдержала почему-то несколько войн и отступлений, торчала, ненужная без антагониста: внимательный и раздражающий свидетель всей последующей жизни. А дантистку эту в 1943 году, как потом узнал Богдан, вывезли немцы в образцовый лагерь и сварили в мыло.

«Что такое равновесие во рту? — спрашивает впервые Богдан. — Привычное или абсолютное состояние? Где граница этих двух рядов?»

Но не следует чересчур отвлекаться: Богдан занят первой поэмой, которую все не удается благополучно закончить:

Внушительно тлел наш последний закат,
И солнце садилось осеннее.
Нас всех повернули лицом назад,
И первые стали последние.

«Здесь покоится Богдан. Он искал темный центр внутри Бога, благославлял солнце, море и детей. Но не мог разгадать своего социально-полового ребуса.

Падал снег.
Прекрасен будет час,
Когда падет смертельный снег
И эту голову седую,

И эту голову слепую
В последний раз
Уронит человек.

Нет, этого недостаточно. Вообще, Богдан, в искусстве надо начинать там, где собираешься кончить (а все до того выбросить). В этом весь секрет. Мостки через бездну. Но прочен ли мост и ведет ли на тот берег, современник не ведает».

18

На рю Месье ле Пренс, у витрины книжного магазина, Богдан, лицеистом еще, долго простаивал, изучая французское издание «Уллиса»: английское впервые вышло тоже на этой улице (а не в Лондоне)... Вот урок для эмигрантского писателя. Большевики, Ленин—Маркс не дают тебе заниматься своим делом в России; но буржуа Дублина и Лондона не печатают Джойса.

Попытка не выпуская из рук пряжу соткать сплошной кусок времени, без пропусков и узлов, приходила Богдану в голову неоднократно: так, по крайней мере, ему казалось, когда он читал «Уллиса». Исключительный опыт для анализа природы времени. Но в сущности, это двойной реализм, субреализм! Без отбора, пропусков, исправлений. Под нашим сознанием бурлит темный поток; Джойс пробил колодец, и нефть с газами хлынула на поверхность: но что с нею делать, неорганизованной, неочищенной? Огромным творческим усилием Джойс создал первоначальный хаос. Стоит ли творить хаос?

Богдан мысленно вел этот диалог, пробегая глазами содержание витрины с «Уллисом» в центре... и вдруг за окном мелькнул знакомый ему очкастый профиль: Джойс!

Не размышляя, рванулся в магазин. Из задней комнаты выступила хозяйка с видом тигрицы, защищающей приплод. Она знала немного Богдана, бравшего в ее библиотеке авангардные новинки, как и сотню других таких же невоспитанных фанатиков искусства.

— Там Джойс, — начал Богдан глухим голосом, не имея, однако, времени откашляться. — Я должен ему выразить свое восхищение.

Вздохнув, она провела его в контору:

— Monsieur, un jeune enthousiaste russe voudrait bien saluer votre genie!

Джойс повернул в их сторону голову: за толстыми стеклами маячили подобия глаз, лоб тонкий, немощный, как бы изможденный, мягкие волосы. Легко, даже с изяществом, приподнявшись, он протянул сухую, горячую руку.

— Я люблю русских, — произнес любезно.

— Месье, я восторгаюсь вашим гением. Это героическая попытка, — взволнованно говорил Богдан, стоя в двух шагах от него и упираясь взглядом в телескопы. — Вы проделали ответственный опыт. Но что дальше? Как продолжать? ведь это хаос, жизнь надо организовать. Что впереди?

— Для этого, я думаю, самое правильное подождать дальнейших произведений месье Джойса, — нравоучительно заметила мадам и, слегка напирая, начала оттирать зарвавшегося юношу к дверям. Богдан покорно пятился назад, когда опять раздался голос Джойса, — и он застыл у притолоки в несколько напряженной позе.

— Вам, должно быть, очень тяжело на Западе? Скажите, что, собственно, происходит в России?

— В России гад, — тихо ответил Богдан.

— Я люблю Тургенева, — приподнявшись, Джойс опять протянул руку наугад: видно было, что глаза ему в этом мире мало помогают. — Courage.

Тут Богдана почему-то прошибла слеза; мадам тоже выглядела растроганной.

Непосредственным результатом этой аудиенции оказался визит Богдана в университетскую зубоврачебную клинику: впервые за всю свою жизнь без острой боли и по собственной инициативе. Толстые стекла Джойса так на него подействовали: решил быть, как маститый писатель, даже больше, но без очков и этих немощных складок на узком лбу... Бежать сто метров, прыгать, плавать, лыжи, паруса, вино, и женщины, и вериги. Всюду на почетном месте, а в одном направлении — первый! Святой, герой, грешник, Дон Жуан, Пастер, Колумб. Перед Джойсом он имел одно несомненное даровое преимущество (молодость).

Дантист, доктор, в виде исключения решил не рвать, а запломбировать несколько зубов, что показалось Богдану хорошим предзнаменованием.

Это второй раз уже, что Богдану пломбировали зубы: впервые их приводили ему в порядок в Константинополе, но не по собственной воле... Мать визгливо настояла: «Лентяй, все зубы сгно-

ишь!» Задело; и 14-летним подростком отправился к врачихе. Отец все бегал по общественным учреждениям, печатал статейки о зверстве большевиков, добивался филантропической ссуды, визы, паспорта. Бедный предок, он тоже завернул к дантистке, рекомендованной эмигрантской организацией: та ему поставила временную пломбу, а поменять на вечную уже не хватило усердия.

Богдан тогда был преисполнен зависти по отношению к мальчикам старше его всего на три, четыре года. Бездна разделяла их. Самостоятельные, загорелые солдаты, офицеры, моряки, они успели хоть месяц, два принять участие в добровольческом движении. Романтика степных походов, песен и ура — в буран... русская история, снова и снова разыгрывающаяся на полях между «Доном и Непрядвою»; жертвы, пытки, подвиги и жестокости, кокаин, Вертинский, «Коль славен наш Господь...» (из соседнего окопа: «На бой кровавый, святый и правый»). Командир кавалерийского полка ведет эскадру истребителей; по скалистому берегу бредут усталые саперы со связанными на спине руками: залп, прыжок — чья это папаха плывет за Босфором?

— Не с чего, так с бубен.

— Пожалуйте в Иностранный легион.

Марокко, Джибути, Индокитай. Святой Артюр Рембо, а не провинциальный: зачем Гумилеву ехать в Африку?

«Мы вместе делали поход, пересекли моря и сушу, меняли танк на пароход». Потом такси в Париже («и в стужу кашель роковой»).

Бывает же такая удача мальчишкам, а разница всего 3, 4 года. Бриллианты можно выменять на колбасу и шампанское; невесту на кокаин. Качь пара́? Золотой Рог в 20-м году. Труп, трап, триппер. Корь у сенегальцев похожа на оспу. Собачий лай на безлюдном острове (полно, собаки ли это?)... Ржавая жесть, разбросанная без призора: давайте делать ключи для примусов! (Весною поход.)

Позже, у переднего края Университетского городка, под Мадридом, Богдан догнал старшее поколение и вступил с ним в ногу; сидя на корточках под испанским небом, он смотрел, как вспыхивают за валом немецкие пушки, стараясь запомнить следующий, только что пришедший ему в голову образ: разные поколения только зубцы на том же гребешке.

Итак, Богдан целый месяц ходил к милой даме-дантистке, украинке, которую, впервые увидав, он принял за типичную турчанку. Извилистыми проволоками-иглами она вонзалась в живую

пульпу зуба и выдергивала скорчившийся вопящий «караул», нерв из дупла — похожего на зарывшегося в норку суслика. Первый укол невыносим, — первые роды, первая агония, — второй тише, а третий уже давал удовлетворение: почти на границе щекотания. Богдана мутило от этих щупальцев, выхватывающих из подполья живую ткань (так у моря, при большом отливе, нащупать шестом восьминога, — он мягко припадет банками, — и выдернуть его, посеревшего, из родной стихии). Жалость и отвращение: ткань мира, зачем ты страдаешь! Не личный счет только (можно кричать от боли и ненавидеть себя)... Жалость к слепой, глупой, ошеломленной, святой клетке, протоплазме, трагически выброшенной до времени на враждебный пляж, — она гадливо борется с морозом, тьмою, вихрем, огнем и всеми контрастными силами попеременно. «Зачем, куда... по любви сотворить амебу, способную страдать?» — так спрашивал Богдан над Дарданеллами, и ветер с греческих островов не навевал удовлетворительного ответа. До конца все тот же вопрос, только спокойнее и тише, зарываясь в следующий пласт по мере того, как на поверхности что-то становилось ясным, отчего соотношение света и тени оставалось постоянным (так дробь не меняется от одновременного увеличения числителя и знаменателя).

«Кто я? Божественное во мне принадлежит Богу. А гадливое? Чем я отличаюсь от моих братьев? Божественным, гадливым? Отпечатком пальцев? Комбинацией черт?»

В том настроении Богдан попал в свой первый мистический круг. Беглый сирийский иеромонах-расстрига с толстым чревом и тоненькой женой читал в погребке по рукописи о сотворении некоего древнего мира, предшествовавшего нашему. Вариант, созданный слугами, оказался непрочным и рассыпался; из этих останков, чтобы спасти хотя бы их, Бог-Любовь создал второй мир, ограниченный предыдущим замыслом и потому несовершенный.

Словно дверцы приотворились перед носом Богдана: и света, и воздуха больше! Подросток не расставался с расстригой, ночами напролет ведя бесконечные разговоры.

— Я ничего не знаю, — пробовал отмежеваться Богдан. — Поэтому должен руководствоваться только самыми простыми соображениями. Если Бог меня сотворил и наделил каким-нибудь талантом, то я должен выполнять дело, к которому способен, и как можно старательнее, лучше! Ясно, что, ведя себя таким образом, я не иду против воли Божьей...

Сириец, весело улыбаясь, рассказывал о батальных сценах между архангелами и в виде особой милости давал Богдану курить свою трубочку с гашишем, и душа последнего отделялась легко от тела — плыла по астральным заливам и каналам. Пробуждаясь, оставалось только вздыхать и тосковать по оставленным фосфорическим рощам.

Обязательно следует описать черный шар, раздувающийся, из которого проливается дождь света. Жизнь это борьба с мыслью, с памятью, с мускулами. Когда мышцы достаточно развились, ты берешь следующие по весу гири; так и в духовном плане (только позади собираются прочитанные книги, написанные строки и поднятые тяжести).

Человек это виртуоз, а жизнь — произведение архи-Моцарта; каждый виртуоз нужен, личен и нов.

«Здесь покоится Богдан, русский виртуоз, своеобразный интерпретатор. Он умер и его исполнения Магической Флейты никто больше не услышит. Бюрократ! Богдана надо воскресить».

Первая пломба в Константинополе: металл в теле. Галата, многоярусный мост: снизу отходят паромы на азиатскую сторону. Идея обвенчать Азию с Европой могла зародиться только здесь (на противоположном полюсе Берингов пролив). Стамбул посередине — между Бомбеем и Сан-Франциско. Богдана забросило в Сан-Франциско, а в Бомбее никогда не бывал... Можно обладать дьявольской фантазией, прочитать дюжину пособий, изучать планы и снимки — но незнакомый город, его лик, индивидуальность, не откроется тебе даже таким поверхностным образом, как пассажирам автокаров Кука. Тайна реального опыта, действительной встречи. (То же с Богом.)

— Ну, французик из Бордо не подкачал, — крикнул с лестницы однажды под вечер отец, возвращаясь со свертками и даже бутылкою: дали визу в Тунис.

19

В Бизерте застряли бы надолго, возможно навсегда, но помогло одно обстоятельство, как будто случайное, однако для Богдана решающее. Скорпион! Да, гад, аспид. Водились такие миниатюрные чудовища в пустыне, подбирались к самому городу, порту, заползали во двор, на циновку. Негр-артист проходил, ударяя в бубны и гремя литаврами: он показывал разные фокусы с

библейскими скорпионами, ловко перебирая их голыми руками (потом бережно складывал питомцев в корзинку).

Богдан с отцом разносил по городу и продавал бисквиты (в каждом пункте зарубежья имеется такое заведение, где почему-то охотно принимают русских, слегка только эксплуатируя). И однажды на их фабрику наведался матерый скорпион. Арабы перепугались, но старший, глухонемой, объяснявшийся только вдохновенными жестами (особенно выразительными, когда речь шла о его амурных похождениях), искусный пекарь, успокоил малодушных, объяснив, что надо делать. Безобразное грешное существо окружили скомканными бумажками и подожгли со всех сторон: узкое кольцо огня сомкнулось вокруг хищника... Он приподнял голову, слепую, ограниченную, змеиную, верблюжью, ознакомляясь с топографией местности и характером опасности (так, во время Гражданской войны, Богдан видел за рекой казачий разъезд, привставший на стременах, чтобы разглядеть, отрезан ли путь).

Путь был отрезан... тогда молниеносным ударом своего ядовитого хвоста скорпион поразил самого себя в уязвимую часть между мозгом и спинным хребтом. И все кончено. Маленький божественный творческий комок протоплазмы, икры, сукровицы, ничтожный, как мусор, уже посеревший, но в чем-то родственный Данте, Пушкину, Александру Македонскому. Африканское солнце садилось за Карфаген, за ним Гибралтар, а дальше Азоры, Атлантическая стихия, рукав Великого и Индийского океанов только промоины в льдинах Млечного Пути. А там, на севере, чудесная Марианна Каролингов и Клемансо (от Карла Великого до Карла Маркса): Марсель, Париж, Сорбонна, либеральные генералы и эмигрантские Уллисы (разговоры о Шиллере, о славе, о любви). Кругом огонь и едкий дым от газетной бумаги: надо привстать на стременах (или на брюхе), оглядеться и пойти на прорыв (или метким ударом по собственному затылку). Осанна Богу, осанна Сыну Божьему, осанна внуку Божьему в семени ракообразных... Богдан снимает с пальца подаренное ему сирийским расстригой колечко со славянской вязью: *духа не угашайте*. Ему кажется, что это самое ему завещал святой скорпион.

Месяц спустя Богдан уплыл во Францию (семья переехала позже): если бы отцу Богдана, сотруднику глубокоуважаемых изданий, сообщили, что в их судьбе важную роль сыграло паукообразное существо, то он бы удивился и возмутился. Но потомок

его знает многое по-другому о жизни своей семьи (как и о гадах, ящерицах, овнах, разбойниках и Христе).

Он попал на юг к сбору винограда; работа тяжелая, но не изнурительная. Богдан научился утолять жажду вином, рубал крепкими зубами мясо и овощи (смеясь, писал семье уже в Париж, что от константинопольских пломб его челюсти отяжелели).

Следующий зуб (или предыдущий), молочный, пал славной смертью уже в России. Какая испорченная биография: зубы сильные и острые, а хлеба не хватало. Вы жертвою пали в борьбе роковой и спите, орлы боевые. Пулеметные строфы, опрокинутый трамвай, на площади против почтамта чугунный бюст Александра II. Надпись (Освободитель) осталась еще, а голова отбита. Эскадроны конницы с транспарантом «Мы путь земле укажем новый». Инфантильная, обманутая, обиженная, пьяная, замученная барами и начальством, неоднократно поротая розгами и батогами, с обнаженной совестью, без сапог, но обязательно спасающая мир, хитрая и себе на уме, хозяйственная, упрямая, биологически неистребимая, аграрная Русь.

— Братцы, за что...

— Мерзавцы, погубили Россию.

Богдан мальчишкою был свидетелем, как бросили трех бойцов в свежевырытую яму и завалили, живых, землею; холмик, к ужасу его, ходил ходуном довольно долго, потом дрогнул и осыпался.

— Мы за коммуну не деремся.

— Кiев, Варшава, Берлин.

Гады.

Градом по гадам.

Что это? Перекоп, Куликово поле, Полтава, Бородино, Сталинград? Нет, это играют оркестры по случаю взятия Перемышля. Последняя слава двуглавого орла. (Русское ура и православное аминь перекликаются).

— Да здравствует государь император, — надрываясь, картавит, одурманенный сивухой патриотической манифестации, девятилетний Богдан.

Чудовищный инвалид русско-японской войны, на деревяшке, с черной повязкой вместо глаза, герой многих патриотических драк, только этот георгиевский кавалер слышит писк Богдана и в исступлении подхватывает мальчика, высоко подбрасывает, пошатываясь на своем обрубке, ловит и несет впереди толпы, при-

жимая к жилистой, дубленой, стальной шее... Единственный зрячий глаз, отчаянный, ивансусанинский и неудержимо гневный, выпячивается от напряжения, грудь раздувается и уши Богдана потрясает истерический, грозный, обиженный вопль: — Да здравствует государь император Николай второй, ррррааааа!

Испустив этот воинственный клич, грудь инвалида еще долго всхлипывает и булькает под ухом Богдана... Так они шагают над морем голов, взятых у Мусоргского. Живой символ тысечелетней, соборной, православной, стихийной Руси. Кентавр, но, Боже, какой неустойчивый.

Богдан, припав ухом к гулкой груди известного по безобразным подвигам патриота, жмурится от сладострастного ужаса, проникаясь блаженством эскадронного счастья, коллективного бессмертия. Самоуничтожающе пищит: урраaa.

Ветеран опять сомнамбулически рычит, задирая вверх голову с повязкой на глазу, и голова эта похожа на высушенный череп с бородою. (Немного позже, в 1917 году, Богдан увидит его череп в луже, у самого цоколя памятника Александру Второму... Черной повязки уже не было: пустая впадина для глаза производила впечатление свежей язвы.)

«Государь император!» — волна восторга окатывает опять Богдана. Ему кажется, что если бы не мешали зубы, он бы перекричал толпу. Да, у него во рту все либо шатается, либо просвечивает. Весь этот год он терял зубы, не покрывая дефицита, к вящему смеху взрослых, а главное древних. Насмешка стариков не лишена даже определенного цинизма: неприличные намеки, подмигивания, амикошонство.

Да, был такой мучительный вечер в ранней жизни Богдана, когда он неожиданно понял, что во рту у него — зашаталось! Как ни поверни язык — мешает; десны горят, зудят. Отец предлагал: «Дай я дерну, и кончено, под ним другой, настоящий...» Но Богдан не верит в чудеса; стыдливо, решительно отстраняет всех этих доморощенных помощников: подождет, посмотрит, какой оборот примут обстоятельства. И засыпает в мучительном, обреченном, незаслуженном одиночестве.

Ему снится дворник (очень похож на Сталина, в длинной шинели — дать бы ему деревянную лопату для сгребания снега), гонится за Богданом; понимает: если не сумеет убежать, то произойдет непоправимая замена... дворник превратится в Богдана, а тот в дворника. Вот-вот настигнет! От ужаса Богдану оставалось

только проснуться (может быть, воскресение из мертвых тоже произойдет под влиянием непреложной опасности). Светает, и мальчик находит в своей ручонке окровавленную мелкую косточку, которую выковырял, очевидно, недавно.

Утром, во главе няньки и сестры, прошел на кухню и повторил слова старинного заклинания, обращенного к домовому или мышкам, — Богдан так и не сообразил... Руководила действом нянька: она приехала из лесного края и звали ее Ягна. В ее комнатушке висели сухие травы и шкурки, а над дверью пучок розог, которыми она, по преданию, секла сына. Мать Богдана часто хворала, тогда не было психоанализа, и Ягна катала свежее прозрачное яичко по лицу, по голове скорбящей, а губы шептали, шептали, шептали; затем яичко разбивали над широкой чашкой и веще разглядывали. Однажды, заметив в такую минуту подсматривающего Богдана, Ягна так на него отчужденно цыкнула, что он скатился с подоконника прямо в подвал к кучеру, где пахло сыромятным ремнем и блестел дешевым окладом Николай Чудотворец, о котором вся угнетенная Русь с гордостью повествовала, что он на вселенском Соборе ударил по мордасям Ария.

Итак, Ягна руководила действом. Богдан смутно помнит: храбро отделился, выступил вперед к большой печи и один на один с таинственными, нейтральными силами подполья швырнул им издалека отступное, взятку — зуб!

Сестра хлопала в ладоши и визжала от радостного испуга, а Богдан получил взамен новенький гривенник. Ему было лестно, стыдно и беспокойно, точно он участвовал в обязательной, но несколько унизительной игре.

Но куда идет этот зуб, и почему вырос другой под ним, еще лучше, и что произойдет дальше? — эти вопросы оставались без удовлетворительного ответа.

Сестра в упоении кружилась на пуантах, она училась балету (четверть века спустя немецкие танки ее раздавили под Смоленском; она упала в братскую могилу, где потом нашли много здоровых и гнилых натуральных зубов: искусственные и коронки немцы вывезли в фатерланд).

20

Да, стоя тогда перед русской печью с гривенником в руке, Богдан недаром фальшиво улыбался, стесняясь всего этого ликования и бессмысленного оживления. Он уже тогда предвидел, сколько впереди опасностей и с каким множеством чудесного придется сталкиваться, выдавая его за понятное и естественное.

Молочные зубки... под ними оптимистически возносятся зрелые, реальные, мясные («Вот видишь, ты не верил», — скажет отец). Но рот опять начинает линять, гнить, крошиться. Можно починить, залечить, озолотить — между важным делом, между абортом и службою, между книгой и чеком, между экзаменом и революцией. Но зубы продолжают свою метаморфозу — босые бледные десна не предназначены для бифштекса и поцелуев. Тогда приходит, наконец, дантист и приносит новенькую бледно-розовую челюсть с первозданными, крепкими резцами, клыками, коренными. (Богдан по дороге в Мичиган видел убитую машиной чету... Только дамские туфли и вставные зубы, успевшие соскочить от сотрясения, лежали целехонькие, бессмертные, рядом. И неизвестно было, что с ними делать: предать земле или сохранить для потомства?)

И как тогда с первыми молочными зубами в руках, Богдану было сумно и неуютно, вопреки смеху и хлопанью близких (недоставало одного уравнения), так и теперь, выйдя от Шумахера и бредя по праздничному Нью-Йорку, он опять жмурился, напрягался, стараясь разглядеть, что за всем этим стоит...

Он, очевидно, только что завернул в садик сзади Публичной библиотеки (где иногда ему случалось проводить целые дни). Небо было ясное, и острый сноп света рассек по диагонали площадь. Тучный голубь лениво пролетел и на минуту попал в радугу солнечных стрел. Тогда что-то встрепенулось в душе Богдана, и он произнес:

— Все это, окружавшее меня, может иметь смысл только в том случае, если я когда-нибудь воскресну и еще раз твердой рукой пройдусь по черновику. Это ясно и неоспоримо.

Тут он почувствовал неожиданную слабость и сразу осел. Скамья расположена чересчур далеко: рядом каменная лестница вела, очевидно, в погреб... можно присесть на ступеньках, даже прилечь. Опускаясь на плиту, Богдан успел заметить приоткры-

тую дверь внизу: оттуда слышались знакомые голоса и доносился заманчивый, похожий на тропические испарения запах.

— Входите, входите, — раздался навстречу разноязычный гул. — Давно пора.

Шумахер, одетый в лоснящийся смокинг, с бантиком, накрахмаленный, улыбаясь, точно церемониймейстер, полуобнял Богдана и повел вглубь.

— Ну, батенька, заставили себя ждать, — укоризненно произнес Нарвин и приподнял ижицы бровей.

— I'm glad it's over, — Лерой подошел и крепко пожал руку Богдана (он пополнел и носил темные очки).

Но удивление Богдана начало переходить в испуг, когда вслед за Лероем к нему приблизилась та самая милая дама, «турчанка», которая ему пломбировала зубы в Константинополе.

Шумахер строго следил за порядком, подзывая поочередно разные лица; те радушно и шумно здоровались, произнося краткие, даже несколько скомканные приветствия:

— Безусловно.

— Как вы, хорошо?

— Надеюсь, можно.

Когда беспредметное оживление несколько улеглось, Шумахер решительно хлопнул в ладоши и провозгласил: «Господа, пожалуйста!» — он явно руководил собранием.

Все поплыли вперед, к центру подземелья, где виднелись мостки; толпа неизвестных, разодетая в бутафорские наряды (очевидно, участвовавшая в параде) отступала или раздавалась перед ними... В первой паре шел Богдан под руку с Шумахером, за ними вплотную Лерой и «турчанка»; сзади Нарвин, рядом с допотопной старушкой, повязанной русским платком, казавшейся по будничному знакомой.

Его подвели к высокому столу, накрытому вышитым золотом плюшем; там, блестя лаком, покоился прочный ящик (похожий на те, которыми в старину запасались офицеры и капитаны китобойного флота). Богдан сразу сообразил, откуда этот поразивший его еще снаружи экзотический запах тления: ларец был из камфорного дерева.

С ужимками своих лучших фокусов и штучек Шумахер засучил рукава праздничного пиджака и, словно борясь с невидимым препятствием, после нескольких пасов и приемчиков вдруг легко и ловко открыл верх сундучка.

И взору Богдана предстала гора беловато-желтых, червивополых, напоминающих зерна, косточек... Зубы. Покоробленные, крошащиеся, умытые дождем, высушенные ветром.

Толпа кругом, — некоторые в ярких, цветных опереточных мундирах, — смотрела выжидательно и сурово.

— Неужели здесь мои? — ахнул Богдан, жадно склоняясь над ящиком. — Этот? — показал пальцем на крохотный детский резец, невинно покоившийся отдельно, на вате, чем-то напоминая младенческий детородный орган.

— Вот, вот, — всхлипнул Шумахер. — Ваш первый молочный, ха-ха-ха. А здесь, глядите, неужели правда! — восхищенно лепетал добряк, выдвигая вперед другую шкатулку. Оттуда, точно на пружинах, выпрыгнули (возлегая на зеленом бархате) две новенькие, литые, крепкие, искусные челюсти. Богдан не мог оторвать от них взгляда. — Да, да, да, — заливался Шумахер, исчезая под складками всепокрывающего смеха. — Это ваши; испокон веков дожидаются! Скорее вина! — приказал хрипло.

Девица в медвежьей шапке английской гвардии подкатила легкий буфет на колесиках; Нарвин и «турчанка» начали разливать шипучее вино. Тут Богдан, оглянувшись по сторонам, впервые заметил, что край подвального помещения охвачен решеткою, за которой тоже толпится народ.

— Видите, — говорил между тем Лерой, подавая ему бокал. — Это все гораздо проще. То, что вы усвоили сегодня, вы могли бы проделать и двадцать лет тому назад. Сколько напрасных терзаний.

— Ваше воскресение во плоти! — торжественно провозгласил Шумахер.

— Да здравствует вертикальная память, — гаркнул Нарвин. — Урррра.

Все отпили из стаканов (Богдан вспомнил: с утра почти ничего не ел). В это время Лерой вступил на помост и, поклонившись в сторону Богдана, сказал:

— Простите меня, я иначе не мог поступать. Мы сидели в одной комнате, и я каждую минуту мог проговориться. Простите меня за невольную жестокость.

— Все, что вы потеряли в жизни, хранится здесь и будет вам возвращено, — шепнул Шумахер восторженно.

А Лерой продолжал:

— Придите ко мне в контору, и я назначу вас главным редактором с окладом в двенадцать тысяч.

Богдана вдруг прошибла слеза: сморкаясь, он все же не переставал напряженно оглядываться в сторону решетки, где, ему казалось, люди влезали на ограду, перегибались и жестами, кликами старались привлечь его внимание... В одной из этих фигур он положительно узнал Олимпию: держала над головой мальчика в полосатой майке, сгибаясь под тяжестью, а лицо ее содрогалось от счастливых рыданий.

— Путь ваш был трудный, — напыщенно говорил Шумахер. — Но вы должны благодарить все эти существа, отчасти приносившие себя в жертву, чтобы помочь вам осилить препятствия. Пожалуйте...

К Богдану приблизилась чета, в которой он почти без труда узнал хозяев, несколько лет тому назад прогнавших его со службы при довольно унизительных обстоятельствах; муж первый, а затем жена, точно заведенные, низко поклонились, потом выжидательно застыли.

— Благодарите, благодарите, — шепнул распорядитель.

— Спасибо, — послушно промямлил Богдан и, вспомнив обидную злобу, когда-то порожденную этой четой, поспешно добавил: — Извините меня. («Черновики уже исправлены!» — мелькнула блаженная мысль).

Кто-то всхлипнул, крякнул сзади, но у Богдана не хватало времени оглядываться. Прямо на него шагнула женщина, конфузливо улыбаясь и вихляя бедрами, — Ренэ! Они обнялись и смачно облобызались.

Еще подходили разные люди, иногда пускались в косноязычные объяснения, чаще только молча кланяясь или пожимая руку. Профессор, срезавший Богдана без особых причин на выпускном экзамене; арендатор отеля, не пожелавший подождать со взносом квартирной платы; итальянец, выжимавший все соки из Богдана в конторе.

Растроганный, пробовал со всеми целоваться по-пасхальному, но троекратного лобызания не получалось. Древняя старуха в строгом платке выступила вперед и метнула земной поклон; Богдан вот-вот распознал бы ее, но его отвлек знакомый и неприятный голос:

— Придите в мой кабинет, я поставлю пока искусственную челюсть! — настаивал армянин, неудачно вырвавший ему корешок в Париже.

Опять Шумахер начал балаганить: засучил рукава и засеменил перед ящиком, шепча подчеркнутую абракадабру... Вот из сунду-

ка поднялась уродливая голова, а затем выполз целиком матерый скорпион; осторожно нащупывая дорогу, он спустился на плюшевый покров и пополз по краю стола, судорожно вытягивая голову и озираясь, точно производя рекогносцировку.

— Ты понимаешь, ты понимаешь! — донесся вдруг до Богдана восторженный вопль из-за ограды. Не могло быть сомнения: там, рядом с Олимпией, возвышался отец Богдана и, широко разевая рот, все повторял, словно жизнь его чада зависела от этого: — Ты понимаешь, ты понимаешь...

— Да, да, — яростно откликнулся сын.

Задыхаясь, будто после тяжелой работы, и отряхивая пушинки с новенького пиджака, Шумахер степенно объяснял:

— К сожалению, мы только люди и наша помощь часто принимала формы неудобоваримые.

— Too little and too late, — пробрюзжал Лерой.

— Да, случается, — отмахнулся Шумахер. — Видите, у нас тоже имеется оппозиция, — ухмыльнулся он. — Однако к делу.

Богдану нелегко было поверить в этого нового Шумахера; (бессознательно все время готовился услышать скабрезный анекдотец или кафешантанный романс).

— Еще ребенком вы поняли, что самое реальное в жизни человека, его память, — снисходительно продолжал дантист. — Потом вы весьма остроумно сообразили, что если смерть реальность, то она не может быть ничем иным, как тоже формой памяти. Но тут произошел конфуз, и вы задержались надолго. А между тем последующий шаг напрашивался сам собою: борьба со смертью, по существу, есть борьба с линейной памятью.

— Да, да, вижу, — покорно мямлил Богдан. — Понимаю... Но зачем все-таки... там? — он ткнул пальцем в сторону решетки.

Наступило отчасти даже зловещее молчание; народ кругом близко подступил, тяжело дыша в затылок (некоторые из ряженых держали под мышками фаготы, трубы или старинные пищали; но лица были нахмуренные и решительные).

— Это очень просто, — ухмыльнулся Шумахер, беспокойно оглядываясь и слегка отступая. — Вам известно, конечно, что умалишенных лечат электрошоком. Таково же назначение агонии, только во много раз сложнее и длительнее. Лишь после жестокой конвульсии каждой своей клетки пациенту доступно воскресение.

— Ты понимаешь, ты понимаешь! — опять донесся знакомый, полный отчетливой любви голос.

— А вот еще, пожалуйста, — игриво заявил Шумахер, стараясь рассеять и отвлечь внимание собрания. — Это наш подарок, чем богаты, — протянул он вперед руку.

Богдан с удивлением разглядывал связку ключей; смутные облака, тени поднимались со дна души. Некоторые ключи казались буднично знакомыми, точно хранили еще теплоту его пальцев. Ну конечно, вот первая его машина, «шевроле», а это комната на рю Буттебри; но эти огромные, чугунные? Неужели российские? В груди что-то вздрогнуло, всхлипнуло, затопив сплошным блаженством низкий берег.

— Плачьте, плачьте, нам совсем не обидно, — растроганно уверял Шумахер, тоже сморкаясь и рукой защищая глаза от полыхнувшего яркого пламени.

21

Богдан лежал еще с минуту неподвижно, с трудом приспосабливаясь к новому освещению; первое он разглядел — часы сбоку Публичной библиотеки, на уровне 10-го этажа. Затем увидел, склоненное к уху лицо священника, шепчущего быстро-быстро латинские вирши; невдалеке вытянулась тройка дюжих полицейских, сдерживая напор празднично разодетой толпы Тайм-сквера.

Священнослужитель прекратил молитву и перекрестил Богдана католическим узором; словно извиняясь, совсем обыденным тоном, присовокупил: «В ожидании каретки «скорой помощи»... счел своим долгом...»

Тучный голубь лениво перелетел с подоконника универсального магазина на крышу публичной уборной, что наискосок; луч солнца заострился до болезненной чрезмерности, падая уже почти снизу вверх. Мартовский ветер тоже порывался в небо.

Богдан встал и, невозмутимо раскланявшись в ответ на аплодисменты жаждавших развлечения зевак, с достоинством удалился, впрочем, все ускоряя шаги, по мере нарастания рева сирены госпитального автомобиля.

Он чувствовал во всем теле (вопреки усталости) счастливую легкость, как после удачного массажа, когда мнится — десяток лет скинул с плеч!

Только левая рука, — собственно, маленький и безымянный пальцы, — слегка сжалась и не то горела, не то иначе мешала,

отчужденно вкрапленная в общее ощущение витальности и молодости.

День по всем признакам благополучно завершался; веселые девушки с ногами и бедрами, слегка напоминавшими Жозефину, проходили мимо, утомленные, но довольные, предвкушая праздничный вечер. И по странному контрасту внутреннему взору Богдана вдруг предстала загадочная морщинистая старуха, повязанная строгим платком.

— А ведь это была Ягна! — вскрикнул он с тварным облегчением.

Рассказы

РОЗОВЫЕ ДЕТИ

> ...triste hôpital tout rempli de murmures,
> Et d'un grand crucifix décoré seulement,
> Où la prière en pleurs s'exhale des ordures,
> Et d'un rayon d'hiver traversé brusquement.
>
> *Ch. Baudelaire*

Наш госпиталь стоял на окраине города. За парком одиноко лежала трамвайная линия, зеленели, а зимой сохли могучие провинциальные липы и клены. Шоссе бежало, извивалось, тянулись узкие дороги, ныряли неубитые тропинки. После дождя долго стояли поместительные лужи, пахло землей и небом и серебристо пели жаворонки.

Самый город, просторный и чистый, славился старинным собором, святыми и особым сортом шампанского. На площади красовался памятник павшим за Францию; на стене мэрии мраморная доска оповещала о попавшем сюда немецком снаряде.

Аборигены здешние были по-провинциальному приветливы и медлительны. В праздничные дни из кофеен доносилась музыка (играли Вагнера, Шопена, Чайковского). Слушатели чинно отпивали из чашек, живописно кланяясь вновь пришедшим и говоря довоенные любезности дамам. По улицам ползли мопассановские старички с большими букетами цветов.

Отгороженный высокой кирпичной стеной, отрезанный от мира, наш госпиталь, — сравнительно небольшой, рассчитанный только на детей, — как большинство филантропических учреждений, управлялся исключительно женщинами (преимущественно старыми девами). На весь персонал приходилось всего двое мужчин: я и консьерж (главный врач, старичок, — «песочные часы», — навещал нас раз в неделю).

Директриса, англичанка, по мужу француженка, — вдова с неудачным прошлым: на лице застыла горделивая улыбка незаслуженного горя (такое выражение встречается у матерей трагически погибшего ребенка). Жизнь ее, видимо, научила ценить только одно: покой. Она боялась неприятностей, ужасалась хлопотам и хотя всегда старалась исправить обнаруженное злоупотребление,

но так это делала, что у лица «докладывавшего» — навсегда пропадала охота к реформам.

Ее фаворитка — кастелянша. Старая дева, моложе директрисы лет на десять, миловидная, бледная, с темными глазами и — горбатая. Они были знакомы еще в Англии: вместе приехали. Оттого ли, что долгие годы общения роднят, или оттого, что кастелянша была свидетельницей другой, счастливой жизни директрисы (и напоминала ей об этом), только дружба, их связывавшая, казалась верной, крепкой, сдержанно эгоистичной, как, впрочем, все, что исходило от директрисы. Издали, когда они в салоне тихо беседовали, казалось: поверяют друг другу тайны, пеняют, сожалеют; а ведь они только обменивались второстепенными хозяйственными соображениями или обсуждали очередной сюрприз для общей любимицы — Джеммы. Джемма, собака кастелянши, одна из героинь этой повести. Дальше о ней придется рассказать подробнее: мне хочется сперва поговорить о людях.

Старшая сестра, — Generale, — тоже старая дева, но, очевидно, успевшая кое-чего сладкого вкусить. Седая, усатая, с огромной грудью, выпиравшей из высокого корсета. Туго зашнурованный корсет скрипел, как новая упряжь; сдавленная, она непрестанно вытирала пот с бритого седого старческого затылка; в обществе мужчины неотвязно оправляла свое чудовищно вырезанное декольте; подводя близко скрипящую грудь, шутила: «Я сегодня спала не одна. Мадемуазель Люно может засвидетельствовать, ха-ха. Я спала с Джеммой». И проходила: тяжелая, ненасытная, на тоненьких старческих ножках.

Мадемуазель Люно работала в заразных палатах. Это ей давало возможность жить как бы на отлете. Поговаривали, что она не всегда вела себя как должно; что где-то у нее есть сын и пр. ... У нас служила сравнительно недавно: года два, три... и постоянно грозилась уйти. Держалась обособленно, гордо, даже в уступках излучая какую-то злую, шалую непримиримость. Говорила всегда с презрительной усмешкой человека, видевшего за свою жизнь только лицемерие и тщеславие. Думалось: будь в ее воле, многое бы, — дурное и хорошее, — сокрушила, безжалостно бы стерла. Возраст: за сорок. Но в каждой клетке ее уже начинавшего опускаться тела, все еще разлит — пол. В манере ответить, пройтись по комнате, переставить вещи слышалось — женское. Глаза темные, блестящие, горячо-спокойные, как у лошади; губы крупные, яркие. Ее все порицали, но замечаний не делали, почему-то боя-

лись. Выходные дни она проводила у voisines в городе; там же ночевала. Когда наутро M-ll Luneau возвращалась, ее встречали пуританским холодком людей, платящих большие подати нравственности и не намеренных поступиться вытекающими из этого преимуществами. Она же насмешливо, даже дерзостно улыбалась и отнюдь не чувствовала себя виноватою. Днем, когда большинство (не работающих) сестер спало, она обычно гуляла по двору с Джеммой на привязи. За оградой негромко и степенно лаял Боб, волкодав консьержа. С видом опытного повесы, избалованного дамским вниманием, но все же не привыкшего пропускать ни одного благоприятного случая, он заигрывал с невзрачной Джеммой. Джемма же билась в истерике, рвалась на ремне, плакала лаем, захлебывалась от возможного счастья, так полно, так униженно стремясь к нему. M-ll Luneau облизывала губы и говорила беспокойно:

— Надо спасаться.

— От чего? — спросил я в одну из наших совместных прогулок.

— Вы не знаете? Сама Generale чуть не вылетела из-за Джеммы: шнур порвался, только чудом удалось разнять. Ведь Джемма у них девственница.

— Чего им жалко? Завидно, должно быть, — зло объяснила. И добавила: — Merde! — таким тоном, точно речь шла не о Джемминой, а об ее судьбе. Так ругаясь, она брала собаку на руки (не доверяя ремню) и убегала в дом.

Джемма, хилая, низкорослая дворняжка, одетая в чехольчики, нагрудники, бархатные наколенники, в новой сбруе с бубенцами. Кумир целого заведения, первенец старых дев, любимец, диктатор, тиран. Ей разрешалось ходить по всем комнатам: всюду имела «свое» место; если оно было занято, Джемма нахально приближалась и вызывающе, капризно скулила, пока место не освобождалось. Слабая и трусливая, она собственными силами не могла бы никак обеспечить своего существования. Но впереди, защищая всем естеством, стояла тихая всесильная кастелянша. Люди кругом льстили и кланялись, хвалили и ласкали собаку. Джемма чувствовала, что все так же слабы и лицемерны, как она. Постепенно развились обывательские черты: самовлюбленность, мелочная завистливость, желчная мстительность. Привилегированное положение превратило ее в паразита. Она, видимо, страдала какой-то болезнью кожи, теряла волос, — вся в клоках и в плешинах, — и постоянно находилась в дурном, беспокойном, раздраженном состоя-

нии. Оттого ли, что ее обкармливали сластями, или по другой причине, но она отказывалась принимать обыкновенную пищу: бились, упрашивали, угрожали. Кормили, как желудочную больную, — чуть ли не через зонд. На Рождество устроили елку с подарками. Мне достался блокнот и карандаш; Джемме несколько бонбоньерок с шоколадными конфетами, свитер, чепец и каучуковая надувающаяся кошка (игрушка). Хозяйка с нею спала, ела, купалась; две старые девы, они знали слабости друг друга и умели ладить. Я Джемму не любил. За ее почти человеческий эгоизм, за трусость, за хилость и самолюбивую мнительность. Она об этом догадывалась: никогда не оставалась со мною наедине. Но на людях вела себя крайне нахально: медленно подходила, расставив лапы, задирала морду (у человека этому бы соответствовало: засунуть руки в карманы жилета) и начинала скулить, отрыгать. Лаять она не умела, — голос срывался, — она только выла, хрюкала, капризно брюзжала.

— У, злой! — говорили присутствующие. — Она знает, что вы недобрый, и потому лает. Перестань же, Джемма, перестань, умница.

Но она не знала меры. Еще один человек так же явно не терпел Джеммы — мадемуазель Коллет. Сестра милосердия с полувековым стажем, она уже выслужила одну пенсию и теперь подбиралась ко второй, а может, и к третьей по счету. Впрочем, тут, вероятно, сказывалась не одна жадность. Одинокая, она привыкла к больнице, сроднилась с немощами, чувствовала себя тягостно со здоровыми: столько лет встречала первый крик новорожденного, принимала последний вздох кончающегося. Она старшая сестра в своей палате: распоряжается, командует, ее слушаются, и уйти на покой, в бездействие, значило для нее уйти умирать. Всем нам известно, сколько у нее денег. В первый выходной день после получки, торжественная, в черной шляпе, с черным зонтиком, она отправлялась в город, в банк: вносить деньги. Возвращалась помолодевшая, с мелкими подарками для подчиненных. Она купила участок земли на юге, но строиться не спешила, всё откладывала, с лета на лето. Многочисленные фирмы забрасывали ее проектами, сметами, архитектурными эскизами, а она все не могла выбрать подходящего: «Во время отпуска, — говорила. — Я приму решение». Один подрядчик, целый год ее напрасно обхаживавший, рассердившись, сказал: «Мадемуазель Коллет, вы умрете не в собственном доме». Она себя называла: «très catholique». Она пошла на войну равнодушной («comme tout le monde»), но возвращавшиеся в окопы сол-

даты говорили: «Теперь нам осталось надеяться только на Бога». Их было много, утверждала она: толпы, тысячи, десятки тысяч, и все повторяли одно и то же. Тогда она поняла: без церкви нельзя человеку. Когда, звоня в колокольчик, проходил кюре со служкой, неся Святые Дары, мадемуазель Коллет, румяная, словно тринадцатилетняя девочка, бежала целовать его руку, помогать. Как-то весь город был взволнован жгучей драмой: ветреная жена оставила мужа и скрылась с любовником. «Oh, si j'avais un mari!» — сухим, сдержанно страстным голосом набожной католички еще долго спустя повторяла мадемуазель Коллет и поводила согнутыми в локтях руками, точно неся в них, прижимая к груди, убаюкивая нечто драгоценное: показывая таким образом, чем бы она стала для мужа. В ней сохранилась какая-то восторженная мягкость, та податливость, которая покоряет людей. Когда другая старуха-дева, — полусумасшедшая Танрэ, — начинала бунтовать, только одна мадемуазель Коллет могла ее усмирить.

Танрэ страдала базедовой болезнью: зоб, выпученные глаза, нервные припадки. Злое, несчастное создание. В припадках ярости — кусала собственные локти. Она обедала за отдельным столиком, спиной ко всем: от созерцания некоторых лиц, — по ее утверждению, — она лишалась аппетита. Своих подчиненных — изводила. К ней-то, по неумолимой логике, попала единственная русская ученица, девятнадцатилетняя, волей судьбы, — мадам Зубофф. Насмешка: седой капитан козыряет безусому полковнику. Танрэ нашла выход. Она пригласила в палату директрису, кастеляншу и Generale; торжественно подвела их к порученному Зубовой младенцу и развернула пеленки: под ними, острием к телу, торчала огромная ржавая английская булавка. «Вот как она обращается с нашими детьми!» — трагически объяснила. Все знали: булавка подброшена. Но выбирать между старой сослуживицей и молодой ученицей не приходилось: Зубовой предложили уйти. И тут, за все наше совместное пребывание впервые, Зубова обратилась ко мне по-русски. Плача и заикаясь, она сообщила, что ей осталось сделать только двухмесячный стаж, а там она получит диплом; ей обещали место при муже, он шофер каретки «скорой помощи», и во имя всех святых, чтобы я ее спас.

— Comme des sauvages! — решила мадемуазель Коллет, прислушивавшаяся к нашему разговору. Раздраженный всей предшествовавшей сценой, я попробовал объяснить Коллет неуместность такого сравнения. Но она не поняла. «Чтобы я покинула

Францию? — (Ответила не на мои слова, а на другое, более существенное). — Jamais de la vie!» — давая этим понять, что между нами есть качественная разница. Но какой-то винтик в ней, очевидно, был задет. Ворча, она все же отстояла Зубову: ее перевели в другую палату.

В комнате мадемуазель Коллет целый день ревел радиоаппарат. От семи утра до семи вечера, — время ее работы, — из пустого номера, через запертую дверь, доносились марши, танцы, биржевые сводки и лекции по пчеловодству: забывала ли она выключать аппарат или происходило это вследствие какой-то своеобразной жадности — бог весть. И грубая автоматическая музыка, целый день журчащая в пустой горнице без слушателей, вселяла своей подчеркнутой ненужностью почти мистический страх. Вечера свои она проводила у аппарата: выключала громкоговоритель, надевала наушники и, одинаково улыбаясь трубам и скрипкам, рекламам и анекдотам, слушала, неторопливо починяя велосипедную камеру (ей принадлежал старенький велосипед, на котором она в праздники каталась). Прекрасный многоламповый аппарат. Можно принимать Мельбурн и Москву, Будапешт и Осло. Но в 10 с половиной часов Радио-Пари передавало «Марсельезу». Мадемуазель Коллет аккуратно снимала наушники: день кончен. Никогда, никогда, не выходила за пределы одной страны. И в этом жестоком мотовстве зрело нечто большее, чем простая тупость или ограниченность. Она страдала головными болями, от которых лечилась холодными примочками; и когда ночью сквозь старческий сон ей вдруг мерещилось, что опять позабыли распорядиться о чем-то важном, — она выбегала в палаты, девственно ветхая, трогательная, в ночной рубашке, придерживая рукой на лбу завернутый в платочек лед.

Ночными работали только что кончившие школу сестры. Самая молодая — Андрэ. Белокурая, гибкая, с алыми скулами: вечерами у нее обычно повышалась температура. Дежурства продолжаются 28 ночей подряд; затем пять суток отдыха; и опять — сначала. Однажды, в период менструации, она упала и пролежала до ранней смены на паркете, теряя кровь, не желая, то ли из гордости, то ли из мести, кликнуть на помощь. Ночью госпиталь значителен. Он вне жизни и смерти, он — между. Неподвижное и переменчивое кружево теней, покой и бденье, молитва и отчаяние, вздох и кашель; перспектива коридоров и лестниц; шорох стекающей воды, и снова нагромождение теней и запахов (убор-

ной и смерти). И вид сестры с прозрачным лицом, в ангельской белизне, в сумраке и тишине, одиноко скользящей меж койками, волновал до слез. Я спросил однажды Андрэ: «О чем вы думаете, когда вот так зимними ночами сторожите дыхание детей?..» Она ответила: «Я хожу и думаю, что вот где-то играет музыка и все танцуют. Будет день, когда я попаду туда. Et on danse! Et on danse!» — с искаженным страстью лицом, артикулируя бедрами и лопатками, она пробежала ликующим шагом по палате, и сам гений гульбы не мог бы явить собою большего вихря движения, большей жажды встряски.

Кроме этого постоянного персонала при госпитале проживали еще с десяток учениц, посланных из школ — на практику. Молодые, шустрые, некрасивые, они постоянно шептались между собой, ссорились, доносили. Все жадно ждали приключений, тайно шалили, получали записки. Иногда эти розовые летучки попадали в руки начальства; тогда затевалась история с допросами (вплоть до медицинского освидетельствования) и обмороками.

Утро начиналось ранним звонком. Беспокойное, показное, больничное утро. Впереди, как райский остров, как маяк, мерещился завтрак. К еде являлись также сестры из хирургического отделения и канцеляристки — две итальянки (костистые, темногрустные дамы, оставленные своими мужьями). Сестры входили деловой походкой, плотоядно оглядывали приборы и, выпячивая губы, спрашивали:

— Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui?

Приподымали крышки с приготовленных на подвозных столиках мисок, заглядывали, нервно втягивали пар и отходили к своим местам, разочарованные. Из всех пяти, или больше, чувств, отпущенных человеку, они могли еще пользоваться, в сущности, только теми, что связаны с едой. У них были глаза, но глядеть не на что; имелись уши, но что же слушать? Все обладали ртом, языком, носом, мозгом, и это — пропадало зря: не о чем больше говорить, почти незачем думать. Оставалось одно: кушать. Но оттого, что обжирались, все страдали катарами желудка, жаловались на запоры, принимали разные пилюли и порошки; очередное блюдо осматривали со всех сторон, пробовали и отставляли в сторону, с завистью или с отвращением глядя на тех, кто уплетает им почему либо запрещенные яства. Уходили неудовлетворенные, заглушая голод сластями и печеньями. В праздники подавали второе мясное блюдо, какой-нибудь пестрый торт или сложный компот. Больше

праздники почти (служба в церкви) ничего с собой не приносили; и все же их ожидали с нетерпением и долго потом помнили. Много лет тому назад мадемуазель Коллет («très catholique») нашла в цветной капусте червяка. С тех пор она капусты не ест. За столами строго наблюдает директриса: все, что положено на тарелку, до́лжно съесть; корку хлеба она учила прятать в салфетку — на вечер. Мадемуазель Танрэ (базедова болезнь) заказала вставные зубы. В эти недели жизнь ее лишилась последнего смысла. Питаться подобно младенцу жидкой кашей или супом? Она щупала взглядом каждую порцию мяса, требовала, чтобы ей давали нюхать кастрюли. Временно даже начала разговаривать с товарками: умоляюще осведомлялась, вкусно ли, не жестко ли мясо. Пыталась брать ломоть: откусывала, жевала упорно, до пота и, ожесточенно, воровски, боясь директрисы, выплевывала в салфетку. «Oh, gardez vos dents, — в припадке нежной грусти упрашивала она учениц, — gardez vos dents!»

Наконец искусственные зубы — готовы. Торжественной жрицей прошла Танрэ к столу. На ее исхудалом лице выступили красные пятна: когда брала огромный бифштекс. Трусливо оглянулась голодными глазами и взяла еще ломоть. Отрезала кусок, поднесла ко рту. Мы безмолвно сидели кругом, как при мистерии. Она жадно урчала, грызла, давясь. Зоб, сросшийся с трахеей, перемещался при каждом глотке, видимо ей мешая, — рукой она ежеминутно его одергивала. На третьем куске устала; оттого ли, что к протезам надо привыкнуть или они были плохо пригнаны, но она разучилась есть: неумело раскрывала рот, неловко жевала, пища барахталась на языке, не промалываясь, каждый зажим причинял ей муку (воспаленные десны болели). Она исступленно, согнувшись, водила челюстью. Горячий пот лился по лицу, она пыталась его утирать салфеткой, но бросала тотчас же: не хватало времени, все внимание привлекал рот. Его надо открыть и закрыть, открыть и закрыть, перемогая боль. Вдруг она яростно рванула руками зубы, выдернула обе протезы и, отшвырнув в сторону, — так перед дракой снимают пиджак, — ринулась снова на бифштекс. Но пораненные десны, очевидно, нестерпимо заныли, она вскрикнула, уронила голову на стол и в изнеможении заплакала.

После часового перерыва снова начинался труд. Тяжелый, 12-часовой и, вероятно, любимый, иначе непосильный, послуг. Франция ссылала к нам туберкулезных, рахитических, дегенеративных детей. Из города свозили инфекционных больных. Брюшной тиф и

коклюш, корь и грипп косили сирот. В парижских садах гуляют холеные дети. Девочки в корсетах, при зонтиках и сумочках: мальчики в галстуках и в перчатках. Откуда брались к нам эти истощенные, золотушные, кашляющие десятилетние гномы? Всех надо умыть — (сделать постель), — накормить; лечить; снова кормить: с чайной ложечки, по глоткам, каждые десять минут, — в сыпи, в жару, в парше. Давать кислород, впрыскивать камфору, делать обертывания. Ночью одна сестра приходится на 50 коек, расположенных в нескольких палатах: от одной к другой длинный коридор. В каждой палате тяжелобольные: не поспеть — то туда, то сюда. Телу нельзя разорваться; только душа, душа обезьянья — тян-нн-ется.

Все, что было у них от женщин, от матерей, от сестер и любовниц, сторицей отдали они, перелили, скупо, по чайной ложке, год за годом. И все продолжают. (Откуда черпают?) Молодые привыкали; боролись. При мне одна ученица ушла: не смогла обмыть труп ребенка. Старший врач приезжал раз в неделю. Он выкуривал сигару, чихал, соглашался со всеми во всем и скрывался. Я ежедневно делал обход и честно прописывал дешевые лекарства. Но в сущности, весь этот мир со своими лихими заботами, свинцовым грузом лежал на одних сестрах. «Дети умирают совсем по-иному!» — часто повторяли они и глядели — точно знали какую-то тайну. Два раза в неделю больных навещали родные или знакомые. Они находили своих детей умытыми, причесанными, — (ясные, спокойные), — как никогда дома. Они благодарили старшую, оставляли сестре незначительный подарок.

В семь часов обедали. Повторялось приблизительно то же, что днем, только кончившие дежурство вели себя шумнее, возбужденнее, а ночная смена, озабоченная и подавленная, лихорадочно, нервно позевывала. Вечерами директриса, кастелянша и Джемма сидели в углу гостиной, мирно беседуя. Кастелянша вышивала крестами и поэтому считала себя знатоком и ценителем всего русского. Сестры играли в белот — без денег, редко-редко по несколько су партия, азартно, с негодованием и попреками (за ошибки). Горничная, нарочито медленно проходя с чашками, заглядывала в карты, щурясь и междометиями давая советы. Изредка ходили в синематограф. Тогда брали дорогие места, одалживали друг у друга лучшие платья (часто покупали только мелкие обновки). Смеялись до слез, когда герой заставал героиню в ванне или случайно оказывался с нею в одной постели. В антрактах ели конфеты и мороженое. Возвращались усталые. Долго в последующие дни

разбирали перипетии фильма, спорили из-за мелких подробностей. Обыкновенно кто-нибудь из старших вспоминал при этом довоенную пьесу и делился ее содержанием. И хотя в глубине души все это никого не трогало, так как не касалось предметов знакомых и любимых, но все временно как-то крепли: им казалось, что таким образом приобщаются к радостям жизни; и чем больше денег потрачено, тем большего они достойны уважения. Так — месяцы и годы. Изредка, по независящим от человека обстоятельствам, разражалось вдруг стихийное бедствие, проносилась гроза или что-нибудь подобное. Менялась стряпуха; пристроили флигель. Очень много толков и волнений вызвала война. (Не самая война, а некоторые ее проявления: мобилизация, шествие войск, упоминания о «бошах»). Однажды ученица отравилась сулемой; ее спасли, но оказалось, что она беременна. Волнения следовали на значительным друг от друга расстоянии, и только это давало возможность их целиком переварить и снова зажить по-прежнему. При мне только однажды произошло событие покрупнее: почти катастрофа, встряхнувшая всех нас. Во время утреннего обхода, когда я со старшим врачом (это был его день), громоздкие, неуклюжие, сопровождаемые дежурной сестрой, ходили меж рядами коек, отворачиваясь от доверчивых или угрюмых взглядов ребят, со двора донесся отчаянный женский вопль. Кругом заметались, зашумели, все устремились к окнам. В садике на траве, возле самой дорожки, билась в судорогах кастелянша. Мы ринулись на помощь; отовсюду веером сбегались женщины; из-за ограды выглядывали привлеченные криками случайные прохожие. Кастелянша лежала уже неподвижная, стихшая, уткнув лицо в землю, обхватив руками голову. Заслышав наши шаги, приподняла было голову, но, узрев, тут же, у самых своих ног, сцепившихся Джемму с волкодавом, она охнула и снова, растянувшись, спрятала голову. Волкодав хлопотал умело и энергично. У него был испуганный, растерянный взгляд; ему, вероятно, мешали — этот шум и многочисленные свидетели. Одно его ухо, упругое, стояло, другое, вывернутое, казалось сдвинутым набекрень. Лицо, недовольное и злое, все отворачивалось; он чутко прислушивался ко всякому звуку; спина ожидающе вздрагивала, видимо, готовая принять град ударов. И весь вид его выражал печальную, стоическую готовность покориться року. Джемма не понимала всего. Она только боялась — как бы не помешали; и усиленно, лицемерно юлила, стараясь нам внушить: «это ничего,

я сейчас, подождите немного». Но глаза ее, расширенные, потемневшие, отливающие как жидкая смола, устремленные далеко вглубь себя, «самопожирающие», необычайные для нее, свидетельствовали о ином мире. Она нервно облизывалась алым язычком, то и дело начиная лицемерно и примиряюще кивать нам головой. Но вдруг в изнеможении, словно взрываемая благодарностью, она с предельной искренностью, любовно встряхивала мордой в нашу сторону, не в силах сдержать своего восторга и делясь впечатлениями. «Это хорошо. Это очень хорошо»! — как бы говорила она. И снова фальшиво-приветливо кивала, умоляя: «подождите немного, я сейчас». А мы, неподвижно и молча, стояли кругом. Только один консьерж, хозяин волкодава, боясь ответственности, расстроенно убеждал присутствующих, что это вина кастелянши: Джемму можно было еще оттащить, но, увидев знаки мужественности охваченного страстью пса, кастелянша грохнулась без чувств.

Ей дали чего-то понюхать и унесли в дом. Собаки кончили свою игру: отчужденные, безразличные друг другу, застыли уныло, поджав зады, — они сцепились и их не удавалось разнять. Начались толки, споры, советы. У нас в губернском городе (где деревянные тротуары и цветочный квас, где в экипаже обязательно ехать два раза в жизни: к венцу и на кладбище... Где бочки ассенизиационного обоза развозят каторжане в серых арестантских платьях, с тяжелыми гремящими кандалами), — в этом городе собачьи свадьбы нередки. Осенью по всем площадям и пустырям, окруженная сосредоточенными псами, мечется сведенная пара, — подгоняемая ветром, улюлюканьем и камнями. Иногда из лавки выбегает сиделец или подмастерье с дубинкой; он бьет брачующихся наотмашь, бьет по спине, по голове, по ногам. Свора расступается, предоставляя сцепленных своей участи, — отбегает в сторону, откуда следит за происходящим. Казалось бы, вольные, они могли бы скрыться, уйти подальше от греха и побоев, но, подталкиваемые сознанием какого-то внутреннего долга, зачарованные, псы снова сомнамбулически стягиваются, уныло толпятся вокруг брачующихся. Какой-нибудь задетый за живое прохожий с сумасшедшей судорогой в лице яростно набрасывается на собак и упоенно топчет их сапогами — так самозабвенно истязают только самого себя. Мальчишки завывают, мещане ищут подходящее дреколье, девицы пробегают мимо, страдальчески отворачиваясь, испуганно любопытствующие. Собак бьют, пока не отделятся, — бог ведает

в каком состоянии. Псица скрывается во главе стада самцов, уходит искать новых обетованных мест; окровавленный кобель ковыляет позади. Очевидно, что эти средства здесь не годились. Консьерж предложил опустить собак в горячую воду. Его жена сказала: «Наоборот, в холодную». Старший врач по-соломоновски рассудил: «В теплую». Собак подняли и понесли. Два человека с необычайной ношей, медленно переступая, пятясь, вошли в лифт. Грушевидный лифт, — за решеткой виделось его содержимое, — медленно поднимался, напоминая какой-то древний библейский плод с древа жизни. Консьерж с засученными рукавами заперся в ванной. Мы остались в коридоре, как-то сразу, — самой собой, — поделившись на два лагеря. В одном я и старик врач; в другом — дамы: русская Зубофф и та нераздельно слилась с ними. Порой из-за дощатых дверей доносился тоненький визг Джеммы и страдальческий, мужественный лай волкодава. Тогда женщины вздрагивали, — казалось, невидимый смычок проходил по какой-то их натянутой струне. Они бледнели, вскрикивали, ломали пальцы. Нас, мужчин, не замечали. Когда смотрели в нашу сторону или когда проходили мимо, взгляд их становился бесцветным, холодно-прозрачным, брезгливым. Казалось: упади мы сейчас замертво — никто не пожалеет. Директриса, вынужденная попрощаться за руку со старшим врачом, долго с отвращением отдувалась и вздыхала. Все временно отступило: осталось только два пола, в глубине глубин враждебных себе — растворяющих друг друга. Наконец приоткрылась дверь, и консьерж, комкая в руках белоснежное полотенце, сдержанно подмигнул мне. Волкодава и Джемму тотчас же увели вниз.

Настали печальные дни. Мы передвигались на цыпочках, говорили шепотом. Сестры плохо спали, поминутно ежились, вздрагивали. Со мною никто не заговаривал; после еды дамы немедленно удалялись к себе, собираясь там группами, жалуясь и делясь воспоминаниями. Мадемуазель Люно рассказывала о своем несостоявшемся браке, называя обманувшего ее жениха — «crapule». Кастелянша лежала в постели, укутанная, обвязанная компрессами, с опухшим от слез лицом.

Разумеется, это лишь часть действительности. Внешне жизнь наша вращалась на своих обычных осях. Детей кормили, купали, лечили. По четвергам приходили родственники и со стороны им трудно было заметить какую-нибудь перемену. Кастелянша все не выходила из своей комнаты, одичавшая, страдающая, больная. Иногда, когда внизу растворялись двери, к ней доносился визг скучающей Джеммы; тогда кастелянша разражалась жалкими бе-

зутешными слезами. И однажды случилось неминуемое. Какие-то двери забыли запереть. Джемма вырвалась и, промчавшись по коридору и лестнице, ядром подкатилась к своей хозяйке. Кастелянша испуганно взмахнула руками, закричала, но Джемма вскочила, припала к ней; визжа и захлебываясь начала лизать руки. Прошла минута. Вдруг кастелянша обняла Джемму, прижала к груди и зарыдала. Она плакала о лютом законе земли, о кощунственности того, что подстерегло Джемму, а ее обошло, о своей жизни, о потерянных силах и еще о чем-то, чего мне не дано угадать, но что прекрасно понимала Джемма, неподвижно прильнувшая к ее впалой груди. А назавтра кастелянша вышла в общие покои. Она вела Джемму, строгая, бледная, вызывающе гордая. Так женщина несет своего незаконнорожденного сына, так мать представляет свою блудную, раскаявшуюся дочь. Окружающие держали себя с тактом, боясь обидеть, разгневать кастеляншу; скрывали свое любопытство и робость, подавляя брезгливость, ласкали Джемму, стараясь показать, что все по-прежнему. А Джемма, в какое добродушное, милое, догадливое существо она превратилась. Лай ее изменился: словно приобрел вес и меру. Она ела все, что давали, несмотря на возраст (восемь лет) целый день играла, резвилась, в суровой иерархии жизни, казалось, обретя свое место.

Так, — пять за пядью, — все утряслось, вошло в старые берега, успокоилось, забылось — до следующих тревог.

Недели две спустя, в полдень, когда мы собрались в столовой к завтраку, канцеляристка, — итальянка, — захлебываясь от нетерпения, сообщила: «Господа, вы слышали уже? Андрэ уходит из госпиталя»! Сестры окружили итальянку, наперебой расспрашивая. Но в дверях показалась сама Андрэ; окинув нас снисходительным взглядом, она сказала: «Mesdames, у меня новость, я уезжаю в Париж». Наступила мгновенная тишина, из глуби которой, казалось, доносились скребки мыслей всех напряженно старавшихся поскорее разгадать причины и следствия слышимого, сообразить выгоды. Первая откликнулась мадемуазель Люно. Тяжелыми, мягко-женственными шагами она приблизилась к Андрэ, протянула руки, обняла ее и крепко поцеловала в лоб. (Так мать благословляет дочь перед венцом; ветеран — рекрута на бранный подвиг; гувернер — ученика перед экзаменом.) Все сразу, точно опомнившись, шумно обступили Андрэ, витиевато и лицемерно ее поздравляя, суля удачу и счастливые встречи.

БОЛЕЗНЬ

Спускаясь по лестнице, Борисов опять заметил, как соседка пугливо заслонила собою на узкой площадке детишек; ему стало противно:

«Ведь не прокаженный же я, в самом деле, дурачье!»

Он давно изменил трафаретный маршрут: вместо того чтобы по родной параллельной улице спуститься к Бродвею, где «дрогстор», ресторан, папиросы. Борисов повернул на Амстердам. Там в узкой лавчонке, сдавленной уголовными журналами и ярким жбаном с кока-колой, заказал стандартные кофе и тост. Его протянутая рука с четвертаком дрожала, и Борисов узнал полный сперва удивления, а потом еврейской жалости взгляд старика из Луцка, давшего ему пятак сдачи.

Он намеревался пройти к доктору за удостоверением, требуемым конторой unemployment, но сразу почувствовал отвращение к этому ясному осеннему дню и усталость: вчерашнюю, давнишнюю, чужую. Сел в автобус.

Машина катила слишком медленно, виляя между тяжелыми грузовиками и стопоря после каждого второго перекрестка. Борисову опять почудилось, что он изнемогает от тоски, скуки и напряженного безделья. Ядовитый газ вырывался из-под передних автобусов, растянувшихся цепочкой, и весь треск улицы собирался в один акустический фокус над теменем.

Когда с докторшей, милой русской бездетной дамой, было улажено, Борисов прошел на Риверсайд-драйв — где подобие парка, деревьев, реки и дали. Отдыхай, созерцай — на скамеечке под солнцем! Но он не мог усидеть на одном месте: казалось, время кругом навалилось безобразной тушей и давило, напирало, взрывало. И так всегда, давно: утром, вечером, наяву и в глубоком сне. Борисов точно пребывает в пустыне: ему нечего ждать, некуда идти, не с кем, по существу, разговаривать. И несмотря на это он знает, что все положение может в одну минуту радикально измениться: из мрака вдруг выступят новые твердые очертания, как на рентгеновском снимке... Случайная встреча, удачный телефонный диалог, свежий адресок, и жизнь мгновенно наладится (в который раз!). Вот почему Борисов, днем и но-

чью, в парке, в сабвее, телом и духом, до изнеможения подталкивает ненужное ему, пустое время, стараясь перескочить к той доле секунды, когда удачное распределение обстоятельств, чудесная сдача замусоленных карт, дребезжащий хор в телефоне поставят его на знакомые гладкие рельсы. Приблизительно такое чувство должен испытывать человек, постоянно напирающий плечом на многотонную плиту (поднимающуюся невозмутимо согласно собственному механизму) и старающийся ускорить ее движение. Борисов понимал, что успеть в этом нельзя, да и слава богу, ибо зачем же сокращать собственную жизнь до ряда отдельных, пусть приятных, интересных мгновений. Но поди ж, душа его напрягалась, жилы вздувались, дышать становилось тем утомительнее, чем меньше соответствующего разряжения за усилием следовало. (Иными словами, он пытался сокращением мускулов сдвинуть хор светил.)

Пересекая Бродвей, Борисов сталкивался с разными случайными знакомыми; те награждали его недоумевающим, соболезнующим, а иногда снисходительным взглядом. Если не успевал ускользнуть, от него домогались:

— Ну, как, что сказал доктор?

Если сообщить друзьям, что ты безнадежно влюблен, то, несмотря на явное страдание несчастного, кругом будут улыбаться, ибо всем кажется прекрасным это чувство (неизмеримым — аршином удачи, успокоения или счастия).

Попробуй сознаться, что ты семь месяцев без работы, и, кроме злорадных советов, критических замечаний и дешевых поучений, ничего не добьешься! Скажут: «Почему со мною такого не бывает! Лентяй, наверное! Слишком привередлив!»

Но если заявить: «У меня рак или камни в почке, нужна сложная операция!» — пожалуй, добьешься подлинного сочувствия, а иногда, — рикошетом, — и денег. Разговоры о болезнях действуют на ближних самым недвусмысленным образом. И личные заслуги отходят на второй план; да, конечно: «почему я не пью, почему я не курю...» Но в конечном счете в кишках своих никто не властен.

— Опухоль, — показывал умудренный опытом Борисов себе на живот. — Рекомендуют операцию! — И сигал мимо внимательных соседок на крылечке: вверх, винтом.

Дома бросался на постель, испытывая мгновенное блаженство, словно избежав большую опасность. Казалось, он вот-вот

задремлет, и вдруг вихрь: острая мысль, память о недавнем оскорблении, спор, письмо, встреча, — и его отбрасывало в самый центр неподвижной сумятицы. Смешно, еще минуту тому назад он серьезно надеялся заснуть. Теперь ясно: даже лежать спокойно для него мука.

Прохаживался по давно неметеной комнате, соображая: что предпринять... или рылся в старых адресных книжках. Пробовал читать, но и это невыносимо. Ведь вот картина: человек свободен целый день, неделю, месяц. Какие предметы можно изучить, продумать, постичь — записать хоть одну гениальную строку в дневник! Увы, нет; «время» оказывалось аморфным, неоплодотворенным, ненужным и гибло зря, не наполняясь содержанием — лжевремя! Душа зажата тисками, скомкана, поставлена в такую позицию на карачках, когда от нее уже ничего нельзя требовать чудесного. «Дух дышит, где хочет». Да молиться еще, пожалуй, можно. И Борисов иногда молился. Но выполнять все функции в других областях было не по силам: убирать, готовить, мыться, отвечать на расспросы, улыбаться деткам и, главное, платить по счету за квартиру, газ, телефон — становилось все труднее и бессмысленнее. От нетерпеливой злобы сжимались кулаки; в припадке статической ярости он готов был уже лбом ударить об непроницаемую стенку. Но тогда кто-то знакомый и отмеченный в нем сразу начинал улыбаться и произносил:

— Дурачок, ведь этого *они* хотят. Они ждут, чтобы ты превратился в насекомое, обезьяну, змею, изрыгающую желчь и проклятия. И ты готов клюнуть, повиснуть на их крючке, дурачок!

И глаза Борисова сразу светлели — из синего в голубовато-серый: с особым добрым блеском благородной стали. Он чувствовал всю убедительность вдруг отяжелевших кулаков и подчеркнутый вес своего земного тела, несущего гораздо больше, чем полагалось по учебникам биологии. «Чем труднее тебе сохранять свой чин, тем больше основания это делать: здесь диалектика!»

Бессознательно Борисов уже опять успел нанизать беспризорные туфли, и ему ничего другого не оставалось, как спуститься вниз: мимо жующих и шарахающихся от больного соседа женщин с детворой. А там известно: идти некуда. Снова выпить кофе с липким, сладким тестом... протянуть дрожащий четвертак (старушка покупает папиросы, а Борисову совсем не хочется курить — как давно это было!)

Пройтись до 96-й.

Свернуть на Риверсайд-драйв.

Посидеть на лавочке перед рыжим от осеннего солнца берегом Нью-Джерси (там даже заводские трубы кажутся из розового итальянского кирпича); а река, неестественно широкая и неподвижная, аляповато растянулась внизу. Оттуда, с невидимой автострады, шуршат шины, то нарастая, то затихая — подобно морскому прибою.

И вдруг, не выдержав очередного пароксизма нетерпения, Борисов срывается и, отбросив чужую, остывшую газету, плетется к родной улице (кругом старички, детки, щенки, копошатся, делают пипи, щебечут в ворохе покоробленных, декоративных листьев). Все похоже на сон, когда силишься ударить, убежать, догнать, и ничего не получается, только изнемогаешь, тщетно шевеля парализованными членами.

Самое унизительное — викенды. Именно потому, что Борисов их ждал с нетерпением. В праздник покой, безделье, прогулки среди бела дня и кинематограф оправданны — нечего стыдиться! Но ужас в том, что сплошь да рядом натыкаешься на праздных полудрузей; от расспросов, запахов и гомона нет спасения.

— Чем, собственно, он болен? — слышит Борисов добродушный сиплый шепот.

— Неизвестно пока, — отвечает беременная молодая хозяйка.

— He is all rotten inside, — уверяет ирландка с третьего этажа.

И он действительно начинает чувствовать, что все внутренности его давно перегнили.

В 1946-м Борисов оставался без службы целых семь месяцев и тоже слонялся без дела по околотку. Знакомые и соседи под конец его начали даже ненавидеть, быстро перескочив через стадии жалости и презрения.

Теперь же, прослышав о серьезной болезни, хотя и сторонились (особенно матери малышей), но в общем старались помочь, оказывая мелкие домашние услуги, а мужчины иногда предлагали деньги взаймы.

Так же беспокойно и неодушевленно, как Борисов любовался закатом или лежал у себя на кровати, он подходил к кассе кинематографа... Глазел из темноты на экран, где близкие ему люди изображали ненужных и неинтересных героев. Иногда, правда, патриархальная мелочь развлекала его: шестеро мрачно избивают одного или — змея медленно и вдохновенно проглатывает другую (начиная с головы)... Напряженно улыбаясь, точно вспом-

нив что-то неотложное, Борисов вставал и рассеянно направлялся к выходу. Впрочем, не доходя до запретной черты, — сообразив, *что* его ждет снаружи, — поворачивал назад или поднимался в раек, где кротко дремал, изредка с удивлением оглядывая нескольких неудачников, так же, как и он, случайно попавших на дневной сеанс захудалого кинематографа; после феерических катастроф в центре Млечного Пути, в результате сцепления безрассудных чудес, благодаря 20 миллиардам лет астрономической гимнастики, плавучих материков, потопов, ледниковых извержений, ветхого и нового завета, войн и реформ — все эти существа, за неимением лучшего дела, завернули в дешевый балаган и угомонились.

Рядом невинно шумели и чавкали детки, от них пахло пеленками и леденцами.

— Нельзя так сидеть, надо что-то предпринять! — вспыхивал Борисов. И вот он опять на солнечной пыльной улице: жмурится и вздыхает.

Да, когда Борисов вел нормальный образ жизни, у него не хватало времени и сил подумать о смысле существования, заняться этим вопросом вплотную. А когда досуга было хоть отбавляй, он опять-таки не мог подступиться к своей основной теме — ибо ошеломлена, скомкана его душа, выбиты из-под нее подпорки!

Он разгуливал по улице с чувством мертвого, которого выпустили взглянуть, как дни еще мелькают над родным селением и как жизнь продолжается по-старому, не меняясь (это основное свойство смерти: все останется по прежнему — без тебя!) Тот факт, что Борисов был мертв для своего квартала, еще не скончавшись, только выбыв одной своей функцией, — перестав покупать фрукты, шутить и стирать белье, — пожалуй, доказывал относительность самой смерти: она тоже условная величина и нуждается еще в истолковании, анализе.

Опять к себе — мимо гаража, где на лавочке лоснящиеся балагуры внимательно следили за продвижением Борисова, словно он был аппетитной бабенкой или замаскированным налетчиком.

В газетах, книгах пишут: Америка, Новая Англия, Дальний Запад, восточное побережье, Нью-Йорк... Можно представить себе колоссальную бабочку с несимметричными пегими пятнами: США. Лязг механизмов, турбинно-чугунно-бетонный хохот, город желтого атома, танец искусственных зубов на Уолл-стрит, нефть из Техаса, табак из Вирджинии, закон Линча, пурпурная лихорадка Скалистых гор, девы Голливуда. А на самом деле параллельная

улочка, где Борисов просидел 12 лет, школа с пятнистой детворой за углом, католическая церковь, куда в подвал ходят голосовать за президента, миссис Мак Доглэс, вдова, мать Джэйн, Джеральдин и Джой... ее молчаливый и моложавый муж, дувший усердно пиво, умер на работе в лифте от коронарного тромбоза; сторожиха, рыхлая женщина из Вест-Индии, которую в прошлом году пытался изнасиловать случайно проходивший мулат: у нее дюжина детей, прилипших к мокрому линолеуму, а в углу забытый аппарат телевидения, рекламирующий в красках окорока и индейки. Все это родное, неудачное, посрамленное и спасенное Христом, европейское, русское, человечное, вечное — как всюду, откуда изредка восставали Моцарты и Гогены — ничего общего не имеющее с ядовитой бабочкой на пегой географической карте.

— Как он похудел, — говорит хозяйка прачечной за стеклом своего заведения: Борисов не слышит голоса, но видит движение мясистых губ.

— Его уже раз вскрывали, — спрашивает или утверждает холуй у колонки с бензином.

— Он совершенно перегнил внутри, — сообщает рыжая ирландка, добрая католичка.

Борисов, жадно переводя дух, но все же перепрыгивая через иные ступеньки, взбирается на четвертый этаж; часто, именно в эту минуту, он слышит дребезжание телефона и еще безжалостнее ускоряет бег, не щадя сердца — надеясь, что это из его квартиры. Теоретически он знает, что спасение не приходит таким образом (а в крайнем случае позвонят вторично)... И все же, как собачка Павлова, отвечал на знакомый зов всегда одинаково. (Хотя мысли его при этом были совсем не собачьи и всякий раз иные. «Это обязательно деловой разговор: знакомые мне давно не звонят — когда умру, сразу засуетятся и откликнутся. Моя вина».) Доставая впопыхах ключи, Борисов обычно ронял на пол мелочь, а иногда и четвертак (потом брезгливо искал).

Надо ли объяснять, что звонок доносился из соседней квартиры, где жили особенно шумные и бесплодные педерасты: даже чайник у них закипал со свистом пожарных маневров.

Но однажды, когда Борисов был уже между второй и третьей площадкой, его телефон действительно отозвался. Он успел отомкнуть дверь (но не захлопнул) и одной рукой, еще держащей ключи, сдвинул в сторону узел галстука на влажной шее, а другой («окровавленной, но железной») схватился за трубку.

Звонил некто Гордон; шансы, чтобы позвонил именно он, были примерно такие, как если бы заговорил вдруг актер, скончавшийся два года тому назад в Голливуде. Но поскольку Борисов был к нему совершенно равнодушен, то это его не поразило (воскресение из мертвых без любви к чудесно восставшим никого не удивит и может даже стать источником сплошных недоразумений).

— Тут у меня давно записан ваш номер, вы все еще свободны? — Борисов по голосу представил себе крупную фигуру администратора за большим столом, накрытым тяжелыми образчиками.

— Да, я мог бы (ура), — глухо откликнулся Борисов, стараясь на ходу вправить вывихнутый голос: под конец фразы что-то нищее, загнанное всхлипнуло в его опустошенном горле. Он закашлялся, стараясь сгладить впечатление, зная, однако, что Гордона провести не удастся; (змея, которая первая закроет челюсти второй, проглотит последнюю уже автоматически).

И действительно, эта слабая течь в гортани стоила ему десять долларов в неделю: Гордон предложил для начала 80.

— Это ведь ваша специальность? — переспросил администратор дважды.

— Не беспокойтесь! — уже вошел в свою роль Борисов.

А во вторник, 1 ноября, он опять начал жить. Будильник затрещал в половине седьмого; с двумя соседями по этажу пил кофе на Бродвее. Сабвей, напоминающий состязание волейболистов; в полдень сандвич в торговом районе. Потом снова ателье и час езды подземкой. С мокрым животом Борисов добирался наконец к шести часам в знакомый ресторан на углу.

— Hi, Boris, — приветствовал его половой атлетического сложения и с улыбкой дитяти: во время войны он ходил с конвоем в Мурманск и стал навеки другом русских. — Say, ты был серьезно болен? — участливо, но не дожидаясь ответа: ресторан в ту пору переполнен и окупает расходы всего дня.

— Оказывается, камешек в печени, — толкует Борисов хозяину, подававшему пиво. — Теперь все прошло.

— Keep punching, — бросил ему, точно мяч, пролетая мимо, атлет.

И Борисова опять охватывает чувство горделивой радости — ему нравится это состояние души! Жизнь — игра; команда мчится с футболом... Забить гол, получить приз, воспитать детей, а потом свисток, хавтайм: спортсмены, уходите с поля. Глупо жаловаться на условности, мещанскую мораль и отсутствие высшего смысла: игра есть условность и в этом ее назначение. Полагается только придер-

живаться установленных правил. Не следует видеть в голе абсолютное начало; запрещается уносить с поля мяч; смешно искать метафизический смысл аута... Только варвары и дети допытываются: «К чему это, нельзя ли наоборот?» Всякая игра оправданна — если достигаешь мастерства и получаешь удовольствие. А когда тебя обгонят или свалят, не жалуйся и не объясняй, почему это случилось.

Бойцы под Верденом, грязные, вшивые, голодные, озлобленные, на все готовые, выполняют ценою жизни только одно, урезанное, тоталитарное задание. А спортивная команда высыпает на площадку чистенькая, выбритая, заслуживающая доверия, уважающая порядок и чужую собственность: она крепко связана относительными правилами матча (с ними приятно и после состязания встречаться).

«Кто прав? — думает Борисов, хмелея от тепла, доброжелательства и четкого ритма. — Жизнь: Сталинград или занятная игра с ограниченными целями... Какой возможен еще третий вариант?»

— Hi, Boris, как самочувствие, — подсаживается желтый гном, с которым недавно приключилась полицейская семейная драма; он с достоинством заказывает ирландское жаркое и бутылку пива.

Борисов охотно втягивается в это несложное и приятное лицедейство; скалит зубы той же оптимистической улыбкой, бодро выпячивает грудь и бросает кругом:

— Fine. I'm all right.

— Молодец, парень.

— Take it easy.

Борисову чудится: еще мгновение, и он все поймет. Да, третий вариант! Если бы только он мог завтра остаться дома, не бежать к сабвею, и послезавтра тогда, наверное, найдешь ответ. Порочный круг. Удав, закрывший зев второму удаву, начнет медленно всасывать его в себя... и оба в это время, быть может, имеют острые творческие мысли. Кстати, если змея дьявол, то почему она при случае пожирает другого дьявола?

Борисов сосредоточенно возвращается домой после рабочего дня; соседки у крыльца и на лестнице облегченно приветствуют его, точно легионера, снова вернувшегося из дальнего похода.

— Отличная погода, — клянется Борисов.

И античный хор отзывается:

— Чудная, не правда ли...

Только набожная ирландка шипит, застигнутая врасплох между двумя этажами:

— Временное улучшение, это бывает с опухолями.

ЗЕМНОЕ ГОРЕ

Я встречал его изредка в ресторане. Изо дня в день, из года в год он обедал у Жюльена. Попадал я в этот мерзкий «прификс», когда нужда, продержав меня в своих склизких объятиях, бросала, наконец, мне очередную подачку, и я, еще не приобретя навыка к лучшему, забегал туда на первых порах подкрепиться. Встречая голый, нелепый череп художника Кунина неизменно на том же месте, склонившийся над тарелкой, я брезгливо удивлялся, отмечая скудость человеческой фантазии. Ну как это можно никогда ничего лучшего, чем у Жюльена, не отведать? Я предпочитал три дня не обедать, чтобы раз поесть за белой скатертью, из чистой тарелки, поданной вежливым гарсоном. Не хочу утверждать, что эта мысль исключительной глубины: я только откровенно сообщаю, что именно у меня проплывало в сознании, — между двумя слоями более важных, как мне казалось, ощущений, ничего общего с Куниным не имевших, — когда я различал его неопрятную фигуру за третьим от левого угла столом.

Мы раскланивались. И боже мой, какая жестокость, какое преступное, Каиново предательство в учтивом европейском поклоне из угла в угол. Мы здоровались издали: я — подчеркнуто холодно, начиная поклон, но не доканчивая, прерывая его вдруг посередине; он — раздраженно, нервно, как бы огрызаясь, но несколько по-нищенски.

У него были противные рыжие волосы с грязно-веснушчатой подковообразной плешью на макушке. Всегда небритый — седая щетина оттопыривала его помятый воротник. Во время еды он жадно чавкал, старательно очищая две корзинки французского хлеба. Мрачный, несокрушимо молчаливый неудачник.

Что же, кроме отвращения, мог он будить во мне? Ну, хорошо, пусть не отвращение, а равнодушие! Во всяком случае, между нами нет ничего общего: раскланялись, как культурные люди, и довольно.

Я нарочно садился спиной к нему. Было физиологически нестерпимо смотреть на его синие одутловатые щеки старого холостяка, одинокого бобыля. (Он был похож на утопленника.) Угрюмо насыщающийся, тщательно заряжающийся, чтобы быть в состоянии продолжать, как мне казалось, бессмысленное суще-

ствование. Я терял аппетит при виде его крупных, тяжелых, жилистых рук в веснушках с грязными длинными ногтями.

Он умер. Ранним утром он повесился на гвозде, торчавшем на стене его комнаты. Обычно на этом гвозде висели рамы.

Я его мало знал. Никаких дел с ним не вел. Просто шапочное знакомство.

Утверждали, что он кончил самоубийством от нужды: в газетах об этом писали, и мне достоверно известно, что умер он за полчаса до прихода консьержки, обходившей жильцов в день очередного «терма» — а денег этих Кунин внести не мог.

Но разве же это только нужда?

Ему сорок пять лет. Он художник, имя которого многие узнали только потому, что оно попало в скорбную хронику. Значит, сплошная борьба. Самая обнаженная поножовщина — на рынке искусств. Океан зависти и желчи. Море хамства. Подножки, нокауты, все подпольные низости, подсиживания, наветы — сорок миллионов уколов в спину. Самый подлый, самый жестокий бой — на площади муз, где нет и не должно быть свистка арбитра. Если вы футболист и забили подряд два гола, то всякому очевидно, что вы хороший футболист; если вы шахматист и выиграли матч у чемпиона мира, то каждый понимает, что теперь вы чемпион мира. Но как художнику Кунину объяснить, чем доказать, кому крикнуть, что его холсты достойны лучшей участи, что они по-своему неповторимы и должны найти себе место?

Толпа? Конечно, она лучше многих специалистов и понимает по-своему верно. Но события, передвигаясь в пространстве, требуют времени, чтобы описать медленный круг, вернуться бумерангом — к одряхлевшему творцу. А хватит ли художника Кунина надолго?

Что ж, он будет драться... И он работал. Раньше считалось, что он все это делает ради идей, которые ищут воплощения через него. Он дарит людям образ непостижимого — вот зачем он мается и голодает. Потом обнаружилось, что идеи, может быть, и не столь значительны. Ну что ж, в таком случае он борется за материальную независимость, за комфорт, за прелести жизни. Теперь он лишен всего этого, но когда он прославится...

Если бы художник Кунин в отрочестве поступил приказчиком в магазин готового платья и трудился бы на виду у патрона с десятой долей рвения и добросовестности, с которыми он трудился в своем ателье, он бы через пять лет обзавелся приличной

квартирой, перед свадьбой приобрел бы автомобиль и каникулы проводил бы с семьей у моря.

Когда мы, непрошеные, явились «отдать последний долг», то всем шестерым поместиться в «ателье» никак нельзя было. Через узкую щель-дверь гроб не пролезал, и его пришлось выставить через окно.

Человеку сорок пять лет. Он полулыс, вечно голоден, совершенно одинок. Самолюбие обиженного таланта, сознание возмутительных неудач. Он повесился. Ну разве же это от нужды?

Кунин работал по вечерам в фотографической студии. Ретушировал. Его рассчитали одного из первых: кризис.

Было так. Перед «термом», 15 октября, он сложил аккуратно все художественные инструменты в ящик и отправился к своему бывшему, единственному, ученику, юному Кацу. Принес ему краски и кисти и торжественно заявил, что дарит все это Кацу, что отныне он, Кунин, больше никогда не коснется палитры, что искусство на этой земле лишняя забава, что люди отвратительнее хищников, потому что кусают не для того, чтобы насытиться, что все это, безусловно, кончится всеобъемлющей катастрофой, но его это уже не касается. Одним словом, как передавал Кац, — нечто весьма взволнованное, пророческое и сумбурное. Кац расплакался в ответ, со слезами на глазах начал убеждать Кунина, что все еще образуется, что на уплату «терма» можно собрать у добрых людей, чтобы он оставил эти мрачные мысли и непременно забрал с собой свои кисти: на этот ящик он косился, как на гроб. Кац опростал свои карманы — двести франков; восемьдесят нашлись у Кунина. Остальные, до трехсот шестидесяти, надо достать, но консьержка повременит, он знает, он устроит. Кац был так искренен в своем юном отчаянии, так испуганно настойчив, что ему удалось убедить Кунина, хотя тот принадлежал к тому типу людей, которым новая мысль дается нелегко, но, раз усвоив ее, они уже подчиняются ей безраздельно.

Кунин ушел, унося свой ящик с красками и двести восемьдесят франков. Он их целиком вручил консьержке, обещав остальное — «через два дня, через два дня».

Но к концу недели уже крался по лестнице, как вор: вниз, бесшумно перегибаясь через перила, близоруко выглядывая врага, — наверх стремительно мчался, силясь припасть всем телом к ступеням, воображая себя невидимкой. Он исчезал на рассвете, возвращался поздней ночью. Но однажды эта роковая встреча долж-

на была случиться. Как показалось усталому сердцу Кунина — кошка стала на его пути, а он мышь! Но тут вдруг в нем что-то прорвалось: очевидно, все другое было уже невыносимо. Он шагнул навстречу консьержке и, судорожно улыбаясь, начал объясняться на воображаемом французском языке: те восемьдесят франков он доплатит уже со следующим «термом».

— Конечно, — согласилась консьержка. — Я так и сообщила патрону. Только смотрите не запоздайте.

Может, она не ответила столь мягко, а, наоборот, постаралась пугнуть, кто поручится... Но факт, что Кунин получил отсрочку до следующего квартала, несомненен. И он этим воспользовался.

Приговоренный к казни, укладываясь накануне в постель, говорит себе, потирая руки: «Еще целая ночь впереди»; пять минут, во время которых прокурор невнятно читает приговор, кажутся праздничными каникулами. Вот чем были для Кунина эти последние три месяца. Но они иссякли. Дни тянулись медленно, мучительно скрипя и переваливаясь — с еды на еду: он голодал. А месяцы мчались, ничем не отмеченные, как на сломанных крыльях, — падали вниз к синему, холодному, пахнущему трупом январю.

Приблизительно в это время я как-то завернул к одному приятелю, медику, который в свободное время помогал своей супруге укладывать «патроны» мод больших магазинов. Мы играли в белот и, пока хозяйка дома шепталась с холодной печью, Годэн, хозяин, многозначительно сообщил, что Кунин голодает. Я ответил, что он всю жизнь голодал.

— Нет, он буквально голодает, — настаивал хозяин и черкнул пальцем по светлому тузу.

Я кивнул головой: разумеется, есть разница между «просто голодает» и «буквально голодает».

Помню, что я тогда отбросил козырную девятку на валета и, слагая двадцать плюс четырнадцать, увидел вдруг перед собой образ Кунина с возмущенно-недоумевающим выражением своего рыже-седо-синего лица. Именно таким, как я его встретил совсем недавно около Жюльена. Он промелькнул как привидение висельника, злорадно кривляясь, размахивая граблями рук. В ответ на мой поклон он остановился: теперь мне кажется, что он хотел подойти, поздороваться. Но все это произошло как-то мгновенно: силой инерции он покатился вниз по сен-мишельской горке, а я пробежал вверх, подгоняемый морозным полднем, — нас тотчас же разъединила толпа и личные соображения. Самые близкие, ис-

ключительные во вселенной существа — люди, — мы отчужденно пронесли свои холодные тела, как планеты, вращающиеся по различным орбитам.

Помню, я тогда удивился, что в обеденное время он не на своем месте у близкого Жюльена, а идет в противоположном направлении. Догадываясь, что у него, очевидно, сегодня нет средств на обед, я неодобрительно поморщился: помочь ему казалось трудно. И хотя я направлялся в ресторан, где меня ждали приятные друзья и соответствующая закуска, я отнюдь не испытывал угрызений совести, так как вчера или позавчера был на положении Кунина. Теперь всему этому можно придать трагический смысл: его вид, бормотание, попытка приблизиться и прочее. Но я ничего такого не подумал ни тогда, ни у приятеля за интимным белотом. Я вообще мало интересовался Куниным.

Очевидно, в нем все еще тлели кое-какие надежды: он не заперся в своей каморке, а рыскал по городу. Обошел всех знакомых и мнимознакомых. Впрочем, повсюду молчал. Только потом догадались: он приходил за помощью — последняя попытка. Побывал в двух-трех зажиточных домах, но там жаловались на кризис, обсуждали последние новости: от толстомордого деда до прозрачного лицеиста с голыми коленками — все шептались о кризисе и пугливо вздрагивали. Они были, вероятно, очень противны, и поэтому, надо полагать, Кунин в своем предсмертном письме посвятил им несколько строк: он отметил, что на кризис больше всего жалуются люди с достатком.

Последний его визит был к Кацу. Тут он даже сказал, намекнул на свое положение. Но ведь Кац уже давал. Он тоже полунищий. Он временно получает полустипендию от американского дядюшки (один из мужей покойной тети), который упорно осведомляется, нельзя ли нынче ввиду кризиса купить по дешевке маленького Коро?... Что же мог сделать Кац? Они молчали рядышком. Это была последняя вылазка художника Кунина. Он ушел сгорбившись, как будто унося собственный гроб на своих плечах.

Конечно, немудрено было помочь: и Кац, и я, и остальные четверо, провожавшие его тело на кладбище, — все мы это потом единодушно решили. Черт подери, умирает человек — попробуй не дать! Весь в слезах, юный Кац каялся, что он мог отвалить еще целую сотню; другие тоже что-то такое бормотали; я сказал, что среди моих знакомых есть много дельцов, считающих себя отзывчивыми, для себя я их не умею использовать, но Кунину они

бы, наверное, не отказали, если бы я толком объяснил... Идя за гробом, мы в пять минут наметили тысячу франков, а то и больше, которые просто валялись на тротуаре и просили Кунина: «Сделай милость, подбери». А между тем художник Кунин перед смертью обошел всех близких: он преимущественно молчал, но в двух местах отважился, хмуро объяснил: «Так худо, так худо, что если не улучшится, то совсем плохо». Его ободрили, успокоили; в одном месте посоветовали меньше курить, потому что это вредно для здоровья. Но денег не дали.

Если бы знать наверное! Что такое сотня, если она может спасти от петли. В этом мы все были согласны. Правда, некоторые тотчас же добавляли: «... что о смерти вообще ничего не известно, что она страшна только в том случае, если за ней ничего нового не открывается... К тому же что такое Кунин? Жалея его просто по-христиански, не следует, однако, терять из виду, что он главного не понимал и даром навозил парижскую землю».

Как бы там ни было, но вечером 14 января он прошел к себе выпрямившись, с гордым, надменным лицом. Громко захлопнул за собой дверь, чего раньше не случалось. Я об этом догадался еще до того, как услышал рассказ консьержки: ибо то, что он задумал, нельзя было выполнить колеблясь — тут требовалось решительное вдохновение.

Он замазал все свои холсты.

Работу целой жизни он, щедрая душа, уничтожил.

Кисть в его цепкой руке мелькала, как сабля. Он протыкал любого врага, колол, бил плашмя. Не полотно, а весь грех мира был перед ним в эту ночь, и он рубил его сплеча.

Кунин оставил письмо. Он уходит из жизни, никого не проклиная. Он закляксал свои картины, потому что любит их; он не хочет, чтобы в нем обнаружили вдруг талант, охали бы и сожалели.

Повесился он самым неудобным образом: на гвозде, торчавшем в стене. Веревка была вся в узлах — очевидно, она обрывалась под грузом неловкого тела Кунина. Он ее аккуратно связывал и снова лез в петлю; Кунин терпеливо переносил неудачи.

Консьержка постучала и сразу толкнула дряхлую дверь, не дождавшись «Входите». Она так всегда поступала.

Кунин висел у самого пола и был еще теплый. Эта мелочь, по существу неважная, ужасно поразила консьержку: не то, что он умер, а то, что он еще не успел остыть. Это повлияло на нее значительным образом: она плакала и была с нами очень вежлива.

Может быть, косность людей и заключается в том, что мы второстепенное принимаем за главное. Так, Кац проделал ряд героических усилий, которыми для живого Кунина не стал бы утруждать себя, и раздобыл нужные средства на похороны: мысль об анатомическом театре его приводила в совершенное отчаяние — куда большее, чем сама гибель Кунина. Он рыскал весь в слезах, яростно клянчил, уговаривал, пока не раздобыл деньги на индивидуальный холмик. И успокоился, хотя это был самообман: через несколько лет кости Кунина выметут и в эту могилу похоронят другого неудачника. Земля в Париже дорога.

Кунина почистили, умыли, приодели. Его окружили таким вниманием, каким при жизни его редко баловали.

И когда пришли его забирать, то все поражались ужасной его комнате: могила, низкая, темная, холодная. Подумать только, что боязнь потерять этот убогий «дом» ускорила его конец.

Гроб Кунина не мог пролезть через щель двери. Это не выдумка, не кинематографический эффект. Так было. Гроб пришлось протиснуть в окно соседней мансардной «студии» и уже оттуда — на лестницу. И когда мы спустились вниз на грязную парижскую улочку, мы вздохнули полной грудью, как анемичные чиновники, вырвавшиеся из душного города на лоно природы.

На кладбище зябла кое-какая зелень, пыталось греть солнце, и было совершенно ясно, что здесь все куда лучше, чище, удобнее, чем в мрачной конуре Кунина, за которую ему было не по силам платить.

Кроме Каца, троих завсегдатаев монпарнасских кафе и меня, за гробом шла еще одна женщина. Прачка, стиравшая белье покойного. Молодая, некрасивая, она явилась с большим букетом французских цветов — единственным на могиле Кунина. Тут возможны два варианта, но я не хочу этого касаться. Слезы вдруг полились из моих глаз. Не могу объяснить, но, глядя на эту чужую смущенную женщину, стоящую под холодным небом с цветами в руках, я ощутил мгновенно какой-то стихийный восторг, экстаз. Я был готов упасть на твердую землю, целовать ее, гладить и, благословляя и хваля, воспеть миру гимн, превознося его мудрость и святость... Прощая и эту мерзлую глину, в которую опускали Кунина, и дырявые носки на его ногах, и весь пепел жизни, нас погребающий. Все это отпустить, все принять за один образ человеческой любви, верности. Это длилось всего минуту, в которую я увидел много незримого и потерял способность считать.

Потом мы сидели в кафе. Вспоминали мерзлые комки глины; жадно пили коньяк и морщились, так как нас упорно преследовал особый запах, который мы, по догадке, называли трупным.

Кац рассказывал, что у него сохранилось одно недоконченное масло Кунина: старик у подоконника смотрит вдаль. Сильное лицо. Легко представляешь себе бурное прошлое, нерадостное настоящее и близкий конец.

— Значит, это хорошо сделано? — закончил Кац. — Значит, у него талант?

— Одного таланта мало, — объясняли завсегдатаи монпарнасских кафе. — Для творчества одного таланта мало.

— Что же нужно? — волновался Кац.

Ему перечисляли: волчья пасть, бицепсы атлета, оленьи ноги, нюх борзой, такт ренегата.

Я не вмешивался в этот разговор профессионалов, все еще переживая терпкую боль гибели Кунина... Он умер не от безработицы, не от голода, не от нужды: он умел и готов был еще долго страдать. Не от возмущения, не от обиды, не от жажды мести. Не от страха потерять приют, не из боязни, что его погонят на улицу, не поверив, что он заплатит в конце концов. Он умер, потому что не мог всего этого сообщить ближнему, не мог перенести недоверчивого человечьего взгляда. Что же видел он за свою жизнь от человека, если выбрал петлю? Предпочел смерть объяснению...

* * *

От «Пастер» и «Камброн» орудийными залпами гремели поезда подземной железной дороги, проходя по виадуку. Гриппозный холод охватывал город.

Чем помочь юному Кацу, боящемуся попасть в анатомический театр? Что предложить вон тому нищему, дрожащему от стужи у витрины цветочного магазина? Я прохожу мимо него и брезгливо отмечаю, что дрожь его искуственна. Кругом царит обезличивающий мороз, и все же дрожь его нарочита: она началась до того, как он ощутил озноб, и он преувеличивает ее, подталкивает.

Я не умею.

АКВАРЕЛЬ

Но больше всего нас привлекали аукционы. Есть такие заведения в элегантном деловом районе Нью-Йорка, где бойко и беззаботно разбазаривают всякого рода уники и художества — от буфета «Луи Каторз» до полотна позднего Утрилло... Норковые шубки, будуары ампир, первое издание Шекспира, модное столовое серебро и албанские кремневые ружья XVII века.

Если регулярно посещать такие места, то понемногу учишься разбираться в этом мнимом хламе, а что еще интереснее, начинаешь распознавать и любить завсегдатаев, принимающих участие в торгах с чувством зарвавшихся игроков.

Один мудрый перекупщик, дока в сфере древностей, нам растолковал поразительную и в основе верную мысль... Весь так называемый антиквариат является, некоторым образом, золотым фондом человечества, который не меняется, не убывает, не пропадает окончательно и, раньше или позже, обязательно снова появляется в лавках древностей. Подчищенное, склеенное и замазанное старье постоянно возрождается и находит себе других покупателей, поклонников, хозяев и рабов. Антиквариат вечен, неистощим и в целом переживает не только эпоху или поколение, но даже империи, эры, культуры. Безумцы иногда жгут, портят, ломают прекрасные дорогие вещи, но уничтожить их целиком, без всякого следа, так же трудно, как и создать — из ничего! Тогда сбегаются реставраторы, специалисты, техники... и круг опять смыкается. Все такого рода ценности периодически, два, три раза в столетие, пускаются с торгов — меняют свой адрес! Процесс этот носит характер почти универсальный: Китай, Индия, Константинополь, Париж — таинственные течения, подводные реки несут ветхие сокровища с одного материка на другой. Единственно народы СССР исключили себя из мирового оборота. Там, говорят, примитивами и античной посудой пользуются в обиходе, по неведению или за неимением предметов ширпотреба; а что захвачено государством, то выставлено в музеях; по выходным дням рабоче-крестьянская молодежь, тяжело ступая по паркету, дивится на собранные экспонаты и доверчиво читает нехитрые надписи о происхождении собственности, власти, культа и семьи.

Итак, мы привыкли ходить на эти аукционы: хотя бы по субботам, от часу до пяти. Сидишь, смотришь, слушаешь в зале, мрачном зимою и летом, сыром. Стулья, расположенные сперва в образцовом порядке, постепенно сдвигаются; дым, гомон, пыль, как в игорном притоне или на собрании политических эмигрантов, жаждущих объединений. Высоко над головою, под самым стеклянным потолком, висят выцветшие гобелены, облупленные Самофракийские Победы и азиатские драконы — забракованные на предыдущих торгах: арендаторы (тоже смертные, со своими необъяснимыми симпатиями) решили: лучше все это добро оставить себе как маскоты или украшения, чем спускать за бесценок.

В запредельных сумерках с клубами противозаконного табачного дыма вдруг ярко блеснет умный, страстный взгляд любительницы фарфора или благородный хищный профиль филателиста. На трибуне, между двумя неясными свидетелями, ведущими учет, восседает Хозяин, добрый, охрипший, жуликоватый тучный дядя с ласковыми, темно поблескивающими глазами и расхваливает товар, смешно произнося такие слова, как барельеф, Делакруа, икона. Неожиданно он закрывает глаза и начинает раскачиваться, точно факир в трансе... вот он уже заунывно поет, быть может, славя Аллаха:

— Trough and down, going, going, going... gone!

И стучит молоточком (или карандашом): свершилось! Еще один необратимый процесс. Сосуд скудельный, ветхий фолиант, мутное полотно опять перешли в другие исторические руки, стали на новый путь:

— Мимо и прочь, идет, идет, идет... ушло! — И удар молоточка (или карандаша).

Помощники, служащие протягивают руки со всех концов амфитеатра в сторону той грешной души, которая победила в тяжбе (а та чувствует себя подсудимой и прокурором одновременно).

Публика здесь обычно собирается пожилая, не раз побитая дождем, градом, морозом; люди, скорее, со средствами, но пестрых биографий и племен. Их всех объединяет некая беспокойная самоуверенность, замысловатая расчетливость. Джентльмены тщательно выбриты, дамы насурмлены, но все они не могут скрыть то фальшивое, лишнее, болезненное (в губах, глазах, улыбках, в своем прошлом, одним словом), что прет наружу без зазора. Хочется верить, что этот амфитеатр имеет где-то еще одну боковую дверь или потайную лестницу, через которую

всем удастся проскользнуть назад в обитель незаслуженного счастья.

Сравнительно часто появлялись зеркала: самостоятельно или в комбинации с другой мебелью. Их ставили на подмостки, прислонив к стене или к подобию пюпитра; и тогда мы все, сидя чинно, как в автобусе, отражались на таинственной поверхности ряд за рядом, с неуместным выражением лица, застигнутые врасплох (тускло и отчетливо одновременно), — загадочная, случайно уцелевшая сцена из сгоревшего фильма. Этот симметричный образ выглядел совершенно нереальным и вымышленным: а вместе с тем мы действительно обретались тут же против мертвого стекла. Картина представлялась нам фантастической только потому, что все кругом отражались целиком на один манер: по одному и тому же принципу — а это ложь! Люди отличаются друг от друга не только по существу, но и благодаря тому, что все они преломляются и воспринимаются обязательно с различной глубиною, любовью, точностью и яркостью. А здесь зеркало нас всех равно механически отбрасывало на экран, пригвожденных на века, изолированных, мертво улыбающихся, ряд за рядом — словно тени в легендарном поезде несутся в ночь и в пропасть. И это выглядело неправдой, даже бессмыслицей, как в любом искусстве, претендующем на реализм.

Но вот уже Хозяин, несколько раз сообщив про особые качества трюмо («смешно так дешево оценивать, it's ridiculous»), вдруг начинает хмуриться, раскачиваться на манер дервиша, пока мы с отвращением и жалостью изучаем механические подобия нас, прислонившихся к стенке и неудержимо стремящихся в бездну.

— Trough and down, going, going, going... gone! — возвещает дервиш. Увы, опять свершилось. Тяжелые негры, радостно напрягая бицепсы, подхватывают и уносят вверх ногами кусок дымного амфитеатра с пригвожденными бледными привидениями в первом ряду.

Вообще говоря, народ на этих торгах делился на две неравные части.

Одни — случайно попали сюда, зашли мимоходом поглазеть или наивно собравшись за бесценок приобрести недостающий шкаф, буфет, стол; вторую же половину составляли профессионалы. Эти сбивались в разные классы, семьи, сословия. Были хозяева антикварных магазинов, посредники, декораторы, постоянно украшающие собственные квартиры; затем коллекционеры, лю-

бители, энтузиасты, дилетанты и просто артисты, готовые перепродать купленное с некоторым барышом. Все это специалисты... даже трясущийся, подобный ошпаренному кипятком крабу, старик во фраке, с кривым моноклем, следящий за аукционом по каталогу, но самолично подвизающийся (так в Монте-Карло вокруг рулетки сидят надорвавшиеся уже ветераны и часами только отмечают выходящие номера).

Семью профессионалов, многочисленную и разношерстную, объединяла одна черта: дар поразительно верной оценки предметов трехмерного мира. Экспонаты попадались редкие, порою совсем неожиданные. И все ж таки завсегдатаи (или лучшая часть их) определяли с магической точностью, где пролегает естественная граница стоимости материи: они словно руководствовались эзотерическим, только им свойственным органом чувств... Если же увлекшийся любитель делал еще несколько неожиданных ставок, то серьезные дельцы это сразу замечали и усмешкой или небрежным пожатием плеч выражали свое порицание.

А вещи предлагались воистину диковинные. Нелегко, конечно, оценить комод времен Вильгельма Завоевателя или сундук Марии Терезы. Но сколько стоит шкура жирафа, вытертая у края? Или кандалы с упраздненной французской каторги на Гвиане?

Мы, бывало, только вздыхали, обмениваясь беспомощной улыбкою, а шалуны кругом пощелкивали пальцами и бойко надбавляли, пока не достигали заметного только им порога: тогда сразу все тормозили и один, слегка высунувшись вперед, захватывал приз... (Если, разумеется, не вмешивался дилетант или новичок, который все путал и затемнял, как, впрочем, и в других областях — в религии, в науке, в искусстве, если туда вторгаются фанатики, без соответствующей подготовки.) Таким талантом материальной оценки предметов, даже, пожалуй, преувеличенным, отличалась одна русская чета, присутствовавшая часто на этих торгах.

Женщину мы прозвали Фиолетовой Лирою: соответствующе раскрашенная, она со стороны спины походила на этот музыкальный инструмент. Даже издалека, в переполненном зале, ее сразу заметишь и услышишь. Супруг немного хромал; высокий, полный, элегантный, он быстро, опираясь на палку с дорогим набалдашником, пробирался меж рядами уже занятых стульев, с той ловкостью, которая свойственна некоторым инвалидам, толстякам, монстрам (так умалишенные или идиоты часто изумляют

нас глубиною какого-нибудь замечания, его скрытым смыслом). Было не трудно догадаться, что они богаты, скупы и надоели друг другу. Когда муж один перебегал со своего места на освободившийся спереди стул — дескать, ближе к эстраде, — он на минут пять преображался, даже молодел: как поглядывал на соседних дам тогда! Но избавление продолжалось недолго: вот уже Лира тоже очутилась рядом и хлопает его пурпурной перчаткою: «Я здесь, Мишель!» И эта чета, прожившая, по-видимому, уже три четверти века отпущенного им времени и все еще не доверявшая друг другу, — вот эта пара твердо знала стоимость всего трехгранного континуума. Чем они руководствовались, не совсем ясно, но самый факт не подлежит сомнению. Словно некий внутренний голос, демон Сократа, Утешитель позднейших заветов, наставлял их, сообщал, где проходит граница между реальным и фантазией. Нам только оставалось вздыхать, бессильно качать головою, пребывая в потемках там, где они видели свет определенного маяка. А когда зарвавшийся покупатель перепрыгивал только через одну ступеньку на иерархической лестнице земных ценностей, муж сразу соболезнующе морщился, а Фиолетовая Лира пускала свою ядовитую трель.

— Ну не дурак ли он, Мишель? — выводила она довольно громким шепотом, почему-то уверенная, что ее не поймут по-русски. А ведь эти тусклые заведения, где собираются пожилые, измятые под всеми звездами люди, изобиловали левшами разного толка, меньшинствами, сектантами, владеющими, подобно апостолам, дюжиной языков.

Мишель отмахивался от ее шепота довольно искусно: рядом могло показаться, что он всецело согласен — («Дурак да и только»), — а нам, сзади, представлялось:

— Ах, отвяжись ты от меня! — говорит он в сердцах.

Фиолетовая Лира интересовалась кружевами, нотами, вазами, а иногда и мебелью, но помельче и почище: грязь, пыль, моль она не выносила, о чем легко было догадаться по ее характерным жестам. Он же увлекался книгами, карикатурами, особенно медицинскими: средневековый дантист дергает зуб, а снизу забавная надпись.

Как и полагается в таких случаях, чета сильно мешала друг другу в торге (или, наоборот, помогала), так что покупали они редко, даже, пожалуй, совсем не покупали, за исключением редких дней, когда по причине жары, грозы или атомных маневров

некому было с ними соперничать. Можно положительно утверждать, что мир реальных объектов определялся четою скорее консервативно, с чрезмерною даже сдержанностью и осмотрительностью.

Вот на подмостках громоздкое кресло или пузатый буфет; чета обменивается взглядом или замечанием, иногда только цифрою... И действительно, вещь почти всегда шла именно по этой цене! (Нам, потерянным в мире загадочных творений, такое ясновидение казалось равносильным чуду или фокусу.) Если же зарвавшийся дилетант переплачивал, то Фиолетовая Лира сразу начинала ерзать на стуле и пускала знаменитую трель:

— Ну не дурак ли он, Мишель! Ей-богу, я ничего не понимаю.

По-видимому, в своей оценке действительности чета (и в первую очередь дама) руководствовалась единственно собственным рассудком и опытом... То, что Лира понимала, то хорошо и достойно подражания, а чего она не может постичь — то дурно, глупо и подлежит упразднению. Разум, разум являлся их критерием! При помощи последнего, куцего и привередливого, они, как ни странно, довольно точно (судя по репликам остальных завсегдатаев) определяли в долларах стоимость вселенной.

Чем муж занимался в частной жизни, нам не было открыто, но, судя по норковой шубке жены и нитке крупного жемчуга, судя по лимузину и шоферу, разум им помог устроиться вообще (хотя нам почему-то в утешение хотелось думать, что богатство досталось этой бездетной паре по наследству).

Чета, может быть, несколько выделялась своею решительностью, но остальные, рядом, отнюдь не унывали, действуя только мягче, гармоничнее, но проявляя те же изумительные способности. В разгаре эпической борьбы, когда надо было с головокружительной быстротою соображать и стрелять, набавлять почти на лету, мы сидели совершенно потерянные, точно лишенные рудиментарного органа, обеспечивающего удачную охоту на красного зверя. Но зато когда после более или менее драматической схватки раздавался наконец надменный, грустный и насмешливый возглас Хозяина, ведущего торг: «Trough and down, going, going, going... gone!» — то перед нами открывалась вдруг завеса таинственной необратимости и очам представлялось грозное видение совсем иного плана. И от восторга и ужаса нас прохватывала библейская дрожь. Но, увы, специалисты именно этого яркого образа совсем не замечали, обмениваясь только шутливыми дело-

выми фразами, искусно создавая впечатление, что весь вопрос теперь именно в шкафе, ковре, люстре, и только!

Тучный дядя, Хозяин аукциона, был не один: его сменяли раза два-три помощники, давая время отдохнуть и подлечить горло. Попадались среди этих людей сухие, усатые, сгорбленные, хилые, полнокровные, но что-то общее было у всех! Некая неопределенность или двойственность: смешение противоположных черт. Шутки и серьезного! Неприличного анекдота и Страшного суда.

Главный наш, Хозяин, выглядел гладким холостяком с легкой одышкою и буро-красными мясистыми щеками; руки его, маленькие, пухлые, жили автономной жизнью: грозно сжимались в кулаки при самых вкрадчивых, нежных воркованиях и, наоборот, парализованно раскрывались при гневных, ожесточенных выкриках. А глаза сверкали желтоватым далеким демоническим светом, холодно и удивленно обозревая всех, словно школьников. Останавливаясь взглядом то на одном, то на другом предполагаемом покупателе, он повелительно протягивал свой карандаш и, склонившись в его сторону, застывал в каталептическом покое. (Чудилось: игра здесь только видимость, шутка, на самом деле за всем этим стоит еще другая реальность, со своими самодовлеющими законами.)

— Trough and down, going, going, going, — выводил уже Хозяин завороженным, печальным, решительным, гортанным напевом, и мурашки пробегали по спине, запечатлевая все сделанное ею и упущенное: выдержала ли испытание? Ибо условия здесь ужасно походили на экзамен, и отметка Учителя могла сыграть неожиданную, жестокую роль в будущем.

— Ну, Мишель, ну ей-богу, я ничего не понимаю, — сразу за сим раздавался шепот Лиры, и мы стряхивали наваждение: опять рядом только сумрачный амфитеатр, похожий на морг, греки и Средневековье высоко у потолка, а растерянный или самодовольный любитель внизу дает задаток под неожиданно купленный венецианский ларец.

В ту субботу на аукцион съехалось множество народа, ибо распродавалась, между прочим, также коллекция шуб обанкротившегося, если верить слухам, канадского меховщика. Такие оказии чрезвычайно редки и обычно привлекают толпу особых покупателей уж очень спекулятивного толка. Сбегаются, в свою очередь, и любители даровых пикантных представлений: дамские

шубки, горжетки, боа показывали особые, приглашенные для этой цели профессиональные девицы. Кто не знает этого типа американских манекенщиц: по журналам или кинематографам. Увидеть их живых, вблизи — одетых в меха чуть ли не на голое тело... Шести футов роста и хрупкие, вот-вот переломятся. На трех-четырех досках эстрады артистки, выступая заученным, сдержанно-страстным шагом, откидывая корпус то вперед, то назад (и руками мелко-мелко загребая воздух), ухитрялись создать впечатление целого мюзик-холла. И действительно, такая квадрига возбуждала толпу не менее, чем огромные и дорогие ревю в Нью-Джерси (так, законы притяжения и отталкивания, собственно говоря, одинаковы, независимо от размеров системы). Опытные джентльмены неопределенной биографии это знали и, прочитав в газетах о даровой клубничке, прибегали загодя, чтобы занять место в первом ряду: таким образом, они неожиданно оказывались обладателями соболиной шапки, муфты или другого подарка для своих домашних.

Техника манекенш была воистину безукоризненной: при совершенной бедности средств (освещения, декораций) им все же удавалось достигнуть предела положенного этому жанру искусства. Маленькие змеиные головки с таинственно-порочной улыбкою на красивых жестоких лицах — они звали куда-то, манили, влекли... И мы мучительно старались понять, как бы сложилась наша жизнь, если раз наконец всерьез последовать за ними! Ибо у каждого в прошлом случались такие неосуществимые встречи. Так летом велосипедист или пешеход, отдыхая ночью в трактире, где его пожирают насекомые, вспоминает тропинку, живописно мелькнувшую на полпути — обещавшую, казалось, идиллические поляны и романтические ручьи. Ах, почему он не послушался голоса сердца и не свернул туда! Главное, почти никакого риска: дорожка извивалась параллельно шоссе, и в случае неудачи легко было бы вернуться на старый путь... (И в начале, казалось, не трудно еще без особых потрясений снова выйти на знакомый тракт.)

Итак, по причине мехов и прочего покупателей собралось вдвое против обычного; пришли все заблаговременно, чтобы еще раз взглянуть на товар, а главное — занять места поудобнее. Несмотря на толпу особых клиентов и подозрительных любителей, можно было без труда выделить десяток солидных завсегдатаев, отличавшихся своей самоуверенной обособленностью. Именно

от Фиолетовой Лиры мы услышали, что по техническим обстоятельствам (в связи с налогом или пошлиною) меха будут разбазариваться не в начале аукциона (как принято), а в конце.

Вешалки с полярной пушниной быстро отодвинули в сторону (и за перегородку); четыре девицы лениво поднялись на хоры: оттуда, профессионально играя станом, они рассеянно улыбались нам, маслянисто и обещающе. И, не взирая на ропот разочарованных джентльменов, приступили к будничной продаже серебра, ковров, картин. Но душа толпы явно не откликалась на эти соблазны: редкости расходились вяло и по дешевке. Даже Хозяин возмущался и уговаривал нас скучно и неубедительно.

— Its ridiculous! — тихо уверял он. — Эти книги принадлежали известному миллионеру, скончавшемуся от разрыва сердца. Подумайте, одни переплеты чего стоят...

Но настаивал он будто по привычке или по обязанности, без вдохновения, удивленно морщась и отдуваясь, отчего становился подобным огромному, раздутому улыбающемуся дитяти.

Книжные дельцы подходили к полкам, перебирали редкое издание Диккенса, рассматривали бумагу на свет, шрифт в лупу и неохотно называли цену. Сервизы, скамьи, диваны, люстры призрачно плыли по сцене. Даже Фиолетовая успела приобрести фарфоровую маркизу XVIII века. А муж привязался было к хитрому бару с потайной дверью (где можно прятать от гостей бутылки получше)... Но когда перевалили через сотню — бесславно отстал! («Ты понимаешь, Мишель, они, кажется, сошли с ума».)

Торг близился к концу. В каталоге еще значилась дюжина номеров, но мысленно народ уже примеривался к шубкам и папахам (или к артисткам). Скучный господин с черным портфелем (очевидно, инспектор, которого ждали) прохаживался вдоль вешалок, удивляясь чрезвычайному наплыву любителей: в субботу, в жару! Сам он предпочел бы прохладный бар или матч бейсбола... Вот тогда на подмостках вдруг мелькнула поднятая исполинским негром (привыкшим жонглировать сундуками) узенькая сине-голубая полоска: нечто интимное, трогательное и настойчивое, в беспомощной рамке, и выразительно протянуло к нам свои детские руки.

— Акварель школы первых прерафаэлитов, без подписи! — оповестил Хозяин, спотыкаясь на «рафаэлитах»:

— Кто даст двадцать пять долларов?

Никто не отозвался, так что он повторил:

— Номер двести сорок один, кто дает двадцать пять, раз? — и сразу гаркнул, протягивая угрожающее руку в нашу сторону: — тридцать долларов здесь, я имею тридцать!

(«Тридцать долларов плюс налог за что-то неясно синее в дешевой рамке, не много ли это для отставного европейца? Как это случилось, что мы ввязались? Кто внутри подтолкнул; простите, пожалуйста... но поздно, поздно каяться»).

Фиолетовая Лира снисходительно огрызнулась, еще кое-кто оглянулся, прищурился: мы потеряли инкогнито, обнажили свою природу.

— Кто больше?

Спереди, в двух разных концах залы, одновременно поднялись две руки, и клерк возвестил: «Сорок долларов!..» А Хозяин перебил:

— Здесь пятьдесят! У меня пятьдесят!

Стало легче дышать (после неожиданного избавления), и тут же, рядом, ощущение потери, ущерба. («Да, синева, синева, но что поделать, если нечем ее подпереть».)

А торг между тем набирал скорость и легко перевалил через первую сотню. Начали надбавлять по 25 долларов, затем по 50; а когда назвали 500 долларов, то Фиолетовая Лира возмущенно прошипела:

— Мишель, ну ей-богу, я ничего не понимаю!

На что последний вполне искренно отозвался: «И я, душечка!»

Собственно, упорствовали двое... Господин преклонного возраста в старомодном зеленом сюртуке, с гетманскими усами. Он сидел удобно, заложив ногу за ногу: острый носок отлично вычищенной туфли едва заметно и ритмически подрагивал в такт биению его сердца. (В самых драматических минутах борьбы пульсации эти почему-то не ускорялись, а наоборот, тормозились, доходя по нашим подсчетам до 50 ударов в минуту). Все это легко было разглядеть потому что, когда перевалили через тысячу, вокруг старика образовалась некая героическая пустота, радиусом в полтора-два метра: соседи раздались, отжатые в сторону таинственной, невидимой силою. Только глаза гетмана — выцветшие васильки — упираясь то в один угол амфитеатра, то в другой, выражали не совсем кстати какое-то младенческое изумление.

Его соперник явился нам в образе зрелой мужественности; он стоял, по-наполеоновски скрестив руки, у авансцены, опираясь спиною о мраморную колонну. Спокойный, снисходительный, он вежливо улыбнулся, когда ему (после 3000) предложили стул.

Впрочем, твердый желвак на одной его (повернутой к свету) щеке, судорожно вздрагивал.

Достигли десяти тысяч; тут наступила некоторая заминка. Хозяин начал заикаться, потом споткнулся и совсем смолк. С хоров медленно спустился господин в крылатке и сером котелке; он плавно прошествовал то к старику с гетманскими усами, то к спортсмену в наполеоновской позе, обменялся с ними несколькими словами, сверил что-то по бумаге и, на ходу бросив неразборчивую фразу Хозяину, снова поднялся наверх в контору.

— Десять тысяч пятьсот...

Каким-то непостижимым образом Фиолетовая Лира уже сообщала кругом (точно сыпля горсти семян), что старик представитель и совладелец знаменитой швейцарской картинной галереи, а молодой — секретарь известного мультимиллионера, мецената, облагодетельствовавшего уже десяток национальных музеев.

— Здесь десять тысяч пятьсот, пятьсот — раз! — с обычным напором, но подчеркнуто вежливо склоняя голову и жмурясь, повторил Хозяин.

— Одиннадцать, — огрызнулся гетман, расправляя усы.

— Здесь одиннадцать тысяч за акварель номер 241 школы прерафаэлитов, без подписи. Кто больше?

— Двенадцать.

Это походило на дуэль. Противники не глядели друг на друга, но, по-видимому, жаждали взаимного уничтожения. А мы кругом застыли, боясь шелохнуться, взволнованно следя за каждым словом и жестом, чувствуя, что косвенно участвуем в исторической битве. С хоров, склонившись, загадочно глядели крупные микеланджеловские музы — с торжественной улыбкою на своих смазливых ложно-страстных лицах. А там, на грубом пюпитре, поддерживаемое радостно лоснящимся негром, голубело, синело, переливалось всеми небесными красками нечто безгранично правдивое и знакомое, райское — в узенькой дешевой рамке.

— Мишель, — истерически верещала Лира, — ты понимаешь это безумие? — и, отметая условности, она, судорожно бросаясь то направо, то налево, обращалась с тем же вопросом к соседям:

— I don't understand it, I don't, I don't! — умоляюще повторяла бедняжка, с чувством неопытного пловца вдруг обнаружившего, что он больше не достает до дна! (Вот-вот раздастся дикое: спасите!)

— Да, да, совершенно невразумительно, — мямлил Мишель, тоже озадаченный, но гораздо тверже произнося английские слова.

— Мишель, голубчик, объясни, пожалуйста, — твердила она, впервые, по-видимому, усомнившись в собственных мыслительных способностях. Сумма в 15 000 (и это еще не конец) ее окончательно раздавила. В жизни, разумеется, случалось, что какие-то невежды ее называли дурою, но у них никогда не было десятков тысяч, чтоб подкрепить свое обвинение. «Мишель, — молила она, — ведь только акварель! Ну будь это хотя бы масло, подписанное приличным художником, тогда понятно! Или размер: погляди, малюсенькое. Дрянная рама, какой тут может быть разговор, Мишель, это безумие!»

Величина, вес, жир, имя, это могло еще спасти знакомый порядок. Но тут, как назло, все обоснованное, положительное, измеряемое аршином, фунтом, градусом, отсутствовало и — не за что зацепиться!

А Мишель и остальные специалисты сами едва держались на поверхности; все чувствовали себя сбитыми с толку, ошельмованными мальчишками. Опять заглядывали в каталоги, перелистывали блокноты, прейскуранты, направляли цейсовские бинокли на тихую, как жертвенный ягненок, невинно мерцающую акварель. Изучали даже негра, гордо поддерживающего легкую раму — с тем же напряжением бицепсов и выражением благообразия, с каким он подхватывал каменные примитивы или чугунные печи, — словно ожидая хотя бы от него разрешения загадки.

— Пятьдесят тысяч! Здесь пятьдесят тысяч, раз! — торжественно возвестил Хозяин.

Уверяют, что эти аукционеры лично заинтересованы в продаже и получают процент, но теперь его радость казалась другого, почти бескорыстного порядка. Да и мы, наряду с недоумением и страхом, испытывали тоже нечто подобное ликованию; ибо, по мере того как разрасталась сумма, в нас крепла горделивая уверенность в чрезвычайной значительности всего происходящего кругом. Дело не в простом переходе картинки из одних рук в другие. Нет! Синева не от полотна только, и сияние совсем не от красок. А эти два соперника отнюдь не в первый раз сегодня противоборствуют. Хозяин доволен и улыбается потому, что из многих знакомых ему отдаленных зарниц, одна вдруг пробилась сюда и заставила кое-кого насторожиться.

— Мишель, я в истерике, — очень спокойно и человечно заявила Фиолетовая Лира. Муж только безнадежно развел руками.

Признаться, нам даже стало ее жаль. Теперь ее выворачивает наизнанку. А мы давно уже прошли через это и через многое другое, простое и страшное, страшное и радостное. Недаром мы первые подняли руку и рискнули пятьюдесятью долларами. Наша вина исчерпывается тем, что не хватило средств для закрепления верной интуиции. И за это мы ответим на Страшном суде. «А, ты не понимаешь, лиловая дурында, почему за маленькую акварель (а не за большое масло в золотой раме) люди жертвуют целым состоянием? А другие тайны ты постигла? И смерть? И воскресение во плоти?»

Между тем непосредственные участники поединка продолжали свой братоубийственный диалог, выплевывая свои тысячи, точно сгустки крови. Разумеется, они обладали нужными банковскими счетами; вдобавок молодой мог пользоваться своими биологическими резервами, а старый — опытом и смекалкою. И оба владели секретом, касающимся предмета их борьбы (о котором мы только начинали догадываться). Хладнокровно и безжалостно противники наносили свои точные удары, не глядя друг на друга. Толпа кругом завороженно молчала; только румяная сдобная старушка крестилась по-русски и что-то невнятно бормотала.

Возле соперников давно уже образовалась та почетная пустота, которая сопутствует героям и обреченным; не только кругом народ раздался, но как-то незаметно расчистилась дорожка от одного к другому, словно действительно им надлежало пробежать навстречу двадцать шагов по мураве или снегу с пистолетом в руках (только здесь был грязный пол в бумажках и окурках). Общее волнение и редкие вскрики только подчеркивали безупречную сдержанность противников. Гетман в сюртуке как сидел, уставясь вперед и вверх, заложив ногу за ногу, так и остался — не меняя позы! Задумчивый, суровый и любезный, по-видимому, не раз уже участвовавший в подобных схватках и постигший, что победа и поражение в жизни никогда не бывают вечными. Молодой, в спортивной паре, с черными порочными подглазницами, все стоял у дорической колонны: одна нога его была согнута у колена и подошвою упиралась тоже в колонну (она медленно скользила вниз по мрамору, и, когда сползала к полу, он встряхивался и снова поджимал ее на прежнем уровне), в какой-то стадии этой игры обнажилась его белоснежная икра, покрытая редкими рыжими волосами. Руки его, скрещенные на груди, поднимались и опускались в такт ровному, но глубокому дыханию, а ноздри хищ-

но раздувались. Только глаза в темных развратных глазницах смотрели почему-то ласково и неуверенно.

— Шестьдесят тысяч. Здесь шестьдесят тысяч! Раз!

Нам хотелось бы принять личное участие в этой междоусобице, выразить симпатию, пожелать лучшему (благо роднейшему) успех, а злому гибель (такова уж природа сердца), но не доставало исчерпывающих указаний! Где добро и свет? Где тьма или смерть? За кого молиться, кому сочувствовать? Вот серафическая полоска над головой изнемогающего негра; она ждет, как жертва, как агнец, заклания. А два, явно титанических, существа дерутся за обладание ею. Кто достоин...

И душа наша жаждала продолжения этой битвы, — отсрочки решения, — смутно сознавая: чем больше сил, крови, денег будет отпущено сейчас, тем величественнее окажется награда. («Святые земли, Франциск Ассизский, дайте нам миллион, мы его поставим, не задумавшись».)

Служащие и клерки больше не спешили к горжеткам и пелеринам; им тоже льстила эта заминка в будничной работе: все замерли на своих местах, сияя счастливой улыбкою!

Только новички, легкомысленно смакуя даровое зрелище, обменивались шутливыми замечаниями: они не верили в подлинность десятков тысяч швыряемых рядом и, во всяком случае, полагали, что это обычное явление на аукционах.

Фиолетовая Лира сидела теперь согнувшись, обеими руками подперев щеки: нам видно было, как большие пурпурные слезы медленно катились из ее посветлевших глаз. Время от времени она по-детски всхлипывала и поворачивала к супругу свое помолодевшее чистое личико. Сам муж откинулся всей тяжестью на спинку непрочного стула и страдальчески растирал рукою сердце (или бумажник, слева, под пиджаком).

Специалисты по маркам, книгам, гравюрам тоже изменились, поблекли, даже осунулись; они изредка ерзали, привставали, жмурились, пытаясь что-то еще разглядеть на сцене. Случайная пара влюбленных, забредшая сюда с наивной целью купить по случаю новобрачную спальню, нежно гладила друг другу руки, любуясь силуэтом кровати-модерн, наполовину уже выдвинутой из-за полога. С ниш и галерей свисали облупленные фавны и нимфы, а меж ними мелькали манекенши с гигантским станом; пораженные затянувшимся представлением, они вдруг забыли, что сами не участвуют в нем и начали (сперва тихо и незаметно) воспро-

изводить свои пленительные выверты: точно плывя на одном месте, они страстно и фальшиво запрокидывали ангельские головы с мучительной, порочной и стерильной улыбкою на жестоких лицах.

И только два воина, гетман и молодой, казалось, вполне постигали смысл происходящего и безотказно наносили свои четкие удары, но, видимо, уже слабея от потери крови или денег.

— Сто тысяч! Ladies and gentelmen, — здесь сто тысяч! — предостерегающе повторил Хозяин: очередь была за стариком.

Но тот молчал и не подавал обычного сигнала; так прошло несколько мгновений. Гетман медленно достал из кармана листок бумаги и, отставив далеко руки, что-то сверил по ней, затем перевел дух и отрицательно покачал большой светлою головою с сердитыми усами.

Тогда Хозяин, давно к этому готовясь, сразу запел, словно дервиш в раскаленных песках, радостно преодолевая собственную боль, жажду и агонию:

— Сто тысяч, going, going, going... gone!

Свершилось. Сквозь туман нам видно было, как молодой, похотливо разминая члены, поднялся по лестнице в контору, беспощадно обозревая выстроившихся наверху жестоких ангелов; гетман, пошатываясь, побрел к выходу, напоминая шахматиста, проигравшего последнюю отложенную партию, или кандидата в президенты, не собравшего нужного количества голосов. Теперь было видно — какой он дряхлый и слабый.

Негр освобожденно рванул синее небо в узкой раме и опрокинул его вверх ногами: обреченный агнец дал себя закласть без упрека.

И вот уже выкатили комод на резных ножках, затем постель: молодожены все забрали, — даром! — никому в голову не пришло спорить.

Хозяин откашлялся и прочел нам нотацию: «It's ridiculuos...» Хорошо бы передохнуть, хлебнуть пива и свежего воздуха, но оставался еще десяток номеров до пресловутых шубок. Мебель, посуда, бухарские ковры быстро замелькали по сцене. Канделябры, первое издание Вольтера в Америке, два трюмо. Профессионалы, видимо, сделали усилие (кушать-то надо) и опять разглядывали в лупу, на свет, справлялись по каталогу. Ах, специалисты, специалисты, что с вами произошло? Куда девалась былая уверенность, деловитость... Солидность, чувство меры, знание цен и ус-

ловий рынка, — проценты и время, налоги и банки, — все испарилось и выветрилось! Боже, Боже, как они поблекли и вылиняли, как ничтожно и жалко выглядели (словно беби в мокрых пеленках, только пучили глаза и невнятно лепетали). Из-под ног вдруг ушла земля: такое, очевидно, случается в действительности! Как на качелях, поднялось, вильнуло и косо поплыло вниз. Где знакомый порядок и смысл! Ничто не удержалось на своем месте!

Мишель неожиданно размахнулся и приобрел за сотню гравюру XIX века, ему, впрочем, ненужную (Фиолетовая Лира только мучительно взвизгнула).

Наблюдался полный разлад и даже беспорядок. Любители переплачивали, покупая вещи из чуждых им областей, или, наоборот, упуская выгодное и привычное). Старая шкала ценностей была временно упразднена, и народ словно еще не разобрался, какой это новой валютою приходится теперь расплачиваться.

Опять огромное зеркало косо уперлось в мироздание и отразило нас, сутулящихся на разрозненных стульях, бледных, мертвых, призрачных: преподнесло нам образ фантастический по своей точности и симметричности. Благодаря наклону чудилось, что мы все, ряд за рядом, словно в полуосвещенном автобусе, катимся куда-то вниз и к черту — среди истлевших хоругвей, ржавых рыцарей и косматых драконов. А Хозяин между тем уже возвещал из песков еще об одном необратимом действии:

— Идет, идет, идет... ушло!

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОРТАТИВНОЕ БЕССМЕРТИЕ

Впервые – Русские записки. 1938. № 10; 1939. № 15, 17; глава «Доклад Свифтсона», отвергнутая главным редактором П. Н. Милюковым, была опубликована отдельно: Новый град. 1939. № 14.

Отдельное издание: Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. Печатается по этому изданию.

С.31. Дрожи, старая развалина, но двигай вперед *(Тюрен)*.

С.41. Купите мою картошку, замечательную картошку *(фр.)*.
Все за 20 су *(фр.)*.

С.74. Увы! Бедный Йорик! *(Шекспир) (фр.)*.

С.93. Что я очень бы хотела получить свои ключи *(фр.)*.

С.101. Досл.: всего понемногу *(фр.)*.

С.108. Ты доктор? Я все угадываю, но не люблю говорить *(фр.)*.

С.115. Чем вы занимаетесь в жизни? Какое счастье! Это честная девушка. О, какое счастье! *(фр.)*

С. 118. На цинк — т. е. на пять франков, от фр. cinque — пять.
Это старая история *(фр.)*.

С.119. Какой идиот! *(фр.)*
Т. е. талисман, нечто, приносящее удачу.

С.122. И это было все *(Флобер) (фр.)*.

С.133. На войне как на войне *(фр.)*.

С.150. Не должно спать в сей час *(Паскаль) (фр.)*.
Занимайтесь любовью с мальчиками... Долой евреев...
Да здравствуют советы... на фонарь! *(фр.)*

С.154. Дворец Справедливости *(фр.)*.

С.159. Голова кругом! *(нем.)*

С.170. А ее мать, она умирает. Ее сын должен быть женат... *(фр.)*
Грязные скоты! *(фр.)*

С.173. На дороге идет дождь... в ночи я слушаю... со смятенным сердцем... звук твоих шагов... *(фр.)*

Где матросы? Где морпехи? Они в реке! *(фр.)*

Грязная скотина, ты бы заткнулся! *(фр.)*

С.179. Стекольщик, стекольщик *(фр.)*.

С.179. Сливочный сыр; сливочный сыр *(фр.)*.
С.180. Старьевщик, старьевщик! *(фр.)*
Торговля, торговля, торговля *(искаж. нем.)*.
Покупайте, читайте «Юманите»! *(фр.)*
С.191. Но нам удалось! *(фр.)*
Нам удалось *(фр.)*.
Кран любви (люблю и ненавижу) *(фр.)*.
С.192. Что такое любовь? *(фр.)*
С.200. Сжальтесь надо мной! *(фр.)*

ЧЕЛЮСТЬ ЭМИГРАНТА

Впервые – Новый журнал. 1957. № 49-50.

Отдельное издание: Нью-Йорк: Диалог, 1957. Печатается по этому изданию.

С.230. Веди меня, я чужой в раю... *(англ.)*.
С.233. Инородное тело *(англ.)*.
С.235. «В поисках утраченного времени» (роман М. Пруста) *(фр.)*.
С.239. Конец века *(фр.)*.
С.245. Возможность *(англ.)*.
Счастье *(англ.)*.
Как приобрести друзей и людей влиятельных *(англ.)*.
Подарочный *(фр.)*.
Жареный картофель *(фр.)*.
С.266. Приемный центр *(фр.)*.
Песнь отъезда *(фр.)*.
Досл.: «сломал» (отшиб) себе почки *(фр.)*.
С.281. Т. е. полкружки и кружка *(фр.)*.
С.288. Осторожно, осторожно *(фр.)*.

С.299. Месье, молодой русский энтузиаст хотел бы приветствовать ваш гений! *(фр.)*

С.300. Мужество *(англ.)*.
С.301. Сколько стоит? *(тур.)*

РОЗОВЫЕ ДЕТИ

Впервые – Круг. 1936. № 1. Печатается по этой публикации.

С.317. Больница скорбная, исполненная стонов.
Распятье на стене страдальческой тюрьмы —
Рембрандт!.. Там молятся на гноище зловонном,
Во мгле, пронизанной косым лучом зимы...
(Ш. Бодлер — «Маяки», пер. Вяч. Иванова).

С.323. Что случилось, что случилось сегодня? *(фр.)*

БОЛЕЗНЬ

Впервые – Новый журнал. 1956. № 44. Печатается по этой публикации.

С.333. У него все внутри сгнило *(англ.)*.

ЗЕМНОЕ ГОРЕ

Впервые – Время и мы. 1986. № 89. Печатается по этой публикации.

АКВАРЕЛЬ

Впервые – Время и мы. 1995. № 128. Печатается по этой публикации.

С.348. Это смешно *(англ.)*.

С.356. Я не понимаю, не понимаю *(англ.)*.

СОДЕРЖАНИЕ

Яновский В.
Я-64 Сочинения: В 2 т. Т. 1: Портативное бессмертие. Челюсть эмигранта. Рассказы. М.: Издательство «Гудьял-Пресс», 2000. 368 с.

ISBN 5-8026-0085-3 (1 т.)
ISBN 5-8026-0086-1

Василий Яновский вошел в литературу русской эмиграции еще в тридцатые годы как автор романов и рассказов, но мировая слава пришла к нему лишь через полвека: мемуарная книга «Поля Елисейские», посвященная парижскому, довоенному, расцвету нашей литературы наконец-то сделала имя Яновского по-настоящему известным. Набоков и Поплавский, Георгий Иванов и Марк Алданов — со всеми Яновский так или иначе соприкасался, всех вспомнил — не всегда добрым, но всегда красочным словом. Его романы и рассказы никогда не были собраны воедино, многое осталось на журнальных страницах, и двухтомное собрание сочинений Яновского впервые показывает все стороны дарования этого ярчайшего писателя.

Издание снабжено обширными комментариями.

УДК 821.161.1-3Яновский
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

Яновский Василий

СОЧИНЕНИЯ В 2 ТОМАХ

Том 1

Портативное бессмертие.
Челюсть эмигранта.
Рассказы

Ответственный за выпуск *Е.Витковский*
Технолог *Г.Трушина*
Технический редактор *И.Маханёва*
Корректор *Л. Назарова*

Изд. лиц. № 065333 от 7.08.97. Подписано в печать 21.05.2000.
Формат 84×108 1/32. Гарнитура гарамонд. Офсетная печать. Печ. л. 11,5.
Усл. п. л. 19,32. Тираж 5000 экз. Заказ 2384.

Издательство «Гудьял-Пресс». 111524, Москва, ул. Электродная, 10.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-00-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Издание осуществлено при участии
ООО «Издательство АСТ».

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97.
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35—305.

Налоговая льгота — Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.300.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.